Л. Н. Сейфуллина

Сочинения

Л. Н. Сейфуллина

Сочинения в двух томах

*

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1980

1 дом

Л·Н·Сейфуллина

Том второй

*

Повести и рассказы

1925~1946



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1980

013852

Р2
С28

Тексты печатаются по изданию:
Л. Н. Сейфуллина. Собр. соч. в 4-х томах.
М., ИХЛ, 1968.

Комментарии
Л. Н. Смирновой

70302-035
С——— 37-80 4702010200
028(01)-80

© Комментарии. Издательство «Художественная литература», 1980 г.

Повести и рассказы

*

Повесть

Часть первая

Сын Балакаря

I

В семи волостях в округе знали Фрола Кандырина. Даже подростки. А в деревне Кипчанке, где жил, и малолетки. Столетняя бабка Лысуха кровных своих многих в лицо перезабыла. Фрола всегда узнавала, когда к ним заходил. Так ей в память запал, что сама с собой иной день о нем шамкала:

— В уме у Балáкаря слов, что на летний сон блох. А, батюшки, чисто семечки грызет, слово к слову прикладывает. Безо всякой туги.

Фамилию «Кандырин», как в бумагах для начальства значился, никто не знал. Уличное прозвище крепко приклеилось. Языком поворотливым отмечен. Прозвал кто-то Балáкарь. Так и пошло от речистости его, от уменья говорить, балакать — Балáкарь.

Писарь сельский, Иван Терентьич, из старых солдат, сам разговорчивый, Балáкарю удивлялся:

— Кажный человек не корова. Не мычит, а разговаривает, коли бог немотой не покарал. Но только из крестьянского званию говорунов мало. А который и заведется, да не на все. Об хозяйстве там, про мирские дела или на старые побаски, на присловье, на солдатское вранье, которому что к языку посходней. А этому — что хочешь загадай, про все обскажет. И так уверительно, что знаешь — врет, а сам себе не веришь. Не врет, мол, Балакарь, и все на свете знает. А коль и не знает, дак в точку догадался.

От леткого слова и глаз веселый у Балакаря. И волос густой, кудрявый. Думой не жилится. Все обскажет, голове не нудно. Хоть перевита ранней сединой чернота кудрявых волос на голове, в бороде, а лицом моложав. Спина, чисто господская, прямая. Ни заботой, ни работой не погнута. Не очень дороден, но по плечам не бракован на призыве. Ростом тоже дошел. Над нынешним племенем, все больше вида низковатого, на ладонь возвышается. Не одним языком, руками тоже хваткий. Под всякое дело подладлив. Одежду шить мужикам может, сапожничать, печи класть умеет, кузнечит в жаркое время на подмогу кузнецу. Оттого, что сильно грамотный, и лечить умеет — не наговором и не травами, как старики-знахари, а по-докторскому. От него в деревне узнали касторку, хину, капли пахучие для грудного успокоенья. Книжка-лечебник на божнице у него лежит. Снадобья из городской аптеки лавочник волостной по его записи привозил.

Много умеет. Только ни к чему, кроме книжек да разговору с людями, не охотлив. Позаймется да бросит. Какой месяц выпадет, все делает. Жилы в теле играют, так скоро поворачивается. А потом два или три месяца только по базарам окрестным ходит, народ вокруг себя россказнями собирает или на полатях с книжкой лежит. Ни в какую работу пальцем не ткнет. Недавний житель здесь. А все уж двенадцать лет, как со стороны прибыл. Из губернии Тульской. Другие за десять лет дома пятистенные поставили. Он же с ремеслом человек. Таких мужиков раз-два, да обчелся. Самый таким доход в глухоте здешней, где ремесленный человек каждому как богатый кум. Все с поклоном. Заработать мог бы. А он избенки не схлопотал. По квартирам, в чужих избах обивается. Сначала, сказывал, на пашню вольную сюда подался. Но скоро видно стало: каким-то ветром попутным занесло. Пройди-свет человек. Сам выболтал. Сорока лет от роду не дошло, а до самого моря доходил. Пашня ему не присуха, как и ремесло. Над землей не надсаживался. Снял было, как все, у башкир на пятнадцать лет в аренду. На третий год пересдал соседу за водку. Хоть бы пьяница был. Пивал редко, а все точно во хмелю дуром делает. Сам себя человек на нет привел. Уваженья ни от кого. Каждый стоящий человек с ним при встрече с усмешкой, как с малолетком или с дурачком.

«А, Балакарь. Ты мне вот чего, мил человек, скажи...»

Только с расспросом да со смешочком. На расспросы отвечал больше с пользой. Но никто его не любил и не уважал. Ни за работу, когда стих находил рабочий на него, ни за советы, ни за рассказы.

Писарь Иван Терентьевич сегодня, в воскресный день, на бревнах, у дома своего, ему объяснил, почему так вышло.

Народ еще только дообедывал. Не успели слушальщики около Балакаря собраться. Двое беседовали. Иван Терентьич в добром сердце был. Хорошо, ласково наставлял:

И речистый ты, и дотошный, а дурак. Так в округе все тебя и понимают. Кабы в господском роду родился, может, и за умного сошел бы. Явился бы ты тогда прямо на заготовленное,- самому припасать не надо, живи себе, в книжку читай или в чиновники поступай — прокорм есть. А ты в хресьянстве живешь, а не по-хресьянски себя раскладываешь. Молодые года шатуном прошатался, и сейчас ни хозяйства, ни дома. Ни хресьянин, ни барин, ни ремесловый человек. Сам об себе не стараешься, кто будет? Всем на смех. За работу берешь без ряды. На сколь облапошит умный, только благодаришь, что пожалел. Рази без счету может правильный человек в деревне быть? И с книжностью с твоей, с разговором кто над тобой не посмеется? Дурак один не надсмеется за то, что сам ты дурак. Умный бы высоко себя понес: не для каждого, мол, совет. Не шалтай-болтай с разъяснением, а попроси, покланяйся. А сам себя суешь, значит, дешево тебе дается, нечего и нам за дорогое почитать. Даром только господа швыряются, им легко. Без костоломки, без натуги получили. И то теперь из ихнего брату человек умней, поприжимистей пошел. А ты — на! Всякому чуть не за спасибо пинжак сошью. Мне когда сделаешь задешево, дело понятное. Уважишь нужному человеку, писарю. А всякому — зря. За зряшнего и почитают тебя.

Балакарь только белыми зубами в усмешке сверкнул:

— Эх, Иван Терентьевич, спящий ты в темноте человек. Ты меня жалел, а мне тебя жалко. Очень жалко!

И даже рукой писаря по плечу прихлопнул. Тот обиделся. Изругаться хотел, да тревожить себя неохота.

Снег под солнцем в блеске разыгрался. Той игрой глаза слепит. Хорошо, прижмурившись, посидеть вольготно, с распахнутым полушубком. От избы закутанной, с наглухо приморожеными окошками отдохнуть. Подышать

снеговым прохладным духом, без морозу ласковым, и краснобая послушать. Нахмурил только седые брови и проворчал:

— Надо мной жалковать нечего. Люди уважают. Не лежебок, и достатком не тебе ровня.

У Фрола всегда взгляд озорной, с сияньем будто, а тут жарким стал.

— Вот об этом о самом достатке, вот о нем поговорим. Сколько приятностей, какое такое веселье распрекрасное от достатка у тебя? Я вот сызмальства все гляжу, в голову складываю, и до такого рассужденья дошел, что бедное положение для крестьянина лучше. Лучше, я тебе говорю, Иван Терентьевич. Много для дыхания человечьего слободней. Сосчитаем с тобой по сложенью, вычитанью, арихметически правильно. Вот давай-ко. У бедного скоту мало — раз. Хлеба сеять, сымать мало — два. Бабе — горшков, черепков, лоханок, крынок помене, и хворьбы. Надсады мене — три. У богатого же крестьянина скоту много, пашни — пространства, сундуки чижолы. Горшки от щей жирных неотмывчивые. Подсобников-работников много не наймет. Чем богатей, тем жадней. Вот в сумму все приклади, заботу с работой вычитай. И вот тебе как дважды два — у бедного раздышки больше. Отработал, да и на скамейку присел. Об себе, об жизни подумал, голова-то светлей. И на улку вышел, людей поглядел, на базаре погалдел, гармошного послушал. Свет и видней, что большой он. Избенка-то, мол, не одна моя, да и деревня не одна. И не во всех так-то, как из моей окошки видать. Расскажут, бывает, жаркие страны есть, там цветы с колесо — во! И орехи до пуду, может, весом доходят. Вон она какая, жизнь-то, широкая! А там существует, дак и до нас, может, когда-нибудь докотится. Вон вычитывал я, как у нас самый климáт хотят подтопить, это для того, чтоб у нас не одна куриная слепота, а, может, апельсины можно? И тоже весом с пуд.

— Вот тем апельсином тебя и садануть бы по башке! Может, мозгу встряхнет, в разум придешь. Балакарь ты, и вся!

— Что же, што Балакарь? Я на свое здешнее прозвище с весельем откликаюсь. По другим губерниям за разные мои свойства по-другому меня еще прозывали. Много разных названьев я носил, а это мне очень даже из всех по душе. Ты не плюйся, Иван Терентьевич, а рассуди по совести, двинь мозгами пошире, не об себе об одном,

какой ты есть, думай об других людях разных. Слово человек себе во каким трудом добыл! Был он сперва, как всякая животная, немой. Потом стал рычать. Надсаживался, пока получилось человечье слово. И было оно еще не в полном смысле. Знаешь, так, и на то, и на се. А потом он после, как долго тужился не только горлом, а и мозгой, слов-то все боле и боле. На каждый предмет особые. И чем больше он шевелит мозгой, чем вникает лучше, со вниманьем, тем у него предметов больше, про которые он объясниться может. Если человек городской, он в хорошем умственном развитии живет, и слова у него не только про цабан да про плотское, а и как летать по воздуху расскажет — во! Вон, Семен Беспалый трудно говорит, его слушаешь, икать охота. А меня слушаешь, еще просишь. И от меня об жизни боле узнаешь. Темный человек не может быть балакарем. Я от просвещения такой, просвещаться старался. А мой сын и самые мудреные, образовательные слова раскумекает. Послушай, как настоящие-то образованные высказывают!

— Слыхал. Когда такого навертят, что в голове кружение сделается. Золото не говорит, да чудеса творит. А ты вот проговоришь, век свой на пустых щах просидишь. Да и сына-то на их посадишь. После тебе поблагодарствует.

Оба разгорячились в разговоре. Кричали и руками размахивали. Услышав шум, выглянул с ближайшего двора длиннобородый мужик. Прикрыв глаза рукой, как козырьком, от яркости снега под солнцем, разглядел Балакаря. Торопливо к бревнам пошел. За ним другой, третий. Баба от колодца шла с полными ведрами. Услыхала Балакарев голос, коромысла с плеч сняла, ведра наземь поставила. И застыла на долгое время. Скоро кругом Балакаря, как на сходе около писаря, сбился густо народ. Солнце встало во всю прямоту над деревней. Сдавать уже книзу начало, а Балáкарь все беседовал. Слушатели сменялись. Иные другой раз приходили, но кружок около бревен не редел. Сидели на бревнах и прямо на снегу и стояли. Бабы сзади напирали. Пролезали под локтями шустрые ребятишки.

С недальнего двора, из землянки на задах, вышла бледнолицая, темнобровая женщина в драповом стареньком пальто городского покроя. Она двинулась было тоже к бревнам. Но остановилась на полдороге. Туголицая, краснощекая лавочница окликнула ее. Баба надвинула пониже

на брови платок и неохотно подошла к низенькой, слеповатой лавке. Равнодушно глянула на грязные полки с убогим товаром и косо повешенную безграмотную вывеску. Спросила негромко, но не робко:

— Чего звала, Петровна?

— Да вот какое время гляжу, все народ около твоего хозяина тешится. Ну, прямо дивуюсь не надивуюсь, какой человек потешный. Ты, чать, его и дома наслушалась. Айда со мной покалякай. Запереть хотела, Стратон не велел. Отойтить-то и нельзя. А одной сидеть — сон клонит. Об чем он там обсказывает?

— Я там не была. Прощай, Петровна. Недосуг мне. Я Виктошку ищу.

— Ишь ты, какая спесивая. От мужа не отцепишься, разговорчив шибко, а у бабы слова не укупишь. Как ведь подобрались-то.

— Прощай.

— Погоди. Не вороти рыло! Из долгу у нас не выходите, уважить меня должна. Эй, Арина, осержусь гляди. Пошла себе! Чисто и не ей.

— Девять гривен седни же, сквернавка, приноси. Шутка ли, на рупь без мало забрали, голь перекатная. Да еще нос задирает, сука. Подолом оборватым крутнула, чисто барыня. Разговаривать не хочет. Стратон ухи развесил, на эки деньги в долг навыдавал. Да кому? Балакаревым. До паски отдачи жди.

Арина, не поворачивая головы, крикнула:

— Когда бы ни было, а всегда отдаем. Милостыньку не берем.

Фекла-соседка от ворот отозвалась:

— Уж так высоко себя несут, так высоко, чисто рублев триста в банку отвезли. Мужик — дурак, всем людям на смех, а баба — чисто старшиниха, башки ни на кого не повернет. И парнишка вредный.

Лавочница зевнула, сказала лениво:

— Ну, от ихого вреду не вскочить и вереду. Кабы в кусочки скоро идти не довелось, Христа ради просить. Отдавать-то пока отдавали, да, чать, что скоро и перестанут. Совсем работу забросил говорун-то. С Виктошкой все в книжку читает.

— И-и, и не говори, Петровна. Виктошка-то все про ученье турчит. Еще в город, говорит, учить дальше повезу. И посмеялись мы. Вы своих в город не отвóзите, а он думает про своего обучать.

— Стратон и то вчерась... Балакарь опять на базаре книжку покупал Виктошке своему, а мой ему и посмеялся: «Думаешь, говорит, в офицеры сыночка выведешь, все одно не выведешь в офицеры! Так же в солдаты пойдет, а в благородье не вылезет, на Костеревой дочке не оженится». А Костеревы-то, слыхала али нет, купцы в городу первогильдейские!

Лавочница засмеялась. Соседка из угодливости голосом потоньше ей вторила. Всплеснула руками:

— На отличку всё норовят. На то не глядят, что голопятые. Чисто баре выступают. Мальчишку и назвали по господскому. Вихтур у становихи сын. Это им к лицу. А Балакарь не знай чем и попа улестил. Сроду нашинских так не назовет. Да нам и не надо, не полагается! Поп знает, какой святой образованным определен, какой простонародью. На кажный день на различку святые есть, господски и нашински.

А Балакарь в календаре вычитал: Виктор — победитель. И долго это имя лелеял, пока сына ждал. Чернобровая молчаливая Арина двадцать лет с мужем прожила. Все скитания его делила без угрозы, без ропота. Солдатчину отбывал, она в том же городе в прислугах на постоялом дворе тяжелым трудом пропитание добывала. В голодной, неоседливой жизни рожала слабосильных детей. Они умирали в раннем возрасте. Когда родился Виктор, сказала мужу тихим, как всегда, голосом, но решительно:

С этим мальчонкой на одном месте жить буду. Пока в полный возраст не взойдет, никуда не тронусь. Тебе, Фрол Анисимыч, как желательно, так и делай, а я с дитем на одной деревне осяду. Ты не бойся, мы прокормимся.

Ело уговорил ее трехлетнего Виктошку в Кипчанку в хлебные степи перевезти. Пешком не пошла. В поезде вез, и от станции в эту даль лошадь нанимал. Полгода работал, чтобы бабу с дитем барыней на машине везти. А уж отсюда никуда. Ни на какие уговоры не сдалась. Из-за нее и задержался здесь. Ушел было. Да на чужих людях без нее почуял себя как в глухой чаще лесной заброшенным.

Арина неразговорчива. И слушает больше так, будто сама в себя смотрит. Какое слово дойдет до нее, какое точно мимо. В лицо Фролу даже редко взглядывает. Не знает он, когда она жалеет мужа, когда

осуждает, сердится. Всегда ровная, мужней ласке сдается охотно и горячо, но как во сне. Пробудившись, взглянет удивленно, отодвинется, подожмет еще крепче бледные целомудренные губы и снова замрет в тихости. Никогда не требовала от мужа, как другие бабы, чтоб он над домом, над хозяйством тужился, копил, собирал. В ленивый его, безрабочий стих скудость принимала легко, как и подарки в прибыльное время. Без визгу, без бабьей липкости к вещам и к домашности. Оживала она только, когда обида от людей мужа за сердце схватывала и он тишал. Тогда она становилась говорливей. Злой отпор в словах давала нападавшим. Балакарь не знал, что супружество с ним Арина приняла, как фанатичка-монахиня постриг. Со всей силой скрытой страстности до самой смерти протосковала она по другом человеке. Ясного сознания, мыслей о любви, тоске по единственном, кто стал бы истинно ею любимым мужем, у ней не было. Просто ей сделалось все равно, где мотаться, как жить. Но мужу несуразному и меж крепких деревенских стяжателей, скупых на бескорыстную ласку, беспомощному, за чудну́ю беззаботную его мягкосердечность подарила она крепкую бабью жалость. И Фрол считал Арину своей среди чужих, в каждой мысли с ним согласной. Не смог без нее скитаться, вернулся в Кипчанку. А Виктошка еще больше привязал его к дому.

Каждый живой, пожив близ рожденного им детеныша, подпадает на годы под власть желанья видеть, ласкать, ощущать в нем продленье человечьего короткого века. Фрол, испытав нежность к сыну, захлебнулся новой мечтой. Он стал думать о сыновой будущности. Отец видел его существованье таким, какого он хотел бы для себя. Сам он и добиваться его не отваживался, но для Виктора, ему казалось, оно приготовлено. Он мечтал, что сын будет образованным господином, проживающим в городах. Он уйдет из тугой мужичьей жизни, от костоломного, до гробовой доски неизбывного крестьянского труда.

Об этих своих грезах он постоянно болтал и жене, и подраставшему сыну. Арина о своих мечтаньях не рассказывала. Но лицо ее становилось мягче и глаза горячей, когда она слушала эту болтовню Балакаря.

Наболтавшись на улице, на сходке, на базарах, Балакарь всегда чуть не бегом спешил домой. Сегодня,

возвращаясь под вечер домой, мыслями о жене и сыне Фрол еще больше разогрел свое разгоряченное вдохновенной болтовней сердце. Снимал он нынешний год старую запасную избенку на задворках у хозяйственного мужика.

Во дворе столкнулся с Виктошкой. С трудом ступая в подшитых тяжелых отцовых валенках, мальчик шел на улицу.

— Папашка, я иду в школу вечеровать. Учительница мужикам нынче будет книжку читать. Чтенье сегодня.

Ласково, с сияющей улыбкой, Балакарь остановил его за плечо.

— А может, дома повечеруем, сынок? А? Зажгем огонь, книжку почитаем... эту, про земные трясенья.

— Карасину у нас нет.

— А, без огню мы, стало быть, седни... Ну, дак ты обожди, я матери слова два скажу, вместе в школу пойдем.

Мальчик неохотно и недружелюбно протянул:

— Ну тебя... Лег бы спать, находился уж нынче. Не ходи, я один.

И побежал, пересиливая тяжелые валенки. Отца Виктор любил, но стыдился его. Думал на бегу, проглотив слезы:

«Припрется опять людей смешить. Тогда уйду из школы, все одно уйду. Ну его!»

Балакарь «приперся» не только потому, что его на люди снова потянуло. Пошел за сыном, забеспокоился. После заката из степи набежал сумрачный ветер, нагнал снеговые облака, сгрудил их в белую пухлую тучу. Она накрыла полнеба. Высь огрузнела, осела, засеяла снегом, мелким и частым. Окошко в избе сразу ослепло от налипшего снега. Арина взглянула в него и сказала мужу тревожно:

— Опять буран. Не дай бог такой, как прошлый раз.

Балакарь стал поспешно натягивать тулупишко.

— Я за Виктором схожу. Вместе дойдем, пока метелица не разыгралась. А то кабы он один не вздумал. Если, как на той неделе, стихийственный разыграется, так на гумне можно замерзнуть. Нынешний год до удивительности свирепы бураны. Мне в волости сказывали...

— Ты скорее иди, Фрол, а то далеко до школы. Пускай заночует там, коли што. Да и сам не запаздывай.

Новая деревянная большая школа на самом выезде из села. Пока Балакарь дошел до нее, ветер взыграл уже люто. Взвили внизу студеные вихри. Колючей снежной пылью закрутила по степным дорогам поземка. Бесноватая пляска ветра и снега смешала небо и землю в одну сплошную сивую мглу. Пути, переезды, провалы оврагов, холмы, улица и дома деревни Кипчанки потонули в ней. Балакарь, спотыкаясь на каждом шагу, еле дотащился до входа в школу. Одиноко стоящая в отдаленье от дворов, уже в степи, она была открыта всем ветрам. Метель ударялась в нее с наскоку. И стены гудели, трубы выли.

Не успел Балакарь открыть школьную дверь, остановился в недоуменье на крыльце.

Побеждая визги и стенанья метели, вдруг донеслось до деревни многоголосое, гортанное, дикое, но человечье гиканье. Балакарь прислушался, приоткрыл дверь и крикнул в пустой темный коридор:

— Эй, старики, башкыры чего-то галдят!

Сразу ударил в коридор свет. Собравшиеся в большом холодном классе голос Балакаря услышали. Кто-то распахнул дверь. На крыльцо вышли мужики. Гул орущих голосов приближался. Ворвался в него и звук бешено заливистых от быстрой езды колокольцев. Мглу просверлили слабые, пляшущие огни двух ручных фонарей. Двое конных с фонарями подскакали к крыльцу. Один из них, приподняв высоко фонарь, осветил свой засыпанный снегом малахай и под ним узкие блестящие глаза.

— Зимскай заплутал... Ваша Кипшанка ночует. Учительша самувар пускай греит. Потом хошет, с им спать лягает.

И башкирин засмеялся нутряным, чуть слышным смешком. Иван Терентьич остро глянул во тьму. Колокольчики и гиканье уже отчетливо слышны, но едущих еще не видно. Он выругался вслух длинно и непристойно. Второй башкирин, помоложе, хихикнул в ответ, цыркнул слюной сквозь зубы и повернул с фонарем назад.

— Чего вы, черти кривоногие, суда с им перли? На вас бураном нанесло, у себя бы и ночевать укладывали.

Первый башкирин замотал малахаем, оскалил в улыбке белые зубы.

— Наша хватит. Шайтан нанес, Аллах унес. Вам ганирь давал. Хател мима Кипшанка катить. Едит к своя...

Башкирин грубым русским словом назвал продажную женщину.

— Ну, и катил бы, мать... Кипчанка в стороне. Это вы на дороге. А к нам зачем?

— Пужалси. Буран напужалси. Шибка кришал. Кипшанка сворашивал.

— Ат, косоглазые, черти окоящие! Нарочно напугали. С этаким поездом и в буран бы не пропал.

— Злуй буран, шибка злуй. Упармой! На горе подит, ишшо бульша злуй. Фонарь тухнет, башкыр тоже боится.

— Напугаешь вас бураном! Чисто собаки, чуете дорогу. Отродясь ни один башкирин не замерзал...

Но, оборвав речь, быстро сорвался с крыльца. Гиканье башкир послышалось где-то совсем близко и смолкло. Запряженная гуськом тройка подкатила к школе. Мокрые, с волосом, взъерошенным налипшим снегом, лошади тяжело вздымали бока. Еще трое конных с фонарями в руках осветили широкие сани и в них засыпанную снегом фигуру.

Земский был зол. Долго молча сопел, отряхиваясь от снега. В коридоре мужики помогли ему освободиться от навздёванных одна на другую теплых одежд. Голосом тусклым, нездоровым, будто ватой горло набито, сказал:

— Целый сход застал. Очень рад, давно до вашего общества добираюсь. Дождитесь здесь, не уходите. Я выпью чаю, отогреюсь и выйду к вам. Башкирам скажите: могут уезжать, я здесь ночую.

Пошнырял по лицам линялыми, неживыми глазами и пошел в класс. Щуплый недоросток, чтоб повыше казаться, держался напряженно прямо. Отбивал по-военному каждый шаг тоненьких негнущихся ног. В дверях класса он галантно пропустил вперед немолодую высокую, очень некрасивую учительницу, с умным угристым лицом.

Застигнутых начальниковым наездом было человек пятнадцать мужиков, с десяток баб и много подростков обоего пола.

БИБЛИОТЕКА
Инв. № 12456

Зимами, когда зверь залегал в нору, и в деревне жизнь становилась медлительней. Без работы мужичий хребет не живет. Но работа около скота и по двору не то, что на поле. Без спешки, не такая надсадная. Отоспаться, потянуться с усладой дает. Оставляет вольготный час на то, чтоб побаски послушать. Собраться на веселый огонь школьной большой лампы из темного своего мурья на люди. Чтенье внимательно слушали немногие. Большинство дремало. О своих делах думали. При хорошем освещенье дума легкая находила. Приятно было смотреть на огонь, на многолюдье, на картинки на стенах. Бабы лущили семечки. Отдыхали от тесноты своих изб и хозяйственного постоянного в них топтанья.

Сейчас в школе под резким ветром было холодно, как под сараем во дворе. За вечер намерзлись. В коридоре, ожидая конца барского чаепития, грелись, притопывая. Сидели на полу, плотно утянув бороды в ворота полушубков и тулупов. Баб выпроводили.

— Нечего вам тут толкошиться. У земского к мужикам разговор.

Дети хихикали, боролись в темноте, подлезали вплотную к отцам, чтобы согреться. Балакарь вполголоса рассказывал, что есть такие города, где большие дома согревают паровозом.

— Трубы прокладут по всем помещениям и по им пущают пар. Тепло, а ни тебе дыму, ни тебе угару. С большим умом ученые все для города устраивают. Конечно, не для нашего, сказать, уездного, какой это город? На него и сильно ученых не полагается. Да и не в губерни, а вот в столицах, то есть к престолу к царскому поближе.

Мужской голос тоже не громко, но сердито, из темноты оборвал его:

— Что ни день, ты все боле завираешься. Трубы прокладены... На трубах чулки, варежки, пимы просушить можно, а хлеба не испекешь, щей не сваришь. На паровозе, што ль, варево варют. До чего избрехался мужик!

Балакарь, повысив взволнованный голос, стал было объяснять:

— Ты дай досказать. Трубы — одно...

Но его снова перебил Иван Терентьевич:

— Помолчи, Фрол. Успеешь еще безделки-то вы-

сказать. Про дело вот... С чем это земский наехал? Энти, нехрещеные-то, уж ускакали, отделались. А на нас навезли хлопотню...

Мужики сбились в углу коридора тесной группой и зашептались. Сторож из своего помещения пронес в класс большой, отдувавшийся паром, бурлящий самовар. Балакарь громко вздохнул:

— Эх, вот чайку бы сейчас...

На него прицыкнули. Снова зашептались. От махорочного дыма было сизо, душно от въедливого его запаха в коридоре, когда, наконец, земский открыл дверь из класса.

Сразу закашлялся. Просипел недужным своим горлом:

— Выйти с папироской нельзя было? На крыльце бы не замерзли. Черт знает что такое! Откройте форточку.

Ни в окне коридорном и нигде в школе форточек не было. Мужики все же потоптались в поисках ее. Земский еще раз выругался. Но, отогревшись и распарив тело, отекшее от сиденья в санях, он подобрел. Веселей и проще сказал:

— Заходите в класс.

Откашливаясь, расправляя бороды, стеснительно оглаживая тулупы, народ двинулся в дверь. Проходили, приподняв плечи, осторожно ступая тяжелыми ногами, поджавшись, как в церковь во время службы. Мальчишки зашмыгали под локтями у старших. На скрипучие парты мужики расселись опасливо, с оглядкой:

— Можно ли?

Балакарь вошел весело и размашисто. Виктошка, сидевший с учениками на полу у классной доски, покраснел, залез поглубже за ребят.

Земский стоял у стола в ожиданье, когда усядутся. Приметил Балакаря. Дернул сизым подбородком, усмехнулся под коротко подстриженными усами.

— А, рассказчик! Я за тобой на будущей неделе пришлю. Печи на хуторе у меня посмотришь, там что-то поправить надо.

Балакарь широко, приветливо усмехнулся и подошел к столу. Глядя прямо в лицо земскому сияющими ласковыми глазами, неловко через самовар, еще не убранный, протянул начальнику руку.

— Здравствуйте, ваше благородие. Вот и к нам приехали...

Земский, приподняв реденькие брови, взглянул на него, взял со стола кусок хлеба и положил на Балакареву, протянутую для приветствия руку.

— Прими, Христа ради.

Сипящий, злой начальников смешок покрылся дружным мужицким хохотом. Земский оглядел класс повеселевшими белесыми глазами. Балакарь быстро поджал свою руку к распахнутому полушубку, понюхал, потом побелел, большими растерянными глазами повел по классу, встретил по-взрослому злобный, укоряющий взгляд Виктошки и шумно передохнул. Жалобно, криво улыбнулся. Срывающимся от обиды голосом проговорил:

— Извиняйте, ваше благородие, за безрассудительность. А милостыньки я отродясь не прашивал...

Земский, с лицом, снова беспросветно тусклым, ударил ладонью по столу. Как хилый петух, смешно выпятил грудь:

— Ну, ать, два! Налево кругом марш! Садись, где все сидят. Впрочем, стой! Возьми-ка самовар и всю эту дребедень со стола.

Но Балакарь только взглянул на него тоскующим, недоуменным взглядом и тяжело повернулся от стола. Будто сразу огрузнев, медленно вышел из класса. Иван Терентьевич кинулся к земскому. Угодливо согнулся, чтобы быть поменьше и невидней перед худосочным начальником. Посмеиваясь ласковым нутряным смешком, начал с помощью подоспевшего сторожа освобождать стол. Земский хотел окриком вернуть Балакаря, но раздумал. Другому такой дерзости не простил бы. Балакарь был в его глазах совершенным ничтожеством. Даже непочтенье к начальству в нем показалось неопасно. Начальник только усмехнулся презрительно. Призвал коротко мужиков к порядку.

— Ну, голубчики, теперь к делу. Приговора общество зачем подписывает? Вам это известно или нет?

Ребятишки, заглядевшись с жарким любопытством на земского, прекратили возню и смех.

Балакарев сын, Виктошка, сидел по-прежнему жалобным комочком, прилипшим к стене. Сердце у него стучало так шибко, что в горле запершило. В глазах встали слезы. Но лицо, пополовевшее от стыда и обиды, он кривил в усмешку. Широко раскрыл глаза, чтоб не дать скатиться слезам.

Знал: заметят ребята его боль, не отстанут с насмешками, пока до самого нутра не проймут. Коль сам начнет смеяться с ними, скорей отстанут. Он даже локтем легонько толкнул в бок Ваську Беспятова и, крутнув головой на дверь, прикрыл рукой рот. Будто сдерживал смех над ушедшим так постыдно отцом. Васька хитро посмотрел, без усмешки отодвинул Виктошку плечом и отвернулся.

Земский злобно официальными, непростыми словами корил мужиков, что они ссуду, взятую из казны на постройку школы, не выплачивают. Гнилой, хриповатый голос долго изводил подневольных слушателей. У Марьи Петровны, учительницы, нудно заныла больная, чувствительная жилка на правом виске. Она досадливо потерла лоб, постаралась заставить себя не слышать боль. Встряхнула головой, огляделась. Взгляд ее упал на Виктошку, и губы страдальчески дернулись. Осторожно ступая, она вышла из класса. Поискала Балакаря в темном коридоре, заглянула к сторожу. Там одна сторожиха, сонно покачиваясь над зыбкой, тихонько тянула заунывную, как ветер в трубе, песенку. Марья Петровна поежилась зябко и вышла на крыльцо.

Вьюга унималась. Падал потеплевший, уже мягкий, не обжигающий студью снег. Белой кочкой, обсыпанный снегом, сидел на крылечке Балакарь. Учительница ласково окликнула:

Фрол Анисимович!

Балакарь, страшно медлительно для него, молча повернул к ней голову.

— Простудитесь на ветру. Идите погрейтесь в сторожке. Там тепло.

Балакарь хлопнул обеими руками по коленкам, вскочил. Глядя на нее вверх с нижней ступеньки, выкрикнул звенящим, громким голосом:

Застуда — не обида! Покорежит, встанешь. Свет заново любей погляпется. Эх, Марья Петровна, барышня добреющая вы, а, чать, тоже не в полном смысле знаете, что и мужика чернокостого следовало не все бы против шерсти! Погладить бы когда надо и по-хорошему, как разумный хозяин лошадь гладит. Все только под ругачку одну кладь волочить чрезвычайно обидно. Очень тягостно! Злобствие господское над нами вредней застуды.

— Что поделаешь, Фрол Анисимович... Вы бы хоть в коридор вошли.

— От эдакой вот обидности — не как от застуды! На печке под тулупом от ее не отлежишься. Не встряхнешься, веселей встамши! На плечи налегает, на нутро, снистожить может человека. Словом, давиться в робости начнешь! А в бедности и вовсе, как Семахин Харитон, себе поведешь, под каждым под ветром — былинкой.

И, уже стоя в темном, тихом коридоре, жарким шепотом ей пояснил:

— Мужичье сердце, конечно, тугое, как земля каменючая. Бей, бей по ему, обидой ли, лаской ли — не скоро пробьешь. Ты его по жилам, по хребту лупи! Они у него движучие, оттого и на беспокойство легче сдаваются. Но я ведь вот што вам обскажу, у мене сердце в городах, в другом беспокойстве, в умственном, мятое! Я обидчивай-ай и ласковай, вот. На своих, на деревенских, не обиждаюсь. Я умней, просвещенней и не обиждаться, а жалеть их должен, что и к себе, и к другому человеку без вниманья. Регочут али дерутся без жалости.

— Ну вот, это правильно. И на этого, на начальника, тоже не обращайте внимания. У него и души-то нет...

— Э, нет, Марья Петровна, голубушка! Душа образованьем покупается. У скоту души нет. Сердцем которая животная и ласкова, а душа в ей не живет. И деревенский народ от скоту только что говорить языком может да телесным обличьем отличается, а души ему купить не на что. Купилки, разъясненья образованности нет. И жалеет он только дите, своим нутром роженное, да хлеб, да достаток свой, что своей натугой добыл, в чего силу поклал. Вы располагаете, отца, брата, сестру аль жену жалеют! Не-ет! Этих только по доходности ихней туги на хозяйство берегут.

— Вот вы сами своих же обижаете, а на земского за такое отношение...

— Не обижаю я, нет, ласковая, не обижаю. Нельзя им по-инакому. В жизню в такую бессветную определены. Брюхо да горб берегчи приходится. С того, что без образованья работа тяжельше. Мозги немые, не обскажут, как приноровиться легчей, вот и тужутся. В Америке вот, вычитывал я из вашей из книжки, от просве-

щенья даже мужичьей работе облегченье. Крестьянский человек в пинжаке ходит, не в нашем, деревенском, а покрасивше. Сам себе оттого милей и с другими обходительней. Газету читает, мозги-то шевелются, не скотью, а умную кровь к сердцу гонют. Вот тебе и душа куплена.

— Ну, не все образованные с добротой. А как раз наоборот. Вот, земский... На себе издевательство...

— А я про што ж? Да про то про самое и высказываю. Меня чем он щелкнул? И другие городские тоже щелкали. Не он первый по набитому звезданул, вот это и хужей. У них душа укуплена, они стараться должны, чтобы всякому человеку веселей по земле топталось. Мне бы ихнее приволье али даже Семахину Харитону, разве мы кого толкнули бы? Не-ет, вылазий, мол, мил человек, расправься, потянись. И тебе в жилы человеческая кровь налита. А оно выходит как? Што ни выше, што ни просторней ему, тем к другому понавистней. Значит, где-нибудь изгажена машинка, на какой свет стоит. Винток сменить надо, по-иному повернуть. А хто догадаться должен, где погажено? Образованный народ, господа. Они же не хочут. Обидно мне это, уважаю я образованность!

Марья Петровна даже в темноте оглянулась опасливо. Совсем тихо, чуть губами двигая, сказала:

— Есть образованные, которые стараются. Если б вы были посдержанней, я бы вам книжку дала...

— Зна-аю, знаю, барышня. Давали в городу. Для тех книжек твердость нужна, ухватка позлей. А я уродился разговорчивым, ласковым. Злобности упористой во мне не держится. Я выговорюсь — и отмякну. На слова мне только сила дадена. Кабы до образованности настоящей дошел, я бы книжки составлял. Про человечью про жизнь обсказывал. Про всю, про людей про всяческих. У меня ненависти нет, я всякого жалею. Вот и сейчас... Вас заговорил, вы уж оглядываетесь, слухать устали, а у меня в разговоре сердце отошло. Шут с им, земским! Спасибочки вам, что пожалели, побеседовали. А к земскому-то, слышьте, чего я, чисто к ровне, сунулся. Городское легкое обхожденье показать хотел. Господа, которые в городу, приучили. Опять вы, учитель в волости, поп приходу Куртагушинского тоже завсегда со мной за ручку здоровкаются. А этот пообиделся. Ну, шут с им. Я — человек легкий. Посопел, поговорил, и отошло. С чем начальник-то наехал?

Балакарь уж усмехался. Видно было, что вправду обида в разговоре выветрилась. Но в класс не пошел. Сказал Марье Петровне приглохшим, стесненным голосом:

— Виктошка пущай в школе ночует. С ребятишками займется, может, смешком, забавой какой. Поборются, повозются. Веселей ему станет. А дома кабы не расквелился. У него, хоть мал, а сердце потужей обиду держит. В мать. Ну, прощевайте покудова. Завтре с расспросом зайду. Нонче на глаза начальнику казаться совестно.

Балакарь в разговоре отошел, а земского начальника растравили беседой. Когда кончил выговор, поименно самых степенных мужиков к ответу призвал. Почему приговор подписали, а долг в казну не уплачивают? Почему не пропаклен до сих пор коридор школы? Отчего скупо отапливают? Инспектор народных училищ в школе побывал. Земскому — знакомый хороший. Инспектор ему письмо написал, чтоб на Кипчанское общество воздействовал. Он и собирался волостного старшину к себе вызвать, воздействие прописать. А тут буран загнал самого от дороги в сторону, в Кипчанку. От предвкушения долгой, скучной ночи занялся выговором старательно. Но когда вызванные на объясненье мужики один за другим стали бестолково, тягуче, с отступлениями про свой обиход, про работу, про недостатки, стесняясь начальства, бесцветными, скупыми словами рассказывать, начальник заскучал. От холодного пола стыли ноги. Промерзшие и запорошенные окна напоминали: сбился с дороги, к Наташе сегодня не попал, как обещал, рассердится. Может быть, раскапризничается, к себе не подпустит, и поездка выйдет напрасной.

У земского, хлипкого телом и нутром, в молодости были все же две живых страсти: лошади и женщины. На них просадил он бабкины деньги и отцово поместье. Из-за них и карьеры не сделал. К сорока годам опорочил себя любовным грязным делом с несовершеннолетней подопечной сиротой. Еле ушел от гласного суда. В эту глушь степную вылетел. Теперь изношено громкое дворянское имя, как и дурнокровное тело. Страстью не вскипает. Но живым живет в нем отрыгнувшееся от былого, горячего похотливое, слабосильное желание блуда с женщиной. Им подкрепленный, он отбывал

свой срок на земле холодно и пакостно. Ни в большой казачьей станице, где служебное его определено пребывание, ни в уездном городе не было женщин, достаточно изощренных в безлюбовном, бесплодном, стыдно разнообразном смакованье плотского греха. На взятки с башкир добыл себе из шантана в отдаленном губернском городе одну такую умелую. Привез на житье к себе. Но здесь она вдруг вспомнила крестьянское свое рожденье. Почувствовала тяготенье к скоту, к домашности. Потребовала устройства большого сельского хозяйства. Крупно хватил, чтобы денег собрать. Купил место с мельницей и домишком на реке. Каждую неделю за это утехой пользуется. Но жить все время на хуторе ему не позволяет. Нравная. Теперь, чуть что, разоблачением темных сделок грозит. Часто дурить начала, в кулак зажала. Вспомнил обо всем этом земский и взлютел. Взвизгнул бессильно и глухо на Ферапонта-старика:

— Молчать! Раньше надо было думать, можете школу содержать или нет. Сами с приговором сунулись. Извольте обязательства свои выполнять! Что-о?.. Попечитель кто? Ты — школьный попечитель? А староста?

Поведя хилым плечом, хихикнул:

— Бобры, нечего сказать! Где вам законность и царскую казну охранять? Но я вас заставлю, выучу! Завтра из волости еще человека вызову. Немедленно собрать долги за постройку школы и на три месяца на освещенье, на топливо. Денег нет, описать имущество неплательщиков. Довольно! Все сказано. Можете идти по домам. Староста, к рассвету — лошадей подать. Приговора давать мастера! Показывали мне, какое цветистое прошенье о постройке постоянной школы подали. Извольте выполнять. Что-о?.. Не мое дело, кто писал. Обществом Балакарево сочинительство подписали.

Земский взглянул на свои часы и сердито зашагал по опустевшему классу. «Скоты! Из кишок доставать надо каждый грош! Бедность, все это нищенское причитанье — пустяки. Грязна Кипчанка, а побогаче других деревень. Под тряпьем в сундуках копят деньги. А школу не топят. Как тут ночь провести? Всего девятый час в начале. У этого зверья, у башкир, было бы теплей ночевать. К ним свернул, когда с дороги сбился. Но разве можно в зимнем их жилье ночь продышать? И с этими животными, в их грязи, жизнь доживать

приходится. Если б не запутался, хоть бы в другой участок перепроситься... Тьфу! Согреться нечем. Эта бабища-учительница — мордоворот такой, что от нее самой, как от холода, зубы лязгают. Постель свою прислала со сторожем. Простыня бязевая, тоже женщина! Вкуса к постели не имеет».

Долго земский ходьбой по классу согревался. Печку сторож затопил. Стало потеплей, успокоился, лег.

А мужики в неурочный, поздний для них час толклись за школой, переругивались. Друг другу пеняли, что приговор во хмелю подписали. Ребятишки из школы с отцами домой убежали. Ночевать остались только пятеро с дальнего конца деревни. И Виктошка. Спать легли в комнате учительницы на полу. У Марьи Петровны от виска заболела вся голова. Затомила удушливая тошнота. Она долго в комнату не возвращалась. Ходила около школы по улице.

Дети принесли казенную, пожертвованную купцом из соседнего села для ночевок инодеревенских учеников кошму, закрылись своей одеждой и улеглись.

Но Виктошке не спалось. И других разгуливал. Все смешил. Морды разные кроил, передразнивал, как отец с земским «ручкался». Широко раздвинув рот, похоже передразнивая открытую улыбку отца, говорил весело, размашисто:

— «Здравствуйте, куманек, ваше благородье, сватоk любезный. Гостюйте у нас. Нате вам ручку, подержитесь». А тот ему: «Сейчас, как раз, с эдаким г..... я еще отродясь не здоровкался, очень благодарствую...»

И, встав во весь рост, раскачивался похоже на земского. Ребята захлебывались смехом над выдуманными словами, какие не могли быть сказаны ни Балакарем, ни земским друг другу. И над гримасами Виктошки. Сейчас в темноте лица его не видели, но вспоминали, как в коридоре на свету показывал. Один за другим все же скоро позасыпали. Виктошка не мог. Услышав, что все дышат ровно, успокоенно, притих. Щеки у него еще горели от возбуждения. Сердце стукало сильно. А мысли в тринадцатилетней голове бродили взрослые нагнетающие тоску и злобу.

«Дома чисто ничего человек. И работать ведь когда хорошо может... Завтре проходу по деревне не дадут... Каждый раз, как отец на улицу, все над ним издеваются. Дома умный, а на людях дурак... Жил бы в городу, там,

может, все такие... И не дражнили бы. К земскому по-свойски полез. Дурак, дурак человек. Мало, что ль, над ним и без земского издевки строют... Бесстрашно на всех налезает. А мужику так налезать нельзя. На смех людям... Вот, который ученый — всегда бесстрашный. Он может. Господа мужикам всегда «ты»... А Марья Петровна учеников учила: инспектору нельзя сказать «ты». И земскому нельзя. Марье Петровне можно, она простоватая... Хорошо, когда ни перед кем страху нет! Завтре, как ребята соберутся, опять приставлять буду: отец так, земский эдак! Ребята веселые станут. Любят, когда приставляю, дражниться не будут».

Он в темноте скроил рожу. И вдруг съежился от стиснувшей сердце жалости. Так ясно увидел в воображенье лицо отца, светлую улыбку его и жаркие ко всем и ко всему синие глаза. Вспомнил, как на вопрос отца: «Кто ты, Виктошка?» — он, тогда еще трехлетка, отвечал задорливо: «Я мужшина, я ложкой», не умея выговорить «ловкий», и как раскатисто при этом хохотал отец. Увидел, как он взмахивает рукой, услышал, как взволнованно дышит, когда говорит. И как его, Виктошку, по голове гладит. Вздох у мальчика во всхлип перешел. Он уткнулся головой в шапку и заплакал. Горестно думал:

«Скажу: уйдем в город, папашка... На деревне ты не умеешь... Люди шибко злобствуют, что ты чудной... Ни на кого на здешнего не схож... Скажу: вырасту, выучусь, должность получу. Тогда папашке железную кровать куплю, как у Марьи Петровны. Я на ученье дошлый, выучусь на образованную должность. А папашка, папашка тогда...»

Представил себе отца веселого, в хорошей городской одежде. Тогда земский... тогда земский за ручку не побрезгует. Вспомнил, как отец уходил из класса, втянув голову в плечи, и снова захлебнулся слезами. Подумал с острой ненавистью:

«Я тебе тогда покажу, сволочь, как зазнаваться. Выучусь на выше-земского, в начальники. И всем, которые теперь с издевкой, я покажу. Поревут небось и они».

Скрипнула дверь. Осторожно ступая, прошла Марья Петровна к своей кровати.

Виктошка задержал всхлип, притаился. И вдруг ощутил, что мал и беспомощен. Отец ушел, как опозоренный. И сейчас, не знай, спит, не знай, думает о

жизни о своей, как Виктошка. Матери отец не расскажет, постыдится. И пожалеть его некому. Завтра опять люди над ним смеяться будут.

Виктошка привстал, надел шапку и, озираясь воровски, тихо выскользнул из комнаты.

Из-за бурана даже молодежь не гуляла сегодня на улице. И час поздний дошел. Петухи давно уж полночь прокричали. Снег сыпать перестал. Звезды проглянули. Над белыми крышами, над безлюдной, кривой, загогулиной распластавшейся улицей, неживое, тихое засветилось небо. В чьем-то дворе люто взвыла собака. Другие устало и коротко перебрехивались. Под снежными шапками избы черны, молчаливы. Враждебно надвинулись на белую дорогу. И далеко видно, как Виктошка идет. Один. Кругом все спят. Никто не отзовется, если крикнуть. А оттого, что снег в тишине громко скрипит под ногами, кажется: сзади кто-то нагоняет. Невидимый кто-то и оттого страшный. Вдруг настигнет, припластает к земле, а никто не услышит. Ой! Виктошка вздрогнул всем телом, оглянулся.

Белая оскалилась сзади степь, а в сугробах будто кто-то возится, осторожно шевелит снег.

Испугался, побежал из всех сил. У своей избы еле отдышался. Хозяйская собака залаяла во дворе. Но учуяла своего, подошла и руку лизнула. Сразу стало легче на сердце.

— Барбос, барбоска, барбосынька!

Дверью в избе чуть скрипнул, отец услыхал. Приподнялся на деревянной кровати:

— Прибег? Скорей лезь ко мне в тепло. Мамка на печке легла.

Когда забрался под тощий, плешивый тулуп к отцу, ткнулся головой в его теплый, ласковый бок, не сдержался, снова расплакался.

Балакарь жесткими пальцами вытер сыновы мокрые щеки, придвинулся ближе и зашептал ласково:

— Ничего, сынок, и мы еще на свет веселыми глазами проглянем. А? Чего хлюпаешь? Надрогся аль за меня? За меня не плачь. Я — понимающий. Маленько поскорбел, а потом думаю: пострадую здесь, пока в здешней школе экзамент Виктор Кандырин сдаст, и айда с ним в город. На высшее обучение. И выйдет Виктор Кандырин настоящим человеком...

— Папашка, ты маме не сказывал? Не сказывай.

Айда мы с тобой только это про нынешнее... про земского... а?

— Люди скажут. Да она ничего. На меня серчать не будет. Наша ведь она.

— Людям она не поверит. Сам не жалься. Она не скажет, а надо мной будет плакать. А я не хочу. Чего плакать? Я выучусь... Айда, папашка, без экзаменту в город. Ты сказывал...

— Нельзя, сынок, потерпи. Мамке я пообещал, пока здешнюю школу не кончишь, не сползать с места. Там тоже плохого хлебнем. Простых там тоже не любят. Здесь народ не больно к нам ласковый, а все с голоду помереть не дают. Дороже там и прокорм. А я, сынок, не могу Ты меня не кори, не могу все время работать. Вот печенка такая, не терпит, коли что без охоты. Охота придет, все сделаю. А нет охоты — из рук валится. До книжки я жаден, до рассуждения. А за работой рассуждение житейское только на ум идет.

— Папашка, а ты по улице помень шатайся. Айда со мной али с мамой. Мы всё слухать будем, всё! Нам глянется тебя слухать! Мы про тебя... В избе ты не глупо-ой!..

— Не плачь, сынок. Обида зацепила, пройдет. Сверху погляди. Сегодня обида, а завтра, глядишь, надобен кому станешь. С лаской позовут. Жизнь-то — она разная бывает, как погода на дворе. То холодище или слякотища, темно, пасмурно. А то солнышко заиграет. С того и охотливы мы до ней, что она разная бывает. Солнышко-то в ей тоже, ух, хорошо светит! Вот, погоди, обучишься, будем жить в теплоте, в светлоте. Да! Прибег к отцу все-таки? Это хорошо, что прибег. Эх ты, «ложкой»! Ноги-те укрыты у тебя?

Сонное дыхание сына было ему ответом. Балакарь улыбнулся. Осторожно приподнявшись, подоткнул тулуп под ноги Виктошке.

II

От гвалта школа ходуном ходила. Возней в перемены поглощалась вся живая горячность детей. Неподкупной неприязнью встречали всякую учебу. По утрам Марья Петровна вставала с опухшими, красными глазами. Боязливым, неуверенным шагом шла в класс. Начинала

даже ненавидеть детей. Кротко, как умученная лошадь беззаботного хозяина. Нежданно зачинщиком жарких драк, беспокойных затей и врагом тишины на уроках сделался Виктошка. С того дня, как Марья Петровна сообщила:

— Учитель Варенцовский прислал письмо. Зовет меня с нашим старшим отделеньем к ним в школу на елку.

По вечерам стало старшее отделенье собираться: басни и песни учить. Спешили. Две недели всего до праздника оставалось. А Виктошка вдруг целое представленье придумал.

— Марья Петровна, мне папашка сказывал... Вот чо сказывал: у господ у одних на елке ребятишки из книги рассказ приставляли. Айдате и мы.

Рассказ свой любимый в книге Вахтерова нашел. Как крестьянин, хуже всех одетый, самоучка, лучше всех господ на образованную должность экзамен выдержал. Марья Петровна согласилась, Виктошке того крестьянина разыгрывать поручила. И не на радость себе. Виктошка дома ночами всё разные фокусы и слова свои, не из книги, придумывал. Крепко спали родители. Он тихонько с печки сползал, садился на скамейку у окна и думал. Все про того крестьянина. Как он обучился, по разным краям ездил и везде делал что-нибудь замечательное. Сражался, защищал, погибал, спасался. Всегда невредимым выходил из всех бедствий, в какие попадал. Оттого, что бесстрашный и очень ученый. И молодец этот будто он сам, Виктошка теперешний. В мечтах о далеких путях и подвигах рождались у мальчика мысли, которых язык не расскажет. Они не влезают в слова. Но от них шибко билось сердце. В глазах изнутри будто яркий фонарь зажигался. Видимым для них становилось то, чего никогда не увидеть в яви. Щеки жег горячий румянец, тело ощущалось крылатым. Виктошка засыпал с ощущеньем полновесного счастья. Отблеск его прогревал в дневное существование. Оно и само по себе стало веселей. Радость, как и беда, не ходит одна.

На Балакаря нашел рабочий стих. К Мокею, портному, приладился в подручные. Кипчанским жителям одежду новую к рождеству шили. Не с каждого двора, но работы набралось немало. Семья Балакаря сытей, и люди к ним с добрыми голосами. И Виктошка в буй-

стве радованья не мог оставаться тихим. И так рослый для своих тринадцати лет, будто сразу еще вырос. Выше голову держал. Незаметно и быстро за находчивость в придуманном им представлении, за веселую ухватку в забавах первым заправилой в жизни школьников сделался.

Сегодня Виктошка сильно рассердил Марью Петровну. Она даже ногами затопала. Он оскорбил ее глубокую, истерическую религиозность. На уроке закона божия спросила:

— Кандырин, прочитай первый член символа веры.

Мальчик размашисто, ей показалось — нахально, встал, лукаво прижмурил один глаз, нарочито отчетливо начал:

— Верую во единого бога-скворца...

Он эту шутку дня за три до ответа придумал. Побожился ребятам, что так и учительнице прочитает. Все на глаза вылезал, чтоб спросила.

Заливистый детский смех затопил класс. Смеялись все, никак не могли остановиться. Марья Петровна взглянула на Виктошку. Встретила полный веселья взгляд и затопала ногами.

— Убирайся вон из класса. Не смей являться в школу, пока я тебя не прощу. Ну? Вон, вон! Слышишь, бессовестный мальчишка!

Смех начал стихать. Виктошка, стремясь сохранить на собой ореол смелости, заявил дерзко:

— Ошибиться, что ли, нельзя? Никуда не пойду. И сызнова зачну.

И опять:

— Во единого бога-скворца.

Дети снова засмеялись. Не помня себя, с побелевшими губами, Марья Петровна подошла к Виктошке, с силой схватила его за плечо и вытолкала из класса. Дверь очень скоро снова открылась. Виктошка просунул голову и крикнул встревоженным голосом:

— Марья Петровна, нашинских мужиков за школу описывают.

Но остывшая от гнева учительница не поняла его слов. Но дети повскакали с парт, кинулись к окнам и в двери. Из коридора заглянул темноликий, сумрачный сторож. Тоже сказал:

— Из волости наехали. По дворам ходют, добро забирают.

Школа пустела быстро.

Тихая деревенская улица ожила, как в праздник. Но не в гульбе, а в беде. Мужики, старики, парни, бабы, девки и дети толпой двигались по улицам. Впереди вышагивал староста с бляхой на засаленном полушубке. Он нахохлил седые брови и семенил мелкими шажками, как старый недужный воробей. С ним рядом, волоча полы тулупа по снегу, с кряхтеньем и вздохами шагал Иван Терентьич, сельский писарь. Хроменький попечитель школьный за ними спотыкался, оглядывался на толпу, хлопал себя по бокам, жалобно восклицал:

— Как же это так-то. Неладно так, старики, исделалось-то? А? Ах ты, батюшки. Вот оно дело-то, а?

Моложавый, плечистый урядник, с закрученными усами, в полицейской шинели, придерживая шашку рукой, громко ругался:

— Сволочной вы народ. Начальство вот беспокоите. Зряшней вашего кипчанского народу под моим надзором нет. От кого служебная затрудненья? Все от кипчанских! Вас по-старому под горячую бы розгу, все бы вашинское опчество, поумнели бы. Возись вот теперь с рухлядишкой с вашей, мать...

Волостной писарь, с книгой серой в руках, тоже лениво укорял:

— Земский к вам, дуракам, наезжал, не сумели принять, разговорить. Может быть, тихим манером, по-доброму, дело бы сладили. А сейчас вот из вашей домашности чего отберем, свалим в кучу, тогда и выкупать придете, не знай, чего целое найдете.

У каждого двора шествие останавливалось. Волостной писарь, выдвигая вперед серую книгу, входил первым. За ним урядник и в хвосте — староста. Народ оставался на улице, у ворот. Как только начальство входило в избу, во дворе и в избе взметывался бабий плач. Из толпы к воротам подъезжала подвода. Рыжий, взъерошенный мужичонка ненужно дергал вожжами. Понурая лошадь стояла покорно. Из избы выносили хомут или самовар, иногда бабий цветистый шерстяной полушалок. В редком дворе недоимку отдавали сразу деньгами. Вещи складывали на подводу. Громкий плач и визг были во дворах. В ходившей по улице толпе слышались бабье негромкое оханье и сдержанный гул от мужичьих голосов. Каждый без опаски отводил душу только у себя, в своем жилье.

Шум поднялся грозной волной у Балакаревой избы. Самого Балакаря дома не было. На базар за три версты ниток купить портной его послал. Арина, как всегда, бледная и спокойная, навстречу вышла:

— Нету хозяина. Без его не знаю, чего и отдавать.

Злой мужской голос из толпы отозвался:

— А при ем знаешь? Чего с вас брать?

Другой поддержал:

— Есть у них вошь в кармане да блоха на аркане.

— Самовар глиняный, в горшке чай кипятят.

— Чужим добром откупятся, чего с их возьмешь?

— На то Балакарь и надеялся. Он мир всадил.

И гулом, бабьим визгом толпа насела на Арину.

— Своего барчонка обучать школа занадобилась.

— Чего ж, мир для их потужится. Им чего.

Арина смутилась, отступила. Народ ворвался во двор. Смяли бы ее, если б начальства не остерегались.

Урядник грозно крикнул:

— Цыть-те. Разбазлались. Еще драку при мне затейте. Я вас тогда без вашей школы вышколю.

И густо захохотал.

Волостной писарь крикнул сердито:

— Ну чего ты, баба, канителишь? Сколько с вас полагается? Стой-ка, погляжу. Три рубля восемнадцать. Давай деньги али там чего за их.

Арина покачала головой. Побледневшими губами, но твердо сказала:

— Ничего. Самовара нет, хомута, шлеи тоже. Обряда у меня вся старая. Хуть што хотите делайте, без Фрола и не знаю как.

Толпа опять задвигалась. Гневные выкрики снова поднялись:

— Давай одежу. Подушки волоки.

— Чего с ей разговаривать, господин урядник, иди в избу. Бери, чего увидишь.

— Этот самый, мужик-то ее, приговор писал...

— Мы-то что. Известно... Пьяные подписывали.

Бабий визгливый голос всех покрыл:

— Улещивал нашинских-то дураков. Сказывал — простят.

Иван Терентьевич крякнул:

— Он намутил, все знаем.

— Ну, баба, не задерживай. А то саму в холодну заберем.

Урядник пошутил:

— Сласти-то в тебе немного, сухая. А все тараканов маленько в волости покормишь. Веди в избу.

Дверь избы распахнулась навстречу. Красный, как пунец, Виктошка, стоя на пороге, протягивал свой новенький ватный пиджачишко, картуз и сапоги.

— Нате, отец только справил... на елку чтобы...

Арина ахнула. Мальчик оглядел толпу широкими, тоскующими глазами, громко всхлипнул и кинулся обратно в избу.

В толпе снова загалдели бестолково и бурно. Но урядник шум пресек:

— Будет галдеть. После разберетесь, кто кого одурил.

Презрительно сплюнул.

— В господский двор попали. Хоромы свинячьи, а тоже... елки. Балабольщик этот непутевый здесь проживает. По семени и племя, мальчишка с придурью. Ну, айдате дальше, скоре заканчивать надо. У меня не одна Кипчанка на шее.

До вечера в невеселой суете кружился народ. Многие, после ухода описальщиков, с кряхтеньем и тоской деньги разыскивали у себя под одеждой, в сундуках. Вещи выкупили. Но два самовара, закрытые отобранным рядном, подушки и Виктошкину праздничную обряду увезли на подводе в волость. Только что уехали писарь с урядником, народ еще не разошелся, шумел на улице, вернулся с базара Балакарь. Пешком по тяжелой снежной дороге ходил, а вернулся, будто на лихой тройке прокатился. Легкой походкой и лицом весел. Сразу в самую толкучку на улице:

— Об чем беседа-разговор? Здравствуйте-ка. Приятно вам вечеровать.

Грозное, сразу вставшее молчание было предостереженьем. Балакарь гнева не учуял.

— Что-то вы в буден день взгомозились? То и в праздник около меня когда пошумите, а то...

Иван Терентьевич первый тучей на Балакаря двинулся.

— Мы около тебя пошумим, как еще не шумливали.

За ним другие. Плотным кольцом замкнули Балакаря. Баба сзади испуганно закричала:

— А-арина!

Попечитель школьный батожком застучал.

— Лиходей. Весь сельский **мир** задурил. Язык поганый твой вытянуть надо!

И один за другим, сразу злым гамом:

— Подсыпался, когда магарычи с башкырцами пили. Пьяных улестил!

— Што, небось не знал, не слыхивал: пьяному море по колено. На какой хошь гумаге подпишется.

— А неграмотный, как мое дело, и вовсе.

— Грамотей-то у нас один, а целый сход задурил.

— Хто чуть име-фамилье...

— А я хрест спьяну кривой поставил, на хрест не похоже, а мой самовар уволокли.

— Чего с им долго валандаться... Пусти-ко...

— Стой. Чего наседаете? Все одно замотано. Взад это дело не раскрутишь.

— Не раскрутишь! А учить баламутчиков не надо?

— Двинь, двинь ему в морду, чтоб неповадно было.

— Земского бы сгрести. Тот испакостил.

— На земского руки коротки. Свою сволочь школить надо, чтоб под земского нас не подкачивала.

У Балакаря лицо белым, как зимняя земля под его ногами, стало. Глаза тревожно по мужикам забегали. Он понял, в какую беду попал. Неверным голосом попробовал ласковой шуткой гнев перешибить.

— Чего гомозитесь, старики, не разберу никак? Народ вы дремучий: ни к вам вестей, ни от вас песней. Я к вам по каждому дню с забавкой, а вы все серчаете.

— А, лопоухая сволочь, он еще зубоскалит!

— Бельмы выпучил, гад! У! Выдрать гляделки твои бесстыжие напрочь надо.

— Своего сынка нашим горбом в образованные вздумал выводить!

— Была школа, ходила по кватерам, зданию надо!

— ...не надо? А не надо?

Пуще всего брехней задурил: простит долги казна.

Мать... простила?

Балакарь крикнул громко и сильно:

Братцы! Мир честной! Да разве я со злом? Разве и для себя? Учители по квартирам не желали.

Пропади ты пропадом с ученостью своей!..

Жили без школы. Нам сыновьев в господа не тянуть!

— Чего растабарывать. Хто смутил? Хто надоумил? Хто приговор составлял? А, ужимаешься! Получай за старанье.

Здоровый жилистый кулак сразу в висок Балакаря. Он зашатался, но на ногах выстоял. Сзади трое насели. Повалили на землю. Падая, еще раз громко вскрикнул:

— Братцы!.. Одумайтесь.

Били упоенно, долго, посменно. Кулаками, пинками. Один хлестал толстой вожжой. Кто молчаливо, кто с присловьем. Старостина баба меж мужиков пробилась, верхом села, бороду выдирать начала. Визжала очумело, пронзительно:

— Косточки целехонькой в теле нету, а ни запасу у нас, ни припасу. Зорят, зорят! В разор нас разорили-и!

Два мужика с большим усильем бабу с Балакаря сняли. Белый, согбенный старик дрожащей рукой, промахиваясь, железным батожком ударял. В мужичьем рычанье, в бабьем визге, в плаче напуганных малолеток, в надрывном, долгом Виктошкином крике сглыхали отдельные восклицанья и слова. Как косноязычный взревевший зверь, во многоголосом гуле лютовала толпа. Балакаря поднимали с земли, с размаху швыряли оземь обратно. Топтали, щипали, давили. Били, как бьют мужики вредных колдунов и конокрадов. Со сладострастьем ненависти. Другой послабей давно бы кончился. Балакарь еще дышал. Только обомлел. Когда вытянулось, как мертвое, тело, синим стало под размазанной алой кровью лицо, а на снег из искривленного рта потекла с чернью густая, кусками, народ отвалился. Шумно вздыхали. Вытирали пот, как после работы. Иван Терентьевич на корточки встал, озабоченно грудь послушал и лицо успокоенное приподнял.

— Жив. А то все-таки неладно... Отвечать как бы не пришлось.

Худощавый, белобрысый мужик злобно отозвался:

— Нечистый за него ответчик. Эдакую злочась не жалко.

Но глаза в сторону отвел. Никому в лицо не глянул.

Попечитель нерешительно сказал было:

— Отлежится. Дурная трава живуча.

И сразу оборвал. Сконфуженно высморкался, в сторонку отошел. Сторож школьный вперед протолкался. Снег к голове и к устам Балакаря прикладывать стал. В прочерневший, запекшийся рот потихоньку комочки

снега совал. Мужики уже от гнева отошли. Каждый понимал, что Балакарь ответчиком под руку не за себя одного понал. За всех. За начальство, до которого высоко. Руку не дотянешь.

Иван Терентьевич первый, как бы оправдываясь, это высказал:

— Земского раздражнил хтой-то. Он на нас. А мы опять же на того, хто у нас поплошае. Што сделаешь. Ничего не сделаешь. Не в час под сердце подвернулся.

Слабым эхом кто-то поддержал:

— Знамо, ему бы не казаться дни два. А он под руку сдуру нырк.

Худощавый, белобрысый, не желая сдаваться, храбрясь, отозвался:

— А на приговор се-таки он сбил. Никто другой, Балакарь.

Никто не ответил. Толпа редела. Уткнувшись головой в мужнины ноги, надрывно выла Арина. Виктошка стоял поодаль. Не плакал, только всем телом, не по-человечьи, а как собака с перебитым хребтом, безостановочной мелкой дрожью дрожал. Еще трое стали растирать снегом живот и грудь Балакаря. Те же жесткие руки, что били, теперь осторожно и легко ходили по коже. Но Балакарь от боли хрипло простонал.

Иван Терентьевич наклонился к его лицу:

— Дышишь? Дыши, дыши, старайся, бог даст отдышишься. Лихо намяли, маненько через край. Глотникось снегу. Нутрё у тебя пропеклось. Ну, айдате мужики, домой его отнесем. Даст бог — отлежится. Ну-ко, баба, встань, в избу в вашу его надо.

Дорогой степенно Арину успокаивал:

— А ты отдохни, не вой. Уши у меня свербят, пнбко воешь. Зачем так-то? Еще, может, отлежится. Должен отлежаться. Мужик хороший, справный. Савоська вон так расшибся. Башка не держалась, шеи пораненье. А прирosла, живет. У мужика у твоего печенки отбили. А нутро крепкое, не пропороли ничем, отлежится. Ты ему в избе снегу, снегу всё в рот совай, чтоб печенку не выхаркивал. Захолодится внутре, ему легче дышать будет. Мальчонка-то ваш истрясся весь. Его на печку.

Балакарь, пока несли его на пологе, как на носилках, раза три обмирал и снова в чувство приходил. Вскрикнул горестно и страшно от нестерпимой боли, когда на кровать положили. Потом затих. Белый-белый под крово-

подтеками, лежал с открытыми, строгими, понимающими глазами. Не говорил ничего. Когда били, язык прикусил. Он распух, и двинуть им Балакарь не мог. Весь вечер заходили его наведывать мужики и бабы. Виктошка на печке заснул. Но во сне часто и тонко, будто пятилетний, взвизгивал, просыпался, плакал и снова засыпал. Арина встречала входящих недобрым, под надвинутыми бровями взглядом. На расспросы не отвечала. Строго поджимала губы в ответ. Но советов слушалась. Поила отваром: знахарка принесла. Смачивала губы, как Иван Терентьич показал. Он же к учительнице за уксусом пошел. Толку у ней не добился. Марья Петровна лежала на кровати, засунув голову под подушку. И хуже Виктошки тряслась. Иван Терентьич укоризненно головой покачал:

— Чего же так без ума убиваться? Уж лучше человеку помогчи, коль пожалели. Укысу ему к голове на пользу было бы. Што вы? Никак-ничего. Ну, к лавочнику дойду. А убиваться эдак не следует. Себя нудите, а ему это ничуть ни к чему.

Пока входили и выходили чужие, Балакарь тревожился. Раза три густая кровь опять лила изо рта. Последним ушел Иван Терентьевич. Он внимательно и долго всматривался в Балакаря. Повел недовольно головой.

— Всё кровью блюет, кабы хорошую вместе с пропеченной не выблевал. Что-то неладно! Ну, чего ж, пальцем не заткнешь. Помереть ему, видать, а я рассчитывал — встанет. Фрол, ты меня видишь? Видит, а молчит. А ты не злобься, нехорошо. Помирать надо с беззлобьем, в спокойствии. Утром еще зайду. А коль не застану, прости, Христа ради. Обидчик я твой, но в животе и в смерти бог волен. От наших рук не отвел, значит, ему занадобился. Прощай.

Положил земной поклон перед кроватью, поднялся и степенно вышел.

Перестала хлопать дверь. Все чужие, беспокойные ушли. Виктошкина молодость победила страх и тоску. Спал крепко, уже без вздохов и взвизгов. Арина застыла в раздумье у маленькой лампы за столом. Лицо ее казалось неживым, сильно постаревшим. На Балакаря сошло странное, нелегкое спокойствие. Он чувствовал, что тело болит. Но чувство это было приглушенное, какое-то не свое. Будто со стороны смотрел и хорошо понимал, что больно, но живого ощущенья боли у него

но стало. Оттого что тело, проносившее в себе сорок с лишком лет его, Балакарев, дух, вдруг ощутилось по своим, посторонним, он понял: умирает. Понял, не закричал, не восскорбел по-живому от чуянья смерти. Он отдыхал, подчиняясь мудрому веленью тела. Бессознательно оттягивал последний смертельный этот всплеск отчаянья. Лежал тихо, смотрел вокруг проникновенно, глубоко. Точно впитывал все, что видел. Забирал в далекую, безвозвратную дорогу земные виденья. Взгляд его видел не только избу, Арину и спящего сына. Видел и всю прожитую жизнь в полноте так ясно и верно, как видят единый раз прозревшие перед смертью человечьи вежды. В миг этого последнего гляденья ни злобы, ни любви, ни страха, ни радости, ни раскаянья не ощутил. Под бестрепетным дыханьем близкой смерти он лежал в мудрой покорности закону бытия, зрячий и всепонимающий. Готовился отойти. Но безбольное это прощанье было кратко, как вздох. Когда жилы стали стынуть, он, как все живое, ощутил кровное свое родство с земным. Восскорбел, вздохнул глубоко, жадно, застывая в предсмертной тоске, он глядел на жену. Она этого взгляда не почуяла. Продолжала сидеть с неподвижным, [illegible]ым, в сторону от Балакаря отведенным взором. [illegible]а он понял, что, прожив бок о бок с ней двадцать [illegible] год, он был всегда и остался для нее только приблым чужаком, не своим. В последнем отчаянье от [illegible]той прощальной обиды, он простонал тяжело, с [illegible]ом. Предельным напряженьем человечьего хотенья, [illegible]слов, позвал кровного своего, им рожденного, [illegible]ына. И человек от его плоти и крови, сын, оставленный отцом жизни взамен себя, в продленье себя, зов

Мальчик внезапно проснулся, глянул на кровать,

[illegible]ц;

[illegible]апашка! Родимый мой... папашка!

[illegible]стремительно спрыгнул с печки, кинулся к отцу обеими руками холодеющее тело. Арина от [illegible]ске кинулась к мужу. Но он ее уже не видел. [illegible]ыми глазами, жарко говорящими о том, что он [illegible]ошка одно, что отец и в тоске расставанья ли[illegible]ания на земле дитя, он смотрел на Виктошку. [illegible]е подчинился Балакарю. В бессилье немоты го[illegible]ий взгляд его был непонятен и страшен. Арина [illegible]лась. Но Виктошка не испугался. Жалобно [illegible]ивая, он все плотней прижимался к отцу, тес-

ней обхватывал его руками. Балакарь вздохнул, всем телом подтянулся к сыну, ощутил его, жалобно дрожащего от рыданий. Горечь расставанья потонула в новом, огромном чувстве вины перед ним. Бросает свое дитя в беззащитности, бедности, в убожестве. Ничего для него не скопил, ничем не обеспечил, не постарался для него по-настоящему — и умирает. Поздно спохватился! Мелькнула жалко-радостная мысль о новых Виктошкиных сапогах и пиджаке, которые успел купить. Не знал, что их в доме нет. Уже в полузабытьи широко взмахнул руками, чтобы захватить еще и еще какие-то примерещившиеся вещи, деньги, клад, как будто поймал что-то обеими руками, крепко их сжал, жадно вздохнул еще три раза уже облегченно, сильно, еще похватал своими студеными руками воздух, вытянулся — и отошел. Холод его отбывшего живой срок тела пронизал Виктошку. Он сам заледенел, разжал объятье.

Наутро женщины в суетливых соболезнованиях толкались в Балакаревой избе. Входили с тихим словом, с тяжелым топтаньем мужики. На столе, под иконами, в белой холщовой обряде лежал тихий Балакарь. В покое лицо его было величаво и строго. Свет от тоненьких свеч с божницы играл на нем, не оживляя. Школьный попечитель истово читал над ним, изливал певучим голосом, не понимая слов, вдохновенную песнь псалмопевца о тленной жизни.

Хоронили Балакаря всей деревней. Нестройным хором, с визгливыми бабьими вполашиваньями, погребли на Кипчанском кладбище под горой. Фельдшер из волости выдал Кипчанскому обществу свидетельство, что Балакарь умер от простудного воспаленья внутренностей. Арина жалобу на кипчанцев грозилась подать; Иван Терентьевич ее уговорил.

— Ты, баба, зря не ерепенься. Без умыслу мужика твоего в гроб уклали. Так, вышел грех такой. А суд да дело чему помогут. Его не подымут, нас по допросам замотают, да и тебе тоже не сладко придется. В свидетели никто не пойдет. У нас в свидетели хуть ходят, а всегда одно сказывают: ничего не видал, ничего не слыхал, не мое дело. Сама знаешь. Вот разбери, земский у нас первый в здешних местах обидчик. Ну, взятку больше с башкырцев дерет, нас расходом мало обижает,

а так по беспокойству вредный. А мы жалиться на его никто не пойдем. Чего нажалишься? Дождешься, еще хужей пришлют. И ты чего высудишь? Расход один. Заголодаешь с мальчонкой окончательно. И учительшу уговори, чтоб тебе не вредила, шум не подымала. Мир тебе денег соберет, холста, шерсти, муки на запас. И в город на даровой подводе отвезем. Балакарь-то все охотился сына учить. Вот и вези, подможем.

Арина с неделю упрямилась. Но так тяжело было ей, не сроднившейся ни с кем в деревне, одной без мужа, что сдалась. И Марью Петровну уговорила. Виктошка тоже было противился. Чисто продают отца.

Но Арина только вздохнула. Сказала:

— Он, чать, видит. Мы его не видим, а он все знает. И я этого не боюся. Шибко хотел в город податься. А судиться — ничего мы, сынок, не высудим. Они всей деревней. А мы хоть трое, да, может, Марья Петровна напоследок тоже испугается, мы с тобой двое. Кто нам поверит? Опять же тело из земли, сказывают, вынут. Это — грех незамолимый.

Изба без отца стала тоскливой. В школе ученики, прослышав, что Балакаревы судиться со всей деревней хотят, сторонились. Виктошка затомился. Вспомнил свои мечты и с матерью согласился. От раздумья и печали последних дней лицо его возмужало и огрубело. Мать на него недоуменно взглядывала:

— Вырос как. Ровно в неделю на два года постаршал.

На девятый день приехал из другого села поп. В Кипчанке церкви не было. Отпел Балакаря под землей.

А через три дня резвая сивая лошаденка тянула по ухабистой дороге дровни с Балакаревой вдовой и сыном. Арина решила перебраться в город.

III

Старый барин заметил: мелочь из карманов пропадает. Папиросы в открытой коробке тоже слишком быстро выкуриваются. Вина в две недели выходит столько, сколько на месяц раньше хватало. Стал убирать деньги, запирать табак и вино. Объясняться не хотел, расстраиваться не любил. Но через неделю аккуратность надоела. Забыл спрятать, деньги снова пропали. Рассвирепел, сказал Виктору перед сном:

— Родись ты, шельмец, в Америке, из тебя бы Эдиссон-Стефенсон вышел. А на любезной родине, в России, выйдет, в лучшем случае, перворазрядный карманный вор. В худшем, за пустяк в тюрьму попадешь, а потом бродягой-пропойцей умрешь под забором. Понял?

Виктор посмотрел старику прямо в лицо. Так редко смотрел. Больше мимо собеседника. От этого синие глаза его часто неприятны. Злая затаенность в них. Ответил негромко и твердо:

— Сами виноваты. К легким получкам приучили. Теперь я уж не мальчик, потребностей у меня больше, а выдаете денег вы по прежнему расчету: на пряники да на орехи.

Александр Платонович от изумленья даже носок из рук выронил. Потом побагровел.

Смешно и беспомощно затопал, сидя. Одной ногой в штиблете, другой босой. Рыхлое тело затряслось, как жидкое тесто.

— Мерзавец! Мне, это ты мне смеешь говорить. Мне. Кто тебя из грязи вытянул? Кто от нищенства спас? Отвечай, неблагодарный щенок. Подлец ты, вот что я тебе скажу. Ну, не ожидал, не ожидал... Ах, мерзавец!

Он жалобно запыхтел в волненье. Хлопнул рукой себя по жирной коленке.

Виктор невеселой усмешкой покривил губы, встряхнул снятый на ночь пиджак Александра Платоновича, бережно повесил его на спинку стула. Только потом медленно проговорил:

— А чего же вы сердитесь? Я обманывать умею, и вас сумел бы. А я вам по чистой совести ответил. Зачем обижаться? Вы всегда хвалите, кто правду в глаза режет. Я вот прошлую ночь жизнь свою обдумывал. Понял, знаете, лучше бы вам меня... Не жалели бы, в грязи бы лучше вы меня оставили. А то что же, в чистоте, да не при деле. Ни в мастерство ни в какое не отдали, ни учить не пожелали. До девятнадцати лет для забавы при себе продержали. А теперь мне как же, где добывать? У вас только. Положите мне содержанье хорошее, таскать не буду.

Александр Платонович выпучил покрасневшие от прилива крови глаза.

— Ну, брат, шесть лет пил, ел, спал с тобой, а вот

только сейчас узнал, какое ты скверное существо. Ведь ты за одним столом... Одет не хуже меня. А взял я тебя с улицы. Не отец, не брат, не дядя тебе. Я даже не пойму. Ты меня упрекаешь? Мерзавец!

И он дрожащими пальцами потянулся к столику за папиросой. Ночной столик от кровати стоял далеко. Он не мог ни достать, ни подняться сразу от грузности. Виктор поспешил подать. Но старик замахал сердито обеими руками.

— Не трогай. Никаких услуг мне от тебя больше не надо.

С тяжелой торопливостью сам подошел к столу, закурил и заговорил прерывисто, с одышкой, сильно волнуясь:

— Я почти никакой разницы... не делал между тобой и родным единственным сыном. С тобой даже больше времени проводил... ближе к своей душе допускал, а ты... Эх, мерзавец, скверный, недобропорядочный ты человек... Мастерству учиться ты бы мог. Сам о таком желанье ни разу не заикнулся. А мать все при себе дома тебя держала. Тоже тряслась над... сокровищем. Ну, а учить... Извини, пожалуйста... Как тебе не стыдно. Ты ведь сейчас что? Ты шантажом, ты вымогательством... Да, до вымогательства дошел. Учить я тебя не мог. Мне еле хватило на сына. Да, наконец, черт возьми, что я перед тобой оправдываться должен? Экая мерзость. Из жалости к твоей матери...

— Ничего не из жалости. Нанялась в кухарки, позарились, в горничные перевели. В любовницах вам удовольствие из-за меня же...

— Матерью... матерью торговать хочешь? За нее? Подглядывал, следил за ней? А? Откуда тебе известно, какие у нас были отношения? И как ты смеешь!

Оба стояли друг против друга в ласковой спальне Александра Платоновича. Здесь за шесть лет столько было веселых душевных слов между ними сказано. Теперь, грузно осев всем телом на больные ноги, тряся от гнева Александр Платонович. А Виктор в упор, зло, медленно произносил, будто по весу отпускал каждое слово. Рослый, широкоплечий, чужой, сразу и по внешнему виду изменившийся. Сегодня в первый раз разглядел его. Все мальчиком, Виктошкой казался, а сегодня взрослый... вор и шантажист. Александр Пла-

тонович хотел говорить, но словом поперхнулся, в изнеможении сел.

Виктор пододвинул столик к изголовью и заговорил обычным своим задушевным тоном, в сторону отведя глаза:

— Не сердитесь, Александр Платонович. Лишнего я наговорил. Только вы человек умный, образованный, подумайте и за это не обижайтесь. И в моем положенье человек, бывает, затоскует. Вы мне не выдавайте по мелочи, как маленькому выдавали, а положите помесячно, сколько милость будет, как прислужнику. Я за вами хожу и Юрию Александровичу тоже прислуживаю. И спать позвольте не здесь у вас, а в кабинете. Хоть бы тоже на полу... Все-таки я когда с вечера хоть по улице сам по себе пройдусь. Здесь все беспокоить остерегаюсь, спозаранку с вами укладываюсь. А там. Хоть на картины когда один схожу, развлекусь. Молодой я, на людях потолкаться хочется. Не сердитесь, пожалуйста. Простите, не выгоняйте меня. За свою дерзость я отслужу.

И пошел к двери. Александр Платонович запыхтел трудней. Сморщился.

— Постой, постой... Собственно, иди, ложись... В кабинете так в кабинете, мне все равно. Не маленький, и один не боюсь. Завтра поговорим. Нет, постой! Ты понимаешь все-таки, как ты меня обидел?

— Понимаю.

— Понимаешь? Я тебя всегда жалел. Сразу, ну... привязался к тебе. Образованья не мог дать такого, как сыну. Но ведь я рассчитывал: ты самородок, ты на диво способен, смышлен. Я думал, ты сам выбьешься.

Уже умилившись воспоминаниями о прежнем своем отношении к Виктошке, он сразу от гнева остыл. Растроганным, слезливым голосом спросил:

— Неужели не будешь выбиваться?

Виктор ответил без усмешки. Очень быстро, с полной готовностью.

— Буду.

— Ну, сам посуди, как ты меня сегодня обидел! Развитой, читаешь много. Ну... читай книжки такие... полезные. Ну, да разве мало тебе путей? Я, что мог, сделал для тебя. Приготовься к экзамену на сельского учителя... Разве мало народу и не в таких условиях

выбиваются повыше? Постой! В счетоводы вот можно. Курсы какие-то существуют... Да разве мало? А ты такой способный! Ты же ведь самородок. Подожди одну минуту. Эх, расстроил ты меня. Нехорошо, не пожалел! И на ночь. А у меня расширение сердца. Волноваться нельзя. Эх!

— Не сердитесь, пожалуйста, Александр Платоныч. Простите меня.

— Эх-х, Виктор, Виктор. Как это ты мог... так скверно разговаривать! Как ты мог? О ком! Об Арише, о маме своей. Ты вот теперь взрослый, понимаешь... Мне неприятно, что ты так грубо про наши отношения. Она простая, деревенская, но, вот, у нее была тонкая душевная организация, да... Я к ней... Ну, просто скажу, я ее любил. Последняя моя женщина в жизни. Ты вот взрослым себя называешь, а не понимаешь... взрослых человеческих чувств. Один поэт сказал чудесные слова: «О, как на склоне наших лет нежней мы любим и суеверней!»

Старик заморгал глазами, даже сладостно всхлипнул от потеплевшего сердца.

— Она была простая... неграмотная даже. Но и душа у ней была красивая. Она ощущала, понимала такие... чувства. Дай мне, Виктоша, носовой платок... Опять я... потерял носовой платок. Спасибо, милый.

Вдруг снова вспомнил обиду, горько содрогнулся.

— А ты осмелился... Как только ты мог хотя бы в мыслях допустить, что она из корыстных целей! Она была святая женщина, и я ее любил. Разница общественного положения не смущала. Положа руку на сердце могу сказать, что расчет не осквернял нашей близости. И я страдал, и я глубоко страдал, сразу состарился, одряхлел после ее смерти...

Александр Платонович поднял на Виктора растроганные глаза и смолк. Его поразил полный величайшего презренья взгляд. Виктор повернулся и неспешно вышел. Старик совсем растерялся. Разгневаться он уже не мог, устал. Посидел, в раздумье покачивая головой и громко вздыхая. Потом неожиданно для себя со вкусом зевнул, махнул рукой и улегся в постель. Скоро Виктор опять заглянул в дверь. Александр Платонович спал, упоенно, по-детски посапывая.

Одиннадцатый час ночи в начале. Городская улица за окнами еще жива. А в доме глухо и душно. Виктор

сердито, рывком распахнул настежь оба окна в стариковом кабинете. Редкими, но грузными каплями падал на землю теплый дождь. Насыщенное влагой, темное в вышине и меж ветвями деревьев небо пахло клейкой листвой, сыростью и плотским ароматом молодой, весенней земли. Шум по-внешнему сильной, напряженной реки сливался с затаенными ночными шорохами, стуком колес, людскими голосами. Воздух от этих запахов и шумов — как хлебная, крепкая брага. От него невеселые Викторовы думы стали горячими, злыми.

Жару к тоске подбавил еще младший Лугинин, сын Александра Платоновича. Отчетливым, крепким шагом прошел мимо неплотно притворенной двери к отцу в спальню. Спит старик; быстро оттуда повернул. И к телефону в коридоре. Голосом приятным, усмешливым,— такой всегда у него, с бабами когда говорит:

— Алло! Зинаида Романовна? О, как только пришел домой, сейчас же к телефону. Не мог, никак раньше не мог. Только что кончил утешать страждущих, врачевать болящих. И вы? Я этому не верю. Вы созданы для того, чтобы радовать глаз. Вы не можете быть жалкой, болящей. Ну, конечно, всему верю, и болезням верю, но не хочу верить. Если без шуток? Без шуток должен вас посмотреть. Не могу же я лечить по... рассказу. Что? Стесняетесь? Доктора, священника ни один смертный не должен стесняться. Ну, бросьте, вы замужняя женщина, а стеснительны, как... подросток. Сейчас могу; боюсь, что поздно. Отлично, прилечу. Только бросьте стесняться, я — врач. Сейчас выезжаю. Да, через четверть часа буду у вас. Хорошо.

Виктора злость передернула. Подумал: «Жеребец». Нехорошо выругался в мыслях. И когда Юрий Александрович, на ходу, в кабинет заглянул, прежде всего ненавидящим взглядом крепкие ляжки его охватил. Лугинин сказал:

— Ты дома? Спать пойдешь, не забудь здесь окна закрыть. Да смотри, заперт ли черный ход. Кухарка наша глупа и сонлива. Я однажды видел: спит, а дверь на крюк не заперта. Позаботься. Марусю я в кинематограф отпустил. Откроешь ей, когда позвонит.

Виктор поспешно и угодливо отозвался:

— Хорошо, Юрий Александрович. За всем присмотрю, не беспокойтесь! А вы разгуляться пойдете? Весе-

лого вам вечера желаю. Запор-то исправили? А то я дождусь, вам открою!

— Не надо. Все в порядке, ключ у меня.

Лугинин кивнул головой и ушел. Мягко хлопнула выходная дверь.

Во всей квартире один Виктор не спит. Эх, и тоска же! Нюрка, видно, уж не придет. А, да черт с ней! А без нее все же заняться нечем. Обучаться из книжки неохота сегодня. Легкие, занятные книги читать разлюбил. В них все врут про интересное. А ничего интересного нет. Нажраться, отоспаться да бабу намять. У мужика и у господина одно, выходит, желанье. Стоило из-за этого в город тянуться. Весь бы свет на клочки разорвал, такая тоска. Еще этот бугай, Юрий Александрович, разбередил. Всегда после разговора с ним сердцу стыдно и во рту ржавчина. Ох, и ненавистен этот человек. Никогда не обижал, а лютей ненависти ни к кому у Виктора нет. От одного вида высокой, плотной фигуры и уверенного, никогда не сникающего взгляда мутит Виктора. А больше всего от самого себя при встречах с Юрием. Как ни старается Виктор пройти мимо младшего Лугинина, промолчать, всегда не удержится, первый с разговором искательным сунется. Со смешком льстивым и трусливым. Юрий взглядывает мимоходом, отвечает коротко. Иногда и вовсе не услышит. Не притворяется. Ни по делу, ни для удовольствия ему Виктошка не нужен. А на лишнее ни глаз, ни ушей, ни сердца своего он не тревожит. Такой крепкий, самостоятельный человек. Попадется ему Виктошка на дороге, скажет или ответит так, будто на стол наткнулся, оставил его, не сердясь, и прошел. Мать Виктошкина прослужила этой семье пять лет. И в этот срок Юрий так и не запомнил хорошенько, Аришей ее зовут или Аннушкой. Отцу приятна, ему не мешает, Юрий приветлив даже с ней был. Но память тоже так устроена, сама себя бережет. Не зацепляет имени, от какого ни услады, ни досады. Принимал существованье в доме Ариши и Виктошки без особой радости, но и без недовольства. Отца на старости лет с белого хлеба на черный потянуло, темнобровую, строголицую крестьянку себе в утешенье нашел, что же? Приятно, что отец так долго мужчиной держится. Она опрятна и не шумлива. Можно бы и без чужого приплода. Но мальчишка услужлив, не разоряет. Пусть живут. Пока не воруют, не зазнаются. Юрию они не

нужны, но не мешают. Отец ими доволен — и хорошо. По-своему, с оттенком ласкового превосходства, сын заботился о старике. Виктор остро ощущал отношенье Юрия. С детства оно волновало его первой обидой холодной нелюбви человечьей друг к другу. Матери как-то пожаловался:

— Юрий Александрович все мимо нас глядит, нехорошо мне, когда он дома. Чисто мы неживые, нету нас в ихнем доме. Псёнка Бижутку и то, бывало, когда погладит, а когда, в сердцах, ногой пнет. Все взглядывал. Подох, дак жалковал даже. А или я, или ты, мам, помрем, дак, чать, в тот день и спросить не надумается, куда делись. Разве што дён через три разглядит: нету нас.

Мать тихонько с печальной умешкой успокоила:

— А ты не набивайся ни на ласку, ни на таску. Сам на него не гляди. На что он тебе? Старый барин ласковый к нам, он кормит и одевает. С ним вы друг дружке разговорщики охотные. Дак чего тебе? Бог даст, в люди тебя выведет. С ним не пропадешь. Спасибо учительше кипчановской, что вот к этой родне к своей письмо дала. А то в городу хлебнули бы горя, может, и позлей кипчановского. Ничего, сынок, где и не так маленько, стерпи, докуда на свои ноги встанешь. Я просила старого барина, он крепко обещал... об тебе порадеть.

Воспоминанье о проступившем тогда на щеке румянце, редком на строгом ее лице, до сих пор Виктошка в сердце, как болячку, держит. Застыдилась перед сыном за грех свой с барином. Объяснить не захотела, что не в сладость себе, ради Виктошки закатные барина дни женской лаской услащала. Виктошке объяснять и не надо было. Сам понимал. Для себя не корыстна была. От худых башмачишек и захворала. Барин на разговоры ласков, а на заботы о другом человеке, о себе молчаливом, не приучен. И Виктошка не доглядел. В жестокой застуде через месяц в могилу отлеживаться ушла. Кругом себя живущих хлопотами долго не маяла. В самый день смерти сильно задумалась. Потом тайно Виктошке двести рублей передала.

Скопила, вот... Даренное за пять лет. Возьми, спрячь. Хорошенько спрячь, сынок, никому не показывай. Не краденые, а ты об них молчи. Пожалеет старик, еще даст. А узнает, что есть, подумает: ну и ладно, когда-нибудь еще дам. И не даст, забудет. Сердце свербит у меня нынче, сынок. Тело легкое, ровно как

бы на то, что отлежусь, встану. А сердце тяжелое, телу и не верю. Помру, знать, скоро. Вот и отдаю. Хорошенько спрячь, сынок. На подмогу себе придержи, не растранжирь до часу. Жалею я, Виктошенька, каюсь, что наянливой с барином не была. Выпрашивать совестилась. А не надо бы совесть свою шибко слухать, не надо. Ихняя, господская совесть такая: попробуют, не поглянется, с нами тютюшкаться бросют. На нас только пробуют, хорошо ли милостливым быть. А оно нехорошо. Жалеть, помогать человеку тягостно. Свой спокой коротить надо. Ну и бросят. Никто к ответу их не потянет, что без ума милосердничали, человека на чужой жердочке сидеть приучили. А потом с ее вверх тарамашками. На свой, мол, насест садись. А на том, глядишь, уж не подладиться. Эх, в бессчастный час зародила я тебя, Виктошенька. Горя на твой пай шибко много отпущено. Пока жива, топчусь около тебя, на свою спину все возьму, все. А коль помру... Господской-то милостью сыт будешь, одет будешь и пьян напьешься, а жив нет... Жив не будешь, если сам от ихого добра в свое распоряженье себе не хапнешь. Эх, Виктошенька, проглядели мои глазыньки. Легкости для тебя хотела, а лучше бы зубы сожмать да на тяготу отдать...

Долго, долго говорила, мельтешила словами в последний жизни день. И такой закон, видно, у бога определен, перед смертью человек другим, на себя непохожим делается. Для того, видно, чтобы разное на земле испробовать. Разговорчивый отец молчком помер, а мать, крепко молчаливая, закончила свой век разговорами. С Александром Платоновичем тоже в тот день долго и шибко о чем-то разговаривала. А смерть все равно заберет. От нее не отмолчишься, не отговоришься. Скучно, а и, скучно как! Зачем-то еще про смерть раздумался. А в скуке ли, в плясе ли горчей горького станет, как про смерть раздумаешься. Самая главная ошибка — старика этого ласкового пожалела. Достаток-то последний доживал, платить за Виктошкино образованье, правда, пожалуй, не с чего. А на даровое обученье не попал, сам Виктор сплошал. На двух экзаменах оконфузился. Непривычен еще к городу. Мать так объясняла: «От страху у тебя поднятье сердца сделалось, все и перезабыл». А тогда бы нажать на старика, не жалеючи: взялся, дак не обманывай, вытяни. Коль в казенной не откупил бы места, в господскую в частную гимназию

заплатил бы. А там бы Виктошка дальше наладился. Ну, и сам тоже виноват Виктор. Не в мать, а в отца нетвердый сердцем вышел. Заленился в господском привольном обиходе. На даровщинку думал в крепкое положенье стать. После смерти матери только одумался. На учителя сельского по программе дома обучаться стал. Но от легкой жизни дума не на ученье, а на утеху гнет. Обидно. Взяли на свое положенье, а как вырос, только в прислужники и сгодился. На кухню не гонят, а все холуй. Да еще даровой. Холую деньги заработанные дают. Как хочет, так с ними и расправляется. А ему, как малолетнему, еду сладку только да со стариком разговоры. Если человек простого рода, сам о себе не старательный, как вот они с матерью, меж господ затешется, ни к чему его дело выйдет. Злом не изведут, дак добром, как вот этот старик, на нет сведут. Вредный старик, очень вредный! С каждым простым человеком, и с Виктором тоже, как с малолетком недоумчивым. Каждого неученого понимает так, что ему всего и надо: по головке погладить да для забавы шуточку в разговоре сшутить. Все равно как с ребенком: накормить его сладко при случае да пальцами перед ним, чтоб агукнул, пощелкать. А перед другими господами, необходительными, заносится, страшное дело как! «Я народ наш люблю, уважаю... Многострадальный он, задавили его, а ему распрямиться, вздохнуть надо... Я народ никогда не обижал, в молодости три года ссылки отбыл... В адвокатах много бедняков даром защищал. Оттого хоть всем известный был хороший защитник, а состоянья этим делом не нажил». Не нажил, потому что дурашлив. От его гулюканья не то что всему простонародью, а вот и Виктору, у него в доме пригретому, жизнь ласковой не стала. Гомозится с добротой, на жалость бедного человека лаской ловит, а от жалости от этой только убыток. Кому надо, что воров из бедного сословья обелял? Припасу-то ведь им не заготовил? Опять заворуют. А он тяни слюну, замазывай, обеляй. Глупый неправильный человек. Юрий Александрович крепко Виктору не люб, а он по своему месту настоящий. Лучше бы, кабы все такие были, сразу разглядел бы, с чем к ихнему брату подходить.

Задумался Виктор надолго и крепко. Даже Нюшкин зов в окно не сразу услышал. Когда другой раз, уж посмелей, позвала, вскочил. Обрадованным шепотом спросил в окно:

— Нюшка, ты? Ты? Чего поздно?

— Выходи скорей, все расскажу. Скорей, увидит еще кто-нибудь тут.

На улице, когда жарко обнял ее тоненькое тело, озабоченно спросила, озираясь:

— Куда пойдем-то? Дело к полночи.

— Сюда, прямо к нам.

— Ой, што ты? Господа-то...

— Сами мы сегодня господа. В кухне стряпка да старик в спальной — весь народ в доме. Маньку со двора отпустили, со своим страдашкой загуляется, к денному свету, не раньше, придет. А жеребец-то наш... тоже кобыл своих объезжать отправился. Дольше Маньки не управится. Входи скорей. Ну? Кочевряжиться будешь, дак уходи. Не люблю я таких... мнительных.

На свету, в коридорчике между комнатами, Нюшка зажмурилась, опять назад к двери испуганно подалась. Повеселевший Виктор хитро подмигнул ей, на носочках к дальней, стариковой комнате подошел, послушал, кивнул одобрительно головой. В кухню дверь на задвижку запер. Опять Нюшку обнял, быстро оттолкнул. Нюшка испугалась. Зачем на улицу убежал? Кинулась за ним, а он уж ставни в кабинете и столовой закрыл. В комнатах вместе на болты их заперли. Дверь парадную тоже на замок и на ключ. Шепотом Нюшке объяснил:

— Давно задумал дома, на диванах с тобою поманежиться. От молодого замок самооткрывающий попортил. Скоро позвал поправить, черт! Все равно, подождет, повонит. Скажу — в забвении в каком-то запер. Проходи, не бойся. Чего жмешься?

— А старик... На грех, возьмет да и проснется.

Проснется, но.... да и опять уснет. Двигаться из спальной с теплого сну не захочет. Сырой, ленивый, разленился себя утруждать. А из спальной окликнет, дак услышим. Да проходи сюда, мы и тут запремся. Стой, говорю, потушу.

Он на руках втащил Нюшку в кабинет, стремительно прошел в столовую, принес под мышками три бутылки вина, в руках на подносе закуску и бокалы. Поставил на стол, запер на ключ изнутри двери кабинета и ласково пошлепал рукой Нюшу по спине.

Попразднуем хоть разок. На манер своего в этом доме живу. А ни разу по своей воле не праздновал. Ну-ка,

милка, разуважь, поцелуй покрепче. Н-ну! Хлипковатая ты целоваться все-таки. Жаркости, Нюшка, для моего напора в тебе мало. Ну, ничего. Я не обижаюсь. Обличье у тебя благородное и обхожденье нежное. Это мне нравится. От сиволапости я уж отвык. Ну, давай выпьем да закуснем. Сейчас я, правда, как хозяин у себя в своей квартире. Хорошо!

Нюшка тихонько, воркующе засмеялась. Мелкие зубочки манерно в смехе показала. Глаза на Виктора не просто, с ужимкой умелой вскинула. Бокал держала, отпивая вино, мизинчик оттопыривала. Совсем барышня! Не подумаешь, что всего прокуроршина горничная. Виктошка засмеялся и Нюшку тормошить озорней стал:

— Ну-к, еще чокнемся! Эх, хорошо сделала, милашечка, что пришла. Я уж было и ждать перестал. Ругал тебя...

— Нельзя было раньше. Господ на ночную прогулку снаряжала. Вина набрали, фруктов, всякой всячины, в монастырь на ночь поехали.

Виктор засмеялся.

— Видно, где святей, там грех вкусней. Чего это в монастырь с вином да с бабами ездить? Всего до отвалу, прискучило, не знают, как и намудрить, чтоб в охотку все им опять сделалось.

Нюшка мечтательные глаза сделала, сказала певуче:

— Там есть окрестность. В городе нет окрестностей, без них некрасиво, и воздух не тот. При луне по лесочку приятно там с кавалером хорошим погулять.

Виктор засмеялся, поднял Нюшку и посадил к себе на колени.

— Эх ты, пичуга городская! Какая же луна, когда дождик сегодня?

— Он теперь уж, может быть, перестал. Потише, Витенька, чулки не изорви, барынины, то-оню-сенькие.

Этими чулками и распалила. Приучился в городе на барский вкус и для себя такое же требовать. Но оттого, что ему не как им, не зачастую доставалось для них обиходное, разгорячился сильно. Отрава хамской радости ощущать себя внешне схожим с барином уже прочно вгнездилась в желанья Виктора. От обладанья такими же вещами, как у господ, не потому, что они сами по себе приятны, а потому, что они господами для приятности установлены, а им, Виктором, только уворованы, отбиты для себя, Виктор хмелел до ощущения счастливости, почти счастья. Только сникало оно быстро. Умаяв Нюшку

бурным порывом страсти, снова лицом от невеселого раздумья потемнел. Нюшка одежду поправила, тихонечко на диване посидела, сказала нерешительно:

— Идти надо, Витенька. Кабы не застали меня здесь.

Ответил хмуро:

— Сиди. Вот, выпивай, закусывай хорошенько. Мало мы с тобой что-то напраздновали. Скучно что-то целый день нынче. Одному и вовсе тошно.

— Да я ничего. Если ты не боишься, так, значит, знаешь, что не попадемся. Я-то на сегодняшний день свободная.

— А у меня, Нюша, ни в какой день не бывает ни свободы, ни обо мне попечения. Вот такая доля мне, сестреночка, выпала. А?

— Я ничего. А про вино вот про это и про закуску господа не хватятся? С тебя не спросят?

— Хватятся, так не сразу. Ну, запирать опять станут. Лучше. А то соблазну много, я все забираю крадучись; настоящей свободы, что хочу, распоряжаться, тоже нет. Человеку и в таком положенье плохо жить.

— Ничего все-таки. Тебе ведь и пищу, что себе, дают, одетый ты, как мне нравится. Деньги тоже дают? Как получишь, я тебя попрошу, штучку одну такую к летнему наряду мне купи.

Виктор пил вино стакан за стаканом и ничего не ел. Захмелел скоро. Неверным уже языком начал Нюшке выговаривать:

— А все-таки, коли правду, девка, тебе сказать, ты дрянь!

— Что ты, Витенька! Ой, да ты, никак, совсем пьяный стал. Как нехорошо! Никогда я тебя таким не видала. Я домой пойду. Я грубостей боюсь, у меня сердце нервное.

— Не трону я твоего сердца. А ты меня бы хоть раз, хоть на часок какой потешила. Только и есть от тебя радости, что... А как с этим делом справишься, ни к чему ты мне.

Ну, таким разговором ты очень скоро обидеть меня можешь. Я домой уйду.

Сиди. Побеседовай со мной хоть раз. Ох, скушно, скушно мне! Ах, как скушно, Нюшенька.

Это хмель у тебя невеселый. Вот я уйду, а ты спать скорей ляжь. А то до слезы себя расквелишь. Когда мужчины пьяные плачут, они очень невеселые. Мне не нравится.

Виктор рукой ударил по столу так, что бутылки качнулись, подпрыгнул стакан.

— Веселости я сам хочу. Оттого и тоскую, Нюшенька, что веселого человека люблю. А его нет. Везде на веселого человека недохватка. А он каждому, как в окошке свет, нужен. Я маленьким был, когда в деревне еще жил, думал, в городе для всякого дела приспособленья мудреные устроены. Чтобы все полегче. Отец мне, бывало, рассказывал. Над землей, над скотом не надо надрываться. Снег не отгребать, воду не таскать. Зимой не занесет так, что хоть в трубу вылазий. Круглый год окошки светлые в домах, наружу смотреть хорошо. И вот думал: в городу живут все веселые. Веселые и бесстрашные. Мы, мол, в низком положенье живем, оттого нам все и пасмурно. А им с чего печаловаться? Чем и кем устрашаться?

— Над ними тоже гроза есть. Над нашими господами другие, повыше начальники. Устрашают их тоже. Наш барин перед губернатором сильно старается. Я разговор про это слыхала.

— Дак ведь они ихи. Из ихнего рода-звания берутся. Для ихнего плясу, не для простого же народа всю музыку налаживают. Нюшка, у тебя ума поменьше, чем у курицы.

— Я не глупая, с детства при господах. Очень развитая. И одеться со вкусом могу. А если тебе, по твоему поведенью, сиволапые больше подходят, зачем со мной амуришься? Я вот еще конфетку съем да домой пойду. Пьяный ты совсем не по мне. Деревенщина, хуже кучера нашего.

— Мы-то сиволапые, оттого нам трудно повернуться, для себя на сладость жизнь свою поворотить. А у них ноги ловкие, с малолетства на всякие вихлясы приучены, поворачиваются легко. И голова просвещенная. А чего же у них тоже веселости мало? Я думал, они не знай какие дела удумывают, а они все про то же, что и мы. Только болтают больше. Все нутро выболтают, для делов ничего не остается. Может быть, этот город не настоящий. Губернский только, а господ настоящих, от которых обучаться надо, в столицах надо искать. Не знаю. Я здесь только пакостям выучился, а дельному ничему. В щелку подглядывал, как Юрий Александрович здоровых барынь лечит, кой-чему научился.

Нюша засмеялась.

— А ты расскажи. Они друг с дружкой разные штуки выкамаривают, я тоже видала. А по женским болезням к

доктору часто здоровые просто позаняться бегают. Я тоже служила у одного.

— Мерзотина ты, девка. Я тебе про душу, а ты... Вот и они тоже. Я от них научиться хочу для души чему, а они... сволочь! Ну, а главное дело, все это без радости, без веселости. Нет у них веселого, чтобы с ним поговорил. Во... ржать, орать, гору своротить захотелось. Один вот только к нам когда заходит, всегда у него глаза играют, всякого обсмеет и сам нахохочется. Уйдет, и думаешь, а шут тебя дери, с чего нюнить-то?

— Жулик, должно быть, а то из театральных артистов.

— Редко только он к нам заходит. И его наш-то жеребец хуже всех принимает. Не хотят веселости настоящей. Ну-ка, давай допьем. А мне он дороже всех сейчас на свете. Вот его бы я поглядел, и сердце бы отошло. Подобрел бы.

— Я домой не дойду, у меня и то ноги млеют, никак двигаться не хотят. А то давно бы ушла. Надоело слушать, что ты собираешь. Смотри и ты. Упьешься, как господам открывать будешь?

— Пей. Нынче вино не заперто, а заготовлено для пикника. Я сейчас еще принесу.

Тяжелым, слишком размеренным шагом в столовую сходил. Еще две бутылки выпили. Нюшка охмелела тоже. Виктор еще вяло помял ее, потом вдруг больно ущипнул и ругаться нехорошо стал. Она испугалась, заплакала, шарфик на голову накинула.

Выпускай, домой иду! Дня три ко мне не подходи, одумайся...

— Не то три дня, а убирайся ты от меня совсем, кошка драная. Мало здесь эдакой...

Властный звонок перебил его брань. Нюшка побледнела, испугалась. К двери было кинулась, потом к окну. Виктор, высоко вздернув голову, без всякой сдержанности закричал:

Чего мечешься, как мышь в мышеловке! Сядь и сиди. Будет, посгибался я перед ним. Пущай подождет, я еще стаканчик выпью.

Виктор! Витенька! Выпусти меня, Христа ради, хоть в окошко, а? Витенька! Господи, да ведь совсем пьяный. Что же это со мной-то будет? Что мне будет?

Ничего не будет. Па-адумаешь, кого боялся! Только на баб удал, а больше от него какая кому польза? Пьяных то баб и не шибко пользует. Некогда, над здоро-

выми надо трястись. Видал я. Хуже нашего брата внутре подлец. Обучали его, сколько денег просадили, а ему оно к чему? Кому на пользу? Не боюсь я его больше! И никого не боюсь!

Звонок трещал уже беспрерывно под сердитой рукой. Потом дверь от ударов ногой задрожала. Виктор бормотал, смеялся и не шел открывать. Нюша всем телом тряслась, стоя у окна, дрожащей рукой вытирала слезы. Наконец Виктор громко, почти в крик, выругался безобразным ругательством и пошел отпирать двери. У Нюши сердце до *боли часто и сильно забилось в груди. Когда в передней* раздался злой громкий голос, вдруг сообразила. Вытащила гвоздь из болта, быстро с силой болт толкнула, распахнула окно, стремительно и легко скользнула в него. Успела только подумать:

«Хорошо, что в бельэтаже...»

И радостно вздохнула уже на улице. Побежала из всех сил и скрылась за углом. Улица была уже светла и вся видна. Желтый комнатный свет захлестнула денная светлота.

Юрий Александрович топал ногами.

— Мерзавец! Напился! Вином разит, на ногах ель стоишь! Убирайся в кухню или куда-нибудь... С глаз долой.

Виктор, глядя прямо, дерзко помутневшими и покрасневшими глазами, вызывающе усмехался.

— А по-моему, от меня хорошо пахнет. Фиялками. Вашим же хорошим вином.

— Ты еще издеваешься? Ну, я тебя, голубчик, проучу. Сейчас прикажу в участок свести, если не уберешься сам из дому... подобру-поздорову.

Из комнаты Александра Платоновича послышался испуганный зов:

— Сейчас я, папа. Уходи, подлец! Это что такое? В кабинете целая оргия была?

Взял с кресла забытый Нюшей шелковый ридикюльчик и двумя пальцами брезгливо швырнул его в угол.

— Проститутку приводил? Ну, этого уж я так не оставлю. Вино выкрал, набезобразничал. Еще я бы подумал, да, может быть, и простил. А панельных сюда, заразу в дом... Пшел в кухню! Блу-у-дливая сволочь! Пригрели тебя, а ты развратничаешь...

Виктор из двери смотрел на него с любопытством. Весело, почти беззлобно засмеялся. Ему от собственной без-

боязненности стало легко, по-настоящему весело. Сказал сквозь смех:

— Сам-то небось тоже не из церкви от причастья пришел...

Юрий Александрович заорал в окно:

— Эй, дворник! Есть там кто близко? Городовой! Послушайте, городовой!

Виктор городового хотел смазать по лицу, только не смог изловчиться, отбивался, плюнул в сторону Юрия Александровича, но все время радостно хохотал. Будто в первый раз веселился до упоения. С трудом, при помощи дворника, городовой утащил его в участок.

Отец с сыном шумели до полного солнца. Последние решительные слова принадлежали Юрию Александровичу:

— Чтобы духу его больше в нашем доме не было! В ногах валяться будет, не допущу, чтобы здесь жил. Наконец, я должен сказать вам, папа, вот что: обязательства ваши перед ним кончились. За... удовольствие, полученное от его матери, вы уже щедро расплатились. Больше таких щедрых расплат нам и не выдержать. Нельзя же самим по-свински жить, чтобы чужих молодцов содержать. Да еще вора и хулигана! Ну, допустим, он и раскается, все равно эта роскошь нам не по средствам. Зарабатываю я хорошо, но мне пора о своем гнезде думать. Весьма вероятно, что я скоро женюсь. Ложитесь, примите вот это... пейте. Постарайтесь заснуть.

IV

Старший доктор подошел к раскрытому окну. Ввысь, к жаркому июньскому солнцу, густо поднимались горечь и смрад загаженной земли. Уже неподвластные живительной солнечной яркости, лежали убитые поля по краям широкой торной дороги.

В пропыленных, задавленных травах и меж схилевших кустов торчали уныло серые кресты накатанных торопливо безвременных, безыменных могил. А ближе к дороге — обрывки бинтов с запекшейся ржавой кровью, заскорузлые гнойные тряпки, разбитые консервные жестянки, грязные лоскуты бумаги и поломанные части разбитых телег. Доктор громко вздохнул:

— О-о-ох!

И вдруг встрепенулся. Увидел на дороге два автомобиля.

— Господа офицеры! Приготовьтесь к посещению. Опять, кажется, тыловые гости.

Сухощавый седой офицер с забинтованными ногами сердито заворочался на койке.

— Опять митинг, а пользы ни на грош. Доктор, если это порядочные люди, попросите их хорошенько! Потребуйте наконец! Ведь нельзя же так. Да, памятен нам останется, если выживем, годок тысяча девятьсот семнадцатый!

Другой, большеглазый, с трудом повернул забинтованную голову, сказал прерывисто и слабо:

— Пусть нас скорей увезут... Зачем нам здесь лежать?

Доктор сердито махнул рукой и сбежал вниз, в солдатское отделение. Навстречу ему метнулся солдат — Виктор Кандырин.

— Там ораторы приехали, госп... гражданин доктор. Два автомобиля.

Доктор усмехнулся под седеющими усами.

— Знаю, товарищ санитар.

Во дворе уже суетились две молоденьких сестры милосердия, белобрысый военный врач, санитары и солдаты. Шесть человек в штатской одежде, один в форме военного врача и пехотный полковник вышли из автомобиля. Начался обмен приветствий.

Кандырин оглядел приезжих. Лицо его вдруг побелело, потом жарко зардело румянцем. Прямо на него двигался приехавший военный врач. Четыре года совсем не изменили Юрия Александровича. От волнения у Виктора сразу запеклись губы. Юрий Александрович, подойдя совсем близко, случайно взглянул прямо в лицо санитара. Остановился. Сказал с необычайной для него растерянностью:

— Виктор! Вот где пришлось... Ну, здравствуй, брат!

И, быстро оправившись, обнял Кандырина за плечи, смачно облобызал его троекратно. Душистые усы мягко пощекотали Викторовы щеки.

Виктор, снова побелевший, как плат, дернулся назад, неловко переступил с ноги на ногу, отозвался с заминкой:

— Здравствуйте... Юрий Александрыч.

Лугинин повернулся легко и уверенно к идущим сзади. Весело сказал, придерживая Виктора за плечо:

— Земляка нашел! Вот, сразу удача. Не только земляка, а можно сказать, родственника. Это воспитанник

моего отца. Ну, мы с тобой еще побеседуем, не правда ли? Я расскажу тебе о знакомых. Рад, очень рад, что случай привел увидеться. Расстались во мраке старой России, встретились при свете новой, при свете свободы... Иду, иду, товарищи! Так мы с тобой еще поговорим! Я не прощаюсь. Мы обязательно должны найти время побеседовать.

Они вошли в дом. Виктор остался стоять. На миг оцепенел. Невидящими глазами смотрел на дом, куда они вошли. Будто упорно разглядывал надоевший двухэтажный большой неуклюжий деревенский дом. С улицы окликнул его веснушчатый темноглазый солдат Семен Лыткин:

— Кандырин! Виктош! Ты чего, чисто статуй, замер? Ораторы приехали! С подарками, сказывают. Иди-ка сюда.

Виктор встряхнул головой и пошел на зов.

— Виктошк, ты чего в лице ровно сменился? Занедужел, што ль?

Виктор сказал ему только:

— Все старых знакомых встречаю. С кипчановским, вот с тобой-то, тут столкнулся. А теперь один приезжий, сын того барина, у которого я в городу-то...

— Это тот самый хват, который тебя выгнал опосля стариковой смерти? Во-от!

— Старик после помер. Стой-ка, сядем вон на этом дворе, что я тебе расскажу.

Но рассказывать не смог. Воспоминанья голову и грудь стеснили. Спросил медленно, думая о другом:

— Ты с чем-то шел ко мне, Семка?

Лыткин засмеялся, быстро начал ему о чем-то пространно рассказывать. Виктор смотрел ему в лицо, но слов не понимал. Сегодня день такой, старой горечью буравит сердце. Утром привезли от Лизы письмо. Оно было смазано расплывшимися слезами. Писано три месяца назад, чуть добрело до него в запачканном, потершемся конверте.

«Светик мой, любименький Витенька, пишу тебе, чуть рукой от тоски двигаю. К подругам женихи возвращаются, у всех почти радость, а я сохну, вся извелась, по целой ночке плачу. Милый мой, да жив ли, не сгинул ли совсем навек? Какая несчастная между нас любовь, что на короткий срок, всего месяц с двумя днями, ей порадовались! Всякие думы уж я передумала. Ты все хвалил меня, целовал сладко, что я веселая. А теперь я мало

смеюсь, стала такая худенькая, что даже, говорят, понекрасивела. Думаю, как же к другим-то ворочаются. А ты за два года всего на две недельки показался, а вот уж какое время нешуточное, шесть месяцев, письма не шлешь. У нас все с красными флагами ходят, речи высказывают про свободу. Я бы с тобой походила, тогда бы покрасовалась. И ох, как я, Витенька, досадую, что побывка твоя в посту случилась. Обвенчались бы мы, все бы ждала я мужа родного, а не жениха обещанного. Конечно, как перед богом-то мы все одно муж с женой, ты сам так говорил, а все-таки для всех и для порядка чужие. И опасалась я, как бы дитя не понести, а то бы не опасалась, может быть, с детеночком бы тебя ждала, веселей бы мне дожидаться было. А то, как со службы приду, упаду на кровать, всю подушку залью; не хвали меня теперь, я невеселая. Еще новость плохая, через семь дней мы отсюда уедем. Папаша мой в Шадринске казенное место кладовщика получил. Ехать мне, как ножиком по сердцу, так неохота. Как ты меня в этой дали найдешь? Но ты сам знаешь, семья наша — только отец да я остались; как бросить? Дядя к себе зовет, но и к нему ехать тоже далеко, да и, сказать по правде, шибко не люблю я этого дядю. Разыщи ты меня, Витенька, соколик мой ясный, разыщи. Буду бога молить, на коленях перед иконой елозить, коленки все протру, чтобы приехал и зажили бы вместе мы. Как приедем, сейчас же адрес настоящий тебе пропишу...»

Найти-то найдет. Все равно, хоть за тысячи верст, хоть без путей и без денег, пешком, ползком, а искать будет. Как ее, веселоглазую Лизу, узнал только, в первый раз вздохнул радостной, широкой грудью. Из дома лугининского уходил, как пес бесхозяйный, никому не надобный. На работу устроил вот этот самый благодетель, наехавший сегодня. Кормился, сам себе хозяин стал. Не очень отрадно было поворачиваться, молодость свою санитаром тратить в больнице по женской хвори. Но все-таки с тошнотой справлялся и доволен был, что сам себе кусок добывает. А все же одному меж всех чужих не радостно. Ой, как горько было, что старик Лугинин даже перед смертью проститься не позвал, не вспомнил. Правда, Степанида, кухарка, после передавала, что нежданно от удара кончился, а Виктошку будто почасту со слезой вспоминал, да что же после-то? А Лизоньку встретил на улице по весне, с цветами в руках, веселую. С этого на-

стоящая жизнь началась. Оглянулись оба, он три раза, она два, улыбнулись оба враз, и с того дня стало сердце у Виктора счастьем, а не досадой жить. Баб на свете много, и лапал их Виктор немало. Но такая, ни на кого не сменная, у него только Лиза. Может быть, покрасивей найдутся, да не она. Для нее себя берег, в строгости молодое тело держал. После побывки в городе, как ни бунтовала временами плоть, с другой не поганился. От трудности воздержания она еще дороже ему. Когда он ее теперь найдет? У других есть семьи, кутятами по чужим дворам не жили. А он...

— Виктошк! Ты прямо чудной нонче сделался. Только что слюна не текет, а глаза все мутные и без разума. Не слышишь ничего.

— Задумался я, Семен. Об своем задумался.

— То-то, об своем. Кажному слышней, как своя кожа саднит. А я тебе про всех. Какого дьявола, мать... наехали эти? Подарки подарками, а сами, знаешь, уговаривать зачнут...

— А ты уговоров не слушай. Сам говоришь, на своей коже слышней. Меня никакими разговорами не возьмут, будет! Печенки все иссохнут, тогда они только захотят отпустить. «Свобода, дорогая свобода!» Им она свобода, а нам что? Чисто перед дураками красным помахают, песни с нами попоют да уедут на свободу радоваться. А мы здесь кровь проливай. Не согласен я.

— Тебе-то легче, ты не в рядах. И ходишь вон без винтовки, не надо убивать, самому на смерть лезть. И когда нет сраженья, разгуливаешь, куда захотел. А нас без разрешенья...

— То-то вы больно теперь разрешенья спрашиваете. Ну, вот про то и говорю. И дальше нечего спрашиваться. Не будем воевать, и вся! На других местах побратались с неприятелем накрепко, никак не идут воевать, десятками уходят домой. А у нас хлипкие тут подобрались. Гомозят, а потом «чего изволите». А про мою работу... Она тоже мутна для души. Не зверь я, устал глядеть, как мясо рвут.

— Гляди, выходят. В окопы, значит. С подарками. Вот, твой-то, гладкий черт, с сестрицами ухмыляется. Все равно, что старого режиму, что эти... блудить все охочи! И диво бы испостились, как мы, а то от баб прискали и тут норовят... Пойдем скорей. Не могу я глядеть, как бабы с мужиками смеются. Прямо...

Со двора госпиталя Виктора позвал старший доктор. Он повернулся нехотя. Подошел только, когда приезжие вышли со двора. На ходу Юрий Александрович улыбнулся Виктору, крикнул:

— После митинга побеседуем.

И рукой приветственно помахал.

Отчетливо приятным своим голосом Юрий Александрович сообщал идущим с ним:

— Подарками товарищи солдаты, надеюсь, останутся довольны. От рабочих Петрограда они получат действительно нужные и хорошие вещи. Это при старом режиме присылали, как ребятишкам, двадцатикопеечные гармошки. Рабочие Петрограда прислали братьям-солдатам дорогие гармони, балалайки, бритвы, машинки для стрижки волос, хорошие перочинные ножи, белье в комплектах...

Виктор подумал:

«Рабочие Петрограда». Су-укин сын! И тут наловчился, каким словом для нас побожиться следует. Ну и хлюст!»

Доктор спросил Виктора:

— Этот врач ваш хороший знакомый?

Виктор злобно и громко отозвался:

— Очень хороший знакомый. На том познакомились, что нагадил мне хорошо. Чуть отчистился. Все вы теперь нам хорошие знакомые сделались. Еще...

Доктор негромко и спокойно оборвал:

— Не грубите мне, Кандырин. Я этого не заслужил.

— Ну, другие, вашего же сословия, старались. Только будет, в обиду больше не дадимся... Зачем вы меня звали?

— Там Лепехин звал вас. А у меня было мысль одна была... Но вы, кажется, не захотите мне помочь?

Виктор, глядя сердитыми глазами в упор на доктора, сказал:

— Я от дела еще не отказывался, и вы меня еще для своего удовольствия работать не заставляли.

— Разумеется, не для меня. Ночью пойдемте со мной... Секретно надо. После митинга условимся.

Увидев оживившийся Викторов взгляд, суховато разуверил:

— Это не касается политики. О человеческом физическом здоровье хлопочу. Я — врач телесный.

Виктор мотнул головой и вошел в нижний этаж дома.

Внизу пятнадцать коек поставлены были почти вплотную. В комнате стоял нестерпимо зловонный запах гнию-

щего мяса и человечьего кала. Плечистый, лобастый Лепехин лежал на крайней койке вниз животом. Когда он стрелял, лежа в поле, вражеская пуля попала ему между лопаток, прошла вдоль спины, разворотила, не повредив хребта, все покровы в кровавую кашу. Он мучился стойко. Не умер. Даже поправлялся, но малейшее движение причиняло ему сильную боль. Оттого он говорил с искривленным лицом:

— Браток, милый, унесите вы его на волю. Пущай на дворе лежит. Дождик будет, внесете. Дыхать нечем. А теперь еще опять обклался:

Виктор знал, что он говорит о солдате, протушившем зловоньем поруганного увечьем тела всю комнату. Покачал головой:

— Что же делать с ним? Не прирежешь небось, хоть здоровых резал, убивал. Куда денешь? Он сам сюда со двора запросился. Тоскует, скоро помрет, потерпите. Приберу его сейчас.

Он стал пробираться к окну, где лежал зловонный больной. В комнату вдруг ворвались торжественные звуки «Марсельезы». Военный оркестр приветствовал прибывших гостей. Заглушая музыку, седой солдат хрипло кричал высокой женщине с красным крестом на груди:

— Сестрица... меня! Не могу больше! Смерть моя... но... меня!

Сестра, ласково оправляя сбившееся одеяло, уговаривала:

— Сам помочишься, потерпи, ничего сейчас сделать нельзя.

И с тоской посмотрела в окно. Ей шел двадцать третий год. Приехавшие из города привезли сестрам духи и конфеты, осколочки нарядной, чистой жизни. Хотелось идти сейчас с этими свежими людьми к лесу, смеяться, отдышаться от кала, мочи, от разговоров о них. Но она была честна и деловита. Помочь не могла, все же стояла около кровати человека с поврежденным мочевым пузырем, страстно твердившего просьбу о моче, как молитву.

Вошел доктор и сказал ей:

— Идите на воздух! Отдышитесь. Сейчас унесем Долженкова во двор.

Крепко стиснув зубы, Виктор подошел к Долженкову, лежавшему у самого окна. Синеглазый, русоволосый красавец-славянин, с кудрявой золотистой бородой, взгля-

нул на него и заплакал. С тяжелым мужским всхлипыванием, через голову склонившегося над койкой Виктора, он крикнул:

— Господин доктор, убейте меня! Господин доктор, богом заклинаю, пожалейте, дайте помереть! Дайте выпить ядовитости какой! Доктор, уморите меня! Не грех, сам у бога за вас вымолю. Гребуют мной все. До пояса сгнил, а не помираю. А на дворе один боюсь лежать! И в избе другой, в пустой, боюсь. Погляжу, селенье-то пусто... Ох, могила! Убейте меня, чтоб сразу кончиться.

Долженкова засыпало по пояс обвалом взорванной земли. Мясо на костях до пояса отгнивало. Удушливый запах шел от него. Койка его стояла во дворе. Но вид разбитого селенья, изб с пробитыми, сорванными и обгорелыми кровлями, торчками уцелевших прочернелых труб — вселял в него смертельную тоску. Он кричал и просился к людям. Виктор возился около него спокойно. Привык за два года на фронте. Но когда выносили кровать с Долженковым и, будто навстречу ему, снова грянула торжественная «Марсельеза», он обозлился до боли в сердце. Сказал санитарам и доктору:

— Балалайки, гармонии навезли, сволочи, а больных хоть отсюда вывозить вовремя не наладят дела. Об их башку следует их гармони...

Доктор предостерегающе прикрикнул:

— Товарищ Кандырин, не распускай язык!

Санитары засмеялись. Долженков зарыдал тяжелым, мужским, ломким рыданьем.

— Теперь пойдемте, Кандырин, в офицерское отделение,— позвал доктор.

— Не пойду. Ну их к чертям, пускай дохнут.

Доктор оглянулся по сторонам.

— Скверно, Кандырин, очень скверно. Там такие же тяжелобольные лежат.

— Ну и пускай дохнут. Пожили хорошо, пусть хоть дохнут, как мы.

— А сколько их полегло?

— Полегли, да в чести, не в безвестности. Не пойду. Ничего не буду больше сегодня работать. Ухожу.

Верстах в двух от госпиталя, на опушке рослого, ровного, густого леса происходил митинг. Под выступившим на поляну старым дубом был поставлен стол вместо трибуны. Над ним приехавшие гости водрузили красное знамя с надписью: «Только демократическая

республика даст народу землю и волю и рабочим восьмичасовой рабочий день».

Сзади стола, на разостланном ковре, прямо на земле, сидели приехавшие с подарками офицеры и старик, ротный командир. Кругом, лежа, стоя, сидя, примостившись на деревьях, сбилось несколько сот солдат. На столе старался рыжеватый невысокий человек в штатском. Виктор, подходя, услышал только отдельные фразы:

— Самодержавие свергнуто... Народ в Учредительном собрании решит сам... Не будь дисциплины, не было бы и победы!.. Не простым втыканием штыков в землю русский воин добьется мира! И не братаньем, которое предлагает германский генеральный штаб! Товарищи!.. брататься на улицы Берлина с немецкими рабочими... Подвергаете опасности завоевания свободы! Не будет позора... Не почетный мир... Да здравствует!..

Неохотное, немногоголосое «ура» покрыло речь этого оратора. Потом на стол влезали солдаты и офицеры. Виктор сердито кусал усы.

— Ишь прохвосты, все натасканные! Говорят по господскому желанью. Черт с ними! Подожду, никого не будет, начешу сам. Двум смертям не бывать.

Но сразу же вспомнил Лизино письмо, ощутил его даже в кармане, вспомнил о том, что июнь начался жестоким подтягиваньем к ответу всех противников войны и... съежился.

На стол поднялся человек в студенческой форме. Молодым, задорным голосом он громко выкрикнул:

— Товарищи! Революция приказывает идти в наступление!

Из толпы солдат густой бас рявкнул гневно:

- А ты пойдешь?

И сразу рассерженным, еще разрозненным ворчаньем отдельные голоса:

Ага! Да! Сам не хочешь?

Шибко старательный! Только чужой шкурой...

- Революция! Все уши протурыкали этой революцией! А нам — что до ее, что после. Страдай по-старому.

Какое может быть наступление! Нам желательно мир!

Мир без аннексий и контрибуций!

Будет! Похлебали нашей кровушки!

Социал-демократическая партия большевиков желает мир.

— Мы поддерживаем. Пускай капиталисты воюют...

Крики взлетали из глубины. Передние испуганно озирались. Некоторые из солдат смеялись. Рослый, гвардейского вида солдат, стоявший у стола, поправил «Георгия» на груди и крикнул властно:

— Смутьянов не слушайте! Развал армии хочут! Не допустим!

Ободренный им студент начал снова:

— Революция в опасности! За свободу...

Снова раскатистый бас откуда-то сзади речь студента пресек:

— Буржуй! Кого слухаем?

— На морду его погляди! По морде видать, для кого старается!

— Переодетый офицер! Им ладно, хозяевали! На старое обертывают!

Ворчанье развертывалось в рев. Выкрикивали уже сразу несколько голосов. Щуплый, малорослый парень, в защитной форме, военный писарек, приехавший вместе с гостями, по знакомству с шофером, просунулся вперед. Его случайным напором вытолкнули поднявшиеся в смятении из-за стола. Он всю войну работал в тылу. На фронт попал первый раз и сейчас очень испугался. Посинел и съежился.

Плечистый, хмурого вида, темнолицый солдат издали разглядел его. Пробрался к нему по рядам. Сзади неожиданно подхватил его под мышки и высоко приподнял на руках. Рявкнул решительно и строго:

— Вот, поглядите, до чего человека войной довели. Образу человечьего не осталось. Ни мяса, ни весу. Со всем потрохом полфунта.

— Да! Вот! Поглядите-ка!

— И всех до этого доведут! Начисто измучился народ!

Щуплый малый сперва покраснел, потом посинел, хотел что-то сказать:

— Това...

От перепуга захлебнулся словом и только сердито задрыгал ногами, вырываясь из дюжих рук. Плечистый солдат неторопливо и осторожно спустил его на землю. Писарек обиженно поддернул штаны и юркнул в толпу.

— Документ у этого студента проверить!

— Узнаем, какой он студент! Офицер!

Студент, смешно быстро вертя курчавой головой, оглянулся во все стороны и неловко слез со стола. Проводили

его дружным смехом. Дрожащими руками он вынимал из кармана удостоверение, свои документы.

На стол влез узкогрудый оратор в мешкотном пиджаке. Он начал убедительно:

— Товарищи! Я — рабочий. Если желаете, посмотрите документ. Вот он у меня в руках.

Враждебные возгласы стали стихать. Неяркими словами, спокойно-будничным тоном он сообщил, что в одном полку им удалось спасти офицеров от самосуда.

— Это значит, хотели они восстановить буржуазный произвол. Мы их разговорили! Настоящую кровопролитную войну должны вы покончить вместе с офицерами...

Говорил он просто, будто дома у себя разговаривал. Только погромче. Его слушали довольно терпеливо, с легким недобрым говорком. Но когда он сказал, вяло вытягивая слабосильную шею:

— Большевики вас смущают из нехороших корыстных расчетов...— говорок перешел в нарастающее сердитое урчанье и прорвался в нем басистый окрик:

— Долой! Меньшевик! Это нанятой!..

Несогласные с оратором затоптались, заропотали шумней.

По рядам задвигались в глубину с десяток солдат. Они озирались по сторонам настороженно, останавливались то в одном, то в другом месте. Семка шепнул Виктору:

— Придержись. Керенского сволота заелозила.

Виктор досадливо отодвинул его плечом. Всем телом подался вперед. На столе стоял Юрий Александрович. Широко, уверенно он начал:

Товарищи, посмотрите на мою форму. Она свидетельствует о том, что и я с вами вместе делю боевую страду. Это дает мне право назвать вас, дорогие граждане солдаты, дает право назвать вас «товарищи». Долой войну! И в моем сердце, и в сердцах всех, кто с нами, живет, стоит этот крик. Но, товарищи, долг перед родиной, перед прекрасной, могучей нашей матерью-отчизной, сбросившей многовековой гнет самодержавья, проклятого, всяческого насилья, этот долг обязывает священный крик держать крепко запертым в сердце. Это трудно, это почти непереносно, но мы его сдерживаем! Мы дадим ему волю. Вместе с вами мы восторженно закричим: «Долой войну!» — но только тогда, когда у ядовитой

змеи вырвем ее жало. Сейчас, когда бронированный кулак занесен уж не над старой царской Россией, а над нашей освобожденной, над самой новорожденной свободой, мы не можем кричать: «Долой войну». Свергнув трехсотлетнее бремя, свергнув свое самодержавие, мы не можем принять его на свои плечи снова. Мы не можем допустить, чтобы иноземный враг пришел самодержавно попирать наши поля. Мы не можем допустить, чтобы он пришел и забрал землю у земледельца, только что услышавшего радостную весть: «Земля — твоя. Ты кропишь ее своим потом, поднимаешь твоей натугой, она — твоя». И после этой вести как возможно допустить иноземца отнимать эту землю, забирать жатву. А враг жесток и жаден. Побежденные для него рабы. К ним он не знает пощады. Победительница — Германия попрет все священные для нас законы новой, свободной России. У хлеборобов германцы отнимут землю, завладеют нашими фабриками и заводами. Освобожденный рабочий, как раб, будет притянут к тягчайшему труду. Он, чужеземный данник, должен будет восполнить все убытки Германии своим трудом. Да разве вы не слышали, товарищи, разве вам неизвестно, как расправляются культурные германцы с побежденными? Они попирают все божеские и человеческие законы. Они разорят ваши дома, осквернят вашу семью. Заберут ваших жен... Позор! Величайший позор!

Молодой дерзкий голос взвился из солдатских рядов:

— Не позор, а просим!

Но его поддержал уж тихонький, разрозненный, неуверенный шумок. Юрий Александрович со спокойной властностью его пресек и перешиб, чуть возвысив голос:

— Нет, позор! Каждый из вас, кто не захочет, чтоб рабами притащила вас Германия на свои поля, поймет и не заклеймит себя несмываемым пятном черной измены... Россия сейчас подъята над всем миром, указывает народам дорогу, как путеводная звезда...

Знакомый, уверенный, как хозяйский кнут, голос терзал Виктора. В нем поднялась такая огромная ненависть, что на миг горло склещило от взволнованного дыханья. Как тогда, четыре года назад, стоял он перед этим барином вот таким же изничтоженным, жалким. Только тогда один, а теперь несколько сот человек молчат, ему повинуются. Их тоже забрал под себя спокойной уверенностью, что будет именно так, а не иначе. И сам он, Виктор, ни разу в жизни не усомнился, не подумал, что

когда-нибудь Юрий Александрович Лугинин может быть неправ. Образованные хорошо знают свою линию и умеют других гнуть по ней, а вот они, нижнее сословие, все — как бараны под пастухом. И слов для своей правды нехватка. Э-эх! Одолев дыханье и хрипоту. Виктор крикнул громко и страстно:

— Долой! Долой этого буржуя!

Но уже поздно. Крик его потонул в многоголосом «ура». Последнее, что Виктор видел: командир полка троекратно целовал Юрия Александровича. Семка утащил Виктора под деревья.

— Не гомозись! Так поверили, что свобода свободой, а вздрючат за мое-мое. Я увидал, наши фараоны, полиция-то бывшая, на тебя поглядывала. А я из их двоих знаю. Нам говорят: отмоем позор прежнего перед вами, товарищи: с вами жить и помереть. И офицерам то же, отмоем позор, сражаться насмерть. Отмывают, отмывают, да нам же хари и намоют.

— Семка, я его убью!

— Дурак! Ладно в санитарах спасался, рука не затомилась убивать. Чем этих говорильщиков убивать...

— Убью! Не навык, не убивал, глаз убиенных боюсь, коли даже не я убил,— а этого убью. Сволочь, нашим мясом, нашими костями легкую жизнь себе добывает. Привести бы к Долженкову, пхнуть гладкой рожей в гноище его вонючее...

— Пхнешь, как раз. Он сам нами пхается, до долженковского концу допхается. Слыхали, солдаты орали: наступать желаем.

— Семка, трясет меня. Офицеров этих одних в наступление выгнать. Пущай идут за свободу, а нам какая свобода, коли опять здесь гнить.

Они сами пойдут, наши офицеры-то. Ихо дело здесь сидок. Мы их притоптали. Все одно им пропадать. Тыловики орудуют. Энтих надо доставать. Да не здесь, дурак! Чего ты один сделаешь?

Допоздна Семка с ним в лесу пролежал. Разговаривал. Снимал его грусть и тоску. И Виктор отошел. Обнял Семена рукой за плечи.

Первый друг ты, до гроба товарищ. На войне только так сдружить можно. Сердце напалится, а уж его отмягчит кто, так это друг, незабываемый до смерти. Спасибо, Сема, спасибо, дружок, брат мой названый.

Семка просмеялся конфузливым, коротким смешком. Потом сказал вдруг:

— Давай крестами поменяемся.

И со строгим лицом поднялся с земли. Оба, молча, сняли кресты, взялись за руки, крепко поцеловались. Виктор надел Семену на шею свой крест. Тот начал надевать Виктору и оборвал гайтан.

— Не ладно, Виктошка. Не на подмогу тебе мой крест.

— Ничего, сам тогда подмоги. Дай-ка узелок завяжу.

Они еще раз крепко поцеловались и пошли из леса в разные стороны. Семен в окопы, Виктор по дороге к госпиталю. В госпиталь пришел уж совсем усмиренный и ласковый. Благостная прохладная темнота припокоила прокаленную июньским зноем и пакостью избиений землю. Разоренное селение и обеспложенное поле принакрылись завесой ночи. В отдалении широким раскатом разливалась душевная, протяжная песня. А совсем близко, под лихой зазыв гармошки, слышались подтопыванье и вскрики плясунов.

— Чисто у себя в деревне. И не подумаешь, что за лесом, всего за три версты, вражьи норы.

Виктор вздохнул. Присел у разбитой избы и задумался.

Из темноты выдвинулся невысокий, подвижной человечек. Виктор встрепенулся. Сказал:

— Я слушаю. Вот-вот запалят. Что-то долго молчат.

— Не запалят, все ждут, когда русские солдаты разбегутся. Мне говорили, что этого ждут. Тебя, Кандырин, доктор искал.

Приподняв ручной фонарь в уровень с лицом, подмигнул Виктору. Понял его подмигиванье только тогда, когда доктор объяснил, куда идти собираются.

— Понимаешь, Кандырин. Каждый день больше десятка свежих венериков приходят. Надо найти, кто это здесь поблизости их награждает. Так будет продолжаться, не одну роту эти бабы испортят.

Виктор покачал головой, усмехнулся с горечью и спросил:

— А как же искать?

Доктор кивнул головой на юркого низкорослого солдата:

— Вот он вынюхал. Знает, куда вести.

Пошли с ними еще три солдата. С винтовками. Санитары и доктор взяли револьверы. Надвинули на лоб сол-

шатские бескозырки. Доктор оделся во все солдатское. По лесу шли, тихонько переговаривались. В лесу смолкли совсем. Крались по кустарникам. Привел их юркий солдат к заброшенной маленькой сторожке. На небе уж скупова-то, часто кутаясь в облака, светила луна. У избушки топта-лись человек двенадцать солдат. Трое сидели на корточ-ках, курили, жадно затягиваясь. Другие тихо и сердито переговаривались. Увидев их приближение, стоявший у двери солдат, в рубахе без пояса, сказал негромко, но сердито:

— Обожди сзаду! И так черед долгий.

Доктор подошел сразу к двери. В окошечко у двери при свете пятилинейной лампочки видна была укутанная чер-ным платком голова, из-под платка свисали седые пряди. Доктор тихонько спросил юркого своего проводника:

— Неужели эта старая ведьма?

— Это мать, деньги собирает. А занимается дочь.

Доктор решительно взялся за скобу двери. Сзади на-сел на плечи солдат:

— Ты куда без череду? Больно ласковый. Я те!

И осекся. Узнал доктора. Загалдели было и другие. Но Кандырин цыкнул и подошел рассказать, в чем дело. Доктор рванул дверь.

Старуха, сидевшая на обрубке дерева под окошечком, вытянула шею, вгляделась слезящимися глазами в крас-ных веках и протянула руку с нерусским бормотаньем. Двое ворочались на полу, на сене. Мужчину доктор толк-нул ногой. Он вскочил с громким ругательством и потя-нулся опять к полу. Виктор с силой отбросил его за плечи. Женщина осталась лежать в бесстыдной позе. Тело ее с полузакрытыми глазами было покрыто мелкими синими пота и до синевы бледно. У доктора задрожала челюсть. Он сказал невнятно:

— Помогите ей подняться.

Когда молодую уводили, старуха махала руками, тряс-ла головой и, ощерив рот, что-то выкрикивала с хриплым матом, похожим на лай одряхлевшей собаки.

Доктор спросил безнадежно:

— Как же это так, братцы? Ведь она так очевидно боль-ная.

За всех ответил низкорослый юркий солдат-проводник:

— Эх, господин доктор. Когда голоден, какой угодно плесневелый кусок хлеба сглотнешь. И блевотину с ним проглотишь, ничего.

И угрюмый голос сзади подтвердил:

— Офицеры, знать, почистей находят, с сестрицами которыми поживутся, а нам — падаль ладно. Дома и мы хоть чернокостыми, да людьми были. А здесь — зверей зверя.

Виктор, все время молчавший, вдруг выкрикнул:

— Пока весь народ не погноят, по домам не отпустят. А заразных-то сколько на деревню назад пришлют!

Голос сзади снова сказал:

— Естества, она такая... Много годов не стерпишь. И рад бы без греху, да...

Женщина от изнеможенья чуть шла. Не плакала. Ей было все равно, что будет. Только бы добраться до конца пути и лечь. Когда выбирались из чащи к торной тропинке, фонари осветили примятую заросль. В кустах в сером измятом и порванном тряпье лежал труп девочки с остекленевшими глазами. Молча прошли мимо. У Виктора снова от гнева в виски застучала кровь. За войну привык ко многому, но такую женщину и такой страстотерпческий грех видел впервые. Его мутило. А тошнота отзывалась в сердце. Когда подходили к линии вторых окопов, их догнал молодой доктор.

— Это вы? Откуда? Это что за женщина? А кстати, товарищ Кандырин, тебя искал Юрий Александрович Лугинин. Он...

Виктор резко перебил:

— Не тебя, а вас. Добровольно разрешал по привычке тыкать, а теперь... хватит. Где он, Лугинин-то?

— Какая муха укусила? Я думаю, давно известно, что я по-товарищески «ты» говорю. Не понимаю, что с Кандыриным сделалось?

Местоимений явно избегал.

— Юрий Александрович на реке с офицерами и ротным командиром. Остальные гости там же. Солдаты с ними долго беседовали и поодиночке и группами. Они остались ночевать. Очень хорошее впечатление на всех товарищей солдат гости эти произвели. Знаете, к нам еще гости, свои, по соседству приехали.

Не сказав никому ни слова, Кандырин повернул назад. К реке он прошел не сразу. Ходом сообщения пробрался в окопы. Направлялся было к Семену, но раздумал. Из окопов вышел с тремя солдатами. Сдерживая густой бас, один из них рассказывал:

— Наши офицеры им показывают на реке, как ручные

бомбы взрывают. Сестры милосердия там. Ты к ему подойди, позови побеседовать, а сам пяться, пяться, заведи, проучим. Нет, так бы позвать, чтоб не знали, что ты. Давай подкараулим...

— Нет, по-другому не выйдет. Я зазову.

— Убивать не станем, только штаны спустим, да... отшибем, долго языком не будет болтать, народ одурять.

— Ладно.

От реки гуляющие уже возвращались. Шли на ночлег, к позиции. Лугинин громко смеялся. Он поддерживал под руку молоденькую красивую сестру милосердия. Трое солдат затаились за деревьями. Лугинин усмешливым голосом, чуть фатовато, рассказывал:

— Ну, приютил я этих трех беженок у себя на квартире. Что ж, человек одинокий, места в квартире много. Приютил и попал в переделку. Все три, как нарочно, прехорошенькие, и каждая в своем роде. И все с темпераментом, оч-чень ревнивые...

Виктор пошел навстречу Лугинину. Ласково, отводя в сторону глаза, как раньше с ним говорил, сказал:

— Вы искали меня, Юрий Александрович? Я со старшим доктором по делу отлучался.

— А, Виктор. Простите меня, Наталья Алексеевна, на минутку. Побеседовать мне с тобой хотелось. Да вот, уж час поздний...

— Ничего, Юрий Александрович. Когда еще бог приведет свидеться. Недолго, вот погуляем здесь. Расспросить вас хочу.

— И мне с тобой поговорить надо. Я надеюсь, что на тебя, как и на других, сумею разумным словом воздействовать. Говорят, большевичишь ты.

— Я все вам расскажу, пойдемте к сторонке немножко. По душе хочу поговорить.

Холеная рука держала Виктора под локоть. Но Виктор знал, что Лугинин слышит тяжелый запах потеющих его ног, несвежей одежды и, держась рукой, все же выступает поодаль. Виктор весь трепетал от ненависти и ожившей давнишней обиды.

— Ну, куда мы пойдем? Вот, постоим, поговорим.

— Нет, чтобы не глядели. Неловко, стесняюсь я. Да вы что, меня боитесь, что ли?

— Ну, мне бояться нечего. Во-первых, при мне всегда оружие. А во-вторых... Я сейчас, господа... Товарищи. Сейчас вернусь.

Но едва он подошел близко к развесистым ветлам, его схватили сильные руки. Басистый солдат закрыл ему рот солдатской бескозыркой. Не успел крикнуть. Его утащили в темноту.

Лугинин не вернулся. Искали его долго, но только к полудню следующего дня нашли тело в лесном овражке.

Сразу загалдели, что с Кандыриным уходил. Но Виктор как ушел с Юрием Александровичем за деревья, так и пропал. Больше его ни в госпитале, ни в окрестных местах не видели.

V

Над городом, деревянным, разбросанным, неряшливым и серым, властвовал белостенный каменный монастырь. Жирное его благоленье издавна прославляло окрест добродетель благочестивых горожан. Длинная цепь поколений ревностно поддерживала эту славу. Мукомолы и владельцы салотопенных заводов отливали могутные колокола. Кожевники и красолы привозили из столиц тяжелые, блистающие ризы для духовенства. Винокуры и маслоделы обновляли и добавляли грузное золото иконостасов, блеск куполов, снабжали две монастырских церкви вином и елеем. Беднота городских окраин, мастеровщина, рабочие винокуренного, кожевенного, кирпичного заводов, бойни ставили в несчастье толстые свечи, в благодарности — желтенькие, хлипкие, возжигали жаркий богов· свет.

К монастырской ограде вплотную приподнился двухэтажный, в двадцать восемь комнат, архиерейский дом. Тихие просторные покои епископа молитвенно и безмятежно высились среди сада, во всем городе единственно пышно взращенного умелыми иноземцами-садоводами.

Под сенью монастыря, раздобревшего в величавой сытости, и благочестиво мертвого епископского дома грузный сырьем и снедью город, в скрещенье двух больших железнодорожных путей, жил неторопливо, глухо, в очевидном благочестии. Торговали без суетливости целыми гуртами скота и поездами сырья. В единственном кафешантане за городом и в домах под красными фонарями на дальних улицах состоятельные горожане ценили дебелых, спокойно уважительных девиц. Зеркала и посуду разбивали только при заключении очень крупных сделок. Купцы выезжали буйствовать на Нижегородскую и Ирбитскую ярмарки. Народный дом и коммерческий клуб

в будние дни пустовали. Оживали в святки и двунадесятые праздники. Три больших кинематографа крутили картины спозаранку и не допоздна.

Летом народ потощей и помоложе еще загуливался в городском саду под нестройный, гремучий оркестр. Зимами запазднивались только на свадебных гуляньях. В именины, крестины и новоселье справлялись с гостеваньем до полуночи. И не позднее десяти вечерних часов в домах погасали огни. На мягких, жарких, нечистоплотных постелях шевелился в сопенье, всхрапыванье, почесыванье и случайном ночном бормотанье сон. Утробный, как и прожитая явь дня. За цветистыми обоями пробуждались клопы. В щедрых кусками-объедками кухнях полчища тараканов. Людей не встревоживали они. У кухарки мукомола Юрахина тараканы до болячек изъели шею и лицо. Не проснулась, лишь утром на это посетовала. Нарушало сон человечий временами только постельное любовное бденье. Но свершалось оно деловито, во славу неустанного плодородья, без ласк, упоений и ненужных слов. Блудливые, вороватые внебрачные свиданья вершились без озорства и дерзости греха в темноте углов и закоулков. Зачатые в ночи родились, чтобы быть в такой же беззвучной от вязкой сытности жизни.

Город разбросался без раздумья на большом пространстве. Короткие, широкие его улицы похожи на маленькие площади. Две обширных площади — на унылые, истоптанные выгоны. Без единого деревца, без строений, без памятников. И только третья, близ монастыря, оживлялась базарными лавчонками и дневной суетой торга.

Только за этими площадями иногда по ночам взвивался пьяный от вина или жути человечий голос. Звал надрывно и тщетно:

— Эй! Хто живой... гите!..

Его заглушала не подоспевшая помощь, а галдеж перебранки, драки или редкого разбойного нападенья. Но и крик и галдеж, как мгновенно возникали во тьме, так же скоро и сглыхали. Черные летом или белые зимой улицы, редко прерываемые подслеповато мигающими фонарями, тонули снова в непреоборимой глухоте.

Это безрадостным кратким буйством напоминали о себе благополучному городу его окраины.

Были в городе городская и уездная земская управы. Под их попеченьем — школы, народные чтения, лекции, библиотека и больница. Жили врачи, учителя, адвокаты,

судьи, агрономы, ветеринары, два библиотекаря и наезжие лектора. Они барахтались в густом хлебове жизненного установа мукомолов, прасолов, винокуров и маслоделов, как кутята, брошенные в сонную реку. Трепыхались в разговорах, сетованьях, книжных речах, попойках, тягучих прелюбодеяниях и захлебывались крепкой городской сонью. Оттого, когда по всей стране разлилась — словами, восклицаньями, резолюциями, красными флагами, новыми песнями, комитетами, советами депутатов, многоглагольными собраньями, листовками, программами — революция, город не забурлил, а прошевелился медлительно. Оказалось в нем налицо всего пять ораторов на все случаи. Имена их быстро стали известны всем городским мальчишкам, как прежде имена богатейших купцов. С красными флагами в шествиях походили рассудительные люди, почище одетые. Попетушилась около ораторов спрыснутая оживленьем и непритворным восторгом интеллигенция. Мастеровщина смотрела на процессии и митинги, лузгая смачно семечки. Солдаты из казарм выползали с позевотой, слушали и смотрели больше скучливо.

Горячая каша заварилась для горожан неожиданно и в нечаянном месте, в январе года тысяча девятьсот восемнадцатого. На митингах уже объявлялись первые разговорчивые большевики. Но их забивал в нет первый городской оратор партии народной свободы, адвокат Цветков. Он уговаривал «противостоять» далеким Петрограду и Москве. Горожане дружно ему хлопали в ладоши, ободряли приветственными восклицаниями. Других партий ораторы тоже собирали свои хлопки, но пожиже. А большевикам часто свистели и смеялись в ответ. Только изредка из задних стоячих рядов вырывался одинокий возглас:

— Правильно. Поддерживаем.

И сникал.

Вдруг, в один субботний, банный день в городских банях произошла перепалка из-за различья политических убеждений. Народа набралось в самой вместительной бане в тот день очень много. Ожидающие своей очереди плотно сидели в полутемном закоулистом коридоре на скамьях, деревянных диванах и прямо на полу с узелками и вениками в руках. Благообразный, на святого угодника лицом схожий, базарный торговец Иван Антипович начал адвоката Цветкова выхвалять:

— Совершенно правильно, к месту все постановляет на каждой митинге. И дает же бог эдакий дар изреченья

человеку. Я до политики весьма охотен. В газетах еще в старой Государственной думе речи ораторов читывал. Но прямо, без малейшей кривизны в совести, скажу: таких там не было. Драгоценный на изложенье политического порядка человек. Дай ему бог здоровья, министром будет. Много похлеще Керенского он, на мой вкус.

Сидевший на полу солдат в надвинутой на глаза свалявшейся папахе угрюмо пробубнил:

— Министров твоих кошки съели. А Керенскому солдаты под ... дали. Пожалуй, сиди тут, рассахаривай.

Иван Антипович горестно взмахнул веником:

— Вот такие неразумные родины предатели войну-то швахают. Немцу под бронированный кулак норовят. Какие же это служивые солдаты? Где бы порядок утверждать, по дисциплине, государству спокойствие блюсти, он поди с фронту без всякого отпуску удрал. А может быть, еще на Учредительное собрание посягнул, в разгоне в том...

Солдат вскочил с пола.

— Учредильня-говорильня... Псу ее под хвост, твою учредильню, с тобой вместе. Войну ты где просидел? Не токмо что кровь не проливал, а чать, не поубыточился. А нам, которые в окопах, указываешь?

Звонкий женский голос солдата поддержал:

— Какие убытки? Нажился, лысый черт. Дипломат меховой плюшевый бабе справил. Я к ихому дому близко живу. Мамоньки! У людей того-сего, ничего нету, а у их чай внакладку каждый день...

Тоже веником замахала, завозилась в ближнем углу. Чернобородый степенный мужик в поддевке Ивана Антиповича защитил:

— Ну, погляди, какой озорник народ пошел. И в чашку с чаем заглянет, сколь кусков сахару наклал. Покель не стаял, дак и сахар тот уворует, не замедлит... Наловчится, право. Вор — народ пошел.

Иван Антипович покачал головой, языком сожалительно прищелкнул:

— Вор и суеслов. Разумных речей в мозги не воспринимает, а с ветру собирает шалые слова, об порядке нерачительные.

Солдат поближе, погрозней придвинулся.

— А ты, рачитель, шибко-то не растопыривайся. Отошло наше время людями помыкать. Над солдатами нонче не нанесись. Каждый знает, кто кровь проливал.

У Ивана Антиповича слабоватый голос злей, повизгливей стал.

— А ты уйди, уйди, не надвигайся. Проливал ты тоже, пожалуй, кровь... Только из носу, за хорошее дело разбил его тебе кто-нибудь. После военной страсти-геройства народ умный должен приходить. А ты вон какой охальник. Уйди!

На скамьях, на полу и на диванах завозились разгорячившиеся слушатели перебранки.

— Иван Антипович, а ты с им не связывайся. Хорошему человеку с ими вязаться, враз по морде звезданет.

— Ну да, звезданул один эдакий. Милицейский-то хуть хилявый нонешний, никуды перед настоящей полицией, а все которых фулиганов заберет.

— На военном солдате обрыбится. Солдат нонче строгий стал. Милицейский не над им поставлен.

— А это какой тебе военный? От фронту шляющий. Документ проверят, очень просто, и взад на фронт отправят.

— Это хто шляющий? Ты про кого, шелудивый пес, намекаешь? А? Ребята, нашего обижают. Тыловая сволота нашего забижает.

— Господа граждане, вы здесь завирухи не затевайте. Это не полагается. Драться выходите на улицу, а то на нас протокол составят. Зашумели, не слыхать, который по счету черед выкликают.

Баба снова громко затараторила:

— Мы-то слышим, слышим, которому черед. А ты ухи-то не зажимай. Антипыча небось без череду за пятак норовишь? Не пустим! Будет, попускали без череду этих с пятаками-то припасными. Я те нынче-то морду веником исхлещу, коль на мой черед богатей кого пустишь.

Иван Антипович сплюнул.

— Ну, до чего же народ изгадился! Ты им разумно разъясняешь, они хлестаться веником грозят. Как же можно таким людям без твердой власти в государстве быть?

Чернобородый поддержал:

— Нельзя без твердой власти. Демократическая, советская, чертецкая республика какая-то. А солдаты заместо того, чтобы за отечество геройствовать, с вениками хлестаться только могут.

— Социал-революционеры, по-моему, вот правильно

рассуждают. Земля трудящему, а солдат обязан ту землю застаивать.

— Этот еще откуда есер выполз. Митька, я ему по роже съездию.

— Ну, ну... Что ты? Эй, хозяин, они дерутся. Солдаты безобразят.

— А чего на их глядеть, право!

— На фронте вшивели, тут еще череду отмыться не дождешь.

— Они еще наставляют. Вот этому оратору. Ну-ка, я тебя попарю.

— Ай, батюшки, куда вы? Меня-то задавите!

— Сучий сын, стой, глаза выхлещешь. Хозяин! Хозяин! Милиция!

— Вот тебе, вот тебе от солдатского веничку. А вот под ребро припарочка.

— Я те кулаком сдану, кишки выпустишь.

— Бей, ребята, ксплуататоров.

В коридоре послышались взвизги, брань, смех, сплошной говор. Солдаты больно не били, просто озорничали. Хлестали вениками, подталкивали в бока и спины кулаками. Иван Антипович с чернобородым яростно отмахивались руками, пинали ногами. Единомышленники пытались из-под натиска их вызволить. В свалке опрокинули столик с водой, надавили спинами на банную кассу. Молодой голос шум покрыл:

— Да здравствует Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов!

Настоящая драка началась, когда вывалились с шумом, под напором хозяина с милицией, на улицу. От бани на других улицах отголосками отозвалось. На кожевенном заводе взбушевали рабочие. Наутро начали распоряжаться в городе большевики. Сваи, крепившие многие десятилетья городскую стоялую жизнь, поддались, затрещали. Состоятельным жителям города, старожилам, блюдущим устои прежней жизни его, житье пришло горькое. В дома ежечасно врывалась новая тревога. Иван Антипович совсем исхудал, изменился, боязливый сделался. По ночам мать, жена и старуха-стряпка наблюдали, крепко ли заперты ворота и двери пятистенного домика близ базарной площади. А он никому не верил. Сам ночью раза по три вставал, проверял. Все ему казалось, что дом на расхлебень стоит. Говорил жене, от толщины всегда сонной, неподатливой на тревогу женщине:

— Бог огневался на нас. На храмы скупились жертвовать, молосное по средам и пятницам ели, вот он нас и определил сносить беспокойство ненадежного житья.

Жена, почесывая спину, говорила равнодушно:

— А кто и молосное не ел, все одно на одинаковом с нами житье. Бог даст, пройдет, утихомирится.

Иван Антипович взвизгивал:

— Дура. Захотел бы господь уберечь, в Маньжурию собирались тогда после японской войны, уехали бы. А мы не уехали.

— А чего она, та Маньжурия, может, в ей тоже крутеж горше нашего.

— А, какая ступа медная! Я же по газетам извещен, какой там образ правленья. Богу молиться надо, поститься, грехи отслуживать. А ты, кувалда, чуть рукой мотнешь, спать заваливаешься. Детей-то поди заспала, что все в нежном возрасте померли, и нет защиты нам теперь никакой. Две старухи на руках да ты, десятипудовая. Хоть бы молодой какой дозорил по ночам. Молодые глупы и бесстрашны. От чужого бесстрашья и мне бы полегче стало. Боюсь очень я, до заболеванья сердечного ночами пугаюсь. А чужого нельзя в дом пускать. Свои-то ненадежны, а чужие все друг другу волками стали.

И вымолил он, видно, себе ночными поклонами. Лизонька, племянница двоюродная, нежданно-негаданно из Шадринска приехала. На лишний рот не подосадовал, обрадовался. Только дивился.

— Как же ты, девушка, в такую сумятицу целаневредима добралась?

— Добралась, дядя. Когда шибко приспичит, пожалуй, до самого неба доберешься.

Лизонька совсем переменилась. По волосам да по цвету глаз только узнать можно. Глядит по-иному. Никогда толста не была, а все же помягче раньше. Теперь совсем сухая, голосом твердая. Смеется не как прежде, не заливисто, много реже. Объяснила: отец с простуды скончался. Одной жить страшно показалось. К сестрам в родной город пробраться трудней. Там драка за власть Советскую с юнкерами идет. Про дядю вспомнила. Понадеялась, что не выгонит.

— А выгонишь, здесь одна поселюсь. Места не найду, шитвом заработаю, работы никакой не боюсь. В сиделки в больницу, в банщицы пойду, куда угодно.

Раньше на барышню личиком веселым, нежненьким и старательной, чистой одеждой походила. Теперь погрубела. Одежду кой-какую привезла. А ходит все в одном черном старом платьишке. На место поступать никуда Иван Антипович ей не приказал.

— За нами ходи. С тобой веселей, и поворачиваешься в домашних хлопотах побыстрей старух.

Ожиданий его не обманула. По дому хорошо работала и ночью чутко спала. Только без спроса, без объясненья отлучалась из дома ежедневно куда-то. Хотел было Иван Антипович накричать, выпытать, да радость перешибла гневное намеренье. Большевиков чехи вытеснили. Иван Антипович отдохнул, в лице даже округлел. Часто благодарственные молебны служил. Удача ему пошла. Торговля прибыльней сделалась. Один не управлялся. Хотел было Лизу приспособить, круто отрезала:

— Торговать не хочу. Неволить будете, уйду от вас.

К ней в доме привыкли. Отпускать не захотели. А тут еще стряпка-старуха сковырнулась. С неделю животом помаялась и умерла. Пришлось Ивану Антиповичу мать с собой в лавочку таскать. Хоть стара, да оборотистей жены. А Лиза по хозяйству. Торговля горячей, и дома меньше наблюдать стал. Но все же один раз заприметил: Лиза письмо какое-то читала и щеки у нее жарко рдели. Ногой притопнул, потребовал письмо то показать. Лиза не испугалась, не послушалась. Поглядела, будто спросонок от того, что в яви перед ней, затуманенными глазами. Сказала негромко и просто:

— Не дам.

Настоять не сумел. Покричал только:

— Смотри, если ухажера завела да в подоле в мой дом ублюдка принесешь, со света сживу. Сам тебя в честный брак за хорошего человека пристрою.

И наметил одного. Да за делами собирался слишком долго. Красные войска от Москвы и в здешние места надвинулись. Вспомнил опять Иван Антипович про Маньчжурию. Быстро собрался. Когда учрежденья свои белое начальство эвакуировало, он с женой и матерью тоже за ними вслед выехал. Лиза ему объявила:

— Я останусь. Дом, имущество поберегу.

Он сначала обрадовался. Потом все-таки пожалел девушку.

Насильничают очень большевики. Пропадешь одна, поедем.

И хорошо уговаривал, не согласилась. Потом сам успокоился мыслью, что ненадолго отъезд. Осталась одна хозяйкой в пятистенном домике. Оставшиеся в городе соседи плакали, а она весь вечер в полный голос песни в доме распевала. Хорошо, что отступавшим не до нее было. Жаловаться одна соседка в контрразведку побежала, но никого там уже не нашла.

Понаехали новые люди. Под их напором город скоро оскудел. Многие дома брошенными, бесхозяйственными остались. Те, кто не уехал из не желавших власти красных, затаили в домах весь прежний уклад своих верований, поступков и пониманья. Подходил к концу уж год тысяча девятьсот девятнадцатый, а в городе шли, не сливаясь, две жизни. Одна та, что на виду, на улицах, в учрежденьях, в приказах новой власти. Наверху, как масло на воде. Другая, приглушенная, прочная,— в домах старожилов.

Лиза дома почти не жила. Поступила курьершей в редакцию местной газеты. Скоро коротко остригла волосы, моложавей стала. Но к одежде еще невнимательней, и курить научилась. Домик недолго пустовал.

Вслед за армией приехал в город военный доктор Гребнев. Он и занял горницу. Лиза в кухню жить перешла. Из комнаты в сени отдельный выход есть. Дверь из кухни в комнату наглухо заперли. Получились два жилья: докторово и Лизино.

Каждый свое отдельным замком запирал. Лиза рано уходила на службу. Доктор поздней часа на два вставал. А возвращался всегда после нее, хоть и она с различных собраний за полночь приходила. Женщины из соседних дворов все же болтали меж собой, что Ивана Антиповича племянница не только как соседка, крепче к доктору пристроилась.

— Спарились. Дяде бы написать, порадовался бы на племянницу.

— А что же? Сама в коммунистки записалась, дядино добро не отберут, сберегёт. И от доктора, от коммуниста, тоже поживится.

— Ну, не знай, сколь поживиться успеет. Может, он с ней любовью долго и не будет канителить. По женским болезням лечит, все по женщинам ездит. Приглядит и получше, и поурядливей. К такому-то доктору и здоровые, с капризом, набегают.

А вот гляди, на дом к нему бабы лечиться не ходят. Все-таки Лизка же не допускает, не иначе.

А зачем ему дома стараться? Коммунист ни в чем не нуждается. Зачем ему деньги? А если для своего мужского удовольствия, так и в больнице место найдет. Побоялся он Лизки, как же.

В декабрьский вьюжливый день Лизе занездоровилось. В жар кидало и знобило. На службу не пошла. Доктор за стеной услышал, что Лиза дома. Через сени, без стука и предупрежденья, в кухню вошел.

Был доктор Гребнев высок и широкоплеч. Вьющиеся волосы коротко подстригал, а бороду, темную с рыжинкой, отрастил длинную. От этой бороды и солидных, в золотой оправе, очков казался на первый взгляд совсем немолодым. Но кожа лица без морщин, не заношенная, румянец, внезапно набегающий, и беспокойные глаза его молодили. Трудно было его возраст определить. В разговоре обычно глаза в сторону отводил. Сейчас на Лизу смотрел открыто и прямо. Очки приподнял на лоб. Взгляд его синих глаз кроток, почти искателен.

— Ты что, Лизонька, захворала? Жар, видно, сильный, лицо рдеет. Ах, как же это так. Надо доктора...

Лиза засмеялась, облизнула языком запекшиеся губы и позвала повышенным, неверным, как всегда в жару, голосом:

— Подойди... присядь ко мне поближе... Ты... никуда не торопишься? А?

Гребнев сел на кровать, припал курчавой головой к ее груди, руки Лизины к своему лицу прижал. Быстро выпрямился.

— Руки у тебя накаленные, сухие, сильный жар. И сейчас пришлю к тебе доктора.

— А ты сам не вылечишь? Свою-то боишься сам лечить? Нет, нет, не издеваюсь я. Подожди, посиди со мной. Ах ты, злочась, горюшко мое. Ну, поцелуй покрепче. Очки-то не раздави. Вот здесь они, под рукой у меня. Ну что? Что так горестно уставился? Пройдет. Простудилась немного. Поломает, потомит и отпустит.

Горло не болит? Вздыхать легко можешь? А? Не спирает в груди? Я доктора к тебе пришлю. Не усмехайся эдак, Лиза. Зря растравить, обидеть меня хочешь. И тебя не хуже другого отходить сумею, хоть за тебя мне очень

боязно... Только вижу, что ты опасаешься. Лучше позвать другого.

— Ничего я не опасаюсь. Лучше уж на своем человеке в леченье напортить, чем на чужих пробовать. А я к смерти из-за тебя бесстрашная стала. Забота об тебе жизнь мою шибко горчит.

— Эх, Лиза, сколько переговорили. Не сейчас же опять затевать. Тяжко дышишь, мечешься, а еще хочешь себя горячить. Мне бы только... Живи только на свете, чтобы я знал, что живешь... Больше ничего не стребую... не потребую, да. Только и есть на свете мне один человек дорогой, что ты, Лиза. Горло-то, спрашиваю, не захватило?

— Маленько саднит. Достань полосканья, пройдет. Доктора не зови, пока обождем. Дышится шибко жарко. В носу даже от сухоты палит. Дай пить. Ну, ладно, спасибо. Иди, куда тебе надо. Я полежу.

— Никуда я не пойду сегодня. Только в аптеку. Сейчас уксусом тебя оботру.

Приподняла руку, чтоб махнуть. Но рука упала в изнеможенье. Лиза неловко и трудно задвигалась по кровати. Гребнев посмотрел на нее, изменился в лице и быстро вышел из кухни.

Вернулся он скоро. Больше в тот день из дому не выходил. Мальчишка-курьер принес пакет и повестку. Доктор принял сам и сказался нездоровым.

Ночью Лиза была в сознанье, но дышала трудно, тосковала всем телом, скованным тяжестью и жаром. Гребнев наглухо закрыл ворота, ставни и двери домика. В кухне окна еще Лизиными юбками занавесил и, сняв очки, сел около ее кровати. Перед рассветом сказал глухо, скорее себе, чем для Лизы:

— Сыпняк, я знаю. В больницу не повезу. Сам тебя выхожу, Лиза.

На третий день у Лизы в сгибах рук у локтей и на груди выступила мелкая сыпь. Ее ночи сделались буйны и тягостны. С криком озорным и беспомощным часто срывалась с кровати, все стремилась из дому убежать. Гребнев днем тормошился по службе на людях, ночами взаперти около Лизы. По целым ночам без сна. Дюжую, глуповатую татарку с ближнего двора договорил ходить в его отсутствие за больной. Он похудел, лицо его серое стало, чаще быстрым, нервным движеньем передвигал очки с глаз на лоб и опять на глаза. Он разговаривал со всеми,

кроме Лизы, по-прежнему спокойно, переводил в слова свои мысли с чужого языка. На работе, ни на собраньях, ни в гостях никто не замечал, что ему тягостно и что он утомлен. Только заведующая отделом правовой защиты детей, товарищ Липатова, сказала ему как-то при встрече на улице:

— Что это вы какой бледный? Не больны? Докторам болеть не следует и не к лицу.

Гребнев под очками глаза в сторону отвел.

— Я совершенно здоров. У меня ничего не болит. Я не знаю, почему вам показалось, что я изменился.

Липатова прищурила глаза и засмеялась.

Мне очень нравится, как вы цедите слова. Совсем англичанин, а лицо у вас ужасно русское. Смешное сочетанье. Но ничего, милое. Слушайте, дорогой товарищ, вы давно ко мне в отдел не заглядывали. Вы не забыли, что охрана здоровья детей вам поручена, а?

— Нет, я не забыл. Но знаете ли, я ужасно занят последнее время. Завтра часов в двенадцать дня зайду.

— Вот хорошо. У меня в отделе много вопросов к вам накопилось. Нам вообще надо о детских домах побеседовать. Да вы ко мне, в мою норку, как-нибудь забрели бы. И редко кого к себе приглашаю, но человек пять хороших человечков бывают. Приходите хоть сегодня. Впрочем, сегодня мы в другом месте увидимся, я и забыла. Получили приглашенье на открытие дома отдыха? Ну и отлично. Значит, до вечера.

Крепко, по-мужски, пожала ему руку на прощанье. И рукопожатье это всю дорогу до столовой Гребнев ощущал со смешанным чувством неприязни и удовольствия. Всегда после встречи с Липатовой им овладевало такое чувство. Он не любил этих встреч, но тайно радовался им. Внешним своим обликом Липатова его не влекла. Высокая и узкая, она даже в постоянном своем простом, черном, сатиновом платье казалась манерной. Таким же неопрятным было несвежее тонкогубое лицо, с большими светлыми глазами в прочных кольцах темной синевы, в нимбе ржавых вьющихся волос. Всей поджарой, легкой своей фигурой и привычкой раздувать четко очерченные ноздри она напоминала ему борзую. Порой Гребневу казалось, что всякого, с кем она говорит, Липатова не слушает, а нюхает. Как-то раз ему даже чудная мысль в голову пришла: если кто-нибудь сильно обозлит или рассердит, она может вцепиться в человека мертвой хваткой

и рвать его зубами. Над такой мыслью он сам посмеялся, но ощущенье настороженной неприязни к Липатовой именно после этой мысли укрепилось. В то же время цепкое ее рукопожатье, взгляд ее и даже короткий деловой разговор с ней всегда Гребнева волновали. Похоже на щекотку. Неприятно, а дух, как от радости, захватывает. И около Лизы, в хлопотах около нее, он помнил, что вечером встретится опять с Липатовой, будет говорить с ней.

Лиза стала тише, больше спала, сильно ослабела. Вечером, перед уходом, Гребнев долго смотрел на подурневшее сильно от худобы и серости, широкоскулое женское лицо, с несмыкающимися от томленья и слабости спаленными губами. Выпирающие под одеялом острые Лизины коленки вызвали в нем прилив огромной, чрезмерной нежности. Дышать больно стало. Захотелось поднять изнемогшее тело, взять на руки, прижать к груди, как ребенка, носить долго, без устали, чтоб от ласкового этого укачиванья расправились горестным изгибом сведенные брови, проглянули просветлевшим взглядом тусклые, замутненные глаза, улыбнулись серые, в ошметках, губы. Но даже прикоснуться к ней он не решился, чтобы не обеспокоить. Посмотрел, захлебнулся вздохом и вышел с отяжеленным большой человечьей любовью сердцем. От этой тяжести он как от ощутимого физически за спиной груза, горбил плечи и тяжело, медленно волочил шаг.

Сугробные, белые улицы пустынны. Время жесткое. Настороже гнев у новых людей, обхлестнутых со всех сторон старым, враждебным дыханьем. На улице скорей налетишь на дозор. Спокойней сидеть в оскудевших, похолодавших, но все же своих углах. Приходится чутко слушать, дома ли за стеной вселившийся коммунист, или военный, или горячий советский человек, чем занят, не злобится ли против домохозяев или долголетних в доме жильцов. Но все же в своем углу, где причина каждой царапины на столе, на громоздком уцелевшем буфете известна, спокойней. Гребнев прошагал три скудно освещенных улицы с заколоченными наглухо мертвыми магазинами, с зияющими глазницами окон в разрушенных, покинутых зданьях, с жилыми, запрятавшими свои огни от чужаков за глухими ставнями, уездными домами ныне губернского, набитого приезжим людом города. Встретил только визгливую собачонку на повороте в четвертую улицу да у садовой изгороди на скамье двух тесно обняв-

щихся мужчину и женщину. Оба были молоды, бесстрашны от радости свиданья. Мужчина что-то неласковое про Гребнева сказал, женщина звонко рассмеялась. Смех ее далеко разнесся, оживил на миг мертвую белую тишь. Гребнев вздохнул, взглянул на морозные, ярко блистающие вверху звезды, на согбенные тяжелой зимней сединой ветви стылых деревьев и вдруг вспомнил такую же молчаливую, только деревенскую улицу и на ней одинокого мальчишку с напуганным, сильно бьющимся сердцем. Дернул плечами, ускорил шаг.

В бывшем архиерейском доме ярко светили все огни. И в комнатах, и в коридорах. По лестницам, устланным коврами, поднялся Гребнев во второй этаж. Архиерейские покои только что приняли первую группу сменных своих жильцов. Семнадцать рабочих с копей, заводов, из мастерских и трех советских служащих. Одни были приняты на полуторамесячное гощенье, другие на месяц, на три недели, немногие — только на две. Сегодня состоялось торжество открытья первого дома отдыха. Когда Гребнев пришел, приветственные речи уже кончились. Представители губернского комитета коммунистической партии, губернского совета профессиональных союзов и губисполкома, с приглашенными ими на открытье гостями и принятыми на отдых, длинной, неловкой толпой ходили по зданью, осматривали все двадцать восемь комнат. Гребнев присоединился к ним, в большой гостиной, щедро уставленной богатой разрозненной мебелью разных владельцев и разного стиля. Сухощавый, седой, но горячий человек, председатель губисполкома, шел впереди, показывал, возбужденно объяснял назначенье комнат. Представители учреждений и городские гости громко восхищались, задавали ему вопросы, радостно смеялись, перешептывались меж собой. Трое советских служащих, назначенных на отдых, держались близко около начальствующих и властей. Почтительно вступали в разговор, сдержанно вторили в смехе. По всякому удобному поводу восхищенно благодарили начальство за прием в дом отдыха. Они были еще в своей одежде. Рабочие, четырнадцать старых и очень немолодых мужчин и три пожилые женщины, одеты были уже в одежду дома отдыха. Мужчины в реквизированных из магазинов готового платья суконных пиджаках и брюках, мешковатых или узких для них, всем не по мерке, в мягких чувяках. Женщины в одинаковых зеленых сатиновых платьях, фасона доктор-

ских халатов с поясками, и тоже в чувяках. Они двигались, тесно прибившись друг к другу, но все время сохраняли небольшое расстоянье между своей толпой и группой начальников и гостей впереди.

Осматривали деловито, без усмешек и восклицаний, основательно долго ощупывали глазами каждую вещь, изредка и коротко сдерживая голос, переговаривались о добротности и ценности предметов. Председатель губисполкома, сверля их тесную толпу живыми глазами, старался завязать с ними разговор. Указывая рукой вокруг себя, спросил морщинистого, коротко стриженного, буроголового невысокого человека, идущего впереди рабочих:

— Ну, что, дедушка, хорошо здесь? Согласен здесь отдохнуть?

Старик прокашлянул, пригладил жесткой ладонью на затылке торчок колючей щетины стриженых волос, негромко отозвался:

— Отдохнем, ничего.

И вдвинулся в свою толпу поглубже.

Ширококостая, присадистая, седоватая работница спросила про большой японский, расшитый птицами, шелковый плат над диваном:

— Это, что же, монашки поди архипастырю вышивали? На рукоделье они большие искусницы. Я глядела давно когда-то в монастыре. Но эдаки-те, с птицами, не видала.

Один из советских служащих, худенький юркий человек, радостно выкрикнул ей в ответ:

— Ну, вот и глядите, товарищ! Тут всего повидаем. Под замками раньше прятали, а теперь при Советской власти все для нас, все наше.

Работница поджала губы. Сухо ему ответила:

— Пусть не запирают. Мне чужого не надо. Ни к чему не подбираюсь. Так, из интереса спросила.

Неласковым взглядом осмотрела худенького человека и тоже потесней к своим подалась.

Длинный, узкогрудый, совсем седой рабочий, с круглым носом, один из всех охотно и громко отозвался:

— Правильно устроено. Только нам тут недолго разминаться. А дома про здешние чудовинки вспоминать некогда будет.

Охотливым, широким голосом он Гребневу кого-то близкого напомнил. Припомнил, втянул голову в плечи и неловко повернулся. Две широких ладони придержали его за плечи.

— Стой, стой, не наступай на человека, не дави товарища.

Гребнев оглянулся и встретил смеющийся взгляд серых глаз под пепельными бровями, нависающими хохолком. Невысокий крепыш с широким рябоватым лицом улыбался ему.

— Простите, товарищ, я нечаянно.

— Четыре глаза, а назад все равно не увидишь. Ничего. Только собой вы дюжий, побоялся я, как бы не задавили меня, недорослого.

И лукаво подмигнул левым глазом. Гребнев этого человека знал. Управляющий каменноугольными копями. Но встречал его всегда неулыбчивым. Без улыбки лицо у него совсем другое. Торчковатые брови и твердый подбородок прежде всего в глаза лезут. Он кажется сумрачным. И взгляд без усмешки другой, тяжелый, настоятельный. Гребнев даже сторонился его. Сейчас новому, приветливому его виду обрадовался. Со смехом, без обычной тягучести речи отозвался:

— Ну, вас тоже не очень придавишь. Невысок, да плотен. Не знай еще, кто из нас потяжелей да и посильней будет.

— Мне потому, доктор, вы и поглянулись. Не люблю хилого народа. А ученые больше хилые. В мозг вся сила идет. Видал я и высоких докторов, и с брюшком, но лицом все-таки они больше умственные, дрябловатые. А может, просто и не приглядывался к ним. На вас вот что-то загляделся. Мне доктора ни к чему. Лекарствам не доверяю. Я в нутро, кроме касторки, никакого зелья ни за что не приму. Внутренности от лекарства портятся. Я снаружи лечусь. Припарками.

Гребнев искренне и громко рассмеялся.

— Ну, все-таки не одними припарками. Вот касторку-то при нужде пьете.

— Ну, дак я ее себе в два года раз разрешаю. А то, как запрет, так у меня домашняя такая болтунья для случая есть. Я вас научу делать. А на касторку меня фельдшерица одна сбила. Я ее обхаживал, от натуги, видно, живот и вздуло. Ну, прямо до стона. Она на тот грех набежала. Как не послушаешься? Полечила, облегчила, а как опростался, отдышался, и другой забавкой меня уже не застала. На касторку я поддался. А больше ни на что на какое лекарство даже приятная бабеночка не соблазнит.

Они шли уже вдвоем сзади всех. Доктор, подсмеиваясь, сказал:

— А все-таки бабеночка-то — червячок на удочку для вас.

— Бывает, когда бог сплошает. Я в монахи не постригался. Баба, она на иной час — вещество усладительное. Особенно, если веселая. Я веселых люблю. Самому вот теперь больше супиться дело выпадает. Дак охота на веселое поглядеть, усмешечку для себя признять. Я вот и картины эдакие, снулые, не люблю. Посмотрите, накарякал какой-то слезомой. Мужичонка ледащий с лошаденкой задохлой, а кругом хмарь. Ну вот и гляди на него, с лошадиной мощей. А чего уж глядеть, коли они чуть что не дохлые. Изматеришься да отойдешь. И без картины эдакую-то забаву видали. Спасибочки вам.

— *Это чтоб жалость к простому народу...*

— А чего его жалеть? Не скотина, не младенец. Нет, я мало какие картины уважаю. Господа малевали, не по моему заказу. Картина мне требуется такая, чтобы от нее весело, задорно стало. Целуются если двое или перед целованьем манежатся, на открытках вот, мне тоже не очень глянется. Пустяки! Досуг да деньги будут, сам сумею, без картиночки. А ты меня раззадорь так, как я без картины раззадориться-то не умею, вот картина! Эту я чрезвычайно зауважаю. Вот, на нынешний наш случай я вам скажу, плакаты веселые попадают. Если только морды кубиками всякими не скосорочены. Это я не люблю. Ты меня без косоротой морды, без циркулевых выкрутасов, понятным пойми. Вот нарисовал бы завод, в нем машины всякие, какие по производству для этого завода надо. А в нем рабочий — шиш буржую показывает. Вот это мне приятно, я раззадорюсь.

— Так это и выйдет плакат.

— А для меня хоть чертокат. Хорошо пусть нарисует, убедительно, вот это картина. Я на машины позавидую, рабочим на картине разгорячусь, задор меня проймет. Ах, мол, сукин сын, я сам сумею этакий завод насбирать да шиш показывать. Ну, только хорошие-то рисовальщики для нашего веселья рисовать не хотят. А плохой, хоть и постарается, материал только изгадит. Ну их к бесу — картины. И книжки с повестушками я тоже не люблю читать. Одна хорошая попалась, до конца дочитал. С иностранного языка перевод. «Тунель» называется. Там в буржуи один дошлый мастак

хорошо прет. Завидно. Нам бы выучиться вот так до конца переть. Пёр, пёр, свалился, поднялся да опять топер. Пока до своего, что наметил, не достиг. А на нашем языке писальщики пишут жалостливое. Со слезой сопли вытирают. Чего смеетесь?

Пригнув к себе голову Гребнева, шепнул ему:

— Вы не очень на меня удивляйтесь. Я сегодня спирту на радости глотнул. Теперь редко приходится его глотать. Мне нельзя, дело не такое. Глаз нужен и строгость. А пьяный покладлив и разговорчив. Я вот разболтался сегодня.

Выпрямился, потянул доктора за рукав дальше.

— Все-таки и потому, что мордальон ваш мне поглянулся. Расспросил, сообщили, что нашей партии, коммунист. А больше всего меня приманула, что низкого происхожденья в ученье пробились. Это я люблю. Гоже, значит, пёр.

Гребнев густо покраснел, но засмеялся открыто и весело.

— Я сам себя за это уважаю.

— Ну вот, дак будем знакомы. Я за вами лошадей пришлю. Приедете на копи, поглядите. Некоторых, на леченье охотливых, и подлечите.

— А как же, сами говорили, от лекарств внутренности гниют.

— Лекарств не шибко у нас много. Словом, приборите. А может, на какую кишку и лекарства с пользой. Черт их знает. Я буржуазии этой, старым докторам, не доверяю. А вы свой, во вред не сделаете. У нас своих ученых большая нехватка.

— Я сам не сумею, так другого, поопытней на пользу сделать заставлю. Это я умею.

— Ну, вот и хорошо. Как у нас, спеца за шиворот, под присмотром. Ладно. Брыкучие они, вредные спецы. Но ничего. Бывает, что и хорошо помогают. Я с ними не умею. Шибко строг. Их медком приманивать надо. У тебя глаз ласковый, тебе легче. Я на «ты» с тобой буду. Мы не чужаки, свои.

Ладно. Скорей лошадей присылай.

Обязательно поспешу. Мало еще нас, своих-то. И одного барина нужного приманивать было взялся. Деточкой угостил. А он у меня расхлюпался, я и выгнал. Ничего из братанья не вышло, не мастер я ублажать. Ну, дак вот он хлюпал: «Кто вы, говорит, такие?

Сколько вас? Варяги вы непризванные, а народ сам по себе, интеллигенция вам не верит, народ к вам не приведет». Ах ты, говорю, трепалка, сучий хвост. Варяги мы, мало нас, ваш брат нам под ноги гадит, а вот гляди раскачали как. В этом городе у баб и брюхо-то прилажено на то, чтобы монархистов да буржуйских подголосков рожать, а мы в два года как под свою руку подвели? У тебя, говорю, собственный парнишка, в комсомоле юлит. А мы во все города вот эдакими зацепучими пальцами-то забрались. Во все! Глухомани такой не найдешь, чтоб наши эти пальцы не ворошились. А сколько времени нам? Много ли, говорю, еще орудуем. Ты годков через десять посчитай, сколько нас будет, варягов-то. А что непризванные мы, говорю, не цари, не белая кость, чтоб нас царствовать присогласили. Сами приперли. Заждались, пока позовут, жданки все поели. Ну, парень, наболтался я на три года со хмельку. Гляди, никого наверху нет. Угощаться вниз в столовую пошли, а я тебя здесь манежу.

— Ничего, я не голоден, успею.

— В столовой ответственных работников небось питаешься? Это мы поглядим, приглядим, да еще прикроем. Отъедайся, пока добрые. На копях жратва-то в наши годы не густая. Все одно допрем. Вас-то все-таки поприжмем, пожалуй. Вот в этом доме отдыхающих ублажить следует.

— Немного нажмете. А что же, для справедливости, нажимайте. Для дома отдыха, может быть, и нажмете.

— Вот я, парень, в тебе эту ухватку и учуял. Свойский ты человек. Ну, катись книзу. Меня вон что-то старичонка наш копейский манит.

Буроголовый, с колючей щетинкой на голове, к ним подошел:

— Товарищ Филатов, раздобудь мне задачник. Тут работы не будет, я задачки порешаю. Очень люблю.

— А в здешней в ихой библиотеке, может, есть. Ты спроси.

— Ну их. Барышня при книжках больно хлипкая. Нежна очень. И книжки все с разговорами да с присказками. Мы глядели, как привезли. Ты мне свои достань.

Филатов густо захохотал. Подмигнул Гребневу.

— Слыхал, Гребень? «Свои»... Ты что, в тюрьму, что ль, попал?

— В тюрьму не в тюрьму, а все не дома. Под номерами здесь значимся в списке-то.

— А на копях-то ты без номера? Ну, ладно. Товарищ доктор, добудь ему задачник. Попроще какой.

— Хорошо. Завтра доставлю, дед.

Старик кивнул головой. Осторожно, обходя ковры, пробрался в маленькую проходную комнату перед курилкой, сел в уголке на стул. Гребнев заглянул в курительную комнату. При его появлении разговоры смолкли. Трое удобно привалившиеся к спинке на кожаном диване выпрямились. Шестеро, сидевшие с цигарками на полу на корточках, привстали.

— Чего это вы, товарищи, как неудобно размещаетесь? Вы не стесняйтесь. Для вас ведь стулья поставлены.

Большеносый, высокий отозвался:

— Ничего, сядем. Не привыкли еще. Может, сдвигать нельзя с места. Не сами ворвались, записали нас на отдых, уважили. Надо с оглядкой, чтоб не навредить. Папиросочек вот нам выдали. Толкуем, что на наше горло слабы. На закуску только, после своего табаку, закуриваем. Давайте заходите. Я вас выданной папиросочкой угощу.

— Я чай пить вниз пойду. Спасибо.

У входа в столовую его встретила Липатова.

— Где вы пропадали, доктор? Я все глазыньки проглядела, право. Знаете, мы ужасно стесняем их... отдыхающих. Они еще не освоились. Вот мы, гости-то приглашенные, решили улетучиться. Мне поручили передать вам другое приглашенье. Праздник заканчивать.

— Куда?

— А вам не все равно! К своим. Дорогой расскажу, одевайтесь.

Надевая шинель, Гребнев спросил:

— А Филатов там будет? Он мне очень по душе пришелся.

Липатова сморщила губы и покачала головой. На улице, взяв под руку Гребнева, сказала:

— Филатова мы на свои семейные, интимные, так сказать, вечеринки не зовем. Вообще нас немного, вполне своих, всего семь человек. С вами будет восемь. Ну, вполне свои. Можно болтать, не стесняясь.

Наклонившись поближе, потише докончила:

И горячительного малую толику проглотить.

А Филатов напивается... до свинства. Грубо ругается, к женщинам... некрасиво пристает. Нет, его не будет. Мы приятно вечер проведем. Отдохнуть немножко надо. Все мы так заматываемся на работе, что иногда это не грех.

— Я, видите ли, долго не могу. У меня дома... работа ждет.

Прижавшись к нему вплотную, так, что Гребнев на ходу ощутил прильнувшую к ноге худощавую женскую ногу, Липатова сказала со смешком:

— Забота у вас дома, а не работа. Я кое-что слышала и девушку эту видела. Ничего с ней, вероятно, не случится, если один вечер поскучает без вас.

Гребнев насупился и суховато ответил:

— Девушка эта ко мне никакого отношенья не имеет, живет в своей отдельной комнате, самостоятельно. А в настоящее время она сильно больна. У ней — сыпной тиф.

— Ой! И вы с ней рядом... Почему же она не в больнице?

— Ей дома можно лежать, она одинокая. А больницы переполнены.

— Хорошо, что я переболела, А то бы убежала от вас. Вместе с тифозной живете.

— Не вместе, я уж сказал. А потом я и у других больных сыпняком бываю.

— Ну, вы, кажется, обозлились. А я хочу вас видеть веселым и добрым. По крайней мере, сегодняшний вечер. Сегодня я отдыхаю. Скажите мне, товарищ дорогой, как вас зовут? А то обращенье «товарищ» стало уж слишком официальным. Как «милостивый государь» или хуже: «ваше благородье».

— Меня зовут Леонид Сергеевич. А вас?

— Меня Нина Павловна, иногда Нина, а бывает, что Нинуся, Ниночка, Нинок. Да развеселитесь вы. Что вы деревянным шагом вышагиваете, как заводной солдатик? Что это, военная форма вас так сковывает? Все же вы доктор, а не солдат. Значит, собственно, штатский, и шаг у вас должен быть свободным, а вы как на военном параде. Ну, сбейтесь с шага, запнитесь, споткнитесь.

Левой ногой она начала загребать снег, подбивать его под ноги Гребневу, покачнулась, потянула за собой Гребнева, и оба упали в снег. Когда он ее поднимал,

Липатова плотно прильнула к нему всем худым, гибким телом, Гребнев рывком, грубо прижал ее к себе, сдавил ее ноги своими ногами. Она не рассердилась, засмеялась, но лицо от поцелуя быстро отвела.

— Без озорства. Пойдемте быстрей, а то там давно уж все в сборе. Кстати, почему вы не снимаете военную форму? Вы же сейчас не в военной части. Или потому, что она к вам идет?

Он снова отвечал уже коротко и хмуро. После бессонных ночей, волненья и усталости, после довольно длительного воздержанья от женщин, он охмелел от дерзкого заигрыванья Липатовой. Сердце колотилось, в висках стучала кровь. Он еще помнил о Лизе, ему хотелось внезапно, сразу оказаться дома, подальше от этой неприятной, грубо зовущей чужой женщины, у недоступной теперь, огражденной от его желанья болезнью, но своей и любимой. Приникнуть головой к ее кровати, потосковать, смягчить этой тоской душевный стыд. Он понимал, что ему стыдно не оттого, что он непременно сегодня изменой осквернит свою большую любовь к Лизе, он ее постоянно случайными связями осквернял и давно перестал нечистоплотности этой стыдиться. Ему было нехорошо оттого, что Липатова была ему душевно глубоко противна, но он желал ее похоти, не ласки, а только ее мерзостно умелого тела. Свое «уменье» она с первой встречи с ним подчеркивала всеми движеньями, случайным припаданьем к нему, как сегодня. И она называла его своим, сразу унюхала раздувающимися своими ноздрями, что в его душе пакости много. Если бы не болезнь Лизы, заставившая его человечески страдать за близкое существо, и не сегодняшняя странно-отрадная встреча с Филатовым, он легко, без душевной мути, отдался бы своему безволью. Но сейчас он шел с Липатовой, жадно тиская обеими руками ее руку, но мучился сердечной тоской. Тоска эта не оставляла его весь вечер... Он был угрюм и почти не разглядел, где и с кем его провел. За ужином много пил. Совсем охмелел. Как в тумане, он различал помутневшие, обессмыслевшие, но все еще жадные глаза Липатовой. Видел, как жадно, почти давясь затяжками дыма, она курит одну папиросу за другой. Остальные, не различаемые им, тоже хмелели. После ужина затянули вразброд, пьяными голосами, надрывно, со слезой:

Не осенний мелкой до-о-жди-чек...

Какой-то бородатый мужчина, с налипшими на мокрой бороде крошками, налег на сидевшую в кресле толстую женщину и взасос слюняво ее целовал. Гребнев стукнул кулаком по столу так, что задребезжали рюмки и попадали бутылки:

— Сволочь. Сволочь каждый человек! Я думал, благородные, образованные! А как напьются, свиней мужиков. Трезвые — подлее мужиков, пьяные — свиней.

Он хрипло засмеялся. Потом приподнял Липатову с кресла и потащил ее в переднюю. В комнате смеялись, кричали им что-то вслед. Оба не слушали. Липатова тоже опьянела. Пошатываясь, с трудом натянула на себя шубку. На улице ее вырвало. В перепачканной блевотой и слюной шубе, она все же тверже пошла и крепко держала за руку пьяного, но шагающего уверенно Гребнева. Ход в квартиру Липатовой был очень удобен. Отдельный, с американским замком. Ключ она дала Гребневу, но он не мог попасть в скважину задрожавшими снова руками. В двух комнатах с кухней никто, кроме Липатовой, не жил. Она почти совсем протрезвела. Уже не заплетающимся языком объявила еще в передней, сняв шубу:

— Можете держать себя совершенно непринужденно, Леонид Сергеевич. Эта вся квартира — моя. И, кроме нас, в ней ни души. Долго старалась, все же сумела устроиться.

За закрытыми ставнями на улице было бело, солнечно, но морозно. А в спальне Липатовой мигала, потухая, лампа. Керосин весь выгорел. От чадящей лампы было душно. Нина Павловна лежала на кровати в разорванной в лохмотья рубашке. Гребнев сидел с краю кровати, закрыв лицо руками, безобразно икал и плакал.

Липатова сказала, не злобясь, разомлелым голосом:

— Утрись. Вон подойди к умывальнику, умойся. Не ожидала я, что ты такой свинья, когда распоясешься. Немножко свинства ничего... Но что же это такое? Мужчина, а ревешь коровой. И вообще скотина. Ругаешься хуже Филатова. Но тот полуграмотный мужик, а ты же доктор, интеллигент.

Гребнев топнул ногой и ударил рукой по кровати:

— Доктор. Какой я доктор! Ты меня, б...., в университете обучила, что ли! Думала, с барином... Я — Виктошка, Балакарев пащенок, дезертир.

У Нины Павловны глаза разгорелись ярко и жадно. Она сразу поднялась, села на кровати.

— Ну... Ну. Расскажи. Миленький, что такое?

Гребнев не слушал ее. Притопывая ногами, отчаянно мотая головой, икая и всхлипывая, он рассказывал, как *бежал с фронта, как таился в лесу, побирался по деревням* и как в сумятице, в конце керенщины, в городе Сызрани зарегистрировался с прибывшими из плена врачами по чужому документу.

— Но ты, сволочь, знай... Я учился, я много, ночами учился... Ни один образованный черт меня не подсадил, не уличил... Не потому только, что вы все, как собачий *хвост, трясетесь перед хозяином. Не потому, что я в* большевики записался... А я сам учился, приглядывался, ни одного не заморил. Целым госпиталем заведовал. Женщине недавно... акушерка, стерва, не захотела щипцы накладывать... «Доктора дело»... А я на нее: «И вам приказываю». Она взялась было, потом опять: «Докторово дело»... Но я уж увидел, как она щипцы *брала, как приловчилась. Взял и наложил сам.* И благополучно. Вот. И учусь, по каждому шагу учусь. И по книжкам... Имею право! Я уж выучился! Сам дошел! Ах ты...

Выругался грубо и свалился на подушки. Липатова нашептала над ним горячо, почти любовно:

Ты не бойся, миленький, я тебя не выдам. Я очень авантюристов люблю. Это такая смелость. Я тебя не выдам. Теперь уж я в тебя по-настоящему влюбилась.

Часть вторая

Чужой путь

I

Гребнев вернулся домой необычно рано. Всего десятый час вечера на исходе. Еще в сенях он услышал голоса на Лизиной половине и досадливо сморщился. В последнее время к выздоравливающей часто забегали сослуживицы. Раз-два приходили какие-то мужчины. Сегодня его тянуло к Лизе, но на людях он не умел и опасался с ней разговаривать. Сбив с сапог налипший снег, он недовольно рванул дверь. Тишина просторной

комнаты нарушалась неясным разговором за стеной. И как только он вступил в эту тишину, ему сразу стало скучно и душно. Он щелкнул выключателем, прижмурился от брызнувшего в глаза света и в нерешимости остановился у двери.

Как убить вечер? К Липатовой надо бы... Ну ее к черту! Прискучивать начала безлюбовная накость. Да очень уж... липучая она стала. Своим признаньем, неожиданно для себя, Гребнев возвысил себя в ее глазах. «Люблю ловкачей. Мне нравится, когда люди умеют по жердочке над пропастью ходить». И, действительно, кажется, чересчур возлюбила. Разговаривает теперь с ним душевным голосом. Блудит, как святое дело творит. В часы бесстыдных ласканий Виктошка мгновеньями трезвел, встречая хороший любящий женский взгляд. Его к ней часто тянуло, но после свиданья всегда мутило. Сегодня ее на дух не надо. Эх, некуда идти! Никого нет душевно своего, кроме Лизы. А самому с собой ему всегда делать нечего...

Виктор нехотя снял шинель и папаху. Чтоб нарушить требовательное, тягостное для него молчание одиночества, он ненужно шумно передвинул стулья, посвистал, заходил по комнате ленивыми шаркающими шагами. Попробовал оживить в себе радостное возбужденье... То, что согревало его большим душевным теплом в холодном цирке, на партийном собрании. Это тепло нес он и домой, бодро шагая по слабо освещенным улицам. Сегодня обсуждался вопрос о проведенье в городе и уезде недели санитарной очистки. Гребнев выступал с критикой чужих предложений, вносил свои, дал несколько действительно дельных советов. Его слушали с большим вниманием, с ним соглашались. Дорогой он вспомнил все, что сказал. Сказано было так уместно, умно и решительно. Вспоминал приветливость многих глаз, обращенных к нему, дружелюбное одобренье большого собранья. Радостно возбужденный, думал о том, что он, Виктошка, не плохой, нужный другим человек. Люди полезность его чувствуют, признают его человеческую ценность, относятся к нему с любовным доверием, с братской ласковостью. Он размышлял о том, что ему надлежит сделать, чтоб закрепить за собой право и на дальнейшее такое к нему отношенье, чтоб и самому всегда ощущать себя вот таким, как сегодня, правильным и полезным, твердо стоящим на земле. Думал, что надо сделать завтра, через месяц, че-

рез год. И реальные, вполне осуществимые предположения переплетались, как в юности, с наивными, несбывающимися мечтаньями. От бодрых мыслей, от уверенности в себе, он шагал четким шагом и громко, на ходу, напевал:

Никто не даст нам избавленья,
Ни бог, ни царь и ни герой...

А в тишине одинокого жилья сразу вся радость пропала. Что же сейчас-то делать? По жилам еще переливается удаль, а израсходовать ее не на что. Он умел жить только отраженной жизнью, действовать вместе с другими. Наедине он всегда ощущал большую душевную пустоту. Походил по комнате, снова было затянул:

И если гром великий грянет
Над сворой псов и палачей...

Но голос, прозвучав уныло и неверно, оборвался. Гребнев вздохнул, тяжело сел за стол.

— Д-да. Позаниматься надо.

Редкие свободные часы Гребнев обычно заполнял учебой. С добросовестностью старательного ученика напряженно втискивал в мозг, в память, различные сведенья. Зубрил по всем предметам, указанным в старой пожелтевшей программе мужской классической гимназии. Но дольше и настойчивей всего корпел над медицинскими книгами. Целая груда их заполняла хлипкую этажерку в углу. Набрал в книжном коллекторе политпросвета и приобрел на толкучке в обмен за белье. Наиболее ценными казались ему наименее понятные. Когда он старался их одолеть, крупный пот круглыми каплями выступал на лбу, падал на книжные страницы. И эти тайные занятья в теперешнем его возрасте и настроенье были для него большим и почти всегда безрадостным трудом. Мозг здоров, цепок, но от бессистемной зубрежки часто получалась в нем такая каша, что тяжелела голова. Запас втиснутых знаний и житейских наблюдений часто оставался в ней бездейственным, как мертвая кладь в бесхозяйной кладовой. С трусливою недоучки он сам глушил творческую дерзость и опасался обобщений, чужое знанье брал на веру, в бок. Оттого самостоятельные добровольные занятья были так же тусклы и томительны, как отбыванье учебы по обязанности в пору его малолетства. Теперь, человеку зрелому, самому себе уже от жизни невеселому, они казались

еще тусклей и тоскливей. После радостного сегодняшнего возбужденья особенно трудно было приняться за книги. Оттого Гребнев долго вздыхал, прежде чем раскрыть учебник психологии.

Наконец, будто придавленный невидимым грузом, низко склонился над столом и невнятно забубнил.

С улицы в ставню кто-то застучал нерешительно и негромко. Гребнев радостно сорвался со стула. Только у двери вспомнил, что без очков. Поспешно вернулся к столу, надел их и вдруг подумал:

«С опаской стучат. Кто-то не свой...»

Покосился на ящик стола, где лежал заряженный револьвер, но не взял его, круто повернулся и вышел.

Когда он пропустил вперед посетительницу, у него было удивленное, даже оторопелое лицо.

Невысокая тяжеловатая женщина вошла легко и живо. Остановившись среди комнаты, она коротким и ловким движением рук сняла с головы потертую барашковую шапочку старинного фасона, пирожком, быстро вернулась к входной двери и небольшой крепкой рукой в старой замшевой перчатке сбила с шапочки снег. Потом так же хозяйственно, как дома, не торопясь, но быстро сняла шубку на заслуженном полысевшем меху, повесила ее, постучала валенками нога об ногу и вернулась в комнату.

Гребнев, ссутулясь и беспокойно поправляя очки, ждал в сторонке у окна.

Гостья улыбнулась. Лицо, тронутое желтизной увяданья, с четкими уже морщинками у глаз, от хорошей, открытой улыбки стало молодым и душевным. Тряхнула головой с коротко остриженными волосами, очень густыми, темными, с заметным перебором седины.

— У вас, коллега, такой вид, будто я вас из-за угла дубиной оглушила. Я чувствовала, что вы меня так примете. Сама смутилась, когда застучала в ставню. Ну, я все-таки присяду, коль в дом пустили. А то за день-то оттопала ноги, устала.

Неприятная, слишком торопливая, с нервными придыханьями речь, резкий голос странно не вязались с размеренными движеньями, со всей небольшой, широкой, устойчивой фигурой и очень спокойными усталыми глазами. Получалось впечатление, что за спиной говорит кто-то, совсем на нее непохожий: тонкий, вихлястый,

сильно возбужденный. Гребнев кинулся придвинуть стул, дернул очки, неловко засуетился.

— Пожалуйста, пожалуйста... Вот сюда, к столу, присядьте. Я очень, знаете ли, доволен. Пожалуйста, милости прошу. Это очень хорошо... Очень приятно, что вы собрались зайти.

— Ладно, ладно, ничего, устроюсь. Я не в упрек сказала. Я уж не так молода и еще не так стара, чтобы за мной столь предупредительно ухаживали. Сяду, сяду, найду место сама. Спасибо, спасибо. Только вот что: давайте сразу условимся: я к вам пришла, как Никодим. Поняли?

Евангелье не входило в программу гребневского самообученья, школьный учебник закона божьего он давно забыл и никакого Никодима не знал. Но утвердительно кивнул головой, опасливо покосившись на гостью из-под очков.

— Это вам может показаться трусостью. Но это не трусость. То есть у меня иная боязнь. Совсем не того опасаюсь, что станут сплетничать, что я с черного хода к коммунистам на поклон бегаю. Но боюсь, что это дурной пример. Поняли? Соблазнит тщедушных. Я-то пришла не выслуживаться, а там поймут так: если уж Хвалынова заискивает, нам и бог велел. Поняли? А я не заискиваю, нет. Я поговорить, узнать пришла. Ну, знаете, диковинку вот посмотреть, пощупать душевными такими щупальцами, понять. Скажите, пожалуйста, для вас все ясно? Сомнений у вас нет никаких?

Гребнев беспокойно заерзал на стуле, откашлял перхоту, ставшую от волненья поперек горла, поправил очки и нерешительно промямлил:

— Как сказать. Конечно, бывают и неясности. Д-да... Гм... Гм... Извините меня, я не так хорошо понял. Как вы сказали?

У Хвалыновой на щеках зардели два красных неровных пятна и линяло-черные глаза ярко разгорелись. Еще неприятней и резче сделался голос.

— Я спрашиваю у вас, у собрата... у человека интеллигентного. Вот вы, интеллигент, доктор, милосердие должно быть вашей специальностью, вы обязаны взять под охрану каждую отдельную человеческую жизнь. Как же вы можете быть членом большевистской партии? Наглости карьериста в вас как будто нет. Даже на видные посты вы не вылезаете. Здравотделом

заведует фармацевт, а вы, единственный врач-коммунист, все в тени. Значит, надо предположить, вы по убеждению коммунист. Как могли вы им сделаться?

Гребнев выпрямился, смело поверх очков взглянул на Хвалынову, и лицо его потемнело от недружелюбия. Такие разговоры напоминали ему старика Лугинина, всегда казались приторными и притворными. Господское кривлянье. Не может понять коммунистов, потому что барыня. Обижается, что в нынешнее время с ихним братом не шибко тютюшкаются, работать заставляют, а не только слова сладкие говорить. Неохота вровень с необразованными тянуть тягло. Зубами скрипит на все нынешние порядки, чужачка. А туда же исповедовать! Выискался поп доброхотный, непрошеный, нате вам, отвечайте, допрашивает.

Отозвался злым, повышенным голосом:

— Я не понимаю, чего вам надо. Вас в коммунистическую партию на аркане никто не тянет. Занимайтесь добросовестно своим делом, и ладно. Если потихоньку пошипите в своем углу, нам не страшно. Привыкли уж под ваше шипенье свое дело делать, не боимся. Я думал, вы по делу ко мне.

Хвалынова крепко пристукнула ладонью по столу.

— Удивительная... зоологическая простота. Ни размышлений, ни разговоров не полагается. Не хотите разговаривать, я уйду. А всякие эти обвинения в противосоветском шипении приберегите для другого случая. Упрячете? Напрасно. Вам же невыгодно, врачей не хватает, а болезней, сами знаете, о-очень много.

— Ничего я не грожу. Просто не понимаю, почему вы ко мне с таким неподходящим разговором. На угрозу повреднее вас люди есть. Вы, по-бабьи, чуть не со слезой, не страшно. Только не пойму, какой между нами разговор может быть? Сами видите, люди мы разные. Если бы о делах здравотдела.

— Эх вы, здравотдел! Неужели вся ваша партийная интеллигенция такая же тупая? Уж простите, я с полной откровенностью.

Гребнев сердито засопел, но смолчал. Хвалынова так же поспешно и крикливо, но с угасшим уже взглядом, продолжала:

— А пугать меня... Это бросьте, надоело. В госпитале, два года тому назад, солдаты винтовки у кровати держали. Винтовками грозили, требовали спирт. Мы не боялись,

не давали. И вообще у тех из нас, которые остались с вами жить и работать за совесть, у тех страха нет. Мы от ваших угроз не бледнеем. Это подвижничество Ну, его вам не понять! Да. Вот тех солдат с винтовками у кровати, их я понимала. И, поверьте, умела их заставить понять меня. А вот с вами труднее. Это и странно, и страшно. Страшно, если большинство партийной вашей интеллигенции такое. Все-таки ведь образованье, знанье... Вы ведь учились все-таки, размышляли, как же это так... Да ничего вы не понимаете. Как в глухую стену говорю.

Голос у нее оборвался, она брезгливо передернула губами, смолкла. Гребнев насторожился. Кровь отхлынула и снова гуще прилила к щекам. Он поправил очки.

— То есть... позвольте. Вообще я думаю, мы с вами одинаковое образование получили. Грамотные. Почему же это я не могу понять все, что вы говорите? Я думаю, что все могу понять.

— Иной раз ученье впрок нейдет. Человек остается малоинтеллигентным. Вы — малоинтеллигентный человек. Куцый интеллигент! Может быть, это потому... Я слышала, вы — пролетарского происхожденья. Может быть, поэтому. В настоящее время это, конечно, лестно... для анкеты. Но душевному, духовному развитию иногда бывает препоной. Наследственный интеллигент, возросший в среде, содействующей духовному развитию, конечно, полнее овладеет... Ну, одним словом, он — ублюдок, если не обладает чуткой, очень чуткой душой. Он не может без мучений, без сомнений, без большой подлинной трагедии принимать все. Вот все нынешнее, все, что теперь вокруг творится. А вы в этом нынешнем, как рыба в воде!

Гребнев злился... Но не мог оборвать разговор с Хвалыновой. Против воли, он подчинялся силе человеческой искренности. То, что она говорила,— ее правда. Но у него есть своя, и при свете этой своей — правда Хвалыновой ему чужда и ощущается им как ложь. Его сердце, настроенность ума, все его существо не принимает, не может принять ее правоты. Но в смутном еще сознанье вставало и новое для него ощущенье: Хвалынова сильней, человечески сильней его, и нельзя ее просто оборвать, выгнать, обругать. Надо ее убедить, что его правда — большая, истинная, а ее — слепота, заблужденье.

Впервые он ощущал подлинное душевное смятенье.

Была в этом смятенье и необычная радость. Будто приподнимались какие-то невидимые бельма, мозг и сердце вот-вот станут зрячими, и тогда найдутся и необычайно веские, убедительные человечьи слова. Но слов он не нашел... Только злость внезапно исчезла. Выговорил просто и дружелюбно:

— Я — партийный.

Слова, самые неубедительные для Хвалыновой, надоевшие ей. Но от голоса его, от тона слов она встрепенулась. Пристально взглянула. Тоже мягче, тише, медленней сказала:

— Видите ли... И тут вот для меня препона. Вот именно, вы — партийный. Существуют различные партии, но вы об этом, как вам полагается, и не думаете. Одна партия у власти. Значит, ясно. Нечего о других и думать. Достаточно сказать «партийный», понятно, что коммунист. Только победители — люди, о них стоит говорить. Победитель — свято! Его не судят. Его признают, сопричастностью с ним гордятся, а о побежденных никаких разговоров! Они не существуют. А ведь они существуют, и русская интеллигенция никогда о них не забывала. Всегда с победителями были наемники, прислужники, скоморохи, предатели, а совесть нации, подлинная интеллигенция,— с побежденными. Как вы можете так безоговорочно принять все, что диктует партия власти? Ведь природа власти не изменилась. Власть есть власть, понимаете? Насилье. И степень этого насилья, размах его вовсе не безразличны. Об этом вы никогда не думаете? Не будит это в вас хоть маленькой, малейшей душевной тревоги, а?

Глаза у Гребнева сияли, он беспокойно двигал руками, продольные и поперечные морщины тяжело играли на лбу. Он томился косноязычьем. Выговаривал медленно, мучась сознаньем, что в мыслях это лучше выходит, давился бесцветными словами. Неуклюже и ненужно разводя руками, говорил, уже стоя.

— У вас все с вывертами. Со вздохами, ахами. А так вот, по-житейски если? Свой своему поневоле брат. Так, попросту если мы с вами станем рассуждать, вы, скажем, жалели простой народ. Ну, бедноту там, сочувствовали ей, помогали. Страданья за него даже терпели. Против прежней власти возмущались. Ну, все-таки ожидали, с приятным ожиданьем жили, что вот вы пролетария жалели, а как придет этот пролетарий, вы ему из своих ру-

чек все это отдадите, все для хорошего житья, а он вам в землю лбом за это, спасибо вам станет отбивать...

— Да не об этом же я! Никакого спасиба не надо. Я говорю, что ушибленные насильем тем же молотом по живым людям бьют. По человеку, поймите, по человеку! Даже не врага бьют, а друга. Да, друга... Друг не хвалит, а порицает. Хвалить вашу скверноту может только враг.

— Я понимаю, все понимаю. Вы не сомневайтесь, это я могу понять. Только речь у меня несколько затрудненная. Когда я волнуюсь, она всегда затрудненная. Вы народ образованный, совестливый, очень даже добрый, всех жалеете. А всех нельзя жалеть — и паука и муху.

— Вот-вот, да ведь кто сейчас паук, кто муха?

— Паук он и есть паук, из него мухи не сделаешь. Власть не может миндальничать. Только вот вы одной ножкой там, другой здесь, своих-то у вас и нет. У настоящих контрреволюционеров, у тех свои есть, а вы между двух сторон манежитесь. у вас своих нет. У нас тоже есть свои. Плетка больно бьет, да за нас. Вот ведь в чем сила! Насилье, насилье. А если свою жизнь оберегать, как вы ладком да мирком обойдетесь? Что же вы, по морде разве не хрястнете?

— Возможно, что и не смогу хрястнуть. Для меня эта морда — человек, живое. Может, пожалею, сама погибну, а не хрястну. Ну, допустим, нельзя так в жизни, сразу погибать. Так я если и хрястну, так у меня сердце хрястнет. Я буду считать это не святым делом, а убийством. Буду мучиться, стараться искупить, а не хрястать еще и еще.

— Ну, это вы рассуждаете вот здесь, в разговоре. Знаете, что я вас не придушу. А нарветесь, когда жизнь свою отстоять надо, за мое-мое нахлещете, отбиваться будете. Конечно, бывают блаженненькие, так это же какая жизнь. Болезнь, самомучительство.

— Во имя высшей человеческой правды.

— Э-эх. Ведь какая власть теперь. Пролетарская. А пролетарии от прежнего еще не отдышались, а вы хотите, чтобы они еще как блаженненькие на погибель лезли. Миром да ладком себя не устроишь. «Правда, высшая правда». Вот пролетариат, как говорится, то есть вот класс из-под низу вылез наверх и должен укрепиться. И это наш класс! Вот. Это и есть правда, высшая правда!

— Да ведь этот класс... Вы-то должны хорошо знать этот класс. Ведь он слепой и глухой. Постойте. Дайте договорить! Ведь за этим я к вам и пришла. Знаю, что вы скажете про вожаков... и все соответствующее. Слыхала! Но вы, человек зрячей среды, должны понять, что пролетариям не выжить без интеллигенции. Как же вы можете допускать, утверждать ее истребленье?

— Ну, вы тоже оставьте! Тоже слыхали! Никто интеллигенцию не истребляет.

— Нет, истребляют! И, в частности, вы такому истреблению помогаете. Вы, работник здравоохраненья, вы поддержали приказ губисполкома о мобилизации учителей на уход за сыпнотифозными. Вы завалили школы больными сыпняком и притянули учителей ухаживать. У вас наперечет врачи, теперь вы гоните под угрозу смерти учителей. На жертвенную смерть, стадом гоните, а? Нимало не задумываясь, уничтожаете интеллигенцию. А знаете вы, думаете вы о том, сколько ее в нашей стране? Знаете? Знаете, как драгоценна в России одна личность, один человек, хоть просто грамотный, особенно сейчас, а? Вот с чем я к вам шла, господин коммунист! Товарищ русский интеллигент! Как вы могли, как вы смели соглашаться с таким распоряженьем? Как смели ратовать за него?

Жилы явственными жгутами проступили на лбу у Гребнева, он побагровел и выкрикнул с огромной силой:

— А вы знаете, сколько народу перемерло. Знаете, что уходу умелого нет, а? Нашим вот, нашим... этим, которых вы чисто грязь под интеллигенцией своей, этим и к чистоте приучиться некогда было. Опытных сиделок не хватает. Какой уход, если человек не понимает, как надо выхаживать? А вы нам помочь не можете? Мы-то сами тоже ведь не отказываемся. Чего же снова, за ту же лямку, своей спиной вас загораживать? Нет, были вы над нами, так и не хотите вровень с нами стать. Своих мы не жалеем, а вас за то, что шибко грамотные, обучились на чужих спинах, за это вас беречь? Одним необразованным отдуваться? Опять под ножки, в прах? Угнетатели вы! Вам наверху в спокое, обязательно на готовом, на принесенном нежиться! Я понял вас, гражданка Хвалынова.

— Гребнев, доктор Гребнев! Да неужели вы не понимаете?.. Неужели не можете понять, какой это ужас — уничтоженье интеллигенции! Ну, вот вы видите, каково

вам при недостатке врачей. Это видите? Это на своей шкуре ощущаете. Ощутите когда-нибудь, и очень скоро, каково вам без учителей. Я... Я никогда никого не угнетала. Жила на свой заработок, на добытое моим трудом. Я теперь не имею отдыха. С утра раннего до позднего вечера на ногах. Выполняю не только докторскую работу, возжусь с болями, с болячками, а сама, как сиделка, обмываю, мажу, уговариваю, убираю... Дрязги разбираю всякие, терплю ежедневно укусы мелочных оскорблений. Вы знаете эту мелочность, зависть, рванье кусков?.. После дневной работы еле дышу, как замученная лошадь, а вы не даете мне даже отдельного угла! Все уплотнять приходят. Я ни разу не могла получить пайка без лишней волокиты, без утомительного хожденья. Постоянные мытарства, чтобы получить свой, заработанный, скудный кусок. Ведь мое время вам отдано. Некогда! Я часто сижу на пустой похлебке. Мой-то труд ведь стоит, чтоб покормили за него? Да не в этом дело! Я и на сухарях выдержу. У меня-то есть, у меня есть сознанье, что не о едином хлебе. А вот у вас, кроме куска, ничего нет. Для вас революция только кусок. Хватай... для своего класса. Я говорю так, чтобы вам понятно наконец стало. Говорю... про хлеб. Про то, что вы даже о питанье о нашем не позаботились, а требуете всех сил, без остатка. Вы знаете, чем было для меня слово «пролетариат»? Чем было вот до этих дней? А теперь я говорю прямо, я ненавижу... Пролетарий, это человек без сердца, без морали, без религии.

— Конечно, с боженькой-то вам полегче было.

— Слу-ушайте, да разве я про веру в бога говорю? Как вы... неразвиты. Неужели даже понять не можете? У вас нет никакой религиозности, вы низменны. В этом ваша огромная беда. Без нас, сохранивших религиозность, вы совсем оскотинитесь. Вам меня не понять. Я — глубоко религиозный человек. Я работала, жила для встречи пролетария. Он пришел. Я себе его иным представляла... Он не имеет никакой святыни, и я его глубоко ненавижу... Но моя религиозность не позволяет мне бросить его без помощи, которую я могу ему оказать... Не из боязни, не за страх, а с ненавистью к пришедшим работаю для них. Моя ненависть обязывает меня больше, чем вас ваша любовь. Не вам называть меня угнетательницей! И о болячках ваших я смею и имею право говорить. Я их лечу. Но говорить с вами бесполезно.

Слова вырывались у Хвалыновой таким бешено стремительным потоком, что Гребнев порывался, но не смог его прервать. Оба не слышали, как стукнула входная дверь. И Гребнев только сейчас увидел Лизу. Она тихонько прислонилась к косяку двери. Лицо ее под кумачовым платочком казалось в тени страшно бледным. Похудевшая, длинная, она стояла, прильнув к стене, будто в изнеможенье. Гребнев в беспокойстве кинулся к ней. Спросил тревожным шепотом:

— Ты чего это? Зачем встала?

А Хвалынова, потрясенная страстной тоской, тяжело поводила плечами. Она еще не видела их обоих. Дыша трудно, как в лихорадке, говорила больше себе, чем Гребневу:

— Наша голгофа в том, что мы этих нынешних ждали, как Христа. А дождались — содрогнулись. И все же от чудовищного лика убежать не смеем, не можем... Вот и остаемся с вами и для...

Она вздрогнула и быстро обернулась на неожиданный для нее женский голос. Лиза не очень твердой еще походкой поближе к ней подошла и заговорила:

— Я за стенкой слушаю и диву даюсь. Чего это? Вы меня испугались? Не слыхали разве, как вошла? Здравствуйте.

— Я совершенно не слышала. Откуда вы взялись...

— Из недалеку. За стеной живу. Я вас напугала, а я вот за стенкой-то слушала, слушала да тоже напугалась. Одна другую напугали.

Лиза негромко, но весело рассмеялась. Она села около стола и в упор живыми, любопытными глазами стала осматривать Хвалынову. Хвалынова в ответ тоже улыбнулась. Но от досадливого смущенья, после невольного этого привета, строже сжала губы. Отрывисто, сухо крикнула Гребневу:

— Ну, я ухожу. Собственно, и не следовало приходить, но что сделано, сделано. Прощайте.

Лиза ее остановила:

— Слушайте, товарищ Хвалынова, я ведь вас знаю... Погодите маленько, посидите еще. У меня там самоварчик кипит, чайку попьем вместе. У меня к вам и дело есть.

Вдруг спохватилась, что распоряжается в чужой комнате, она чуть зарозовела в лице.

— Доктор Гребнев лечил меня. Сыпняк отхватила.

Вот только что оправилась. С того вроде как хорошие знакомые сделались. А коли ему не время с нами чаевничать, пожалуйте ко мне. Тут только по колидорчику перейти...

Гребнев радостно вглядывался в Лизино лицо, на свету другое, чем в темноте у двери. Еще истомленное, но повеселевшее, живое. Поспешно перебил:

— Нет, нет. Можно и здесь. Я самовар принесу. Выздоровленье ваше отпразднуем. Может, только рановато вам ходить?..

— Два доктора сразу, чать, не помру при вас. Я совсем здоровая, совсем. Посидите еще маленечко, товарищ. Час не больно поздний, а?

Хвалынова растерянно развела руками. И, все еще не оправившись от душевной неловкости, неохотливо отозвалась:

— Да я могу еще остаться ненадолго, хоть у меня и редкий вечер для себя выдается, отдохнуть бы надо. Но можно...

Обозлившись, крикливо снова сама себя перебила:

— Да не в этом дело! У меня скверно на душе. Мне неприятно сейчас с Гребневым. У нас с ним был тяжелый, враждебный разговор.

Лиза махнула рукой.

— Слыхала я, об политике расспорились. Да ничего, остынете оба, и пройдет. Я слыхала, что вы нас ругали. И тоже партийная.

Хвалынова шумно продохнула, а Лиза снова засмеялась:

— Что, упарились с нами? Ничего. Я не рассерчала на вас, товарищ Хвалынова, я про вас доброго много слыхала. От нашего брата, от работниц. Посидите маленько, а? Мы про партию больше спорить не будем, посидите, а?

Хвалынова посмотрела на нее и почувствовала, как сразу отмякло сердце. Очень ей понравилась худощавая, легкая девушка. Она тоже засмеялась уже легко, искренно:

Уговорили, осталась! Я о вас ничего не слышала и нижу в первый раз, но с вами мне захотелось остаться.

Вот и ладно. Я сейчас... Так здесь, что ль, чаевничать будем?

Погодите, не суетитесь. Если только выздоровели, так не утомляйте себя.

Гребнев кинулся к двери.

Лиза закричала ему вслед:

— Постойте, вы там ничего не найдете. Я сейчас все соберу, потом самовар.

Гребнев остановился. Но Хвалынова придержала Лизу за руку:

— Постойте, постойте. Успеем! Неужели, милая девушка, вы тоже коммунистка? У вас лицо как у мадонны. Чистейшее, чудесное лицо.

— Разве шибко красивая? Ой? Это после хвори-то, худущая да зеленая! А вы коммунисток красивых разве не видали? Это мне про старуху одну рассказывали: она большевиков с хвостами да с рогами ждала. А вы, штой-то чать, не баба деревенская? Насмешили, право!

Гребнев тоже засмеялся. С неуверенным, несколько еще стесненным дружелюбием, кивнул Лизе на Хвалынову:

— *Интеллигенция! Не доверяют они нам, вахлакам.* Чего, дескать, хамье...

— *А если бы вы нам доверяли, так ваше бы хамье* меньше бы хамило. Ну, бросим спор! Давайте просто поболтаем, по-человечески. Ну, по-обывательски, что ль, по вашей терминологии.

Опять ласково уставилась на Лизу. Широколобое, с явственно выступающими скулами, но с чудесной линией чуть запавших щек, с крупными, но твердыми целомудренными губами, Лизино лицо не было красиво. Только яркая синева всегда говорящих правдивых глаз делала его прекрасным. Хвалынова материнским движением пригладила рукой темно-русые Лизины волосы.

— Вот такой надо рисовать русскую мадонну. Не важно, что настоящая-то была еврейка. Нам она должна именно такой казаться. Ничего даже, что стриженая. Но волосы все-таки лучше отрастить. Все-таки *большевичка с таким обликом*... Разве только, что «несознательная»!

— На тебе, боже, что нам негоже. Сами-то небось стригетесь? Ну, я сейчас. Там мне товарка хороший пирог с яйцами да с капустой принесла. Закусим сейчас. Ну, пойдемте, товарищ Гребнев, за самоваром.

В коридоре Гребнев крепко обхватил и прижал к себе Лизу.

— Лапынька, выздоровела! Теперь заживем!

Но Лиза недовольно высвободилась из объятий и строго сказала:

— Погоди тискать-то. Один разговор с женщиной только и знаешь, что лапать.

Но у себя в комнате ласково провела рукой по его лицу.

— Ты не обижайся. Только пока не приставай ко мне. Чего-то настроенья у меня какая-то чудная: и радостно будто, и плакать охота. Да. Постой-ка! Докторица эта — баба очень хорошая. Я про нее много знаю. Печенка у ней нашего порядку не принимает, шут с ней! Разговором только замахивается, а против нас ни с кем не пойдет. Я давно про нее знаю.

— И разговором может повредить. Вон она какой трезвон у меня закатила.

— Дак это она нам в глаза, а так она не трезвонит. Работящая. Вы ее не обижайте. Вон Филатова спроси, копейские бабы шибко за нее держатся. Ее одну на копях только и принимают из всего вашего докторья. Ну, неси самовар. А то она подумает, что мы тут против нее сговариваемся.

Филатов оказался легок на помине. Только что Лиза собрала все на стол для чаепитья, он требовательно застучал кулаком в ставню, Лиза по стуку узнала:

— Ну-ка, скорей отпирайте ворота. А то стекло размозжит. Это — Филатов.

Ввалился он так же шумно. Обитая кошмой дверь и то грохнула от размаха. Сразу всю комнату наполнил торжеством своего прибытья. Валенками стучал тяжело, как сапогами. Тулуп вешал, остальную одежду всю с вешалки поронял.

— Тьфу ты пропасть, что это у тебя тут все как неосновательно. Падает. Ну, здорово! Фу-у, думал, к холостому в гости иду. К такому же, мол, бобылю, как я. А тут на! Семейственная картина. Это молоденькая — вроде как жена, а барыня Хвалынова — теща. И за самоварчиком! Прямо семейная кутья со всем припасом. Гляжу, дитенок где не ворошится ли?

Хлопнул Гребнева по плечу, лукавыми глазами из-под торчковатых бровей поглядел на женщин, по очереди сунул им жесткую широкую руку, держа ее ребром, почти не сгибая в рукопожатье.

Хвалынова засмеялась.

— Ну, долго я буду помнить, как к коммунистам в гости затесалась. Еще этого зверя нанесло!

— Я — красный зверь, хороший, дорогой зверь. И за-

тесался хоть не в свою собственную берлогу, да, все одно, в свой косяк. А вот как вы, барыня, тут без опаски расселись? Это вот я не пойму.

Лиза поспешно вступилась:

— А вы сдуру-то не натуривайте. И так чуть уговорила товарища Хвалынову с нами посидеть. Об деле еще не успела с ней слова молвить. Сперва Гребнев обижал, теперь вы. Чисто беспартийному к нам на квартиру и ход заказан.

Оба мужчины враз запротестовали.

— Я ее обижал? Как раз обидишь! Она сама нас всех так чесала.

— Шибко сердитая у барыни охрана! Обличье-то у вас ровно маленько знакомое? Часто на своих собраньях когда-то примечал. Своя, что ль? Давайте знакомиться. Чья будете?

— Была отца с матерью, теперь своя, личная. Пейте вот чай. Лизой меня зовут. А товарища Хвалынову не задевайте!

Хвалынова легонько хлопнула ее по руке.

— Вы — милая девушка... Мне тоже можно просто вас Лизой звать? Вы, Лиза, не беспокойтесь. С Филатовым мы друг друга очень не любим, но встречаться частенько приходится, поэтому мы оба научились друг друга терпеливо переносить. Правда, меня из-за него на допрос таскали.

— Врешь, барыня, из-за себя, из-за самой. В контору с визготней пришла ко мне, а я там не один был. Я с вами связываться не стал бы. Пес с вами.

Гребнев, пододвигая к нему тарелку с пирогом, спросил:

— Ты, случайно, горяченького где не хватил? Что-то говорливый опять и задорный.

Сказал и покосился на Хвалынову. Филатов заметил его взгляд и усмехнулся.

— Ты на барыню не коси. Она знает, что я алкогольное кой-когда уважаю. Она на этот счет ничего. И вообще дружбы промеж нас никак выйти не может, а все-таки я ее не боюсь. Собачоночки такие бывают беспокойные. Лаю, визгу от них, никому пройти мимо нельзя, а тяпнуть не умеют. Даже кого следует не тяпнут, мимо пропустят. Только подвоют вслед.

— Ну, ты, правда, не задирай. Товарищ Хвалынова...

— Чего это вы оба: товарищ да товарищ. Никакой

она нам не товарищ. Барыня, я так ее барыней и ношу.

— Мое имя — Елена Константиновна. Я не скажу, чтоб мне было приятно слушать, когда он так обо мне говорит. И я скоро уйду, потому что с ним трудно дышать в одной комнате. Но оскорбить меня он не может. Груб по недомыслию. Лиза, вы что-то хотели мне сказать?

Филатов не дал Лизе ответить.

— Чего вы взгомозились? Не впервой за одним столом сидим. Не укушу! Да я и не ругаюсь. Так, по правде сказал. И с чего дышать от меня трудно? Я не гнилой, свежий. А может, это подозреваете, что я выпил, спиртом, мол, пахнет? Это Гребень надоумил. Так он зря. Нюхай, Гребень, я подышу, коль не веришь. Ничего я не пил. И давно уж не пил.

— Что же ты шумливый такой сегодня?

— С радости. Добычу угля подсчитывали сегодня. Зима, одежонки нет, а против прошлого месяца в числе пудов поднялись. Во-от. Я и хожу гоголем. К тебе на радостях завернул.

Скоро он, повернувшись спиной к обеим женщинам, горячо заговорил с Гребневым. Лиза ласково посмотрела на утомленную, нахмурившуюся снова Хвалынову.

— Елена Константиновна, во время хвори моей, без меня, позаглазно выбрали меня делегаткой. Ну, что ж, надо поработать! Я охочусь в здравотдел. Можно при вас работу начать? У меня к вам доверчивость есть. Но если вам неохота, насильно я не буду.

— Нет, Лиза, охота. Я даже рада. Трудно, девушка, сейчас нам приходится. Хочется, чтоб около хороших людей побольше было. К вам я тоже сразу доверье почувствовала. Сдается мне, что вы хороший человек.

Лиза отозвалась тихо и просто:

— Нам тоже трудно. И хочешь в чем помочь, да не умеешь как. Кто умеет, от нас больше сторонятся.

— Ну, за это осуждать нас нельзя. Вы вот не слышали, я сегодня Гребневу все, что наболело, высказала. Каюсь теперь, да...

— Я знаю. Я у вас поучиться желаю. Гневливости вашей не боюсь через то, что надеюсь на вас, в вашем деле вы хорошо понимаете, научите.

— Ну и отлично. Давайте вместе работать, научу. Ну, я двигаюсь, пора. Значит, на днях в больнице или в здравотделе увидимся?

Филатов и Гребнев в это время тихо о чем-то, уж в отдаленье от стола, переговаривались.

Услышав, как поднялась из-за стола Хвалынова, Гребнев повернул к ней лицо. С затаенным удовольствием, стараясь произносить слова сухо, строго, сообщил:

— Вы относительно учителей беспокоились, товарищ Хвалынова, а об них без вас позаботились. Приказ о мобилизации их на сыпняк губисполком решил отменить. Вот, Филатов мне сообщил сейчас.

Он умолчал, что приказ отменяется потому, что получен за него строгий выговор из центра, но Хвалынова догадалась об этом сама.

— Видно, повыше и подальше коммунисты поумней наших губернских. Сами не отважились бы расписаться в своем головотяпстве! Ну, что ж, слава богу. А я вам, товарищ Гребнев, вот что сообщу: многие из них добровольно останутся ухаживать за больными. Ручаюсь. Это безрассудно, но благородно. По-интеллигентски. Ручаюсь, что останутся. Ну все-таки у вас-то на душе одним грехом поменьше будет.

С повеселевшим лицом протянула она еще раз на прощанье руку Лизе. Неожиданно Филатов загородил ей дорогу.

— Погодите, барыня. На улице морозище осердился, до становой кишки промораживает. Через полчасика лошади за мной приедут. Пускай сперва вас домой отвезут, потом меня на копи.

— Дойду, здешняя, привыкла к морозам.

— Чего зря артачитесь? Кровь-то не шибко молоденькая, туго уж поди разогревает. Застудитесь, а вас велели еще на копи привозить. Нечего фордыбачить! Погодите маленько.

Лиза, осторожно коснувшись рукой плеча Хвалыновой, попросила:

— Останьтесь. Лошади скоро приедут. Вы и не закусили ничего. Теперь вам и на сердце полегче, по-вашему дело повернулось. Оставайтесь.

Хвалынова, смеясь, хлопнула ладонью по столу.

— Вот в заколдованный дом попала! Третий раз порываюсь, все не уйду. Ну, налейте мне чаю. Я вправду только сейчас почувствовала, что голодна.

Лиза поспешно положила ей на тарелку большой кусок пирога и налила чаю. Филатов подмигнул глазом. Смешно приподняв вверх торчковатые брови, он лихо

выбрыкнул ногами какие-то неуклюжие танцевальные па.

— Нет ли у тебя, Гребень, гармонии, али, на худой случай, гитаренки, што ль? Я и на гитаре один вальс оттарабонить смогу. Повеселиться мне легким чем-нибудь сегодня охота. День у меня высокоторжественный.

Гребнев беспомощно развел руками. Лиза радостно отозвалась.

— У меня тоже высокоторжественный. Только не знаю, с чего. Постойте, я, пожалуй, отыщу гармонь. От дяди в наследство осталась. В наш культпросвет я ее собиралась, да захворала. Стойте, вспомню, в чулане, что ль, она. Нет, вспомнила! Сейчас принесу.

Гребнев двинулся за ней.

— Лиза, ты очень утомляешься. Тебе еще ведь...

Лиза усмехнулась и ласково отстранила его. Он проводил ее взглядом, полным большой душевной нежности. Он не обратил вниманья, что обратился к ней на «ты». Этого и никто не заметил. Филатов потому, что не придавал значенья местоименьям. Всегда обращался, как душа хотела. Хвалынова даже не слышала, что Гребнев говорит. Но приметила его взгляд, проводивший Лизу, и угадала душевную его растроганность. Очки у него все время съезжали ниже глаз. Часто он, не замечая, приподнимал их сам выше, на самый лоб. Освеженное внутренней теплотой лицо стало неумным, молодым, трогательным в этом выраженье счастливой растерянности. И когда он перевел взгляд на Хвалынову, посмотрел, не видя ее, она подумала:

«Какие у него хорошие человеческие глаза. А скажи ему, что он любит женщину и поэтому человеком стал, осмеется, сплетет гнусность какую-нибудь. Любви, мол, нет, а есть половой вопрос. Эх, чудодеи и лиходеи».

Филатов подошел к ней.

— Что, барыня, приуныли? Об чем раздумались? Сейчас вас развеселю, отчихвощу на гармошке, уши заложут!

И рявкнул очень громким, неопределенного, странного сорта, голосом:

Ух ты, зимушка-зима...

Лиза вернулась с большой гармонией в руках. Навстречу ей Филатов снова выписал ногами тяжелое антраша. Потом бережно принял гармонь, твердо уселся на

стуле, зачем-то откашлялся и начал пробовать лады. Скоро он заиграл. Хоть и обещал тарабонить, играл тихонько протяжные российские песни. Он склонил голову набок, встопорщил брови и, глядя прямо перед собой остановившимся ласковым взглядом, растягивал и сводил гармонь. Она пела, как голосистая деревенская баба, объятая широкой неуемной тоской. Гребнев побледнел. Две глубокие бороздинки пролегли меж бровей. Он прижмурил глаза. Ему вспомнилась зимняя деревенская улица, и сам он, маленький, шустрый, шныряющий около девок, поющих проголосные старые песни. Но вот парням уж надоел тоскливый мотив. Они беспокойно завозились, двое-трое придвинулись поближе к гармонисту, сейчас зачастит гармонь по-нынешнему, в удалой скороговорке частушку. И будто Филатов думал одну с ним думу. Он вдруг оборвал разливную тоску и лихо зачастил, негромко подпевая:

У попа-то рукава-то,
Ба-атюшки.
Ширина-то, далина-то,
Ма-атушки.

Тихонько, пристукивая в такт ногой, с печальной улыбкой, подпел ему Гребнев. Высоко и задорно взвился сильный женский голос. Запела Лиза. Трое, одну за другой, пели частушки, притоптывали сидя, потряхивали головами. Но веселым и озорным лицо было только у Лизы. Филатов и Гребнев — оба выпевали бойкий мотив, а в себе слушали сладкую, но всегда печальную песню человечьих воспоминаний.

Когда Лиза, оборвав пенье, заговорила с Филатовым, он встряхнулся, будто спросонок.

— Вы вот эту песню умеете или нет?

Она запела:

По До-ону гуляет,
По Дону гуляет
Казак молодой,
А там дева плачет...

Филатов быстро подладил гармонь. Лиза ясно выговаривала наивные слова.

Лизино пенье и слова песни очень нравились Хвалыновой. Даже в горле у ней защипало от сладкого умиленья. Ей было сейчас так хорошо сидеть, слушать пенье этих людей, смотреть на них и ощущать их друзьями, а не врагами. Думала:

«Чудесный, душевный, настоящий, русский голос у девушки. И как идут к нему эти бесхитростные слова! Господи, ведь могут же они, вот эти трое большевиков, чувствовать музыку, наслаждаться ею, понимать тоску, жалобу, веселье, жизнь? Откуда, как же умеют от этих чувств переходить к зоологической жестокости, к ненависти, к обесцениванию отдельных человеческих жизней?...»

Надрывный, тревожный, сквозь двойные рамы и ставни, вошел в комнату гудок. Первым услышал его Гребнев. Вскочил со стула, оборвал музыку и пенье:

— Подождите! Кажется, тревога.

Все затихли, затаили дыханье. Далекий, тревожный зов властно вошел в комнату, переполошил всех... Филатов быстро положил, почти бросил на стол гармонь, кинулся одеваться. Бормотал на ходу:

— Гребень, скорей. Мы тут распелись еще на беду. Может, давно гудит. Эх мы, черти, черти сволочные!

Гребнев торопливо достал из стола наган, запасные пули. Вынул из глубины стола еще маленький браунинг и протянул Лизе. Она отвела его руку.

— Есть у меня. Возьми с собой про запас. Да одевайся скорей, бери винтовку!

Лицо у Лизы стало строгим, глаза потемнели. Филатов, открывая дверь, спросил:

— А ты чего же сама-то остаешься?

Гребнев крикнул:

— Подожди, Филатов, я сейчас. Вместе! Надо ей наказать, она останется.

Лиза одновременно с ним объяснила Филатову:

— Я приду, коль силы хватит. Ноги еще дрожащие. Все одно, коли что, в руки живая не дамся. Гребнев, иди и ты. Наказы все знаю. Не бойся. На всякий случай, прощай.

Она обняла Гребнева за шею обеими руками и крепко поцеловала. У него перекосились губы, побелело лицо, но он решительно, не задерживаясь, повернулся и пошел к двери.

Хвалынова крикнула:

— Я тоже с вами пойду! Это восстание, да? Тревога? Будут раненые, я полезна...

Филатов от двери резко оборвал:

— Не надо. Пусть идут только наши. Черт вас знает, помощников... Слышите, оставайтесь! Когда ваше дело понадобится, сами пришлем.

Он глянул на нее таким остро ненавидящим, ярко блеснувшим взглядом, что она невольно подалась назад. А Филатов добавил, выходя:

— Ты, Лиза, лучше ее при себе придержи. Вражьего роду. Языком тоже недаром молола. Может, лучше нашего знает, что там, на улице.

Гребнев тоже подтвердил:

— Самое лучшее! Будьте здесь, Хвалынова. После видно будет, что и как.

Оба ушли. Гребнев сзади. Оглянулся и сильно хлопнул дверью. Хвалынова рассердилась:

— Черт знает, полоумные какие-то, маньяки! Во всех предателей видят.

Лиза, холодно и строго взглянув на Хвалынову, сказала, еле разжимая побледневшие губы:

— Не расходуйтесь зря! Я вас отсюда в тревогу не выпущу. Там увидим, занапрасно или нет подозреваем. Я сейчас к себе пройду. Но, коль услышу, что уходите, пеняйте на себя!

Вышла. Хвалынова плюнула, хлопнула руками себя по бедрам, покачала головой, села и вдруг улыбнулась.

Лиза вернулась с браунингом. Подошла к окну и стала настороженно слушать, что на улице. Хвалынова задвигалась. Лиза оглянулась и смерила ее предостерегающим злым взглядом.

Хвалынова засмеялась:

— Никуда не уйду, не беспокойтесь. Но неужели вы даже представить себе не можете, чтоб человек, добровольно работавший у вас, не предал вас в минуту опасности?

— Я ничего не знаю, но сейчас матери родной не поверю. Если не наша она.

— Если не коммунистка? Эх, наивные вы все трое, глупые! Из коммунистов из ваших десятка два, наверное, лататы зададут и откажутся от вас, отрекутся семьдесят семь раз... А я сама с вами осталась. Уж конечно, не для предательства! Ничего ты, девушка, не понимаешь.

— Не понимаю, ладно. Только не выпущу отсюда.

— Арестована, значит, я?

— Да, арестованы. Не выпущу.

— А если побегу? Пристрелите?

— Пристрелю.

— Да ведь зря!

— Зря — мой грех. Я одна в ответе. А вот если не зря, да выпущу, расхлебывать все наши будут.

— Наши, наши! По билетику своих ищете...

— Ну, хватит пустых этих разговоров-то. Вот что, сидите здесь. Я во двор выйду, к воротам, посмотрю. А вы здесь оставайтесь. Слышите?

— Слышу. Не побегу. Не бойтесь.

— Да и некуда бежать. Я же у выхода буду.

Лиза накинула большой теплый платок, оглядела комнату, проверила будто, что Хвалыновой не уйти без ее разрешения, и ушла.

Во дворе она приоткрыла ворота и выглянула наружу. Их улица была пустынна. Небо с яркими звездами горело в холодном сиянье над безлюдьем. Закутанные снегом, нежилыми казались дома. Но зоркий Лизин взгляд видел приоткрытые калитки, кое-где затаившиеся в пугливом, настороженном любопытстве черные человечьи силуэты. На соседнем дворе слышался осторожный шум, похожий на тревожную мышью возню. Издалека, в морозной тишине, отчетливо доносился гул многочисленной толпы, просекаемый топотом лошадиных копыт, шумным шуршаньем автомобилей и хрустящим, под ногами пешеходов, снегом. Гудок уже молчал. Мороз жег щеки и глаза, все тело под легкой защитой платка. Ресницы быстро заиндевели, примерзали. Лиза задрогла. Бегом вернулась в дом.

Хвалынова спросила тревожно:

— Ну что?

Лиза ничего не ответила, даже не взглянула на нее. Прошла мимо и прислонилась спиной к печке, дрожа мелкой дрожью и от холода и от волненья. Хвалынова отвернулась. Обе молча ждали.

Вдруг за окнами послышался скрип полозьев, голоса и будто смех. Лиза, приподняв руку с браунингом, кинулась к двери. Ее сразу бросило в жар. Вспомнила, что она забыла запереть. Но в сенях услышала знакомые голоса и радостно, очень громко крикнула:

Свои?

Гребнев распахнул дверь с громким смехом. Филатов за ним притопывал за ним.

Ну, что? Ну, что? Что такое случилось?

Гребнев ласково обхватил ее плечи.

Оказалось — пустяки, ложная тревога!

Филатов, смешно вертя головой, перебил его:

Ну, история! Всполошили. Грабители-громилы

взламывали продовольственный склад в горпродкоме. Их накрыли. Громилы вооруженные тоже. Началась пальба, перестрелка! Ну, услышали, решили, что белогвардейщина взгомонилась. Значит, давай нас скликать!

Гребнев, протирая очки, взволнованно сообщал:

— Ну, Лиза, здорово себя наши показали! Почти все явились, полняком. Эта тревога, как смотр. Мы оттуда с песнями возвращались. Ну-ка, я сейчас пойду самовар подогрею. Согреться надо.

Филатов, снимая с усов намерзшие блестки, остановил его:

— Ну, тоже доктор... Самовар. Спиртишку разыщи. Ну, мороз! Все кишки смерзлись.

Лиза весело подхватила:

— А я на керосинке яичницу сготовлю.

— Яишенку! Горячую! Вот хорошая хозяюшка. Вот спасибо!

Хвалынова злым голосом спросила:

— Теперь я, надеюсь, свободна?

Разом все кинулись к ней. Заговорили все вместе.

— Вы не сердитесь, пожалуйста!

— Никак иначе нельзя!

— Сейчас, барынька, хорошая барынька, закусим, и вас Федор отвезет. Он сейчас придет. Там около лошадей что-то замешкался.

Хвалынова гневно отстранила их всех рукой.

— Выпустите меня. Не надо мне никаких ваших закусок. Ни лошадей. Пустите.

Властно перебила виноватый галдеж:

— Я не желаю больше оставаться с вами.

Она торопливо кое-как оделась, не отвечая ни слова на уговоры, объясненья, и почти выбежала из комнаты. Филатов без шубы бросился за ней.

Он скоро вернулся, ежась от холода и потирая затылок. Двигая торчками бровей, произнес с уважением:

— Нравная баба.

— Что? Не поехала?

— Никак не мог усадить. Топочет, бежит! Федор так и уехал за ней. Она бежит, он рядом едет, уговаривает. Они — знакомцы. Бабу его лечила.

Федор вернулся, рассказал.

— Никак не села в сани. Шибко осердилась. Так и добегла самостоятельно, а я рядышком доехал. Я уж говорил: вы, мол, на их серчаете, а мы с вами не ссори-

лись, я вас всегда уважал, ведь я везу, садитесь, сделайте одолженье... Никак. Вертайся, говорит, а то я с тобой сроду слова не скажу. Только, говорит, расстраиваешь меня. Ну, так, в разговоре, и двигались.

Филатов широко усмехнулся:

— Господская придурь! Сама себя наказала, никого больше. Они всегда так, на другого серчает, а себя тиранит, своей обидой допечь хочет, жалостью. А кто дурака пожалеет. А все-таки настойчивая баба. Это мне нравится. Самостоятельная.

Гребнев возразил:

— Но приглядывать за ней надо.

Филатов согласился:

— Это кто говорит, что не надо, обязательно надо. Душок в ней вражий есть.

Только Федор заступился:

— Это зря. Женщина хорошая, дельная.

Да Лиза пожалела:

— Обидели мы ее. Мне и жалко и совестно.

Сидели еще долго. Федор крепко уснул на сложенных на пол тулупах. Трудный и медлительный зимний рассвет расползался по небу, прорывая седую мглу, когда уезжал Филатов. Гребнев в тулупе стоял около саней. Простились. Федор дернул вожжи. Но Филатов вдруг остановил:

— Погоди.

Выпрыгнул из саней, взял под локоть Гребнева и отвел его в сторону. Негромко и застенчиво спросил:

— Эта девка-то как? Строгого поведенья или вертихвостка?

Гребнев насторожился.

— А что? Распалился уж, бабник! Отъезжай, она не такая.

Филатов отрицательно замотал головой. Сказал еще тише, ласковей:

— Нет, я не для греха, а для семейства. Скучно бобылем жить! По кобелячьи-то уж набегался, надоело.

Гребнев высвободил руку.

- Ну, поезжай, ладно. Разнежился в тепле.

И невольно с ревнивым вызовом добавил:

- Опоздал ты. Выкинь это из головы.

Филатов взглянул на него, сконфуженно усмехнулся:

Да, вот в чем дело! Я, дурак, не сообразил. Ладно, совет да любовь.

Вскочил в сани.

Погоняй, товарищ, буде дремать.

II

Лиза с Филатовым встретилась у подъезда Губздравотдела. Заметно друг другу обрадовались... Он, здороваясь, так сжал ее руку, что Лиза плечами от боли передернула, но весело засмеялась, порозовела, и глаза у ней стали ярко-синими.

— Что же это вы сколько времени к нам не заглядываете? Никак, месяца три?

Филатов крякнул, сдвинул рукой шапку на самые глаза.

— Три. В декабре тогда... Тревога-то еще случилась, помните?

— Чать, не сто лет прошло, как же не помнить. Так чего же это вы обегаете нас?

Филатов крякнул еще решительней.

— Между двоими согласными третьему нехорошо путаться. Вот что, Лизонька,— не мастер я бочком выхаживать. Охота мне все напрямики тебе сказать. Желаете? Давайте маленько пройдемся по улице, если согласны побеседовать.

У Лизы лицо попунцовело. Она опустила глаза, спрятала их, чуть кивнула головой и повернула в улицу за угол. Филатов размашистым шагом поспешил за ней. Он еще раз крякнул, откашлялся, шапку со лба передвинул на затылок. Лиза услышала, как у ней взволнованно забилось сердце.

— Влюбился я в вас, и влюбленье мое вышло крепкое. Прямо как в песне поют, в старой в одной, ни запить, ни заесть, а я от себя еще прибавлю — работой никакой его не задавишь, другой бабой не обманешь. Прямо, бывает, жгет сердце, охота вас повидать. Ну, а дальше сказывать нечего. Сами знаете. Кабы я знал, что и вы ко мне эдак же разгорелись, мне это нипочем, что Гребнев мне товарищ милый. Отбил бы. И врать не стану, не пожалел бы его. Такой характер у меня, у брата родного отбил бы, шибко влюбился... Ну, а так вышло, что ты не ко мне, а к нему прилепилась, я и отрезал. Чего мне дураком-то обалтываться, а?

Лиза низко опустила голову в беленьком вязаном платочке и сосредоточенно смотрела на порыхлевший, оседающий февральский снег под ногами. Жадно хватала дыханьем теплую сырость ветра и молчала, будто не слышала его слов. Филатов шумно вздохнул, искоса поглядел на нее.

Темно-русая кудрявая прядка волос, выбившаяся из-под платка, тень опущенных ресниц на щеках, плотно сжатые милые губы ощутились бесценно дорогими, никак ничем не заменимыми. В страстном порыве он громко крикнул:

— Эх, милаша, здорово ты меня завлекла!

Лиза испуганно оглянулась по сторонам и дернула Филатова за рукав кожаного пиджака.

— Не кричите, товарищ Филатов, очень неприлично, если кто услышит. Подумают про нас нехорошее.

— Это мне ровным счетом начхать, чего там какая шпыряла об моих чувствах подумает! Ты вот, чего думаешь, лучше скажи. Идешь молчком, выходит, зря канителюсь. Поверну по делу, куда шел. Что же мне около тебя сусолиться, подумай-ко сама.

Но не поворачивал, никуда не уходил. Шумно пыхтел, сел рядом. Помолчал и неуверенным, почти просящим голосом спросил:

— А может, ты подумаешь?

Не поднимая лица, Лиза тихонько отозвалась:

— Об чем?

— Гребнев-то шибко мил тебе?

Лиза вздохнула и решительно подняла голову.

— А ты откуда знаешь, что промеж нами любовь была?

— Он сам сказал, когда меня тогда провожал. А ты говоришь — была? А сейчас как, кончилась, что ль? Я тебе вот что скажу, Лиза. Нащет венчанья, это, конечно, брунда, поповская лавочка. Но только все-таки я не уважаю, когда женщина мужиков меняет. И собирался я так, если охота возьмет на женитьбу, а не на баловство, жену себе, а мать моим детям не брать от другого мужика. Об этом вот думал. Постой, ты не сердись, такая ты мне дорогая, что все эти мысли нипочем вышли. Тем море не волнилось, что собака в нем лакала. Я про Гребнева худым худого не хочу сказать. Он хороший человек, но когда об тебе раздумаюсь, он мне — как враг. А если любовь у вас прошла, он мне не поперек дороги, и я никогда тебе об нем худым словом не напомню. Прошла, говоришь?

Лиза рассердилась.

— Ничего я не говорю! Действительно, он пес, если он тебе выболтал, что мы в секрете сговорились держать.

— А, дак ты только за это на него рассерчала?

— Ничего не рассерчала! На тебя досада берет за глупые твои слова. Я тебе согласья на любовь никакого не давала. Сам распелся, а туда же сразу: худым словом не попомню. Еще не муж, а уж в начальники становишься! Я думала, что умный человек, а ты дурак.

Филатов растерянно остановился.

— Погоди, чего ты взъелась?

— А то. Кабы даже я согласилась, я бы ни худым, ни хорошим словом не обмолвилась, как ты до меня с другими бабами...

— Это тебе в женотделе разъяснили?

— Где бы ни было, а правда! Ты на словах по-новому, а на деле...

— Ничего я не по-новому, не по-старому, а по-моему. Выложил все, что думал. Я ведь не в укор. Значит, начисто отрезать думу об тебе? Крепко с Гребневым? Ну, чего же! Прощай.

Филатов круто повернулся и пошел назад. Лиза приостановилась, посмотрела ему вслед, сердито тряхнула головой и пошла в детскую больницу.

Поздно ночью Гребнев вошел к Лизе. Она всегда крепко спала, а тут сразу услышала, как отворилась дверь. Приподнялась и села на постели. Он в темноте нащупал, обнял ее.

— Ты чего соскочила? Не спишь еще?

Его руки показались ей слишком горячими, объятье неприятным. И дышит в самое лицо, душно от этого, всему телу как-то неудобно, неловко!

— Постой! Чего ты всегда навалишься, дышать не даешь! Пусти-ка. Я пить хочу.

— Я тебе подам.

— Не надо, ты же не знаешь, где у меня вода.

Напилась, постояла и зачем-то зажгла свет. Гребнев уже лежал в ее постели. Приподнял голову, прижмурился от света.

— Ты что? Зачем зажгла?

— Ну, что да зачем? Зажгла, значит, надо мне. Чать, я у себя дома, спрашиваться, что ли, мне у тебя, зажечь или не зажигать. Разбудил, не уснешь теперь!

— Хочешь спать, так уснешь. Чего это ты раскапризилась сегодня? Ложись скорей, пригреемся, уснем.

— Жарко сегодня. Не усну я с тобой, ты в рот мне всегда дышишь. Ворочаешься, ворочаешься, пока самой дышать место найдешь.

Гребнев засмеялся.

— Не первую ночь около тебя дышу, не жаловалась. Еще сама жалась поближе. Ну, жмись скорей, Лизунька, туши огонь.

— Чего ты, совсем ко мне перебрался? У себя на кровати вовсе не спишь?

— С тобой очень сладко спать. Ну, ложись.

Лиза недовольно взглянула на него. Этот близкий ей человек вдруг показался ей новым, чужим и неприятным. Чего усмехается? Щурится, как кот на сало.

— Что-то мне сегодня неможется, нездоровье какое-то. Ты иди на свою кровать.

Он широко открыл глаза, удивленно посмотрел на нее и вздохнул.

— Мне с тобой хорошо больно. Я думал кое о чем сговориться, как рядышком ляжем. Чего-то нынче прямо чуть дождался, когда домой выберусь. К тебе больно тянуло целый день.

У Лизы вдруг сжалось сердце от чувства странной, смутной виноватости перед ним. Стало так жалко его, будто над ним беда какая стряслась, и он сейчас, сию минуту, погибнет... Она испугалась, что расплачется, смутит его этими непонятными самой слезами, быстро потушила свет, легла и крепко обняла Гребнева за шею обеими руками. Но когда он жарко обхватил ее, притиснул к себе, тело ее будто одеревенело, терпеливо, в немоте, подчинялось его ласкам, как тягостной необходимости. Впервые она отчетливо, точно увидела со стороны, ощутила непристойной предельную физическую близость мужа и сплющила веки закрытых глаз так сильно, что темнота в глазах запрыгала. Когда Гребнев дышал уже ровно, Лиза ласково, но с напряженным смешком проговорила:

— Спать все-таки иди к себе на кровать.

Поспешно добавила:

— Голова у меня болит, я все ворочаюсь, ты мешаешь.

— Сейчас уйду. Знаешь, Лизонька, я вот что хотел тебе сказать: давай жить открыто, как муж и жена. Сходим в загс. Я даже теперь и не пойму, чего мы сразу так не сделали. Кто мешает?

— Да иди ты, пожалуйста, к лешему с разговорами. Приспичило ночью свататься! Говорю тебе, голова болит. Завтра дня, что ль, не будет?

— Ну, иду, иду. Думалось целый день об этом, вот и поторопился тебе сказать сегодня же.

— Ну, не шибко торопился, сперва облапил. Иди, и сам выспишься.

Ушел. Она уткнулась лицом в подушку, заплакала, сама не зная о чем.

Дня через два Гребнев снова разговор о загсе завел.

— Все вместе у нас будет. Заживем хорошо, два пайка у нас, одежду тебе надо выхлопотать. Ты о себе не заботишься, а мне сейчас неудобно. Тогда для жены. Потом, что мы так бобылями и будем век коротать? Пора детей заводить. Тебе работу надо будет бросить. Хватит и партийной одной. У меня положенье хорошее: и в здравотделе и в губкоме меня ценят.

Лиза сидела у стола. Лампа ярко освещала ее спокойное, но бледное и невеселое лицо. Она смотрела мимо Гребнева, куда-то в стену, растерянно водила взглядом по узору обоев.

— Работаю я добросовестно...

Лиза усмехнулась. Гребневу усмешка ее показалась недоброй. Он нахмурился.

— Чего ты смеешься?

— Да смешно, выхваляешь себя, чисто, правда, к настоящей невесте в первый раз пришел. Чего ты разводишь? Уж хоть бы только пили-ели вместе, а то спим вместе какое время, он давай размазывать! Чать уж, что надо и не надо, все про тебя знаю. Разве только в кличке ошибусь: не то Виктоша, не то Ленечка, а так уж все шибко хорошо знаю.

Гребнев рассердился, ударил ладонью по столу.

— Ты дуру не валяй! Знаешь, что я укрепился в докторах. Я сам забывать стал, что Виктошкой когда-то называли.

Лиза встала, притворно зевнула.

— Я нынче опять набегалась. Нам днем-то увидеться не приходится, вот все разговоры в ночь. А ты еще везешь, никак не довезешь, все с долгим разговором.

— Что-то очень сонливая стала, маком разве опоили? Засиживалась, бывало, и поздней. Да шут с тобой! Очень зазнаваться начала. Не хочешь, другую найдем.

— Ну, и найди.

Пошла. Но Гребнев встревожился. У дверей догнал.

— Ты не сердись, подожди немного. Не надо мне другую! Никакую бабу, кроме тебя, стало не надо.

Лиза приостановилась, помолчала, потом отозвалась с бледной улыбкой:

— Ну, чего нам об этом разговаривать? Чудной ты какой-то стал! Боязливый да прилипучий. На этой неделе не удастся, дни шибко занятые. А на будущей сходим и зарегистрируемся, вот и вся.

У Гребнева просветлело лицо. Он крепко прижал к себе Лизу, начал бурно целовать ее лицо. Она тихонько высвободилась, с той же стылой улыбкой легонько хлопнула его рукой по шее и ушла.

Гребнев принялся за учебник, но мешали посторонние мысли. Он думал, зачем это Лиза, нет-нет да старое ворохнет. Чего там ворошить? Хорошего мало. Отжито, и ладно. Он искренне говорил Лизе, что сам про свое самозванство забывать начал. Вначале часто шевелилась боязнь быть изобличенным. Но с каждым месяцем она пробуждалась все реже и реже. Положенье доктора Леонида Сергеевича Гребнева, его имя, работа, с этим именем связанная, стали ощущаться ловко по плечам, как обношенное, привычное, свое платье. Виноватости он уже никакой не чувствовал и гораздо реже вбок глаза отводил, отделываясь постепенно от страха разоблаченья. Уверенней стала речь. Временами он только замедлял ее, как бы обдумывая перевод. С большого пьянства чуть было себя не сгубил, Липатовой проболтался. Теперь приходится с ней канитель тянуть... Пока связь между ними, не выдаст, сильно в него втюрилась. Ему трудно, совсем отшибло от нее. Хорошо, что сейчас на шестимесячные курсы какие-то в Москву уехала. Сейчас бы не мог. Вернется, могут возникнуть осложнения из-за того, что застанет его женатым. Ну, тогда уладит он как-нибудь. Может, и свертится с кем-нибудь, сама отлипнет. Полюбовно, мирно разойдутся, не выдаст. Ему тоже про нее кое-что известно. Поворовывает из детского снабженья, и крупно. Тогда этими сведениями можно будет козырнуть, припугнуть Липатову. А от Лизы отказаться не может... В последнее время его большое чувство к ней осложнилось еще странным опасеньем потерять ее любовь. Оттого беспокойней, горячей привязанность к ней. Ревность, пробужденная Липатовым, взбудоражила. После болезни она похорошела, приманчивей стала и независимей. Может быть, оттого часто теснил грудь испуг, назойливый, как тяжелое предчувствие беды. Лиза в последние дни стала какая-то раздражительная, неохотливая на ласки. Ну вот, заре-

гистрируются, тогда дитенка можно завести. Успокоится. Он по медицине знает, что отказ от материнства отражается на нервной системе. Все будет хорошо! А прошлое — это пустяки. От него далеко уехал. Кому теперь дело до чужого греха, если он, Гребнев, непосредственно человеку не вредит. За войну и в нынешние годы, в революцию, все притерпелось и все дозволено. Какая беда — самозванство! Хуже немного, что по чужим документам года пришлось прибавить себе. Из-за этого он и у красных — дезертир. Ну, это опять как понимать! Ведь он доктор, этим делом старательно занимается, значит, полезен и на занятом месте. Теперь естественно позаботиться устроить по-настоящему счастливую жизнь. Это счастье ему, урывавшему в прошлом только куски чужого пированья, представлялось полным с женой, с детьми, в доме, обеспеченном едой, одеждой и обстановкой, какая была вот хоть у Лугининых. Гребнев представил себе квартиру, которую они с Лизой займут. Мало квартир в городе. Ну, постепенно найдут. Пора похлопотать об обстановке. Многим выдают из реквизированной. Он еще не просил. Для Лизы кое-что из одежды можно будет получить.

Гребнев отодвинул книгу, взял листок бумаги, карандаш и стал четко, старательно записывать, что именно можно получить в горпродкоме, в отделе бесхозяйного имущества и в других подходящих учреждениях. Лицо его, озаренное отблеском предвкушаемого обладанья всеми желанными вещами и жильем, занятым семейством доктора Гребнева, стало вдохновенным, почти прекрасным. Только вспомнив о том, что Балакарь и Арина не дождались этих счастливых дней, он глубоко вздохнул.

Через неделю на этом списке вещей, на своем столе, Гребнев нашел письмо, тщательно заклеенное столярным клеем в самодельный конверт из линованной бумаги. Надпись на конверте, сделанная Лизиной рукой, удивила его.

— Чего это она написала? Верно, на дежурстве ночует.

Похолодевшие пальцы и неровное биение сердца подсказали: нет, что-то страшное. Он распечатал конверт.

«Миленький мой, слезы капают, мне тебя жалко, только ничего они не помогут тебе, эти слезы. С сердцем не совладаешь. Любила я тебя, Виктошенька, не обманывала, крепко любила, а теперь другого люблю. Стыди не стыди, сама себя стыдила, а все равно к нему ушла.

Что было промеж нами, какая любовь, я никогда худо о ней не помыслю, добром буду вспоминать, и все, в чем открылся мне, чего мы с тобой двое прятали, словом обещаюсь крепким, никому не выдам, даже теперешнему мужу моему не скажу, ты не бойся. Было, умерло промеж нас, и ладно. Знаю, что очень ты обидишься и расстроишься, шибко я для тебя желанная, но в своем сердце никто не волен. Я тебя не осуждаю, только, как пожили мы вместе, похолодало мое сердце к тебе, невеселый ты и маленько чисто свихнутый, а я простая и без обману, а с тобой сама не собой сделалась. Не сужу я, а жалею и плачу и об тебе и об себе. Лучше бы, кабы я раньше с Филатовым встретилась, все одно так вышло, что к нему от тебя ушла. Обман всегда горе сеет, Виктошенька, мы с тобой и жили с того не в полную душу, что за твой обман и я с тобой, как помощница. Но делили его, я умолчу о нем, еще раз обещаюсь тебе».

Подписи не было. Гребневу она и не была нужна, но он долго смотрел на пустое место под строками, будто эту подпись искал. Потом скосил рот, злобно плюнул на письмо, рванул на себе волосы обеими руками, выругался вслух матерно хриплым голосом, быстро побежал в Лизину половину, оглядел пустую комнату, взвыл, как от приступа зубной боли, вернулся к себе, сел, посидел. Увидел перечень вещей, сорвался с места, изорвал его, потом, смешно крутя головой, всхлипнул несколько раз по-бабьи.

III

Гребнев сильно изменился в лице. Выпятились скулы, щеки запали, и кожа, с мутью вместо румянца, будто пропыленная изнутри стала. Беспокойно бегающий взгляд, наткнувшись на другие человечьи глаза, часто вспыхивал сухим волчьим блеском. Заметно переменился человек. Но из окружающих никто перемены в нем не замечал.

Годы, насыщенные лютыми на людей напастями, приучили людей вести скорбям и переменам только круглый, суточный счет. В сраженьях, в тифозных бараках, на голодных пайках, в темницах, на сторожевых постах по всей опустинившейся, обездорожевшей стране гибла сосчитанная нежалостливым, плохим счетом разная человечья

живность. Гибли влекомые в гибель верой, безверьем, расчетом, безрассудством, отчаянной трусостью, мужественным гневом, изуверством подвижничества, подлостью. Упрямо сами возжелавшие и случайно желаньем других захлестнутые. В казенных ведомостях, отчетах и газетных сообщениях писались их безымянные, как братские могилы, поминанья. И даже выделенные своим отдельным именем тонули в приливе безымянных, обозначенных под гуртовым ходячим названьем: коммунисты, беспартийные, обыватели, контрреволюционеры, сочувствующие, несочувствующие, наши, не наши, вражья сволочь. Для кровных, для родивших это были сгубленные Вани, Лизы, Сони, Митеньки, Артамошки, Палашки, Сидоры, каждый отдельно сам по себе человек. Но в общем подсчете молчали единицы, говорили только сотни. Под стремительным накатом этих сотен даже кровные, даже родившие быстрей забывали ушедших, цепляясь за живых, идущих. Малой мерой скупо отмеривались только радости. У всякого скуден запас их драгоценных крупиц, и цветущие счастливые лица отметны, а притомившиеся от беспокойства, заботы и нездоровья никому не в глаза.

Больше всего угнетало Гребнева одиночество. Ночевать не мог оставаться в опустелом домике, брошенном ему Лизой. Но когда за стеной поселили сапожника с женой, еще тяжелей сделались ночи. Он забывался только в кратком сне. Быстро, как от толчка, пробуждался, садился на кровати и начинал ясно видеть, что противоположная стена надвигается на него. Все ближе, ближе, совсем близко. Мертвел от жути. На мгновенье, как у мертвого, останавливалось сердце, потом вскрикивал и опоминался. Та раза по три в ночь. За стеной наработавшиеся люди спа и крепко. Не слышали его вскрикиваний и стенаний. Он, опомнившись, долго прислушивался. Боялся, что услышали, прибегут, примут его за сумасшедшего. Тогда совсем конец.

День его был так загружен докторской работой, собраньями, объездами детских домов, работой в различных комиссиях, выступленьями с речами по путевкам парткома, что ему некогда было ощутить своего горя. Мучили только ночи. Хуже всего, если с вечера он рано освобождался. Пойти было некуда, не к кому. С местной интеллигенцией у него были неплохие отношенья, но он со всеми видался только в учреждениях, не на дому. Ему казалось, что врачи его сторонятся, именно его.

Оттого снова появились припадки подозрительности и страха. Он не мог понять, что у большинства этих людей отношенье к переживаемому времени совсем другое, чем у него. Что они тяготятся постоянным верченьем на людях и с людьми. Им дорог час своей личной отдельной жизни. Были такие, что и приглашали к себе. Но скрытая приятной натужной улыбкой стесненность напуганной души Гребневым в нынешнем его нервном состоянье угадывалась. И он их сторонился, боялся просьб всякого рода.

Однажды, уже в одиннадцатом часу ночи, к нему на квартиру приехала жена военкома — подержанная, но хорошенькая женщина.

— Вы меня простите, доктор, что я так поздно ворвалась к вам. Но раньше вас ведь дома не застанешь! А мне так нахвалили вас, что я решилась непременно добиться вашего совета...

Дальше пошло так просто, что Гребнев и удивиться не успел.

После этого первого визита он стал принимать женщин на дому. К нему их приходило много. Приходили с настоящей болью, с огромным к нему доверьем. Но быстро выросшей практикой он был обязан своим любовницам. Они, оправдывая свои частые посещения, создали ему славу хорошего врача.

Их у него было уже шесть. Три не только делили с ним томительные для него ночи, но и днем присылали ему восторженные, слишком пространные и откровенные письма. А любовные свиданья его с ними были накостны. Все, чему научился с Липатовой, что он брезгливо осуждал, подсматривая за Юрием Лугининым, он проделывал теперь с женщинами сам. Нередко ему делалось тошно, он напивался, пьяно плакал, хоть никому и не исповедовался. Днем, после таких ночей, он чувствовал себя скверно. Давал себе слово прекратить эту костную ночную жизнь, но застрял в ней, как муха киселе. На его несчастье, вернулась в город Липатова. первое же с ней свиданье он почувствовал к ней яростно злобу. Каким-то образом вся боль, причиненная одом Лизы, объяснялась им как вина Липатовой. Ему алось, не будь у него связи с Липатовой, Лиза не любила бы, не ушла. И он сладострастно издевался Липатовой, иногда избивал ее.

С Филатовым они встречались на работе довольно

часто, но Лизу он не видал ни разу после ее ухода. В первую встречу с Филатовым он затрясся, сжал кулаки, подавился словом. Властность предостерегающего филатовского взгляда смирила трусливую душу Виктошки. Он сжался и прошел мимо. Потом привык обходить Филатова, а при необходимости даже говорить с ним о делах.

В один июньский душный вечер они столкнулись лицом к лицу на улице. Гребнев ускорил шаг. Филатов решительно остановился и сказал:

— Стой, Гребнев, дело есть.

Медленно, не глядя на Филатова, повернулся к нему Гребнев.

— Вот что, брат. Баба бабой, а дело делом. Ничего тут не поправишь, коль так сделалось.

Гребнев скривил лицо.

— Нечего и лезть ко мне с разговорами.

— Я не с разговорами, с делом. Гибнешь, парень! Очухаться пора. Кабы даже Лиза от меня ушла, я бы эдак не стал.

Гребнев крикнул громко, зло, надрывно:

— Какое дело у тебя ко мне?

— Не ори, нехорошо. Люди встретятся, подумают — ночной разбой. Очухаться тебе пора. Слухи нехорошие про тебя ходят.

Гребнев насторожился:

— Какие?

— Говорят, что пьянствуешь без просыпу, спирт из больниц таскаешь, дома у себя б... завел. А в деле хиреешь! В больнице у тебя воровство идет аховое.

— Тебе какое дело? Если доносить хочешь, доноси.

— Дурак. Чего на тебя доносить, и так на ниточке держишься, по всему городу звон! Жалко мне тебя. Я тебя любил. Пропадешь.

— Из-за тебя.

— Нет, из-за себя. Слушай, Гребень, сожми себя маленько, обуздай. Я приехал за докторами, поработать на копях с недельку. За этой ведьмой Хвалыновой. Я ее не люблю, но бабы копейские — никого не надо, ее. А она, ведьма-то, говорит: Гребнева со мной позовите. Там на всех группах одному доктору в неделю не управиться. У меня стукнуло в груди, а думаю, почему нет. Поедем, а? Помнишь, как, бывало, наезжал. Там, брат, тебя люди добром вспоминают.

У Гребнева затряслись плечи. Он с усильем, хрипло выговорил:

— Тяжело мне.

И отвернулся. Филатов взял его за локоть, повернул и дернул за собой. Ходили они долго по улицам и разговаривали глухими, сдержанными, взволнованными голосами. Занималась заря, когда они разошлись.

А в полдень Гребнев с Хвалыновой выехали на копи. Там прожили две недели вместо одной. В город вернулись с массой наказов: подтянуть ферму за доставку прокисшего молока в яслях, установить в аптеках внеочередную выдачу лекарств для детей и т. д. У Гребнева лицо стало светлей, ясней взгляд. Даже встречу с Лизой на копях он вспоминал с большой печалью, но беззлобно.

Месяца не прожил Гребнев, дыша успокоенным, вольным дыханьем. Много работал. Наказы с копей все выполнил. Два раза ездил в совхоз, за прокисшее молоко подтягивать. Добился, что прислали извещенье: все в порядке. Вовремя доставляется молоко, и по качеству хорошее. На заседанье при уполномоченном по улучшению жизни детей добился постановленья, чтобы лекарства для детей приготовлялись по рецептам вне очереди. Аккуратно выполняя и врачебную и партийную работу, два раза в неделю находил часы для осмотра детей в детских учреждениях. Особый прием избранных пациенток у себя на дому совсем прекратил. На квартиру к ним тоже не ездил. С Липатовой не видался. Но вот через три недели столкнулся с ней в партийном клубе. С того дня опять тяжесть налегла. Липатова поздоровалась с ним спокойно, коротким кивком головы. В клубе не подошла. Но догнала его на улице, когда из клуба вышел. Тихонько ударила рукой по плечу и спросила:

— Где пропадал? Я соскучилась.

Гребнев нотупился. Глухо ответил:

— Занят был. Работы много.

— Врешь. Работа была и раньше, а редкую ночь не заглядывал. Теперь долго мне прикажешь вдовствовать? Или совсем приходить не хочешь?

Гребнев с ненавистью взглянул прямо ей в глаза. Не сдерживаясь, громко сказал:

— Отвяжись, тварь! Опротивела ты мне.

Бледное лицо Липатовой сразу зарозовело. Но замешалась она натурально. Глаза лукаво прищурила и весело спросила:

— А повежливее не умеешь?

— Говорю, отвяжись! Со всякой... еще вежливость соблюдай! Поищи другого, кто тебя не знает. Вежливости захотела! Сволочь!

Липатова сдвинула брови. Не повышая голоса, но властно сказала, отчеканивая слова:

— Не смей кричать. Мы на улице. И вообще я запрещаю тебе кричать на меня. Грязный, грубый мужик. Распоясываться не смей.

— Зато ты барыня. И в коммунистках барство-то свое не забыла. Только таким барыням настоящее место в старое время было в особых домах, а теперь в концентрационном лагере. На хуторской работе, где проституток содержат.

Липатова опять сдержанно, не повышая голоса, даже вразумительно сказала:

— Ты мне не платил и не смеешь называть меня проституткой. И не тебе меня в чем бы то ни было упрекать. Ты просто непроходимо глуп, если отваживаешься затевать со мною ссору. Оскорблять себя я не позволю.

Гребнев остановился. Посмотрел на нее и покачал головой.

— Эдакая тварь, тоже... «не позволю». Кому ты говоришь? Не видал я тебя во всей твоей пакости? Сам от тебя запоганился. Еще счастливо отделался. Такая распутница и болезнью хорошей могла наградить.

Липатова смерила его взглядом с ног до головы. Презрительно повела плечом, но не ушла. Снова зашагала рядом.

— Впрочем, ты и не можешь меня оскорбить. С тобой считаться не приходится. Я уже совсем успокоилась. Меня даже занимает такая... неожиданность. Ты всегда дурак был или внезапно идиотством поражен? А? Погоди. Отвечать ты мне должен. Что случилось? Ты отдаешь себе отчет в своих поступках?

— Отдаю. Уйди ты от меня. Право, хуже будет, если не уйдешь. Меня трясет от злости. Противна ты мне. Ну, прямо невмоготу противна. Даже в голову ударило, как подошла. Чего вяжешься? Испоганился было совсем около тебя. Хорошо, что на другое сердце повернулось. Уйди! Эх, если б я сам себя обманом не замарал, вывел бы я тебя, шкуру, на чистую воду. Порочишь ты нашу партию. Не один я поди вызнал тебя хорошо. И другие знают. Хоть бы который-нибудь очистил...

Липатова громким смехом перебила его. Потом, раздувая ноздри, сердито сказала:

— Ну, фрукт! И как ведь выговаривает. А ты, дезертир-самозванец, ты партию не порочишь? И кто распутница — ты или я, еще вопрос, если я распутством партию порочу. Как же ты смеешь мне говорить?..

— Смею! Ты из корысти обманщица, а я нечаянно в обман втянался. Да своих я и не стал бы обманывать. Не обманываю. Свое званье я делом оправдываю. А про тебя знаю, ведь не одно ночное твое занятье. А днем ты что занимаешься? Ты воровством партию порочишь. Разве я не видал у тебя мануфактуры? Я не знаю, откуда она?

— А, вот как ты заговорил! Меня утопить грозишь? Берегись, товарищ дорогой. У тебя доказательств нет. Мне не трудно будет тебя изобличить. Посмотрим, чья кого.

Гребнев побелел, плечи у него затряслись, и, совершенно не опасаясь, громко на всю улицу закричал:

— Не боюсь я тебя! Не застращивай! Чем перед тобой трястись, я сам лучше на себя донесу! Сейчас пойду и все про себя расскажу. Только бы от тебя навсегда отделаться. Ну, тебя не стану бояться.

И он решительно повернул было в улицу, где стоял двухэтажный кирпичный дом с вывеской: «Губернская Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией, саботажем и преступлениями по должности». Он уже мысленно представлял себе эту вывеску и вход. Огромная ненависть к Липатовой, охватившее его с большой силой мстительное чувство победило страх. И он действительно стал радоваться исходу не только развязаться с Липатовой, но и приобрести право изобличить ее в подлости. Липатова быстро схватила его за рукав шинели. Он рванул руку. Но она держала цепко и сильно.

— Подожди, сумасшедший. Поди домой, одумайся. Покаянный наша чека в умиленье не приходит. Что? Себя боюсь? Может быть. Но ты подумай, что ты обо мне можешь сообщить? Что я распутница, как ты меня назвал... Тебе говорю, подожди, отдышись, подумай. Деньги я не отдавалась, проституцией, значит, не занялась. Да тебе в глаза засмеются. Пришел жаловаться, чека, что у него развратная любовница! А относительно мануфактуры... В этом меня трудно уличить. Поверь, я не дура и не разиня! Зачем же ты пойдешь себя губить?

— Только бы из рук твоих, стерва, вырваться! Чтобы ты не смела меня запугивать!

— Я тебя и не держу. Даже все гадости, которые наговорил, я тебе прощаю. Ты бы просто сказал, что мною пресытился. Я за это не сержусь. Сама себя не стесняю и других не неволю. А гибели твоей я вовсе не хочу. Зачем? Живи, пожалуйста, мы друг другу мешать не будем. Я тебя не выдам по многим соображеньям. Ты, конечно, понимаешь, что в тюрьму меня посадить ты не сможешь. Ну, а опорочить все-таки можешь, конечно. Это для меня невыгодно. И я тебя не выдам. А ты, пожалуйста, обо мне забудь. Разошлись — и все. Иди домой, поразмыслы, успокойся. Я ни тебе, ни себе худа не желаю. Иди. Прощай.

Выпустила его руку и быстро, не оглядываясь, пошла вперед. Гребнев еще долго кружил по улицам. Он остыл, успокоился немного, рассудком согласился, что Липатова права. Но сердце все еще нет-нет вскипало. Все равно один конец. Лучше пойти и открыться. Эту сволочь вычистить надо. От ходьбы устал. Решил, что, во всяком случае, с объявкой лучше подождать.

IV

Гребнев детские дома объезжал. В доме «Розы Люксембург» его поджидала Липатова. Она знала, когда он там бывает, и нарочно к определенному часу пришла. Но Гребнев что-то запоздал. Липатова сердилась на Гребнева недолго. И не сердилась совсем. Только сначала хотела выполнить обещанье не искать с ним встреч, не смущать его и не мешать ему. Но от грубости Гребнева ее тяготенье к нему только усилилось. Гребнев недаром назвал ее однажды «вывихнутой». Презренье Гребнева, оскорбительное с ней обращенье не оттолкнули Липатову. Наоборот, распалили догоряча нездоровую ее страстность. Во что бы то ни стало увидеться с ним, добиться его к ней возвращенья. Теперь, ожидая его, она не боялась, что он снова оскорбит ее. Быть может, в бешеной вспышке, сделает это явно. Опорочит перед детьми. В этом детском доме была старшая группа девочек. Уже девушки. Есть шестнадцатилетние. Они услышат, скандал выйдет огромный. Не маленькие, все поймут. Ну черт с ним, все равно. Главное, как бы сделать только, чтоб он сразу не ушел

Чтоб он задержался. Хорошо, если б удалось наедине с ним остаться. Ну, все равно. Надо посмотреть, как пройдет эта первая встреча. Примирится он с ней или сразу... взбесится. Если скандала не учинит, дело выиграно. Ее в распутстве упрекал, но и сам в этом деле опростоволосился. Передохнул и снова повеселиться захочет. Только бы сегодня скандала не учинил. Липатова в раздумье стояла у окна в большой комнате для игр. Девочки с руководительницей занимались гимнастикой. Невысокая рыжеватая девочка лет тринадцати, с тускловатыми, всегда широко раскрытыми глазами, подошла к Липатовой и встала рядом с ней. Липатова оглянулась.

— Что тебе, Настя?

Та уставила в лицо Липатовой невыразительный, почти неподвижный взгляд и широко, глупо ухмыльнулась толстогубым красным ртом. Это была подобранная на станции малолетняя проститутка, полуидиотка. Так как она оказалась физически здоровой, отличалась вялой покорностью и, кроме тупости и пристрастия к сахару, особыми пороками не выделялась, ее приняли из изолятора в детский дом. Она никого не задирала, всегда была спокойна, но и девочки, и воспитательницы, и няни испытывали к ней какое-то странное, брезгливое чувство. Девочки его даже не скрывали. То и дело покрикивали:

Уйди, мокрогубая. Терпеть тебя не могу.

И правда, одно — губы полизывает, да смеется чудно, чисто во сне.

Ой ты, какая-то липкая, что ль. Отдвинься. Рукой как схватится, так и прилипнет.

Настя ухмылялась и покорно отходила. Говорила она мало и лениво. Про прошлую свою жизнь не рассказывала, и не было причин особенно тяготиться ею. А воспитательницы тяготились. Всячески старались сбыть в другой детский дом. С Липатовой даже говорили об этом. Липатова определенно знала чутьем, что Настя порочна. И такая же сама, она Насти брезгливо сторонилась. И потому нетерпеливо сказала:

Ну, чего же стоять? Иди займись чем-нибудь.

Настя переступила с ноги на ногу и спросила тягуче:

Доктор приедет?

Должен приехать. А тебе зачем?

Хы... Он хороший. Мне глянется.

Ну, ладно. Иди.

У меня живот болит. Пускай полечит.

И снова улыбнулась мокрой, похотливой и тупой улыбкой. Липатова посмотрела на нее, вдруг прикусила губу и сказала ласково:

— Хорошо. Он посмотрит тебя. Я скажу.

Безобразная мысль пришла ей в голову. Девчонка безнадежно испорчена. Скоро дойдет до состояния полного идиотизма. Ее уберут из детского дома. Ясно, что к доктору ее тянет бессознательная, болезненная похоть. Что же? В конце концов, Гребнев — слабый человек. А спакостничав один раз, он, как пьяница, снова потянется. К семейной идиллии не скоро вернется опять. И тогда... Ну, одним словом, это на руку ей, Липатовой. А девчонке только польза. Она никогда ничего не рассказывает. Не расскажет и про Гребнева, если что случится. Чуть взволнованным голосом Липатова еще раз сказала:

— Подожди. Доктор тебя осмотрит.

Гребнев приехал, когда уже темнеть начало. Он поговорил со старшей воспитательницей, осмотрел у двух девочек горло, у многих руки. Он был очень мрачен, хмурился. Написал два рецепта и передал их воспитательнице. Неожиданно для него к нему подошла Липатова. Она, держа девочку за плечо, подвела к Гребневу Настю. Гребнев сердито дернулся, взглянул на Липатову.

— Что?

— Вот, осмотрите девочку. Она вам расскажет, в чем дело.

На злобный немой вопрос в его глазах сказала тихо и примирительно:

— Я случайно на вас наткнулась. Сегодня тоже объезжала детские дома. Осмотрите ее в кабинетике. Я сейчас пришлю к вам воспитательницу.

Быстрым движеньем руки Гребнев направил девочку в полутемный коридорчик. В этот час в нем было почти совсем темно. За коридорчиком небольшая светлая комната с мягким диваном и круглым столом называлась в этом детском доме кабинетиком. Настя остановилась в коридоре. Гребнев, вышедший за ней, тоже приостановился. Рассеянно спросил:

— Ну? Что же ты не проходишь? Что у тебя болит?

Настя тихонько смеялась нехорошим смешком, как смеются от щекотки, и молчала. Гребнев взял ее за плечо.

— Проходи на свет.

Настя упиралась. Он в дверях кабинета сердито повернул ее лицом к светлому отверстию раскрытой двери.

— Что у тебя болит? Ну, скажи? Живот?

Настя опять хихикнула. Лениво протянула:

— Живот.

— Смеешься, значит, не очень больно. Касторки, вероятно, дать надо. И смотреть нечего.

Он сквозь платье пощупал ее живот.

— Ну да, тугой. И всегда ты объедаешься. А корм прок нейдет. Худая. Ну, проходи, сейчас воспитательница придет, я тебя осмотрю. У тебя может быть...

Он задал ей специальный вопрос о правильности ее женской жизни. Настя опять хихикнула и ничего не ответила. Гребнев рассердился. Снова взял девочку за плечо, уже грубей.

— Да проходи ты в комнату! Что на одном месте топчешься. Ну, пропусти меня и сходи за воспитательницей.

Настя вдруг задышала часто, прижалась к его боку маленьким, совсем детским тельцем и выпятила маленькую, несложившуюся грудь. Гребнев сердито толкнул ее, но она вцепилась руками в его плечо и потянулась к нему захапанным, уже осквернненным ранним плотским грехом телом. У Гребнева задрожали руки. Он сам с жутью почутил, что передернувшее его отвращенье смешано с животным желаньем. В этот миг на свету он увидел глаза девочки. Всегда туповатые, они сейчас оживились и стали совсем детскими, живыми и любопытными. Он шумно вздохнул, еще раз взглянул в Настины глаза и вдруг почутил огромную жалость к девочке, загаженной, как девотой, безжалостной похотью взрослых. С силой отодвинул Настины руки от своего плеча, осторожно повернул ее к выходу в общую комнату, откуда они вошли, и сказал строго:

Ступай. У тебя ничего не болит. Не надо тебя стривать. Я тебе просто успокоительных порошков пишлю. Иди.

Настя недоуменно хихикнула, еще раз взглянула на Гребнева и вдруг громко заплакала. Липатова стояла у двери с той стороны, загораживала ее спиной. Она услышала плач и быстро испуганно распахнула дверь. Гребнев отстранил с дороги ее и Настю и вышел. Он прошел еще в столовую, поискал старшую воспитательницу, но не нашел и уехал.

Липатова прикрикнула на девочку. Настя задержала громкий плач, но продолжала всхлипывать.

— Что ты плачешь? Больно тебе? А? Где больно? Ну, что молчишь? Кто тебя обидел? Доктор? Что он сделал?

Настя снова громче заплакала.

— Да тише ты! Ну, что? Он что?..

Липатова подыскивала слово.

— Снасильничал, что ли, он? А?

Настя, тихо шевеля губами, покорно повторила:

— Снасильничал.

И по-детски всхлипнула с захлебом.

Липатова испугалась. Она не ожидала, что девчонка, такая опытная и явно чувственная, прошедшая через уличную проституцию, испугается, если Гребнев даже и решится обойтись с ней, как с женщиной. Очевидно, он решился. Но девчонка... Это непонятно. Сдерживая гнев, она ласково сказала:

— Не плачь и не болтай глупостей. Никто не хотел тебя обидеть. Доктор хотел только осмотреть тебя, а ты испугалась. Ничего, успокойся. Мы переведем тебя в другой детский дом. Тебе здесь надоело, да?

Настя молчала. Липатова вывела ее в общую комнату. Побыла еще некоторое время. Убедилась, что Настя совсем успокоилась, опять с застывшей глуповатой улыбкой осматривается по сторонам. Она погладила девочку по голове и уехала.

Заведующей дети сообщили, что Настя захворала, ее осматривал доктор. После ужина она подошла к девочке и спросила ее:

— Ты захворала? Доктор тебя осматривал?

Настя вдруг задергала плечами и расплакалась. Это показалось заведующей подозрительным. Она стала выпытывать: что болит? Что сказал доктор? Настя молчала и плакала. Заведующая вдруг перестала спрашивать, подумала, побледнела и взволнованно выговорила:

— Пойдем! Покажи, где он тебя осматривал! В какой комнате?

Настя покорно повела ее в проходной темный коридорчик. У стены в коридорчике стоял широкий мягкий стул. Заведующая метнулась к нему.

— Ты здесь сидела, когда он тебя осматривал?

Настя всхлипнула, не сказала ни да, ни нет.

— Он тебя смотрел один? Товарищ Липатова разве сюда не входила? Ах, боже мой, какое наказанье. Да скажи ты хоть что-нибудь! Что он с тобой сделал? Ну, что?

Настя устала от расспросов, испугалась волненья заведующей, беспомощно повертела головой и вдруг вспомнила, как Липатова спросила про доктора. Девочка тупо повторила это слово теперь:

— Снасильничал.

Заведующая всплеснула руками, изнеможенно опустилась на стул.

Гребнев сидел за столом против следователя. Спокойно отвечал на вопросы, ни разу не запнулся. Он не чувствовал за собой вины и не волновался. Другое дело, если б его привлекли не по делу об изнасиловании девочки. Но инстинктивно он насторожился. Он уже раздумал каяться в действительных своих преступлениях. Да и не считал их преступленьями. Ничего из содеянного, кроме связи с Липатовой. Вспоминая о ней, он зеленел лицом и сразу терял спокойствие. Сейчас он о ней не думал. Говорил бодро, уверенно и толково. Вдруг его поразила одна мысль. Он остановился на полуслове.

Следователь поднял голову от бумаг, посмотрел на Гребнева неживым, без всякого блеска, будто пленкой задернутым взглядом. Сказал хриповатым, тоже тусклым, голосом:

— Дальше.

Но Гребнев молчал, уставясь мимо очков, над ними широко открытыми синими глазами в лицо следователя.

Следователь приподнял вверх реденькие бесцветные брови.

— Что с вами! Ста-албняк поразил?

Зло хихикнул. Гребнев с усильем продохнул, заговорил снова, но уже путаясь в словах. Он думал:

«Неужели наш земский? Не может быть! Подохнуть ему пора. А он все такой же. Он, он!»

Мятое, как замаринованный сморчок, лицо немного старше, но мало изменилось. Голова только совсем облысела, да поредели реденькие и тогда усы.

Я вас попрошу говорить ясней и правдивей. За недомолвки и всяческие увертки только повредят вам.

Он! Тот же голос, и весь почти такой же. Как мог Настенька сразу не признать его? Точно слепой был. Но как же он здесь? Неужели коммунист? Так издевался тогда над мужиками, брал взятки, из-за него убили Балашова. Но как же при нынешней власти следователем в

чеке? Виктошка вспомнил сцену у стола, как отходил Балакарь. Будто собачонку пинком, насмешкой своей его земский тогда... Может быть, он тоже самозванец? Фамилии его Виктошка не помнил.

Следователь потерял терпение.

— Я требую, чтоб вы прекратили симуляцию! Вы совершенно здоровы. Я вас заставлю отвечать на вопросы! Расскажите подробно, как вы изнасиловали малолетнюю Анастасию Малахину.

Гребнев с усилием, не отрывая загоревшегося злобой взгляда от лица следователя, произнес:

— Я ее не изнасиловал.

— Что же, она вам добровольно отдалась?

У Гребнева кровь застучала в виски. Угрожающим, повышенным голосом он ответил:

— Не путайте меня. Никак, ни силком, ни с ее согласия я ее не... бесчестил.

— А согласья вы у нее просили? И она согласилась?

Гребнев задышал так, что листочек бумажки на столе шевельнулся. Уставив ненавидящие, округлившиеся глаза в лицо следователя, молчал. У следователя забегали глаза. Он быстро взглянул на дверь в соседнюю комнату, где дожидалась охрана, но, пересилив страх, мерно и отчетливо сказал:

— Вся разыгрываемая вами комедия совершенно напрасна. Ваша сообщница по хищеньям и ваш близкий друг Липатова рассказала откровенно все, что она слышала, стоя за дверью. Она утверждает, что шум ясно говорил о том, что вы проделывали с девочкой в темном проходе в комнату. Липатова ворвалась, но помешать вам уже не успела. И сама потерпевшая...

Гребнев ударил кулаком по столу с размаху и яростно заорал:

— Липатова обличает, вот кто! Сволочь! И ты сволочь, падаль! Я думал, ты давно уж сдох, а ты еще живешь. Из земских в наши следователи вылез? Меня утопить хочешь?

Следователь посинел, сорвался с места, схватился за револьвер. Двое солдат охраны, услышав в соседней комнате крик допрашиваемого, вбежали в комнату.

Гребнев, увидев их, еще больше побагровел, заорал еще злей:

— Эта сволочь — бывший наш земский. Под чужой фамилией.

Земский вполз на службу по народному комиссариату юстиции под своей фамилией, но утаил сведения о своем прошлом. У него перекосило лицо, задрожала челюсть... Откуда в такой отдаленной губернии знающий его человек? Он, стукнув зубами, прохрипел:

— Взять!

Гребнев бился, отшиб от себя обоих солдат, двинулся к следователю:

— Взять? А сам, мерзавец, не хочешь туда же?

Следователь трясущейся рукой схватил наган на столе и выстрелил. Пуля пролетела над правым плечом Гребнева и влипла в стену. В дверь вбежали еще солдаты и чекисты. Отбиваясь, Гребнев бешено орал:

— Моего отца, Фрола Кандырина, он сгубил. Вся волость знает, как Фрол Кандырин, Балакарь по прозванью...

Его утащили. Следователь, содрогаясь всем хилым своим телом, вопил:

— Его надо на месте, на месте надо пристрелить!

Высокий смуглый чекист подошел к столу.

— Тут крутая каша какая-то, надо подождать его пристреливать.

Бывший земский разом смолк. Смуглый чекист заглянул в бумаги:

— Его отец не так здесь назван. Ыгым! А вы в какое время и где были земским начальником?

На следующем допросе другой, рыжеусый и жилистый следователь встретил Гребнева:

— Виктор Фролов Кандырин.

Он ответил:

— Я.

И полной грудью облегченно вздохнул.

V

Сытый бородач, степенный, в нарочито старенькой заношенной одежде, сердито расцепил дерущихся в толпе мальчишек.

— Цыть! Развозились, нашли место, на самом на ходу. Пошли вон к сторонке! А лучше домой убирайтесь, нечего вам тут делать. Ну, время пришло, и в ребя

тешках никакого страху нет. Место, не место, везде в ногах путляются.

Косенький, худощавый приказчик главной потребиловки, из толпы у самого входа в Народный дом выдвинулся с ласковым искательным поклоном:

— И не говорите, Митрофан Алексеич. Здравствуйте. Как поживаете? Давненько не случалось повидаться с вами. И не говорите... Про детишек-то, мол, не говорите. Растут, как в поле трава. Без уходу, без наставлений, без назидания. У меня старший в прежней школе первым в послушном поведении считался. А теперь совсем от рук отбивается.

— А ты подтяни, понатужься. Распустишь, попадет в Карнауховский дом, тогда уж никакой натугой не подтянешь.

— Нет, в союзе молодежи он не состоит. Я с плеткой допрашивал. Бегать — бегает к Карнауховскому дому, в окошки глядит на ихи заседания, а в союзе не записан. Ну, я и глядеть воспрещаю.

— То-то, «воспрещаю». Если бегает, в окошки глядит, так уж нагляделся. Вот и выйдет жулябья вроде этого, которого судят. Коммунист, сказывали, этот доктор-то самозваный?

— Какой он коммунист? Липовый. Весь с головы до пят подложный. Нынче коммунистом объявился, а завтра, может быть, захотел бы...

— Ну, там, чего завтре захочет, не видать. А седни ихний, с билетом, все как есть.

И, оглянувшись по сторонам, понизил голос:

— Свое к своему льнет. Самозванцам и жуликам у них лафа.

Видом неприметный, коротко остриженный человек в одежде из дома отдыха, не по мерке и новенькой, близко от них стоял. Быстро повернулся. Неожиданно громким сердитым голосом разговор перешиб:

— А ты, степенство, болтай, да не забалтывайся. На чистом и пылинка видна. Одного прохвоста в коммунистах изловили, гвалтом галдите. А середь вас ловят, дак молчим. Галдеть устанешь: прохвост на прохвосте, прохвостом погоняет. Скорей галдеть надо на диковину, когда хорошего человека из ваших встретишь, не вора, не мошенника.

— Ну тоже, хоть и коммунистов, эдаких-то преступников не надо бы застаивать.

— Я его и не застаиваю. Тебе только говорю, на себя да рядом с собой погляди, не много ли эдаких у тебя в родне.

Сбоку неожиданно еще человек в беседу вступил. Очень убежденно и звонко запротестовал:

— Я бы еще остерегся его прохвостом-то назвать. Может, он за то только страдает, что у всех докторов хорошую славу перешиб. Раньше больше всего больных к Селиванову-старику ходило. А теперь почти все переметнулись к этому. И от других докторов валом к нему в больницу.

— Ну, надармака-то в больницу ко всем валом.

— А он только надармака и принимал. На дому не хотел.

— Как же он к себе в дом пустит, когда у него там вся жульническая его контора. Все равно, в другом месте брал. Он коммунист, а коммунисты получают...

— Гляди, как бы мы не пощупали, где ты, ирод, получаешь.

Раздвигая уже сгустевшую около спорящих толпу, просунулся к ним седобровый худощавый крестьянин.

— Слышьте-ка! Не спорьте. Апосля посчитаетесь. Чего от чужой беды огню брать? Тем огнем гляди себе добольна где обожгешь.

— А ты чего суешься, наставник непрошеный?

— Я, што ль, с наставлением? Я спросить хочу, а вас не докличешься. Ты вот сказывал, правда это, што ль, хорошо, мол, он от хвори пользовал?

— Я говорю, народу к нему большая масса ходила.

Мужик кивнул головой.

— Народ ходил, значит, кому-то помогал. На слух же шли, не иначе. Кто-нибудь да показывал один другому. В незнамую дверь лишний человек редким случаем горкнется.

Большеглазая женщина в выцветшем сатиновом платочке, по-городскому сзади кончиком завязанном, мужика тихонько за руку тронула.

— Помогал, дедушка. Хорошо помогал. Я сколько денег на других докторов пролечила, а помог он один. Что там про него ни плетут, пускай. Я ни в жизнь не поверю. Век добром поминать его стану.

Другой взволнованный женский голос из толпы подтвердил:

— И меня отходил. Прямо чуть-чуть живенька была,

смертушку встречать готовилась, вызволил. И я тоже скажу. По мне там хоть расстреляют его, без отпевания угробят, я платье полушелковое подвенечное продам, а за него сорокоуст закажу.

Седобровый мужик озабоченно худые щеки погладил жесткой своей рукой.

— О-о? А что, приятели, теперь доступиться к нему никак нельзя? Я бы покланялся, пусть меня попользует. У меня внутре сердечное расслабление. Тоскую всем нутром, видишь ли ты, тоскую...

— Не-ет, теперь каюк! Себя самого и то лечить ему недолго придется.

— Ты полагаешь, как? Высшая мера — расстрел?

— Не иначе. Подложный документ — раз. Года в том документе надбавил, от нынешней военной службы укрылся — два. Несовершеннолетнюю девчоночку снасильничал — три. Преступный элемент в партию записался — четыре. Полюбовница его детскую мануфактуру накрала — пять...

Большеглазая женщина визгливо перебила:

— Ты еще на него насчитай, что твоя тетка напрокудила! Виноват он за полюбовницу? Наша сестра за чьей хочешь спиной нашкодить сумеет.

— Ну, да. А полюбовниц-то у него, доказывают, не две, не три, а поболе насчиталось.

— Вот хват! Со всех крынок пенки посымал! Ну, что хошь, а за ухватку я этого человека уважаю.

Дружная женская защита в толпе крепла. С десяток новых голосов вступилось за доктора Гребнева, судимого революционным трибуналом уже четвертый день.

— А он виноват, если женщины сам- на шею ему вешались?

— А того больше и приплели другие доктора от зависти.

— И-их, батюшки, хорошему-то на свете трудно дышать. На дурное ластятся, а хороший заведется человек, сейчас его облыгают, ну, на его харкают.

— Уж кого судить, расстрелять мало, а каждую кишку отдельно вынимать надо, так это змею, барыню эту.

— Вот! Эту следует. Она его и втянула. Плачет теперь, разливается, разжалобить судей хочет.

Седобровый мужик опять настойчиво и нетерпеливо бабий шум перекричал:

— Стойте, сороки! Про дело надо. Не допущают к нему на излеченье, значит?

— Нет, нет, не допускают! Нельзя.

— И думать нечего.

— Да чего к нему? Он — бабий доктор.

— Никакой не бабий, не бреши, а всяческий.

— И по всякой по болезни мастак.

— А ну да, мастак! Вон какого намастачил.

— Подожди, парень, не зубоскаль. Охота было мне к нему доступить. Э-эх, запоздал маленько! Из дальней из деревни я. Недавно про него к нам слух дошел. А с чего шибко на него наседают-то? Судьи-то, спрашиваю, за что шибко на него ярятся?

Мужик недоуменно приподнял брови.

— Ежели за то, что без гумаги положенной лечил, охлопотали бы гумагу-то ему. Хорошо ведь пользовал. И не заговором, а по науке, из аптеки снадобьем. По-господскому все, как докторам полагается. Ну, и выдали бы гумажку. Господа их пишут, написали бы ему, а?

— А у него и фамилие чужое, и неученый он.

— А шут с им, с фамилием! Я вот сам позабывать стал свое фамилие. Кличут по-уличному Филином, так и дети мои Филиновы прозываются, а мы Ерофеевы. А что неученый он да ученых перешиб, значит, дошел, уразумел.

— Чего ты, отец, ерунду разводишь! Тебе толком сказывают, он и малолетнюю снасильничал.

Мужик снова жестко щеки поскреб.

— Малолетнюю — это грех. Это стыдное и нехорошее дело. Сколь лет-то ей?

— Пятнадцать не то есть, не то нет.

— О-о? Большенька уж. Эта и родит, не помрет. У татар еще моложе рожают. Д-да, большенька. Прямо сказать, чуть-чуть не доспела. Жива она осталась?

— Ну да, жива... Чего же ей? Только это не по-[illegible]ается.

— А жива, дак его-то за что расстреливать? Вот тут [illegible]али... Ну, венцом грех покрыл бы, и вся. Жили бы, [illegible]рились и детей народили. Зря, по-моему. Постращать его маленько, да и ладно. А то чего же, жалко [illegible] Пародь, слышь, хорошо пользует. А оно ведь как: [illegible]ная болячка все к сердцу. Сердце жгет. Для народу [illegible] бы его пожалели, коль вылечивает. Э-эх ты, за[illegible]ал я! Пойду с того ходу, попытаюсь.

— Не ходи. Там солдаты со штыками.

— Они вон и здесь со штыками-то. Дак чего? За спрос, чать, не приколют. Да, да, да, вот грех, поране бы мне про этого доктора слух...

Близ подъезда в отдельной, менее шумливой группе городской интеллигенции шел сдержанный говорок:

— Д-да. Гениальное нахальство у человека. Полуграмотный санитар — старший врач большого госпиталя. А? Как вам это нравится?

— И ни одного смертного случая не установлено, а?

— Да. Поразительно! Экспертиза во всех городах, где он работал врачом, не нашла явного вреда...

— Рецепты, рецепты, как умело, а? Как осторожно.

— Ну, знаете, мне он всегда подозрительным казался. Позвольте, кому это я сказал на открытии дома отдыха... Вот не вспомню кому, но определенно говорил: «Удивительно антипатичен мне этот доктор». Что-то такое в нем было подозрительное.

— Н... не знаю. Быть может, вы и подозревали, но втайне. Во всяком случае, он многим ловко втер очки. Я-то, собственно, редко с ним встречался. Просто не обращал внимания. Но вот доктора, доктора... эти как не разглядели? Не хотел бы я оказаться на их месте.

— Ну, батенька, это такой ловкий пройдоха, что при чем тут доктора? Назовись он инженером, вы бы тоже не разоблачили этого Хлестакова. А потом сейчас и с дипломами столько недоучек. Эх, Аркадий Васильевич, покоптитесь вы на нашем-то жару, совсем ослепнете. И более неловкого жулика не разглядите.

— Да, собственно говоря, доктора что? Они, так сказать, по прежней фразеологии, третий элемент. Сильно брыкаться да уличать коммунистов им не полагается. Коммунист, с документами правильными... Ведь он их не подделал, а выкрал у мертвого. Ну, так при чем здесь доктора? А вот скажите лучше, коммунисты... Вот эти теперь почесываются.

— Н-ну, захотели! Эти ничего не стыдятся. Ничего не боятся.

— Но все-таки я откровенно скажу, я искренне удивился, что такое дело они не приглушили. Ну, отослали бы куда-нибудь подальше, новые документы выдали бы. Им что? Им все можно. Я искренне удивился. Так раздули дело! А оно ведь партию сильно компрометирует. По-моему, это оплошность с их стороны.

— Разговоры. Разговоры большие пошли, нельзя было приглушить.

— Ничего подобного! Разговоры после разгорелись. Нет, это как-то, очевидно, у них нечаянно вышло.

— Во всяком случае, это очень хорошо, что не втихомолку. Страшно интересный процесс! Я ни одного заседания не пропустила. Давно таких не было. Все политика, революция да контрреволюция...

— Ну, что же, бандитов судили, там тоже было много романтики. Я тогда тоже на все заседания ходила. И адвоката Семисельцева судили, тоже чрезвычайно интересно было.

— Ах, совсем не то! Здесь психологическая сторона. Он психологически интересный тип, этот доктор. А женщины как им увлекались, оказывается, а? Изумительно.

— Да? Скорей бы начинали! Почему тянут? Я слушаю с таким захватывающим интересом, точно роман хороший, пре-ежний, не только дореволюционный, а еще довоенный, читаю.

— И эта Липатова, она, действительно, героиня романа.

— У нее трагическое лицо, по-моему, она очень красива.

— И так хорошо держится. Кротко во всем сознается. По-видимому, сильно переболела душой. Искренне раскаивается.

— Ну, ее запутал этот мерзавец.

— Безу-условно! Подпала под влияние. У него, очевидно, очень сильная воля.

— Да, видно сразу, что она, действительно, в его тенетах запуталась. Она такая сдержанная, воспитанная. И, по-видимому, изумительно чистоплотная. На суд приводят из тюрьмы, а у нее воротничок и нарукавнички белоснежные.

— Сама стирает, вероятно, в тюрьме. Не привыкла к грязи.

— Зато он весь взлохмаченный...

А держится как нахально, а? Вчера я заметил, и спокойно разглядывает публику. Конвойному что-то улыбкой сказал.

Д-да... типикус.

Надеется, что своего не скушают. Я думаю, если приговорят, так выпустят потихоньку.

По все-таки, знаете, он интересный мужчина.

Что-о?

— Не для меня, разумеется. Но для определенного типа женщин, для тех, кто его рассматривает как мужчину. Очень интересный.

— Нет, каково? Коммунист и коммунистка, целых двое на скамье подсудимых. Так дальше дело пойдет, так нелестно станет коммунистом называться.

— Оно и сейчас... Для меня, например, совсем нелестно было бы...

— А знаете, Липатова и в партию, по-моему, случайно попала, и в эту беду... с доктором, случайно.

— Ну, ясно! Она, по-видимому, просто увлекающаяся, слабовольная женщина. Ее жалко!

— Ну, а его не жалко. Нисколько! Знаете, я противник смертной казни, но это единственный случай, когда я с чистым сердцем говорю: они будут правы, если решат: расстрелять.

Разговоры нарастали со всех сторон. Прибоем люди приливали к Народному дому. Публика попроще расположилась на ступенях входа и около него на чурбачках, принесенных со двора. Говорили о подсудимых, потом перешли к своим домашним делам. Щелкали семечки, и скоро земля вблизи была усеяна обильной их шелухой. Вдруг с площади, снизу,— Народный дом стоял на пригорке,— донесся возглас:

— Ведут! Ведут!

И людское скопище заволновалось. Повставали, задвигались, загудели уже сдержанным, затаенным, полным страстного ожидания зрелища гулом.

— Подсудимых ведут.

Раздался отчетливый окрик:

— Ста-аранись! Раздайсь! Осади назад! Назад! Освободить проход!

Шестеро солдат с ружьями наперевес вели двух преступников: мужчину и женщину. Как всегда, на глазах у многолюдной толпы, деревянны и тупы были лица конвойных. Тоже, как обычно, несколько театрально шла Липатова. Прямо, тихо, опустив в землю глаза. Черное платье подчеркивало бледность похудевшего лица. Яркая ржавчина пышных ее волос была прикрыта черным кружевным шарфиком. С истомленным, оттого одухотворившимся, похорошевшим лицом, она походила на умученную святую с картины из жизни первых христиан. В толпе завздыхали, увидев ее. Только один враждебный бабий выкрик просек согласный сочувственный гул:

— Зенки-то небось прячет, стерва!

Негодующее шиканье, окрики заглушили этот возглас. Зато враждебно задышала, заворчала толпа, когда за ней вольным, простым шагом прошел под угрозой винтовок Виктошка Балакарев. Он с любопытством озирался по сторонам. Очки теперь ему не мешали. И лицо его, просветленное спокойствием, было тоже просто. Будто он сам по себе неспешно по улице гулял и разглядывал народ. Враждебного ропота он не слушал и не слышал. После полного признания на первом допросе большое успокоение вошло в него и нарушалось, ненадолго, вспышками, только на суде. Вину свою он большой не считал. Ему казалось, покаялся в самозванстве — и все... Разве это можно считать чрезвычайным преступленьем? Великое дело — присвоил чужие документы. Никого не убил, не ограбил, не предал. Без диплома лечил? Так ведь он же это делал не хуже других докторов. Так думал он. Ему казалось, что никто не может думать иначе. А судьи только по обязанности сгущают черноту его проступка. К моменту вынесения приговора подобреют. Он был уверен. Оттого вышагивал естественно и неторопливо. Этим он нарушал привычную установку зрелища: подсудимых ведут. Сердил толпу. Насторожился он только, как всегда, у самого входа в Народный дом. Там, тоже как всегда, прижавшись к холодной каменной стене, стояла Лиза. Когда встречались их взгляды, большие синие Лизины глаза становились жутко живыми, говорящими. Виктошка и сегодня в них увидал, почти услышал:

— Не бойся. Еще будет хорошо.

Он тихонько улыбнулся под нависшими усами и погладил непричесанную бороду.

На деревянной скамье слева, боком к зрителям на сцене, как актеры, только разыгрывающие жуткую драму; а не действительные авторы-исполнители ее, они сидели вдвоем с Липатовой. Она строго и прямо. Он — мешком, широко раздвинув колени, согнувшись. Внимательно слушал, подолгу рассматривал отдельные лица [судей] и сидящих на местах зрителей. Давали свидетельские показания служители медицины, соработники самозванного доктора. Только низший персонал наивно сообщал о нем безусловно хорошие сведения. Работники, стоящие [на] ступень выше, рассказывали о халатном отношении к хозяйству в больнице, о тайных визитах женщин, о том, как ловко уклонялся Гребнев от хирургической помощи

больным, и о грубости его нрава. То обстоятельство, что никто его самозванства не распознал, объясняли все одинаково:

— Боялись. Догадывались, но выяснить боялись. Запугивал тем, что коммунист.

От этих, запоздало злобных, непрямодушных показаний бесновался за кулисами Филатов:

— Вот ученые стервецы. Видят ведь, запутлялся все одно человек так, что под последнюю пулю метит. А они, нет пожалеть, поднихивают. А нас палачами честят!

Нервно подергивая шнурок пенсне, защитник Липатовой спросил его:

— Что же, по-вашему, из жалости к подсудимому им надо лгать пролетарскому суду?

Филатов рассвирепел. Стал похож на ощетинившуюся дикую кошку ярко-зелеными круглыми глазами и жестким торчком волос на голове.

— А вы бы, гражданин, помолчали. За свою подзащитную все лгете, и свидетели лгут. Никто их врать не заставляет, а они, вот именно, врут. Должны говорить: не догадались, делал свое дело старательно, ничем приметить не могли. Чего же человека утопающего топить? С того, что не ихнего званья. Своего бы спасали. По мордам вас видать, какие вы пролетарские.

И Виктор Кандырин, выпрямляясь на скамье подсудимых, тоже темнел лицом. Кого из этих людей он чем обидел? Перед кем согрешил? Если были недочеты, незнания, так разве у них, дипломированных, их не было? Почему они раньше не изобличали и не указывали? Никогда он не подавлял их своим положением, своим устрашающим званьем «коммунист». Он скорбно сморщился, когда по лесенке на сцену поднялась к столу Хвалынова. Перед этой, действительно, грешен в обиде. А Филатов даже зубами безнадежно пристукнул. Высоко подняв совсем поседевшую голову, она прямым правдивым взглядом уставилась, как верующий на духу, в лицо председательствующего. Председатель, одноглазый рабочий, с глухим лицом, отвел свой глаз в сторону. Свое показанье она давала громко, отчеканивая каждое слово.

— С чистой совестью могу сказать: доктор Гребнев был одним из лучших наших работников. Я всегда охотно работала с ним вместе. И каждый раз на деле отмечала аккуратность, уменье и знанье дела. Да, знанье дела. Это меня самое поражало. Он казался мне малоразвитым,

малокультурным в общем широком значенье этого слова. Но свое дело, свою специальность он знал. Я думала о нем часто, что он плохо или мало учился, мало читал и медицинские знанья приобрел на практике. Он всегда осторожен, внимателен и чрезвычайно старателен.

На вопрос о грязных любовных похожденьях врача Гребнева она, брезгливо сморщившись, коротко ответила:

— Никогда ничего об этом не слышала. О насилье над малолетней? Слышала. Не верю, не могу допустить. Склонна верить Гребневу, что здесь стеченье жутких для него случайностей. Он всегда был жалостлив к детям. Подростков-девочек свидетельствовал не раз. Случалось видеть, как они от него выходили. Я уже седая женщина и могу различить смущенье и неловкость подростка от униженья обиды, от тягчайшего оскорбленья. По-моему, никакого насилья, ни покушенья на нее со стороны Гребнева не было. Девочку давно осквернили и сгубили. Она — идиотка, больная. Ее показаньям значенья придавать нельзя.

На вопрос защитника, как относилась к доктору Гребневу работавшая с ним интеллигенция, дипломированные врачи и т. д., она, не глядя на защитника, неохотно, но правдиво сказала:

— Интеллигенция сильна в работе милосердия. Из поколенья в поколенье переходит завет быть чутким к человеческому страданью, к самодовлеющей ценности всякой человеческой жизни. Ну, одним словом, завет, который плохо слышат в неинтеллигентной среде, где крушат беспощадно и где человечья жизнь как клопиная.

Председательствующий задвигался в кресле. Хвалынова возвысила голос и уже возбужденней закончила:

Но для милосердия нужны калеки, увечные, немощные, вообще обездоленные, примятые. Их мы понимаем, жалеем, любим и за них можем сами стать страстотерпцами. Но мы глухи к обездоленным, когда они по-воровому, по-звериному, зубами вырывают себе эту долю и становятся обидчиками. Для меня, например, никогда невозможно... Я никогда не смогу понять, как можно подмять, подмять под себя так много страдающего живого во имя хотя бы какого бы то ни было благополучия. И хотя бы для благополучия несметного количества спасаемых этим людей. Ну вот, например...

Снизу, из зрительного зала донесся сердитый окрик.

— Сама не мятая, с того и не понимаешь! Подавить хорошень, дак поймешь!

Председатель зазвонил.

— К делу, гражданка. Мы решаем здесь участь двоих людей. Если вы жалостливы, так должны понимать, что для них тяжело, суд затягивается.

— Я старалась, чтоб вы поняли полнейшую мою искренность. Оттого несколько пространно... Ну так вот, к выходцам из пролетарской среды. А Гребнев, присвоив чужие документы, все же удачно стащил их тоже у такого выходца. Ну да, вы сами знаете. Сейчас! И еще он был коммунист. Естественно для нас, служащих делу милосердия, быть настороженными к людям, которых мы считаем немилосердными. Гребневу не доверяли. Внешне он, действительно, часто срывался с тона на работе, был грубоват. Это усугубляло недоверье. Он не грозил, но все-таки держался вызывающе. Очевидно, его озлобляло, что не хотят признать его вполне своим. Я? Ну, тут были соображенья... морального, так сказать, свойства. Про мораль можно? Ну, хорошо. Я хотела через него понять, сблизиться с этим новым обидчиком из тех, кого мы много лет жалели, как обиженных. Ну, пропасть заровнять. Душевно я его тоже, как сказать... ну, не любила, остерегалась, что ли. Позвольте еще несколько... немного, немного... Я хочу вполне правдиво. Если б Гребнев не сидел сейчас на скамье подсудимых перед очень нежалостливым судом, я бы, вероятно, не нашла в себе достаточно мужества понять его. Мы так долго ждали этой встречи с народом. Скрашивали ожиданье. Мечтали. И забыли, что с нами встретится не созданье нашей мечты, а реальный человек из темноты. То, что для нас священно, как своя святыня, нами воздвигнутая религия, мораль, наука, искусство, для него только наша забава. Ему кажется, что от пресыщенья мы себе их придумали. У него своя религия, нет никакой своей морали, только подчиненье той, которую внедряют кнутом, и свое пониманье науки. Труд ученых ему кажется легким. Понятно, что при встрече, вместо объятий, они с дубинкой. Мы со страхом, с беспомощным словоизверженьем. Понятно, что часто отступаем с отвращеньем вместо радости.

Где-то в глубине зрительного зала зааплодировали три смельчака. Но их заглушил и остановил не столько сердитый, заливистый звон председательского колокольчика, сколько грозный рев из рядов же.

— Полоумная баба. Натявкала, чего не разберешь, дураки радуются.

— Им тут чисто игрушки! Разливайся соловьем, а энти пускай еще неделю маются, какое им выйдет решенье.

— Этим только покрасоваться дай. Любят. Они разговорчивые.

Председатель снова еще яростней зазвонил. Объявил, что прикажет очистить зал. Но Хвалынова враждебность возгласов уловила. Спускаясь вниз по лесенке к местам для свидетелей, она внутренне дрожала от стыда и обиды. И уже в мыслях начала по привычке пытать себя: какое побужденье заставило ее высказаться так откровенно и подробно? Хорошее оно было или в основе подленькое? Немолодой румянец темно-желтыми пятнами выступил у нее на обеих скулах от волненья, и вдруг легонько, чуть заметно задергалась голова. Она растерянно перебирала в мыслях:

«Разве меня жизнь не мяла? Эх, не на розах ведь и я лежала. Но не понять... Не поймут! Вот столкнулись. И я всей душой, а выходит не то, не то...»

Совсем поникла уже в заметном трясенье ее седая голова, когда один из свидетелей по делу Гребнева и Липатовой шепнул ей:

— Они толстокожие, их тонкой лестью не проймешь.

Хрустнув пальцами, подумала:

«Неужели низменное, корыстное побужденье заставило... Ах, да нет же! Какой скверный все же осадок. А говорила правдиво».

Несколько подбодрил ее громкий шепот сзади:

— Эта барыня ничего. Она с правдой. Только маненечко не докумекала, вот у ней и вышло ни на то, ни на се.

Гребнев устало расправил плечи, в сотый раз стал искать по рядам неновый красный шелковый платочек. Подумал:

«Хорошо, что Лизу уговорил не вступаться. Не знала ничего — и все. А то бы еще горше томиться было. А Липатиху Лиза, пожалуй, напрасно всадила. Разыскала свидетелей насчет хищений и что девчонку так нехорошо ему, Гребневу, подсунула. Может быть, она и не подсовывала. Так вышло. Ну, разберутся, увидят».

Липатова как раз горячо отрицала все обвиненья. Она говорила убежденным, проникновенным голосом. Величайшим истерическим подъемом, ложью, претворенной вдохновеньем истерики в правду, убеждала окружающих.

— Самое тяжелое обвинение — это обвинение в сводничестве. Никогда в этом грехе я грешна не была. О себе, о своей жизни я не буду говорить. Я не святая. Но такого позора я на душу не приму. Нет, не могу принять! Вышло это совершенно естественно. Мне настолько ответственной кажется работа врача, настолько она вся зиждется на личной его честности, что я даже мысли не допускала. Всякий мало-мальски честный человек не может допустить, чтоб над девочкой-пациенткой врач мог учинить насилие. Я всегда осуждала надзор за врачами во время осмотра девочек. Мне казалось это даже с нашей стороны нечистоплотным. Почему у нас могут явиться такие грязные подозрения? И никогда не было случая. И тут, как всегда, я впустила девочку к врачу и осталась ждать у двери. Совершенно просто. Нет, она не кричала. После плакала, да. Что Гребнев в этом отношении ненормальный? Не приходило в голову. Я вообще об этих ненормальностях краем уха когда-то слышала и уже забыла. Относительно мануфактуры свидетельница Карпова говорит неправду. Может быть, она искренно ошибается, но это неправда.

И, хитро сочетая действительность с выгодным для нее вымыслом, умело подбирая трогательные, кроткие слова, Липатова стала плести хитрую сеть клеветы на других:

— Меня в наробразе ненавидели, как убежденную коммунистку. Меня травили. Каждый день, каждый день я выносила тысячи мелких уколов. А нервы у меня ведь человеческие. Одно время я дошла до такого состояния, что если б с меня самой платье сняли, то я не сумела бы вора задержать.

Наробразовцев не любили и сторонники Гребнева, и противники его. Поэтому большинство тех и других стояло за Липатову. Когда представители наробраза, воспитатели и преподаватели детских учреждений давали свои показанья, они их сминали, говорили торопливо и сухо. Сказывалось отвращенье к фигурированью на суде, неуменье рисоваться. Враждебную недоверчивость публики они все чувствовали. И показанья их, действительно, звучали тускло, неверно. Их понял Гребнев. И сразу всю умиротворенную собственным несчастьем ненависть к Липатовой снова будто извне откуда-то в него накачало. Он не мог совладать с собой. Встретив ее лживый взгляд, совсем распалился. Еле дождавшись возможности заго-

ворить, он вдруг ни с того ни с сего, не зная другого средства хлестнуть Липатову, сделал заявленье:

— Я говорил, что Липатова мне никогда ни женой, ни любовницей не была. Я обманул. С этой женщиной я спал. Развратничал с этой женщиной.

От волненья и злости он выговорил резко по-мужицки «с етой». Вышло смешно. А самое заявленье отталкивающе злобным. Липатова повалилась на руки конвойного в непритворном обмороке. Даже Филатов досадливо головой замотал:

— Топит себя парень! Будто сам старается затонуть. Эх ты, нескладная твоя печенка!

В этот миг Виктошка и сам сразу почувствовал, что он тонет. Сначала растерялся, а потом, как всегда в неминучую опасность, обозлился. На вопросы суда он стал отвечать сердито, как будто огрызаясь. Когда по поручению председателя один из экспертов задал ему какой-то мудреный вопрос, обильно уснастив его латынью, он нагло взглянул в зрительный зал и громко ответил:

— В моем университете этого не проходили.

В дружном хохоте сгибла последняя к Виктошке Балакареву жалость, а с ней и доверье. И он почуял, как захолодило у него, у самого сердца внутри. Откуда-то из глубины памяти нелепо выпрыгнула, застряла назойливо в мозгу фраза, которую он Лизе в душевном разговоре сообщал. Как в детстве он сам про себя говорил:

— Я мужшина, я ложкой.

И так много раз кряду все то же мысленное повторенье, как монотонный напев:

«Я мужшина, я ложкой».

От этого напева нестерпимая тоска заерзала по сердцу. Ему захотелось взреветь, замахать сильными своими кулаками, разметать все скамьи, всех сидящих внизу и на сцене, вцепиться ногтями в пол, выть и рвать его, только бы заглушить эту боль. Но он только просерел в лице, скривил рот. Накануне относительно девочки он отвечал просто, искренно:

На войне приходилось видеть. Знаете, звереют. Даже совсем с малолетками. И однажды было, что неплохой человек так поступил. Ну, я тогда уберегся, а теперь вовсе невозможно было это сделать. Нехорошо я в себе почувствовал, когда она ко мне прижалась, но только я ее отстранил.

А сегодня на вопрос, наталкивающий на повторенье вчерашнего, сердито сказал:

— Ну, осматривал.

— Как, расскажите?

Он с бешеной злобой, точно плюнув в публику и в самый суд, крикнул:

— По способу пальцевированья. Вашим докторам способ неизвестный.

Снова в публике взрыв хохота, уже совсем нехорошего, злого.

Председатель зазвонил. Через минуту был объявлен перерыв заседанья до следующего дня.

Лиза ночь не спала, всю проплакала. Липатова в камере металась, ломала руки, потом вдруг вспомнила, как раньше молилась. Мешая вспышки подлинного безумья веры с отчаянным святотатством, давала богу всяческие обещанья, если только он поможет, освятит ее наглый обман. А Виктошка всю ночь просидел тихо, не меняя позы. Будто тело его уже начало мертветь, занемело. Но мысли были, как никогда, отчетливы и строги. Счет предъявлять некому. Сам нахомутал, суд не сможет уже размотать. Перед ним туманными картинами проходила вся жизнь. Он просматривал их при свете последнего, может быть, часа. Это «может быть» тихонько таилось. Окаменел от горя и, казалось бы, полной безнадежности, а надежда жила. Он только боялся, как бы она слишком беспокойно не ожила. Бессознательно спасая себя от горчайшей муки, пытки надеждой, он старался не двигаться и думать: всему конец. Лизу он скорей в памяти промахнул, опять для того, чтоб не ожила в бунте душа. А больше о ком и о чем тосковать?

В последний день суда, на утреннем заседанье, когда подсудимых вывели на сцену, к их скамье, из публики, около барьера оркестра раздался звонкий выкрик:

— Виктошка, здравствуй! Эх, как же это ты, парень, засыпался-то. Я, брат, думал — ты пропал, как тогда с фронту убег! А она, твоя прочастина, вот только игде оказалась!

На скамьях в публике повскакали с мест, чтоб разглядеть говорившего, послышались восклицанья, смех, окрики. Поднялся сильный шум. На сцене — смятенье. Члены трибунала в беспорядке выскочили из-за кулис. Несмотря на шум, громкий отклик Гребнева слышали:

— Здравствуй, Семка. Здравствуй, брат дорогой, крестовый. Спасибо, что не отплюнулся от меня.

Сильно веснушчатый, темноглазый, бородатый человек в солдатской шинели, не смущаясь окриками стражи, стараясь попасть поближе к Гребневу, подался по барьеру вправо и сильно на ходу застучал деревяшкой. Одна нога у него была отнята по колено. Он с беспечной ласковой усмешкой отмахнулся рукой от коменданта, снова звонко завопил:

— Коль тогда не помер от лиходеев-начальников, авось от нашинских не помрешь! Помилуют! Еще побеседуем...

Человека на деревяшке схватили и вывели из здания Народного дома. Но через два часа он, уже на сцене, давал показанья суду в качестве свидетеля. Охотно отвечал на все вопросы Семен Андреев Лыткин, инвалид последней царской войны.

— И прямо горе возьмет, товарищи судьи, как расскажу, когда ранили.

Одноглазый председатель прервал его:

— Это к делу не относится, товарищ!

Но глаз его светился приветливо, голос звучал мягко.

— Эх, как же это ты думаешь, товарищ, что не относится? Очень относится. Дуром оторвало ногу перед самым миром. Чудной такой случай вышел.

Председатель с улыбкой сказал:

— Ты нам после расскажешь, в перерыв, а сейчас скажи: Виктора Фролова Кандырина хорошо знаешь?

Лыткин облокотился локтями на судейский стол, отстая всю жестокую торжественность суда, просто как внушающему доверье собеседнику, ответил:

— Да как же не знать-то? Виктошку-то Кандырина? Вот он сидит. Борода, вот как у меня, выросла, тогда и у меня не было. Ну, маленько ликом сменился, а все так мне не узнать.

Он ласково повернулся к скамье подсудимых, блеснул крепкими зубами в приветливой улыбке.

Слышь, Виктош, тебя знаю ли. Братья мы с им, товарищ судья, братья, крестами менялись! У тебя рост от мой цел, а?

За судейским столом невольно заулыбались. Вдруг оказалось очевидным, что на страшных для человека местах сидят люди. У них, у всех, могут сделаться светлыми лица от хорошего, ласкового человечьего слова.

Внизу, в зале, задвигались. Вдруг неожиданно грохнули аплодисменты. Одноглазый председатель насупился, дернул сильно колокольчик и сердито рявкнул:

— Прошу соблюдать тишину! Не то распоряжусь очистить зал. Товарищ Лыткин, с подсудимым переговариваться нельзя! Обращайтесь только к трибуналу.

— Товарищ Требунал, жалко мне его, что он эдак засыпался. Хороший парень был, как на войне в санитарах служил. Товарищ Требунал, как бы здесь Мосейкин Алексей али Павел Веселов, а хоть бы Митрий...

— Короче, товарищ Лыткин.

— Дак все бы не сказали плохого слова про Кандырина. Буржуазию он, действительно, не любил! Чего его между господами втепало, никак не пойму. Но только в доктора он вполне мог самоучкой вытти. В этом я за его вполне ручаюсь, он очень хорошо это дело понимал. Старший доктор про него говорил...

Председатель утомленно вздохнул.

— Я вам буду задавать вопросы, а вы на них отвечайте. Только коротко.

На ходатайство защиты, разрешить Лыткину высказаться полней, председатель сухо и твердо отрезал:

— Вам дано будет право задавать вопросы товарищу Лыткину.

Он подозрительно взглянул на Гребнева. В душе его, омраченной недоверьем к человеку, вдруг зародилось сомнение: не инсценировано ли неожиданное появленье нового свидетеля. Он придирчиво и долго пытал Семена. Так же старались и прокуратура и члены трибунала.

Седовласый, с изможденным лицом защитник глухим старческим голосом заявил:

— Защита вопросов к свидетелю не имеет.

Прокурор тверже устроился на стуле и окинул строгим взглядом зал.

Когда Лыткин спускался по ступенькам со сцены, лицо его было красным и горестно удивленным. Скрылся в толпе и больше порядка не нарушал.

Виктошка сидел, опустив голову. Роем нахлынули воспоминанья. Отрывочно, сумбурно, одно перебивая другое. Вдруг, растроганный этими воспоминаньями, он поднял голову, посмотрел на людей, наполнявших зал, и ощутил, что всем чужой. Лиза его жалеет. Из-за женской своей, из-за прошлой любви, скорбит за него. Свиданье даже выпросила, утешала. Ну, долго ли тоже с хорошей

душой к нему останется? Филатов разговорит: не стоит мол, его жалеть, подлеца! Плюнет и ногой разотрет при воспоминании о нем. Она уступит. Его, Виктошку, жалеет, а Филатова ведь любит. Партию собой, самозванством своим замарал. Никто доброго слова не скажет. Вспомнил, как хорошо его на собраниях слушали, как одобряли его деловитость. Просерел от тяжелой душевной тоски. Почувствовав на себе чей-то пристальный взгляд, Гребнев поднял голову и встретился глазами с Филатовым. Тот смотрел на Виктошку из-за кулис. Встретив Виктошкин ответный взгляд, Филатов отвернулся и скрылся в кулисах. Виктошка злобно усмехнулся и вздернул голову. Он не знал, что у Филатова спазмы сжали горло, что он боится слабость свою показать, тем горше Виктошку растревожить. Оттого и не повидался, не поговорил с ним ни разу.

Ни обвинителя, ни защитника Кандырин не слушал и не слышал. У него сильно разболелась голова и стало мутить от томительной тошноты. Встрепенулся только, когда Липатова говорила свое последнее слово. Она прокричала его в толпу с огромным напряжением страсти. В зале и на сцене затихли, когда она говорила. Виктор Кандырин, когда дошла до него очередь, поднялся вяло. Его парализовала мысль о безнадежности его положения. Доказать, что он не насиловал Настю, он не мог. Никто ему не верил. А во всем остальном он, действительно, виновен. Опозорил партию. Да не только своим самозванством, а крупным дебошем в чека. Только что его самого разоблачили, он еще одного прохвоста в рядах выкопал. Еще позор на партию.

Он вяло, точно нехотя, мусолил в последнем слове все одно и то же.

— Коммунистическая партия ни при чем. Я ее тоже обманул. Опозорил. Но прошу снисхождения. Что года скрыл, на службу вторично не попал, это бы еще ничего, у меня еще время есть, я не стар, и доктором отслужил бы.

Но голос его окреп, когда он неожиданно, без всякого к тому перехòда, объявил:

— Что доктором без бумажки назвался — это преступлением не считаю. Я ее украл, так я и оправдал ее. Знал не меньше других и побольше некоторых с бумажками.

Смолк. Оглянулся на публику и пошел к своей скамье.

Было десять часов вечера. Суд удалился на заседание В зале суетливо задвигались, загалдели люди. Разминавшиеся после долгого сидения люди из публики расхаживали по залу, по коридорам, на улице около Народного дома, сбивались парами, группами, оживленно, с блестящими возбужденными глазами, спорили: расстреляют или условно?

Филатов с Лизой стояли на улице, плотно прижавшись к каменной стене. Лиза тихо, беззвучно плакала. Он горячим шепотом успокаивал.

— Ну, что ты раньше времени убиваешься? Еще неизвестно, что суд решит.

— Эх, Игнатий, женское сердце вещун. Тяжело мне! Ему бы легче было, кабы я с ним была. Ну, ну, ты не так подумал! Люб ты мне, а его жалко. Ой, жалко, Игнатий! Очень жизнь у него бессчастная.

Филатов буркнул:

— Я сам жалею. Эх, дурак, какой дурак. Да что их там черт забирает, когда они кончат совещаться? Манежничают, а люди не знают, не то жить им, не то помирать. Объявят, уже один конец, легче. Ты постой здесь, а я сбегаю, узнаю, как там... Скоро ли?

При входе он столкнулся с худенькой молодой девушкой. С захлебом, торопливо она спросила:

— Товарищ Филатов, неужели обоих расстреляют?

Филатов насупился и жестко отозвался:

— Осудят, дак слюнявиться не будут.

Быстро прошел мимо нее. В дальней комнате за кулисами совещался суд. У дверей стояла охрана. Но дверь то и дело открывалась. В комнату входили и выходили люди в военной форме, члены губкома, губисполкома. Филатов вошел шумно, уронил по дороге стул. От большого стола к нему повернулись недовольные лица. Бледнолицый, с большими мечтательными глазами, член трибунала говорил:

— ...После бурной дискуссии о профсоюзах, перед разрешением свободной торговли, необходимо сугубо оберегать себя от шараканий в попустительстве...

Филатов сердито выкрикнул:

— Преданный человек, выправится! Пролетарского происхождения. Нельзя дуром своих изничтожать.

Его выставили из комнаты совещания.

На ходу он крикнул:

— Я поручусь за него, башкой своей отвечать буду!..

И выбежал, странно, хватками глотая воздух, на улицу, в темноту июльской ночи.

Пять долгих часов ждали приговора. В два часа над залом, все еще полным ожидающими приговора со всем замиранием любопытства и Кандыриным, Липатовой и Лизой, замученными до полного изнеможения всеми мученьями надежды, громко прозвучало:

— Суд идет! Встать!

Длиннолицый, худощавый человек в несвежем пиджаке усталым голосом начал:

— Именем Федеративной Советской Социалистической Республики...

Филатов в темном углу за кулисами вдруг почувствовал, что не может задержать странного бульканья в горле. Откашлялся, сплюнул три раза подряд в груду сора и рукавом пиджака сердито провел по глазам.

— ...Липатову к пяти годам со строгой изоляцией... условно.

В зале грохнуло дружное рукоплесканье. Выждав затишье, усталый человек монотонным, не оставляющим даже лазейки для явного сострадания голосом начал длиннейший перечень тяжких преступлений Виктошки, сына Балакаря. И в этот миг он в надежде передохнуть на мысли о близких — вспомнил отца. Отчетливо услышал только конец:

— ...К высшей мере наказания — расстрелять.

Виктор неожиданно и незаметно для себя широко открыл глаза и опять растерянно, наивно улыбнулся. С той же застывшей улыбкой и к выходу пошел, когда повели. Сзади, в глубине зала, раздался отчаянный женский вопль. Виктошка не оглянулся, только спина перекосилась.

Срок, данный для обжалованья, он провел больше во сне. Оживился только один раз. Надзирателя вызвал в камеру. Когда тот пришел, он осторожно снял с шеи медный небольшой крест. Сказал с жалким подобьем улыбки:

— Не носят коммунисты крестов. И мне другой крест не нужен. А этот не мог снять. Побратался на войне. Пожалуйста, доставьте его, товарищ... то есть, не сердитесь, забыл. Доставьте его, гражданин, в губпродком, Ивану Лыткину. Там найдут. От крестового брата, мол, от смертника.

Встретить смерть с бесстрашным спокойствием, в великой простоте, как умерли его родители, Балакарь

и Арина, ему не было дано. Когда вели, в ночи, он вдруг взбушевал. Сначала отбивался и дрался, потом в ноги упал. Сапоги красноармейцев хватал, припадал к ним лицом и плакал. Хрипло молил:

— Братцы, отпустите! Отпустите, братцы, страшно мне совсем-то помирать.

Один из конвоиров пожалел. Поспешил с последней для Виктошки пулей. До назначенного места его не довели.

Когда Семену Лыткину передали крест, он долго мял в руках узел уже ветхого шнурка. Потом, тепло улыбнувшись, покачал головой:

— Гляди-ко, гайтан переношенный выдержал, и узелок цел, а Виктор, брат названый,— ау! Вот тебе да! Жизнь-то человечья какая неверная.

Линюхина Степанида

Рассказ

I

Свекр к земле привержен был. Из России в Сибирь за ней притащился. Но и в Сибири земля далась и наградила только тех, кто с запасом прибыл. А Линюхины оттого Линюхиными и стали по прозвищу, что прадед еще сковырнулся и от нужды слинял. Такой предел и правнукам положил: линяй еще, мотай жилы.

Привержен к земле старик был, но пришлось мужа Степанидина в город на заработки отпустить, а младшего — на чужую землю в батраки. Долго кряхтел, когда старший уехал. Потом зорко из-под насупленных серых торчков-бровей на Степаниду глянул и спросил:

— С нами будешь? Али в город к мужику? Аль еще куды?

Степанида твердые губы разжала, редкой на ее лице усмешкой рот повела:

— Четверо небось вашинского приплоду-то у меня. Куды от вас? Одна семья. А Федор вернется.

Старик яснее взглянул. Ко двору Степанида: ворочает работу за мужика, молчалива, строга и ребят здоровых носит.

— Ну, живи, коль так.

А Федор старику такую загвоздку всадил, что по его, старинковскому, рассуждению больней всех бед была. Письмо прислал, когда царя сменили и появились всякие «социалы», меньшевики да большевики.

Писал:

«И еще сообщаю вам, что самая для бедного народу вильная партия рабочего классу большевики, я в по добровольному своему мнению записался и со- сеперь как большевик. Супруге моей, Степаниде Ивановне, как грамоте обучена, приказанье мое с ним случаем сообщаю — программу большевистскую вам

прочитать для осведомленья, каковую в этом письме посылаю».

Степанида в школе обучалась. Могла в книге всякое слово сперва шепотком разобрать, потом правильно вслух прочитать. Но программу изъяснить отказалась:

— Трудно.

Разъяснили другие. Священник узнал, в церкви старика Линюхина отчитывал:

— Немцам Россию такие вот, как твой сын, продали! Разумных российских правителей ниспровергли, государственную казну между собой делят. Неразумных чем прельщают: все общее — имущество, земля, жены общие. Разоренье и блуд...

Путались ноги у старика, когда из церкви шел. Солдаты другое говорили, попа бить обещали, но от этого не легче старику Линюхину. Тело в старом порядке износил, и новые мысли в ум не принять.

Вся семья в смущенье пришла. Деньги, Федором присланные, не радовали. Староста церковный по доверенности получил, с почты привез. Передавал, съехидничал:

— Легкие. Не скажу — украл, а недалеко от этого. *Небось из казны отобранной. Барами теперь распузатитесь.*

Степанида крепкая, и та на дворе втихомолку поплакала. С красными глазами в избу вернулась. Поглядел на нее старик, откашлялся и сказал сурово:

— Завтра к мужику тебя повезу.

Степанида только крепче губы сжала, а свекровь заплакала:

— Какие мы с тобой для малых детей кормители? Одна она ворочает. Энта-то кукушка своих подбросила...

Старик угрюмо отозвался:

— Хлебу запас есть. Доедим и тот, какой для посеву, опять же я обувку починяю. Заработаю. К мужику пущай съездит.

Степанида тихо успокоила:

— Ладно.

А меж бровей морщинка крепко залегла.

Как спать ложились, старик неожиданно сказал:

— Може, образумишь. Ты баба твердая и приманчивая. Стары люди баяли: мужик силком, баба тишком, а, бывает, крепче покоряет.

Степанида промолчала. Но ворочалась долго на по-

латях. Ребятишки рядом сладко спали. Старики на печке затихли. А она думами маялась. Чем смутили в городе Федора? Горячий был, а умом сторожкий. Не скоро со своей думы его собьешь. А там вот поддался на чужое. Чему поверил? Искала слов вразумительных, чтобы разговорить. Бывало, и слушал ее Федор. Под пару друг другу подошли, согласно жили.

Еще чуть мутнело, будто жидким молоком подернулось ночное небо, как поднялся старик и пошел лошадь запрягать. Не хотела плакать Степанида, а скропила слезой сонных детей. Не осилила тоски и тревоги. Старуха громко причитала. Дребезжащий, старческий голос ее и за околицей все еще в ушах Степанидиных будто стоял. Всю дорогу до города старик только с лошадью разговаривал. Степанида молчала, и он с ней не заговаривал.

II

Думала мужика сговаривать домой податься, а вот уже скоро год, как к мужу Степанида приехала, а об отъезде еще и помину нет.

Жили на копях, работали те же деревенские мужики. Только одни давно, с десяток и больше лет, как деревню оставили, другие поменьше, как с ней расстались. Из городов рабочих совсем мало, все больше природные, деревенские. Даже люди есть из той самой деревни, откуда Федор со Степанидой. Свои, старые знакомцы. А совсем у них повадка другая. Мужик часто на небо поглядывает. То дождя у бога просит, то богу жалуется, кряхтит, что облака шибко не ко времени скопились. Все с небом и по небу живет. За урожай его благодарит, за недород на него же вздыхает. А здесь народ такой, что неделями на небо-то не взглядывает. Все в землю. Под землей больше и живут, буравят ее, проканывают, спрятанные богатства достают. И здесь у земли другой закон. Она всегда немилостива и жестока. Никто матушкой здесь ее не называет. И закон у нее прямой: не плошай. Небо может солнцем сиять и дождь, а внизу все сырой мрак, твердые стены, едкая рыхлая угольная пыль и тяжелый дух, от которого остро хилеет грудь. Засветит ли солнце, наляжет ли жар, человеку ни то, ни другое в подземном его труде

не в подмогу. В узких подземных коридорах каждый сам за себя отвечает, сам себя оберегает. От самого малого недосмотра зависит жизнь человека. Недосмотрел — может произойти взрыв, засыплет землей... Зазевался — и получил раненье. Недосмотрели наверху за машиной, которая отсасывает из шахт дурной воздух, расстелется душный, смертоносный газ — и конец жизни. Оттого люди здесь научились пристально в землю смотреть, к каждой мелочи приглядываться. Уши, глаза, руки, тело всегда начеку. На небо, на бога зазеваешься — и пропал. От этой жизни здесь и речь иная, и все пониманье другое. Говорят покороче, посумрачней. За неудачи винят себя, за удачу себе же благодарствуют. Про бога мало кто вспоминает. Бабы на язык дерзкие и ухваткой смелые.

В деревне теперь бабье лето. Солнышко не жаркое, но неторопливо ласковое. Как женщина в старости, мудрая многодетная мать. Обо всех привыкла заботиться без суеты, но лаской никого не обделяет. В чистом, светлом воздухе тонкие паутинки протянуты, и легко там воздухом дышится. А здесь все с угольной пылью возня. Все в горле и в носу першит.

Степанида тоже работать стала, угли сортировать. Продохнуть со сладостью и не удается. Едкая угольная пыль разъедает глаза. Не очень захочешь на солнце смотреть, и неяркий свет люди с болью принимают. Сначала тосковала, по ночам долго вздыхала и ворочалась. А потом стала засыпать сразу. Непривычная работа утомляла сильней, чем деревенская страда. Сначала Федор в казарме для холостых жил. Как Степанида приехала, в отдельную землянку перебрались. С работы приходила, надо было и поесть сготовить, и землянку прибрать. От угля, сваленного под кроватью, и в землянке все та же черная пыль, что и на работе. Сразу, как только на копи приехала, начала было Степанида мужа уговаривать:

— Поедем домой. Как ни то прокормимся около земли природным своим трудом. Подспорье из своего заработка даешь, а лучше без него обойтись...

Но и высказать всех мыслей своих не успела, как Федор резко оборвал:

— Ты зря не старайся. В деревню сейчас не поеду. Нельзя. Здесь дела много, и дело нужное. Кости поломали, шахты отстаивали, теперь не бросим. Под хо-

зяином спину гнули, на него работали. Теперь на себя. Поживи здесь, шире мозгой раскидывать научишься. Вот утвердится все, как мы располагаем, тогда поговорим.

В праздники Федор все на собраньях, и Степаниду с собой повел. В первый раз она тихонько из клуба скоро ушла. Непривычная обстановка. На сцене, под большими красными флагами, за столом вместе сидели рабочие, техники и господа инженеры. Управляющий копями в город перебрался. Но господа еще остались, Под контролем неохотно работали. На собранье рабочие с ними спорили. И даже женщины речи говорили. Степаниде показалось, что она своей робостью всем приметна, она застыдилась и ушла. Но потом привыкла, часто ходить стала.

Только недолгим оказалось спокойное житье. Рабочие все время настороже держались. Была у них и своя Красная гвардия. Федор в ней состоял. Но все же опасности большой не чуяли. А вот в самом начале этого бабьего лета беда стряслась. Загудел тревогу гудок... Степанида с работы не на сборище сразу пошла, а домой забежала. И не успела повернуться, как в двери Федор сразу залпом сказал:

— В городе белые. Скоро сюда. Там плохо бьются. Врасплох застали. Я сейчас с отрядом. А коли что, домой не жди... После как-нибудь весточку передам.

И стал поспешно обуваться. Степанида обомлела. Дрогнувшим голосом спросила:

— А я как же?.. В деревню, домой надо.

Федор строго сапогом пристукнул.

— И думать не моги! Там дети со стариками, не одни, проживут. А тут верного человека оставить надо. Другого искать некогда. Я на тебя понадеялся, так и товарищам объявил. Чать, не подведешь? Аль теперь откажешься? А?

Подошел к Степаниде, рукой за плечо придержал и неловко в глаза заглянул. Степанида глаза потупила и сжала губы, ничего не сказала. А Федор медленно, будто с трудом подбирая слова, произнес:

— Мы с тобой ладно жили... Другие тоже, бывает, жалеют друг друга. Ну, а мы... Не только что спали вместе да детей родили, а все вместе. Как приехала ты из деревни, думал, может, и не сладимся. А потом... Я ведь все тебе рассказывал. Ты моим мыслям не препятствовала. И сама вровень со мною старалась. Я и

понадеялся. Дак как? У тебя-то другие мысли, что ль? Не молчи, Степанида, некогда мне... Охота с хорошим сердцем проститься. Я не рассержусь, если не по-моему рассудишь. Все одно, поезжай домой. Неволить не стану. Все одно, к тебе приеду. А только... надеялся я было на тебя...

Степанида усмехнулась:

— Чего ты улещиваешь? По-другому думала бы, так давно уехала. И теперь не застращал бы, кабы и совсем от меня отказаться пригрозил. Мы с тобой не новожены, не молодые, что шибко в ласковых словах рассыпаться... Езжай. Я тут подожду, если так лучше. Я было думала, что ты сам домой меня отправишь.

Федор еще раз заглянул ей в глаза, усмехнулся, крепко тряхнул за плечи и прижал к себе. Поговорили они недолго. Федор ей наказ дал, какие ответы давать, если за мужа теребить белые начнут.

— Ну, а потом слух дам, известье о себе. И как дальше тебе самой устраиваться. Прощай покудова...

Крепко, быстро поцеловал, вздохнул, старую солдатскую шапчонку в руках помял и вышел.

Степанида не заплакала, только в лице изменилась. Побелела вся, даже губы белые стали. Пошла было за ним, да сердце в груди затрепыхалось до того, что в глазах черные круги пошли. Она передохнула с трудом и как стояла у порога, так и села на него.

III

На другой день землянки рабочих опустели. Многие целыми семействами, с женами и детьми, поднялись, успели до появленья на копях белых властей скрыться. Остались только недавно из деревень на работу прибывшие. Они прожили только кто год, кто два на копях. И все еще тянулись к своим... Боялись решительно на чью-нибудь сторону стать. Гунявый рыженький мужичонка при встрече со Степанидой так ей объяснил:

— Куда пойдешь? Все одно, и при белых та же работа будет. А мы пришли на работу, так при ней и останемся. Нам все одно, кто ни пан, тот и батька.

Степанида только спросила осторожно:

— Своих-то нет у тебя? Все одно, для своего брата стараться али опять на хозяина? Вернулся, слыхать, хозяин копей.

Мужичонка раздумчиво головой покачал:

— Все одно, и у белых и у красных начальство-то есть. А я их и не разбираю. Мы народ темный.

Степанида качнула головой и поскорей от него отошла. Она-то уже знала своих. Год работы на копях научил ее думать, упорно доискиваться причины, отчего богатым жизнь утеха, а беднякам, на них работающим, от той утехи только малые, неверные крупицы достаются. Год был трудный. Сначала на радостях работа плохо шла. Потом за работу принялись, все недочеты на плечи рабочих легли. Но так же, как Федор, она знала, в каком лагере их место и где они хорошего добьются. Но с мужичонкой спорить не стала. Помнила наказ Федора осторожно держаться, зря на подозренье не вылезать.

Под вечер конский топот, шум голосов и стук нарядных экипажей взбудоражил всех оставшихся на копях. Степанида из землянки не вышла. Поплотней припёрла дверь и легла ничком на кровать. Она думала о детях, о муже, обо всех, кто ушел с ним. И вдруг острая тоска клещами сдавила ей сердце. Тихонько и горько она до утра в подушку проплакала. В дверь кто-то раза три стучался. Но она не встала и огня не зажгла. Верно, кто-нибудь из знакомых баб с вестями забегал. Постучали не очень настойчиво и ушли.

Белые водворились. Прежний управляющий из города снова на копи перебрался. Начался суд и расправа. Каждый день двое конных гоняли кучками трусливо согнувшихся мужчин в город, на допрос. Гунявый рыженький мужичонка нечаянно в передрягу попал. Сказал по своей привычке подлипале господскому, рыжесусому штейгеру, свое любимое:

— Нам все одно, кто ни поп, тот и батька.

Его отстегали нагайкой в назиданье на глазах у толпы. Степанида пожалела его. Густо-красный от обиды и боли, он тяжело дышал, натягивая штаны. В толпу проходил, низко опустив взъерошенную голову. Степанида его тихонько рукой за плечо приостановила. Шепнула:

— А ты не стыдися. Надо всеми измываются, никто не осудит. Мы все свои, все под одной бедой.

Он сердито отодвинул ее локтем, но продохнул легче.

На другой день самое Степаниду забрали на допрос.

В маленькой комнатке при конторе копей, развалясь на стуле, сидел сухощавый бритый нерусский чернявый человек. После сказали Степаниде, что ее серб допрашивал. Он сдвинул на затылок вышитую небольшую шапочку. Подробно оглядел Степаниду. Строгое невеселое лицо ее ему не понравилось, и он сразу рассердился:

— Большевишка? Гавры правда!

Степанида подняла на него спокойные синие глаза.

— Не пойму, господин, про чего спрашиваете. Я тут недавно. Из деревни приехала.

Серб выбранился нехорошей русской бранью, довольно чисто выговаривая ее, и стал выпытывать:

— Где муж? Гавры весь правда!

Он не бил, но допросами на малопонятном языке, неожиданностью этих вопросов и дико зычными окриками хуже побоев измаял.

Ночевала в новой арестантской, в холодной кладовушке при конторе, с двумя бабами. Всю ночь они шепотком проговорили. Оттого и нестрашным Степаниде показалось это первое ее заточенье.

Наутро Степаниду выпустили. Сразу пришлось думать, как прожить, чем прокормиться. Опять стать на работу по сортировке угля она не хотела. Свои ушли. С чужими, с теми, кто покорился и, не жалея своей жизни, старался для владельца поправлять шахты, наладить большую добычу угля, с этими она не могла вместе работать.

Выручил случай. Знакомая женщина, Марья Потапова, порекомендовала ее жене управляющего. Нахвалила как хорошую прачку. Попросила разрешения себе на помощь на стирку пригласить. Господское белье Степанида никогда не стирала. Одна и не решилась бы взяться. Боязливо, чуть придерживая пальцами, растянула пред собой тонкую, всю в кружевах женскую рубашку и покачала головой:

— Чего же тут стирать? Чистехонькое, только что попримято. У нас личная утирка эдакая белая и с нова не бывает. А тут исподняя рубаха. Э-эх! Живут, вот это живут! Да как к ей притронуться? Разорвешь еще.

Марья, главная стиральщица, весело засмеялась.

— А ее и стирать-то чуть-чуть. Знамо, если начнешь

тереть, как свою, так и помину не останется. Дай-ка покажу!

На этой стирке нежданно Степанида милостивое барынино вниманье к себе привлекла. Скучала Валерия Львовна на копях. Большевиков прогнали, а веселая жизнь все как-то не налаживается. Муж занят. Говорит, что рабочих надо подтянуть, дело направить, и тогда можно будет и в город почаще ездить, и самим у себя приемы гостей устраивать. Одну в город надолго не пускает. Только днем за покупками, и то, как малолетка, с горничной. Очень ревнив. Валерия Львовна молода и легкомысленна. А он стар и тяжеловат на подъем. Принялась было Валерия Львовна за устройство любительских спектаклей, но жены инженеров с женами техников не поладили. На одной из репетиций ссора большая произошла. Дело разладилось. Хотела в Народном доме танцевальные вечера для рабочих устраивать, муж запротестовал:

— Помилуй, матушка! Это тебе не заграница. Наши разойдутся, не возрадуешься. Особенно теперь, понюхали свободы, большевики их распустили. Необходимо твердое, жесткое с ними обращенье. Надо внушить, что после революции, как никогда, необходимы законность и порядок. Нет, уж ты с этим повремени.

Совсем нечего делать Валерии Львовне. Встанет с постели в первом часу дня, попримеряет перед зеркалом часа два платья разные и опять не знает, куда руки свои девать. На рояле побренчит, романсы попоет, и опять дела нет. Книжки раскрытые и коробки конфет во всех комнатах на диванах валяются, но ни в голову, ни в рот ничего уж не лезет от сытости. Стала она от скуки и по двору бродить. В прачечную зашла. Марья Потапова, щуря ласково глаза, бурной льстивой радостью ее встретила. Посмешила рассказом каким-то, веселой побасенкой. Понравился барыне прачкин хитрый говорок. Она и в кухню, когда прачки обедали, пришла. Тут к Степаниде пригляделась.

— У вас удивительное лицо. Совсем не простонародное. Знаете, вы очень красивая. У вас профиль чудесный: прямая линия лба и носа. И фигура. Я таких крестьянок еще не видала. Они всегда с животом, а вы такая стройная, узенькая. Совсем не крестьянский склад. Право, удивительно.

Степанида от досады пунцовела, но промолчала. Только губы построже ежила. А барыня все пристает:

— Вы замужняя? Ах, четверо детей? Да что вы! Это ужасно!

И всем строгим обликом, сдержанностью ответов своих, неспешностью движений неожиданно ей Степанида понравилась. В это время как раз привезенная из дальнего города востроглазая с завитым чубиком горничная Валерии Львовны проворовалась. Уличили ее. Барыня решила вместо нее Степаниду к себе в услуженье взять. Объясняла мужу:

Ничего, пусть неумелая, я ее выучу. Мне все равно скучно, делать нечего. Я с ней займусь. Зато она честная, по лицу видно. И, по-видимому, очень скромная. Так мало говорит, не назойливая. А она, знаешь, удивительно в стиле наших комнат. Они у нас высокие, строговатые, и вся обстановка тоже строгая. Она и к обстановке подходит, я ее возьму.

Управляющий посмотрел в бездумные синие глаза своей молодой жены и весело рассмеялся:

— Возьми. Чем бы дитя ни тешилось.

Степанида не сразу согласилась. Противна ей была чудная, взбалмошная, ребячливая барыня. Но в это время доставили ей слух от мужа. Он наказывал, чтоб никуда с копей не выезжала, а пристроилась бы как-нибудь безопасней, чтобы поменьше за ней приглядывали. Тогда дело одно можно будет через нее наладить. Степаниду грызла тоска по детям. Ночами, при мысли о них, сна лишалась. Иной раз привидятся во сне, сразу, как от толчка в сердце, просыпается. Но домой и свекровь теперь приезжать не советовала. Приедет с копей, разговоры начнутся: как, да что, да где Федор? Старика, пожалуй, на допросы потянут. К ним в деревню тоже каратели наезжают. Всяким слухом пользуются, подозрительных людей ищут. Да и своих односельчан-недоброжелателей много. Лучше тишком переждать. Все благополучно. За денежной подмогой старик со старшим парнишкой сами как-нибудь выберутся, к ней приедут. Вот этого дня она и стала, как праздника, ждать. В господском доме место самое безопасное. Известья нужные в квартире управляющего тоже легче узнать. И Степанида согласилась. Работа не тяжелая, хоть и доставалось за день ногам. Все по мелочам туда-сюда приходилось тыкаться. То и дело:

— Стеша, дайте носовой платок! Сте-еша! Переставьте вот так столик! Стеша! Где же моя сумочка?

Барыня — как человек, лишенный рук и ног. Сама ничего не возьмет и не найдет. Комнаты мелочишкой нарядной все позаставлены. И за ними ежедневный кропотливый требуется уход. Но не камни ворочать. Досадно силу убивать на такую работу, да все же привыкнуть можно. И пища хорошая, и одежду справили. Но с каждым днем на сердце коростой нарастали тоска и злоба. Вот живут! Ни над чем не трудятся, всего наглотались, не знают, что и придумать, чтоб в глотку с охотой шло. Это управляющий так живет. А как же сам владелец? И добывают все для такой жизни им рабочие. Для них даже о пригодном жилье не позаботились. Казарма у холостых холодная, без потолка, прямо два ската крыши вверху. У семейных хлипкие, тесные землянушки. Окна забиты железом и тряпьем. Нет ни сарайчика, ни кладовушки. Уголь для топки тут же, под кроватями. У Валерии Львовны на ночь одно белье, на день другое. И через день сменное. Да еще недавно отшвырнула полотняную ночную рубашку.

— Не могу. Это мама зачем-то полотняных мне насовала. Ужасные рубашки! Телу тяжело.

У Степаниды недобрый огонь загорелся в глазах. Телу тяжело! А бабы в землянках в холщовых, почти бессменных, ходят. Эта во всяких душистых растворах купается каждое утро, а у тех в лохмотьях одежды на работе ноги видны, вот посмотрела бы. Коноть и грязь продубили кожу, теркой, чать, тереть надо, чтоб отмякла. Э-эх, а говорят, что перемена все-таки произошла. Царя убрали, бедному народу освобожденье. С каждым днем росла злоба в сердце у Степаниды. В деревне господской жизни она не видала. Обиду положенья своего так остро не чувствовала. А здесь постоянно в глаза лезла разница жизни господ и рабочих. И рабочие поди-ко из той же из плоти и крови. Только они работают, а эти готовое кушают. И не подавятся, ироды!

Однажды несчастье случилось. Испортилась воздуходувная труба. Быстро наполнил Надеждинскую шахту ядовитый газ. Когда вынесли задохшихся рабочих, Степанида прощаться с ними ходила. И будто отсвет от темной синевы мертвых их лиц и на ее лицо пал. Вернулась иссиня-бледная. Барыня ее увидела — даже испугалась.

— Вы не заболели? Сходите сейчас же к фельдшеру. Я больных боюсь. И вообще, Стеша, скажу вам откровенно, мне уже надоедать начинает ваш постоянный невеселый вид. Вначале мне казалось, что вы просто тихая, а вы угрюмая. Это мне неприятно. Я радость люблю. Встряхнитесь, пожалуйста.

Встряхнуть бы тебя хорошенько, пигалица! Плачет, когда в обед блюдо какое не понравится или платье портниха испортит, а горя, настоящего человечьего горя не видит и видать не хочет. Этаких придушить, так ни грех, ни жалость не замают. Сильно затосковала Степанида, но подобрала себя крепко. Перед барыней смолчала. Воли сердцу не дала. В это время как раз своим подмогу давала. Через нее передали паспорта для скрывавшихся товарищей. С барыней в город ездила, ухитрялась на тайных квартирах бывать, наказы от большевиков получать. Через нее и связь наладилась. А креститься ей все трудней становилось. Взгляд острей стал. Всякая обида в глаза, ни одна незаметной не пройдет. Барыня временами со скуки болтливой становилась.

На землю легла уже зима. Коротки дни, а ночи так долги, что без устали дневной за год кажутся. Сна нет, и заняться нечем. Управляющий часто на заседаньях и в конторе задерживается. Вот и стала развлекать себя Валерия Львовна разговорами со Степанидой. Та сама не словоохотлива, а слушает как будто внимательно, терпеливо. Как только вспыхивали яркие большие электрические лампы в нарядном пустом доме, Валерия Львовна приказывала в мужнином кабинете камин затопить. Садилась с ногами в мягкое кресло перед камином и звала Степаниду:

— Садитесь, посидите со мной. Да бросьте ваше вязанье, как вам не надоест!

Но Степанида сложа руки сидеть не умела, добилась разрешенья чулки вязать во время этих вечерних бесед. Гости у Валерии Львовны бывали редко. Местные дамы ей не нравились. Оттого вечерами часто маяла она Степаниду своим пустым, бездельным рассказыванием.

И в этот вьюжливый вечер, как всегда, ее в кабинет мужнин позвала. Вдруг разоткровенничалась:

— Вы знаете, я беременна. Хотела аборт сделать, муж умоляет ребенка сохранить. Я и не знаю, что мне делать. У вас это как-то просто выходит. Каждый год дети. Вот у вас — четверо. Ужас! Я родовых мук боюсь.

Ведь я хрупкая. А потом — заботы с детьми. Мы еще не так богаты, чтобы детей спокойно иметь. Ну, на одного, может быть, и хватит, а? Все-таки занятно — ребенок. Я хочу, чтоб девочка. Ее лучше, интересней одевать. А в общем, беспокоюсь. Возня, расходы! Но одна девочка, пожалуй, ничего. Когда она будет ходить, я ей сделаю, знаете, вот какое платьице...

Степанида вспомнила своих четверых. Есть ли сменные рубашонки-то у них? Вдосталь ли хлеба? Э-эх, растравила боль, сорока! Им и дети, свое рожденье,— только забава. Ни тяготы, ни скорбей!

Отводя в сторону ненавидящий взгляд, Степанида тихо сказала:

— Дозвольте, барыня, мне уйти сейчас. Неможется что-то...

И решительно встала. Валерия Львовна, скрыв недовольную гримасу, хотела ответить ей, но в кабинет шумно и торопливо вошел управляющий. Он кинул быстрый взгляд на Степаниду и приказал:

— Идите в кухню. Валерия, я должен тебе сказать...

Приостановился, метнулся к двери и плотно ее притворил за Степанидой. В кухне Степанида узнала, что к ней зачем-то Прошка, сын кузнеца, забегал. Обычно она сама к единомышленникам своим заходила. В дом управляющего они не бегали, чтоб недовольство и подозренье не возбудить. Видно, что-то случилось. Вспомнила Степанида и про барина. Как встрепанный в кабинет влетел. Что-то случилось. Она незаметно, даже не набросив шубы, из дома выбралась.

IV

Это была первая тревога. Известия о партизанских большевистских отрядах управляющего обеспокоили. Но зима прошла, и лето к концу, свои не приходили. Управляющий успокоился. Валерия Львовна к матери уезжала. Оттуда с дочерью, нарядным свертком в кружевах, и маленькой толстенькой старушкой-няней вернулась. Степанида сильно похудела. Она ждала. Она знала, что свои надвигаются. Все кругом успокоились. Но тайные вести были утешительны. Только ждать становилось с каждым днем трудней. Вдруг в теплый

июльский день управляющий из города на взмыленной тройке прискакал. И не домой, а сразу в контору. Степанида в окно видела, насторожилась. Через час был объявлен приказ рабочим приготовиться к эвакуации. Шахты опустели, ожила кривая улица рабочей слободки. Степаниду тянуло туда. Сердце горячо и до звона в ушах часто стукало в груди, руки тряслись. Но уйти она не могла. Барин домой прибежал весь красный, взволнованный. И в первый раз Степанида, кошкой подкравшись, подслушала их тайный разговор в угловой комнате.

— Собирайся, немедленно надо уезжать.

— Подожди! Я же так быстро не могу. Как же бебе? Няня вчера занемогла. Я испугалась, в город ее отправила... Как же?

— Эх, что как же? Ночью мы должны выехать. И ночью выеду я, мне нельзя сейчас. А ты с ребенком немедленно, через час, через два... Слышишь? Возьми с собой Степаниду. Ты рассказывала, что она ненавидит большевиков.

— Ну да. Ее муж бросил, с ними ушел. А она добровольно осталась. Да, на нее положиться можно.

— Ну, и собираитесь живо. Быть может, и мне удастся следом за вами. Ну, да я это устрою. Нечего ночи дожидаться. Я выйду незаметно пешком, а там дальше устрою. Рабочих будут эвакуировать с утра. Придется им уплату выдать, а потом...

И быстро к двери пошел. Степанида едва успела отбежать от нее, юркнув в другую комнату. В конторе в это время шла перепалка. Пожелавших эвакуироваться рабочих не оказалось. Степаниде из дома вырваться никак не удалось. Барыня вцепилась в нее и следом за ней ходила, ни на шаг не отступая. А бросить все и открыто уйти она не хотела. У ней были свои соображенья. Необходимо управляющего задержать. Он может увезти все деньги. Она знала, что рабочие сами за ним следят. Но по слободке, верховые и пешие, уже метались солдаты. Белая охрана. Ей здесь легче за управляющим следить. И она пообещала Валерии Львовне, что поедет с ней.. Терпеливо выносила беспомощное ее хныканье

Барин вернулся не один. Два солдата с винтовками пришли с ним и расположились в кухне. Степанида за барином тихонько в комнаты пробралась. Увидела, что он к барыне вошел. Подумала с минуту и, краду-

чись, проскользнула в его кабинет. Там долго искала глазами, где бы спрятаться. Это было трудно. Но понадеялась, что барин в спешке и в волненье не заметит. Чуть отодвинула, охнув от натуги, тяжелый диван с высокой спинкой, заползла за него и легла. Сердце забилось так, что ей показалось — по всей комнате слышно. Но замерла, всю себя крепко забрала в тихость, затаилась. Как она предполагала, так и вышло. Барин вошел в кабинет, запер дверь на ключ изнутри — и сразу к несгораемому шкафу. И в руках плотно запертый, туго набитый портфель. Жалованье рабочим не выдали. Значит, из конторской кассы деньги забрал. Не иначе. Вот в этом портфеле они. Быстро соображала. Барин вокруг даже не оглянулся. Сразу хитрым замком шкафа занялся, а портфель около себя на кресло положил. Степанида тихонько, совсем бесшумно, по ковру выползла из-за дивана и ползком к письменному столу. Барин не услышал, занят был, денежные пачки считал. Но в это время за дверью в коридоре громко закричала Валерия Львовна:

— Стеша! Стеша! Да куда же она подевалась?

Этот крик за дверью заставил барина вздрогнуть.

Он повернул голову. Степанида одним прыжком к нему. Он крикнул было:

— Эй, пом...

Но она кинула в него тяжелым пресс-папье со стола, угодила в голову. Он пошатнулся и упал. Наклонившись к нему, увидела Степанида, что он жив, чуть слышно дыханье. Только обмер, оглушенный ударом. Надо было спешить. Тяжелый портфель и свертки с деньгами нести с собой невозможно. А где их спрятать? Где? Она прежде всего захлопнула шкаф, сунула за пазуху ключи. Потом беспомощно стала озираться по комнате. И вдруг решилась. «Будь что будет. Не подумают, что на виду брошено. Похитрей искать будут».

Сунула портфель и сверток в камин, прикрыла их горячими дровами и придвинула низенькую ширмочку. В коридоре уже слышались встревоженные голоса. Очевидно, ее искали. И вдруг дверь задрожала от ударов. Закричала за дверью Валерия Львовна:

— Борис Платонович! Открой, скорее открой! Слышишь? Борис Платонович!

Мужа звала. Степанида метнулась к окну. Оно выходило во двор. И никого вокруг как будто нет. Уже

перекинувшись во двор, услышала Степанида, что дверь кабинета трещит. Очевидно, ее взламывали. Степанида поторопилась и свалилась с размаху на землю. Упала боком, правой рукой на камень. От боли потемнело в глазах, но все же превозмогла ее, поднялась, глянула в глубину двора. Никого. Добралась до каменной кладовушки. Заперта. По двору нельзя. Да и некогда. В квартире слышен шум. Затаилась на земле между кладовушкой и погребом, в нешироком закоулке между двумя постройками. Но вдруг медленно ноги поехали по земле. Она упала. Лишилась сознанья от боли в руке.

V

Деньги Степанида все-таки сберегла для своих. Красные пришли быстрей, чем их ждали. С тревожной вестью Валерия Львовна и стучала к мужу в кабинет. Управляющий отдышался, но ни погоню за Степанидой устраивать, ни денег искать было некогда. Охрана из кухни немедленно исчезла при первом извещенье о том, что красные близко. Надо было шкуру спасать. Радовались, что лошади нашлись. Быстро уехали. Ни в доме, ни во дворе не искали. Прислуга, захватив одежду и вещи, тоже скрылась из дома. К пустому несгораемому шкафу рабочие пока поставили охрану, и только Степанида, очнувшись, объяснила, что он пуст. Пришла в себя она, в полный разум, уже в комнате, на господской постели. Кругом увидала своих. Сновали по комнатам жены рабочих. К ней подошла Марья Потапова. Во дворе гомонили красноармейцы.

Сбереженные деньги большую помощь копейским оказали. Поэтому Степанида приобрела огромное уваженье среди своих. И только это обстоятельство помогло ей пережить скорбные дни. Федор не вернулся. Его убили в последней схватке с белыми, близко от копей. Чуть-чуть не добрался. Степанида долго промаялась с раздробленной рукой. Она высохла и плетью болталась в рукаве. И первое свиданье вдовы с детьми было обильно слезами и причитаньями. Но жить надо. Поэтому Степанида сурово остановила свекровь, когда она и на другой день причитать начала:

— Будет, мамонька. Слезами мертвых не поднять,

убыли не пополнишь. С одной рукой, а проживу. И левой научусь, что ни то сработаю. Не в драке ее потеряла. Людям помогала, люди и не оставят. Дело для меня найдется. Какую ни то пользу еще принесу.

Дело для нее скоро нашлось. Приехала Марья Потапова. Заговорила живым говорком своим:

— Жива? Нагляделась на детушек? Ну, и слава богу. Давай-ка опять собирайся в дорогу. Детей после перевезем. Мы тебя делегаткой выбрали.

— Это как делегаткой?

— А вот на первом женском собранье, единогласно!

— Как же заглазно? Разве можно?

— У, чего нельзя! Все, как одна, загалдели, тебя да тебя. Достанем, говорят. Она теперь нашинская, пусть здесь постарается. В деревне с одной-то рукой все одно какая ты работница?

Собрались и поехали.

С жаром, с большой охотой Степанида за работу и за ученье принялась. Выбирали ее на многие собранья, и на губернскую конференцию выбрали. Там назначили ее делегаткой в здравотдел.

Старуха со внучатами с ней в город охотилась.

А старик заупрямился:

— Где родился, тут и помру. Я на тебя не серчаю, ты, видать, не с дурью, а с делом. А все одно меня перемастрячивать уже поздно. Не люблю, когда бабы в общественное дело суются. Выращивай детей, на это я тебя благословляю. Ну, охоты нет на ваше это новое глядеть. Здесь доживу.

И старуха осталась с ним вдвоем век доживать. Старик недолго проскрипел. Через три года старуха продиктовала учителю письмо к Степаниде о том, что родитель кончился, как быть с избой и коровой.

Не прошло месяца, как в тёплый зимний день подъехала к похилевшей линюхинской избе подвода. В ней сидела повязанная серым пуховым платком женщина и четверо ребятишек. Старуха к окошкам кинулась.

Да, никак, это Степанида? Ой, батюшки, никак, она!

Женщина уже в избу вошла и сказала, усмехаясь:

Не ждали гостей, мамонька?

Скоро высокая, строгобровая, с гладко зачесанными волосами женщина стала на всех сельских собраньях попадаться. И около ее избы часто сбивались стайками бабы.

— За справкой пришла.

— Муж послал. Дознайся, мол, у Степаниды. Эта во всяком деле разберется.

— Другие-то нашинские коммунисты только страсть задают, а эта ничего.

— Правильная женщина. От этой указка всегда в дело.

Еще через два года на перевыборах была избрана Степанида Линюхина председателем сельского Совета. Старуха, узнав об этом, сказала со вздохом:

— Это уж чего-то совсем бабе не личит. И мужики, боюсь, шибко обижаться на тебя станут. Ловко ли — баба на селе голова?

Степанида усмехнулась:

— Ничего, мамонька. Руку потеряла, головой научилась работать, не боюсь.

— А ты шибко-то не хвались.

Степанида тихо ответила:

— Я и не хвалюсь. Только стараюсь. Ты всю жизнь около своей избы простаралась, а мне пришло дело над всем селом. А доченька моя, может, и над губернией сумеет. Жизнь-то бабья шире пошла.

Каин-Кабак

Повесть

I

В окружении нищих башкирских деревень глухо засел в овраге малый русский хутор. От местности получил то же названье — Каин-Кабак. По-русски значит Березовый овраг.

Никто из старожилов не помнит времени, когда росли здесь ласковые березы. На крутых боках оврага лишь густой, жесткий и в расцвет невеселый кустарник. Убогий шум дремучей человечьей жизни мало нарушал нежить здешних унылых ущелий и каменистых горных взъемов. Волки даже летом, в сытости, его несильно опасались, зачастую рыскали по взгорью близ жилья. Сырт, гряда гор, внезапно пресекших степную равнину, отделил Каин-Кабак от большой дороги. Но маленький уединенный хутор через все преграды издавна был прославлен большой нехорошей славой. Прежде и в своем уезде, и в соседних широко разносились рассказы о каин-кабакских конокрадах, о разбойных нападениях на дорожных людей, о возведенных на крови хозяйственных дворах, о домах с тайниками, заговоренными крепким заговором. Теперь, после германской войны и четырехлетнего мужицкого боя на своей земле, стариковская побаска о давнишних разбоях-грабежах оказалась слишком бесхитростной, давней-давней, может быть тысячелетней нежуткой былью. Нынешнее племя, закоптевшее в своей жаркой жизни, вовсе перестало внимать дремотным этим рассказам. Но Каин-Кабак не затерялся в глухоте окрестных хуторов и селений — он стал становищем красных партизан. В зиму тысяча девятьсот девятнадцатую наладили они самодельные окопы из снега и льда и крепким отпором отбились от казенного белого войска. А в тысяча девятьсот двадцать втором в Каин-Кабаке устроил себе логово для запойных дней

шумливый человек Григорий Алибаев, партизанский командир, ныне председатель волостного Усерганского Совета.

Но местные органы ГПУ получили достоверное известие, что Алибаев — враг Советской власти, участник большого против нее заговора. От этих тщательно проверенных сведений у заведующего секретно-оперативным отделом Степаненкова на смуглом апатичном волосатом лице ожили и потемнели в тревоге белесые глаза. Взять Алибаева — задача нелегкая. О нем ходят цветистые легенды по всему уезду. В каждой деревне найдутся его почитатели, задаренные им бедняки, башкиры и русские. Если арестовать шумно, с большим конвоем, могут возникнуть вредные осложнения.

Степаненков выехал на дело сам. От города до последнего подъема в гору перед Каин-Кабаком были устроены секретные подставы: оставлены вооруженные люди и подводы. Только троих надежных товарищей Степаненков взял с собой на хутор. Уговорились, что на хутор подмога явится только на следующий день утром, если ночью не дождется их обратно.

Хорошо объезженные кони замедлили шаг. Осторожно спускали с крутой горы. Вся до конца видна кривая загогулина единственной улицы. Недружно, зато широко разметались по ее сторонам два ряда дворов. Падал некрупный ласковый снежок. На крышах изб и надворных построек налегло его свежее пуховое руно, но было оно без блеска. Солнце притаилось. От набухшего облаками неба в этот час, еще ранний, сумеречным сделался день. Под белыми пухлыми крышами серые деревянные дома и облупившиеся землянки казались темными, глухими. У самого въезда на улицу торчал длинный шест. Чуть покачивался на нем в затишье лощины заиндевевший в складках красный флаг. На другом конце хутора снежный скат горы чернел живыми малыми точками. Шумно катались на салазках дети. Улица же была тиха и пустынна. В ближайшем дворе недужно залаял дряхлый пес. Щурясь от яркого снега, Степаненков подвернул было к нему, но издали донесся окрик:

— Сюда езжай! Куда воротишь?

Степаненков голос узнал. Сонное лицо его не оживилось, но, как всегда, у него в волненье на правой

скуле зардело красное пятно, зачесалась волосатая щека. Он буркнул:

— Встречает. Черти ему служат, уже донесли!

Низкорослый человек в желтом дубленом полушубке и белой заячьей шапке-ушанке махал руками, указывал на большую саманную избу близ себя. Когда подъехали, он подошел к передним саням, к Степаненкову, широко расставляя в шагу кривые ноги. Раскосые сизо-черные глаза его с желтыми белками светились усмешливым огоньком. У Степаненкова остро екнуло сердце. Черт узнает по этой образине, как смеется? Приветствует весело или издевается? Все же улыбнулся в ответ, открыв белые широкие зубы, остро сверкнувшие на темном лице.

— Не ждал гостей? Назад не завернешь?

Алибаев протянул для рукопожатия небольшую, сильно загрубелую желтую руку.

— Добрый для хозяина гость не бывает не в час. Айдате заезжайте, может, и сумею приветить. Давненько с тобой, товарищ Степаненков, повидаться случая не выпадало, я об тебе даже заскучал, право! Въезжайте, въезжайте.

Хитрогубый, плосконосый, с кожей дымчато-желтой, всем обличьем нерусский, Алибаев выговаривал слова тягуче, просторно, теплым голосом. Всегда охотливо, любовно приснащал их одно к другому. Степаненков знал Григория давно. Суховатый в словах сам, любил его привольную речь. Но сейчас, заслышав Алибаева, насупился.

«Разговором одним задурит, шельма!»

И нежелательно для себя угрюмо отозвался:

— Заедем, не торопи.

Ни во дворе, ни позднее за чаепитьем в дальней горнице Алибаев ни словом не выразил удивленья или любопытства. Степаненков сам пробовал объяснить свой наезд.

— Запарились в городе. Катнули на передышку к тебе. Ну, как раз тут близко от тебя маленько щупали кой-кого.

Алибаев спокойно спросил:

— Щупали? В нашей округе народ нехорош — худой жизни народ. Не земледелец, а гуляка. Эй, дружки, я вам больше не стану чай наливать. Хлобыснули по чапурушке на закладку, хватит!

Подмигнул, пригнулся приветливо к Степаненкову:

— Сейчас холодного кипяточку подадут. Послаще, покрутей этого парева.

От его дыханья ударил в лицо скверный запах винного перегара. Степаненков укоризненно качнул головой:

— Слышу, несет.

Алибаев скривил рот.

— А тебе надо, чтобы ладаном от меня шибало, что ли? Шалишь, лучше спиртом. Много народу в могилу поспибал, все без ладана, ладан не уважаю.

Степаненков перебил:

— Своего заводу водка? Не боишься, что выпьем, а по должности тебя тряхнем?

Алибаев сухо, коротко усмехнулся:

— Ну, из-за этого с Гришкой Алибаевым шуметь не станете! Самогонкой не занимаюсь, у меня старая, царской варки. Михайловский завод, чать, я громил, не выпил еще.

Снова добродушным ласковым говорком прибавил:

— Настоящий спирт, лечебный. Я им от своей хвори лечусь. Городской доктор один мне обстоятельно обсказал, что я больной — алкоголик. Без выпивки тебе, дескать, нельзя терпеть. Это он правильно, не могу без водочки. Дошлый господин, я за это ему три пуда крупчатки отвез, хоть не жалую господ. Вы там, в городу, что-то шибко цацкаться с ими зачали. В Москву меня возили, поглядел — опять господа в большом числе меж нашими шныряют. И друг дружку все «гражданинами», не «товарищами» кличут. А один так прямо залепил: «господа». Попался бы в нашей волости, я бы ему, сукину сыну, на спине господина бы прописал! Закаялся бы в трудящей республике барина кликать.

Степаненков хмыкнул в ответ что-то невнятное и встал. Заходил по горнице. Алибаев головы не повернул, но Степаненков учуял:

«Слушает мои шаги, собака»,

Злобно взглянул на остроконечное алибаевское ухо. Вернулся к столу, постоял, огляделся исподтишка вокруг. В чеке известно: добра много Алибаев хапал, а в жилье у него скудно. Грубо сколоченный стол даже домотканой мужицкой скатерткой не покрыт. Облупившиеся стены давно не белены и пусты, ни единой картинки не наклеено. Пол земляной и неприбитый, коря-

вый. Печка-голландка дымом закопчена. Скамейки некрашеные, узкие, для сиденья неудобные. На широкой деревянной кровати вместо всякой постели один черный тулуп мехом вверх раскинут. На подоконниках махорочные окурки попримерзли. А на протемневшей, давно не мытой божнице под самым потолком потрескавшаяся старая икона без стекла. Чуть мерещится черным виденьем худущий лик какого-то узкоглазого, как сам Алибаев, угодника.

Неожиданно распахнулись обе половинки некрашеной двери. Степаненков едва удержал вздрог. Из первой от сеней половины избы, где широко расселась русская печь, вошли двое. Пышнобородый, но лысоголовый высокий старик с выправкой старосолдатской и сухощавая узкобедрая женщина. Степаненков внимательно оглядел ее короткую коричневую шерстяную юбку, щеголеватые, по ноге сшитые, высокие сапоги и старый офицерский пояс, туго стянувший тонкое тело. Сухощавое темнобровое лицо, от коротко стриженных прямых пепельных волос казалось молодым, не женским, а мальчишечьим. Но виски желты, покороблены тонкими, как паучьи лапки, морщинами, углы бледных губ устало онущены, и острый блеск слишком широких черных зрачков в синих глазах нехорош — нездоровый.

Старик поставил на скамейку около Алибаева четвертную бутыль и ведро воды с ковшом. Женщина опустила на стол большой трактирный поднос со снедью: холодную вареную свинину, квашеную капусту с огурцами, жареные пельмени, свиное сало и запеченные крутo яйца с полопавшейся желтой скорлупой. Все в деревянных крашеных киргизских чашках. Алибаев взглянул на женщину и усмехнулся.

— Вернулась, краля? Смиловалась? А я-то сдуру верхового в Александровку погнал, благодарственный молебен попу заказал. Навяжется вот эдакая холера, дак ни крестом, ни пестом не отобьешься!

Женщина сердито тряхнула головой, покраснела.

Алибаев ласково хлопнул по плечу молодого чекиста.

— Ты как, братишка, тоже охоч до баб? Глаз-то у тебя бесоватый. Вот слушайся моего совету, толстых облюбовывай. Не столь горячи, зато и не так пакостливы.

У кареглазого хмельно стукало сердце, ярко светил-

ся взгляд. Как молодое сильное животное, он весь трепетал от запаха врага, рвался к схватке с ним. Что канитель с желтоглазым тянуть? Еще с веселым разговором лезет по-свойски, а ты сиди рядышком да поддакивай. Он сердито отодвинулся, резко ответил:

— Советы давай тому, кто их у тебя спрашивает.

Алибаев тихонько засмеялся нутряным, затаенным смешком. Совсем сплющил узкие глаза. Степаненков перестал кружить по горнице, подсел к столу. Высоколобый, лысый со лба, немолодой чекист с аккуратно подстриженной бородкой подвинулся на скамье, давая ему место. Глуховатым приятным баском сказал Алибаеву:

— Во вкусах, видно, вы с Шуркой не сходитесь, он рассердился.

Чалыми глазами, бестрепетными, как у выхолощенного коня, глянул на Шурку. Четвертый гость, латыш, низколобый, с тяжелым подбородком, мало вступался в беседу. Он выпускал слова с натугой, будто аккуратно выкладывал увесистую кладь. Выговаривал их отчетливо, но неправильно. Казался очень голодным или жадным. Настойчиво наблюдал, как Алибаев наливал чай, смотрел ему в рот, будто завидовал каждому глотку, внимательно рассматривал чашки, медленно передавая их другим.

Алибаев ничего не ответил высоколобому.

Вдруг налегло недружелюбное молчание. Оно длилось одно мгновенье, но все, кроме латыша, облегченно задвигались, зашевелились, разминаясь, когда женщина его нарушила. На нелепом мешаном наречье она сказала:

— Бис ее знает, куда по́суду заховалы. Ты, Григорий, мабуть, усю поразбывал, тильки твою чарку знайшла. В чому водку питемо? В чашка́х?

Несловоохотливый латыш неожиданно торопливо с неуклюжим задором отозвался:

— Одним чарком водку можно. Это не чай, скоро сглотается.

Все засмеялись, даже Шурка нехотя улыбнулся. Алибаев визгливо крикнул:

— Ну, гости дорогие, хлеб-соль на столе, руки свое! Кларка, садись, пес с тобой, займайся с гостями. Со свиданьицем, дружки!

Из четвертной он полно налил в крупный, протемневшего серебра стаканчик, закинул голову, быстро вы-

плеснул спирт себе в глотку, зачерпнул ковшом из ведра, запил его водой.

Солдат, принесший четверть, с рассыпчатым льстивым смешком одобрил:

— Вот правильно! Глотку цельным прочищает, скус не портит, а разбавляет в брюхе. Ну-ка, господи благослови, хватану и я.

Степаненков, поскребывая пальцами волосатое лицо, заявил решительно:

— Как хочешь, Алибаев, нам по-твоему не по силам. Сердись не сердись, а я для себя разбавлю.

Алибаев на удивленье равнодушно ответил:

— Пес с вами, пейте по своей кишке.

Сглотнул еще стаканчик спирта, опять запил водой и не закусил. Узкие желтые глаза заблестели, как янтарь. Латыш недовольно дернул челюстью, встретив его взгляд. Григорий выговорил с насмешливой ласковостью:

— А ты, приятель, подцепляй закуску, меня не поджидай, отравы никакой не подмешано. Этого дела я не уважаю.

Степаненков быстро перебил:

— Мало выпил, а уже чепуху мелешь. Подвинь-ка нам капусту, дамочка. Не знаю, как вас по имени, по отчеству.

Алибаев засмеялся.

— Прежде, по-хохлацки, Гапкой, по мужу Ковальчук звалась, теперь товарищ Клара Артуровна, а фамилию без кашлю и не скажешь.

Он подмигнул.

— Ты на ее не зарься. Бабешка вредная и в уме попорченная.

У стриженой под пепельным клоком волос еще шире и жарче, как в лихорадке, разгорелись зрачки. Светлого ободка почти не видно стало. С суматошным придыханьем она быстро заговорила, пристукивая ладонью по столу:

— И у ранци, и у вечери нема у его до мене доброго слова, одно — грызе мою голову. А найдужче — перед добрыми человеками. Как партейные товарищи и беседу со мной, он сичас ну выставлять меня у во всяком грязном лице. Що ты, человиче, робишь? А? Чи найпуще хто мене лает? Чи добрый чоловик? Гришка Алибаев, вот и хто!

Алибаев замотал головой.

— С утра нынче, стерва, визгает, уши заболели.

Старый солдат, склонившись к высоколобому, тихонько пояснил:

— Кликушей раньше была. Как в Александровке с мужем до перевороту жили, кажную обедню за херувимской по-собачьи скулила и корчилась. Два раза духовенство бесов из нее выгоняло.

Клара услышала, сильно побледнела, сжалась, как кошка перед прыжком, но вдруг совсем неожиданно засмеялась и успокоилась.

Повернула к Шурке лицо, очень похорошевшее, точно изнутри осветившееся чудесным, высоким волненьем. Пожаловалась кротко, певуче:

— Оце ж, чуешь, хлопец, як псы, як волки надо мною зубами стукотять. Ты же добрый, ще молоденький, послухай. Я все покидала, с ими и в сражениях з белыми була, як нужниш, и в беде, и коло смерти, и на митингах волостных за оратора — усего бувало. Эх! Усе то мынулося! В одной воинской части за политрука служила. В подполье у колчаковским документ на Клару мне выдали. Не злякалась в подполье, работала, из-под самого из-под расстрелу утикла. Вот с этим-то документом на офицерскую вдову Клару Артуровну Стжибровскую. Так як же мини Гапкой Ковальчук, как *при старому режиму*, зваться? а?

Она всплеснула руками, молящим взором ловила Шуркин взгляд.

Шурка сильно покраснел, потом побледнел, растерянно оглянулся вокруг. Степаненков поставил перед женщиной стаканчик с водкой. Угрюмо и брезгливо сказал:

— Пей и замолчи.

Алибаев со смехом поддакнул:

— Правильно, помолчала бы. Все брешет! Выкрала у какого-то офицера женины бумаги. С нашими таскалась и на войну. Это правда. Эй, Шурка! Ох, чисто ножиком глазами пырнул. Не злобись, паренек, мы с тобой еще, дай срок, по-душевному разговоримся. Знаю я, с чего ты волчонком на меня. Правильно! Мой сынишка Сергунька так же на отца глядит. Кларка, брысь! Не приставай к парню.

— Ах, злодияка, злодияка ты Григорий, свит мий завьязав. Лихо — та и годи. Ну, почекай, почекай!

Опять всплеснула руками и, положив голову на стол, жалобно запричитала:

— Чи зна хто таку биду, як моя? Чи е ж такый ще бесщастный на свити! Диточек своих покидала, порастеряла. Не всмихнется мене дочечка, Горынко зозуленька, не вздывыться приятненько Левко, хлопчик мий...

Старый солдат хрипло засмеялся:

— Детей вспомнила, упилась, значит. С утра с Григорьем наливаются. Клара! Клар... Ну-к, пропустите, я ее в ту избу унесу, отойдет, а то блевать еще зачнет.

Он легко поднял худенькую женщину и понес к двери. Клара с визгом забилась у него в руках. Ее сапоги били старика по коленям. Он громко выругался, но из рук ноши не выпустил. Шурка проводил их быстрым блеснувшим взглядом.

Вернулся старик скоро и подсел к латышу. Сообщил ему охотливо:

— Кларку в баню унес, верещит нестерпимо, по детям убивается. Худущая, а плодовита, сука. Четверых с мужем еще прижила, да безотцовских двое. Всех по чужим дворам раскидала. Как напьется, скорбит.

Латыш нетерпеливо махнул рукой. Он не сводил глаз с Алибаева. Степаненков ястребом кружил по горнице, а тот сидел на стуле, широко раздвинув ноги, твердо упираясь подошвами в пол, с корпусом, наклоненным вперед, будто готовясь к прыжку. И хоть говорил не умолкая, спокойно растягивая слова,— зорко следил за Степаненковым, уже не таясь.

Шурка отвернулся к окну. Плечи у него скучливо сникли. Старику хотелось беседовать. Он выпил спирту, закусил пельменем, не обращая внимания на Алибаева, заговорил одновременно с ним. Алибаев рассказывал:

— Да, в Москву свозили. Чешутся у начальства на меня руки, да колюч еж, голыми руками не возьмешь. А рукавичек на меня с моими партизанами еще нету, и к чему прицепляться... к пустякам. «Донесли, говорит, про твои жестокости. Мирные жители тобой ребят пугают». А пусть, говорю, пугают. Все одно этими руками детей тютюшкать неловко, и своих-то не касаюсь. «А зачем мертвецов расстреливаешь? Это нехорошо»,— говорят. Живому-то оно больше, чать, нехорошо, а вы мертвяков жалеете. Да я мертвых и не расстреливал, орешут, я пули жалел. Заводов-то у меня, чать, нет, на

стрельбу в живых пуль не хватает. А трупами мы окопы загораживали, чтоб вражьи пули не на нас, а на мертвецов расходовались. Родне разрешили эту мертвую стражу хоронить. Там нашлись какие-то мастаки-доктора, распознавали, насколько глубоко в живое тело пуля входит, насколько — в мертвяка. Не хватает, дескать, мерки. Ну, жаловались на меня.

А старик-солдат с другой стороны — высоколобому:

— Алибаев в нашей округе торговать не дает, а в городах уже опять свободная торговля. Конечно, зря он это. Слышь, Григорий, я говорю — зря торговать не даешь. Я сам, как на военной службе отслужил, торговым делом шибко завлекся. Оренбургские пуховые платки, самое, в нашей станице вяжут. Я не казак, ну станичный житель. Забрал, значит, партию платков, в Златоуст повез, на казачьи шашки наменял, а шашки домой продавать привез. Маленько дело в убыток вышло, проторговался дотла. Ну, все одно, сам не нажился, а повидал, как другие наживаются.

Им внимал и даже ухитрялся их слышать сразу обоих один высоколобый. Степаненков прислушивался к нараставшему за намерзшими слепыми окошками избы шуму. Скрип полозьев, неясный гомон. Кажется, подъезжает народ. Что такое? Шурка у окна тоже сел прямей. Повернул голову к окну и латыш.

Алибаев вдруг крикнул:

— Эй, служивый, айда, лучше споем любимую!

Затянул неверным, диким голосом:

Сто-ит гора-а высокая...

Старик, молодцевато подбоченившийся среди избы, не успел подтянуть. Алибаев оборвал пенье, засмеялся, вскочил легко и упруго, как резиновый. Совершенно трезво, отчетливо сказал старику:

— Подводчики приехали.

Выскочил из избы как был, без шапки, в засаленной солдатской гимнастерке без пояса. Старик кинулся в другую половину избы. Чекисты подались друг к другу — посовещаться. Но служивый снова появился в дверях в наброшенной на плечи дохе дорогого черно-бурого меха, очевидно господской, и, сдвинув лихо набок свалявшуюся баранью папаху, позвал настоятельно:

— Пожалуйте-ка, товарищи, и вы с нами. Айдате, айдате, Григорий зовет.

Гости переглянулись. Латыш вышел первым, вытянув шею и наклонив голову, как собака, нюхающая след. Степаненков на ходу сказал Шурке чуть внятно:

— Ты продышись на дворе хорошенько, дураком вперед не вылезай. Я сейчас с Краузе посоветуюсь.

Старик покосился на них живым несердитым взглядом и зашагал в ногу с высоколобым. Охотно, без всяких расспросов, сообщил:

— Подводы с провиантом прибыли. У вас в городу и по другим по волостям запрет на реквизиции, а у нас разрешено. Раньше поп филипповками шерсть и пшеницу собирал, а теперь Алибаев заместо него к рождеству богатеев стригет. Это дело нехудое, это я согласен, вся бедняцкая населенья в волости разговеется и одежонку кое-какую получит к празднику.

Высоколобый, слегка отстранив старика плечом, поспешно кинулся в дверь.

Только здесь, на воле, приезжие поняли, какой спертый дух давил на них в алибаевской избе. От первых глотков свежего воздуха кровь застучала в виски. Грудь задышала, как из тисков высвободилась.

Двор и видная в распахнутые ворота улица, тихие, когда приехали чекисты, теперь кишели народом.

С десяток соннолицых башкир в заношенных теплых малахаях, в пятнисто-грязных кафтанах, стеганых или на меху, сидели на корточках под навесом. Трое, часто сплевывая, курили слаженные собачьей ножкой вертушки с махоркой. Один со сморщенным, будто испеченным лицом по-кошачьи сладко жмурился, забивая нюхательным табаком приплюснутые ноздри. Остальные долго, не мигая, блескучими желто-черными глазами следили за табачным дымом. Перекликались время от времени короткими гортанными, как клекот хищных птиц, словами. Лобастому чекисту все башкирские лица, скудноволосые, малоподвижные, обтянутые тугой кожей, показались одинаковыми по виду и по возрасту. Он подумал, как всегда не просто, будто вспоминая текст прочитанных книг:

«Ни одного молодого. Все древние зверо-люди, замедлившие на стезе вымиранья. Если попадемся, узнаем: «Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет в тяжелых нежных наших лапах».

И в тусклых стылых его глазах затеплился огонек, отблеск чужого вдохновенья, слабосильный и минутный. Латыш искоса глянул, быстро и точно определил количество башкир. Степаненков мысленно нехорошо выругался. Шурка засмеялся, с любопытством оглядывая двор.

На приступках амбара сидело человек пять чубастых немолодых казаков. Они рассматривали старинное с широким дулом одноствольное ружье. Плечистый казак с выпирающим широким подбородком встал, примерил на плече его тяжесть и глухо, нутром засмеялся. Но лицо его не задвигалось, не полегчало от смеха.

Старый служивый выстроился было начальственно, картинно в дверях, но, завидев казаков, ссутулился, поспешно зашагал к ним с заискивающим подхохатыванием.

Трое крестьянских дровней с поклажей, увязанной кошмами, стояли у ворот. Маленькие взъерошенные степные лошади замерли понуро, как в дреме. Но верховые, под казачьими и киргизскими седлами, беспокойно переминались под сараем, тянулись мордами друг к другу и косили глазом за загородку, где тревожился с густым ржаньем рослый жеребец.

Тяжело топтались по двору и галдели мужики в тулупах, туго подпоясанных, в пимах — будто в дальний собравшиеся путь. Похоже на съезд у волости или деревенское торжище в базарный день. В широко распахнутых воротах, как в раме, стоял малорослый Алибаев. Он размахивал руками и неистово орал кому-то вслед:

— Проходи, проходи мимо, не задерживайся! Да язык в другой раз придержи, а то я сам за тебя примусь, отучу к партизанам с указкой лезть. Полгода раскорякой проходишь, коль сам проучу! Такой декрет пропишу, что не встанешь!

Степаненков подошел поближе к воротам. Испуганная гуденьем алибаевского двора, пронеслась мимо запряженная в дровни молодая лошаденка. Она смешно нырнула в глубоком ухабе и вынесла дровни боком на пригорок. Молодой парень-седок, франтовато одетый в пальто на городской фасон, в длинном пуховом шарфе, замотанном три раза на шее, вывалился из дровней, зацепился концом шарфа за дровни, поднялся и опять кувырнулся в снег из-за шарфа. По улице раскатился

смех ребятишек, и они дружной черной стайкой пронеслись вслед за дровнями. Мелькали цветистые юбки баб, выбежавших из дворов. Мужики в овчинных тулупах и в полушубках, наброшенных на плечи, усмешливо щурясь, приподнимая шапки, с неторопливой разминкой, в одиночку и кучками, подходили к башкирам, казакам и наезжим крестьянам. Точно мелкая рябь пробежала по глубоким сугробам улицы. Сквозь падающий снег окружные горы казались зубчатой грудой плотно сгустившегося тумана. День уходил. Вечерняя зимняя серость налегала *тяжело и тоскливо на сугробы, гася их белизну*, обволакивала избы и дворы, сгущалась в закоулках и под крышами в зыбкую темноту. И люди, их движенье и гомон показались Степаненкову недействительными, неясными, точно приснились во сне. Пил он мало, но от духоты и волненья голова слегка кружилась и телу не хотелось двигаться. Мысль: «Надо торопиться»,— в мозгу проползла медленно. Встряхнулся только, когда с ним заговорил низенький красноносый старик. Он легонько стукнул батожком об ворота, остановился около Степаненкова, оглядел его внимательно, зевнул, перекрестил рот и, счищая сильно трясущимися корявыми пальцами снег с бороды, спросил:

— А вы, городские, с чем наехали?

Степаненков повел плечами и ответил, не глядя на него:

— В гости к приятелю.

— Ыгым... Издаля гости только на свадьбу иль на похороны ездиют. У Алибаева ровно ни того, ни другого во дворе не деется. Ну что ж, с гостями, и мы за гостей сойдем! Тоже стаканчик, глядишь, поднесут.

Он усмехнулся и вопросительно посмотрел на подошедшего служивого в дохе. Тот отрицательно помотал головой, потом лукаво прищурился, показал Степаненкову глазами на низенького старика и щелкнул пальцами себе по кадыку:

— Любит.

Низенький спокойно кивнул головой в подтверждение:

— Около Гришки только и дышу, часто пользует, спасибо ему. У нас в Каин-Кабаке мало кто есть нестерпательный на выпивку. Только во хмелю да в драке и радуются. Теперь драка-то, слышь, позатихла, а у

нас не хочут. Вовсе отбились от тихости, не знай, куда теперь привернемся. Хозяйство поразмотали, так вроде дворни при Гришке. Он шаперится, и мы с им. Беспокойно, а ничего. Куды же мы от его? Никуды мы, Григорий, от тебя.

Алибаев оглянулся. Короткая, очень черная жесткая щетина его волос помягчала от пота, закурчавилась. Он был сильно взбешен чем-то. Злобно крикнул на старика:

— Ты чего здесь толкешься?! Тебя кто сюда звал? Восьмой десяток землю гадишь. Хорошие-то люди почету себе требуют в этакие-то седые го ы, а ты все холуем под руку лезешь. Тьфу!

Старик понурился, легонько вздохнул и быстро отошел к сторонке за ворота. Алибаев сумрачно глянул на чекистов и круто повернул от них к дровням с поклажей. Спросил широкоплечего суровоглазого мужика в старом, выношенном тулупе:

— Чего привезли?

Тот, лаская возы загоревшимся жадным взглядом, ответил:

— Овчины, шерсть, пшено, пимы и баранье сало. И гуси есть, и свинины туша. Нынче, что ль, распределишь? Чего откладывать!

Широкоплечий мужик был богат. Спасая добро, один из первых прозорливо примкнул к алибаевскому войску. В годы обнищанья односельчан приумножил и скот во дворе, и запасы в закромах. Но от избытка сам в теле не потучнел, а схудал, прожелтел в лице, помрачнел. Приумножая, все больше распалялся алчной тоской. Алибаев, поняв снедающую его заботу, сухо ответил:

— А ты загребы-то свои шибко не расставляй, малость какую-нибудь уделю. Не для этаких, как ты, для бедноты реквизовали.

Служивый в дохе льстиво под руку Алибаеву сунулся:

— Правильно! Для бедноты права в бою отбили. Для кого же мы и старались!

— Ну... ты еще, старатель!

Алибаев больно ткнул его кулаком под ребро. Служивый подавился словом, отскочил, но, передохнув, снова молодцевато выправился. Григорий, глядя на него сумрачным взглядом, сплюнул и очень искренно сказал, порывисто повернувшись к Степаненкову:

— В бою-то люди бились рядом со мной, а теперь погляжу поблизости — погань одна, на поживу тянется. Что ты скажешь? Чисто вши меня обсыпали. Тварь малосильная, а шибко вредная.

Казаки прислушивались. Один крикнул:

— А ты, Алибаев, от этих от вшей, что ли, и сам заплошал? Дружок-то твой, Пантюшка-грамотей, что сейчас высказывал? То нельзя, да это запрещается. Кому запрет? Нам? О-го! Какой ретива-ай! А ты послухал, отбрехался, как собака хилая, у своих ворот ему вслед. Это чего же? Не хочешь, да засумлеваешься. Ветерь-то теперь, видать, не по нам дует.

— А ты с твоими станичниками против ветру не умеешь?

Алибаев в ответ выругался длинной фразой, замысловато прибирая одно к другому непристойные слова. Мужики восхищенно переглянулись. Казаки густо захохотали. Алибаеву мастерская брань тоже будто сердце облегчила. Он повеселевшим голосом обратился к Степаненкову:

— Вот так-то, друг! Это вы там в городу худо поворачиваете.

— А по-моему, у тебя нехорошо.

— Да уж там хорошо ли, нет ли, а правильно. Кому в восемнадцатом годе кишки выпускали, того теперь застаивать? Эге, шалишь!

Степаненков покачал головой.

— Ой, зарвешься, парень. Надо бы маленько с властью считаться.

— Мне Москва не указ. Власть на местах, за что бились? Пускай там господам потакают, мы буржуям не потатчики. Заново брюхо отрастить не дадим, шалишь!

И, уже совсем повеселев, подошел к чекистам. Шурка быстро отвел в сторону загоревшиеся глаза, круто отвернулся. Степаненков, тоже глядя мимо него, сказал:

— Ты, чем бахвалиться, шел бы оделся. Застудишься.

— Эге! Ни начальством, ни застудой не запугивай, товарищ! Пуганы, пуганы, до того уж перепуганы, что и пугаться разучились. У вас там во все щели баре повыперли, а мы на господ не согласны. У нас как постановили, так и не сменяем: мужичий верх, а не господский. Вот поспрошай мое воинство. Недавно господин учитель один запрекословил...

Степаненков сердито махнул рукой:

— Ну тебя! Муторно от бахвальства твоего. Ты мне лучше объясни, что это у тебя — съезд, что ль, какой во дворе?

Алибаев, уставясь ему в лицо желтыми глазами, охотно объяснил:

— Это вроде как моя личная охрана. Всякой твари по паре. Как в Москву на вызов выезжал, они на станцию понаперли, чуть поезд не задавили. Я сам их назад отослал — своей, мол, охотой еду. А все-таки нет-нет да нежданно соберу, чтобы всегда наготове держались.

— А сегодня зачем собрал?

— Говорю — проверка, непонятливый ты какой. Ночью надумал, нынче на заре слух с нарочным подал, и вот, гляди, чуть за полдень — они уже все тут из разных местов. Коль надобности не объявится, пошумят на дворе да разъедутся. И с реквизиционными подводами в час угодили. Вот дележку мою поглядишь, справедлива ли. Ай не хочешь?

Глаза их встретились. Степаненков глуховато сказал:

— Большой охоты не имею. Ссориться с тобой придется.

Высоколобый издали осторожно вставил:

— Да, пожалуй, нам и собираться пора. Как бы ночь не застигла в пути. В Александровке ночевать собирались.

— Здесь заночуете.

В голосе его не прозвучало никакой угрозы. Неподвижный взгляд косых глаз тоже остался спокоен, но чекисты поняли, что Алибаев их без боя не выпустит. Вся надежда только на подмогу. Высоколобый соображал:

«Жизни моей, пожалуй, пока ничто не угрожает. Может быть, еще торговаться с нами будет. Надо выжидать».

Выжиданье оказалось нестерпимым не только для Шурки, но и для Степаненкова. Шурка весь побелел, у него тряслись губы, он сделался сразу сам на себя не похож. Его возмущала унизительность их бессилия. В такой переделке он еще не бывал. Если бы можно было им отбиваться с оружием, а то нате — сами приехали и сдались в «плен». Чего же старшие-то думали?

Надо было сразу с отрядом весь хутор окружить, запалить, занять, смирить. И он ненавидел теперь не только Алибаева, но и Степаненкова, и латыша, и высоколобого. Степаненкова мутила злоба от другого. Здешние люди, вся окружающая Алибаева непростая обстановка претили его здоровенной, цельной, как плоть, душе. Он не мог поручиться, что, если еще Алибаев обратится к нему с каким-либо словом, он не ударит его, отметая всякую осторожность, с чувством огромного душевного облегченья. Латыш ощущал схожее со Степаненковым бешеное отвращенье к врагу, но знал, что гнев свой обуздать может. Он обдумывал возможность нападенья на Алибаева. Высоколобый один мог продолжать разговор с Григорием. И он начал было его расспрашивать о партизанских боях, но Алибаев отвернулся. Он услышал за сараем, на задах, пронзительные женские выкрики.

Алибаев засмеялся, крикнул служивому:

— Лизарыч, принеси мне одежду. Кларку шугнуть надо. С Пантюшкой, видно, спорить сцепилась. Не в свое дело лезет! Я ее сейчас! Шку-ура!

Лизарыч быстрым скоком, хлопая полами дохи, сбегал за полушубком и шапкой. И одновременно через задние ворота под сараем вбежала Клара. Она теперь была в папахе, в солдатской шинели и с револьвером на боку. Возбужденно сообщила:

— Оце ж, сучий сын, як лается! Пальнуть бы, як в Кирбасове того смутьянщика!

— Я тебе, стерва, пальну! Иди в избу, ну?!

Алибаев сильно толкнул женщину в двери сеней. Она стукнулась головой о притолоку, визгнула, кинулась к Алибаеву с криком, с вытянутыми вперед руками. Он ударом сбил папаху с ее головы, сильно рванул за волосы, пинком втолкнул обратно в сени, притворил дверь и накинул ее на щеколду. Клара стукнула раза три в дверь, потом жалобно заплакала и затихла в сенях. Алибаев подошел к Степаненкову, что-то хотел сказать. Тот, хмуро глядя в сторону, не слушая, перебил:

— Где же наши кони? Я чего-то их не вижу. Мы почевать не останемся.

Алибаев пристально посмотрел ему в лицо, прищурил глаза и, явно издеваясь, проговорил:

— Ой? Не желаете больше гостевать? Не понравилось? А мне вы глянетесь, не отпущу. Погостуете с недельку, а может, и поболе. Сколь хозяин захочет.

По лицу у Степаненкова прошла, как мимолетный взблеск, судорога бешеной ярости. Он сильно сжал челюсти, сдержался, продохнул и с усильем, но спокойно и твердо выговорил:

— Не блажи, Алибаев. Хватит. Где наша подвода?

— Ишь ты, строгий какой! От прежнего дружка рыло в сторону. Чтой-то? Не выпущу, поживете в моем монастыре по моему уставу.

Степаненков круто повернулся, хотел отойти. Высоколобый не понял его движенья. Поторопившись предотвратить беду, вызвал ее. Ему показалось, что Степаненков наступает на Алибаева, хочет ударить его. Он сзади крепко обхватил Степаненкова. Шурка наскочил на Алибаева, уронил его на землю, стал бить кулаками и сапогами. Алибаев, ловко извиваясь, вырвался. Шурка выстрелил — промахнулся. В ответ выпалил из ружья казак, тоже не задел ни одного из чекистов. Сзади башкиры налегли на них. Алибаев заорал:

— Не наваливайся, чтоб живы остались! Эй, слышь! Живыми оставить! У меня с ними еще разговор будет.

Стрельба прекратилась, но началась свалка. Чекистов обезоружили, связали, внесли в каменную кладовую, положили на кошомный ворох. Громыхнул на дверях тяжелый замок.

Трудно было определить, сколько времени пролежали. Со двора вначале доносился неразборчивый говор, людская толкотня. Потом вдруг шум возрос, послышалось движенье, похожее на разъезд. И после этого сразу за стенами кладовой сделалось очень тихо. Через промежуток времени, мучительно долгий для запертых в кладовой, замок за дверями кто-то осторожно принялся тревожить.

Освободила их Клара. Она с прерывистым дыханьем сбивчиво жаловалась на жестокую обиду от Алибаева, кляла какую-то Марьюшку, приставала к Шурке с тихим причитаньем:

— О, боже ж мий милесенький, та який ты горячий. Хиба ж можно? Полон двир, а ты стрелять.

Степаненков сердито дернул ее за плечо.

— Некогда. Народ где?

— Да никого нема. Григорий затоскував, усих по домам разогнав. О, який же скаженный! Я б его свома пальцáми задушила, шайтана! Избил меня, а жалкует над сукой, забув все, хочь с пушек палы — не

учует. Слова не промовит, тильки ее разгляда. Та колы бы вона не подлянка була... Тикайте, тикайте швыдче! Ото ему будет мий подарочек на утре. Отчинит кладовку, а положенных нема.

С ночного неба густо падал снег. Ветер налетал порывами, ударялся в стены, в ворота. Клара пояснила:

— Нема ваших коней. Мабуть, казаки угнали. Да запряжите Бурку. Ну! Идыть суда. Да ничого, не лякайтесь. Вин не учуе, с Машкой сопыть.

Высоколобый спросил:

— А где же этот... Лизарыч?

— В горнице с дидкой Козырем сплять. Воны же пьяны, не проснутся.

Шурка жарким шепотом спросил:

— Где Алибаев?

Латыш, не дожидаясь ее ответа, пошел к избе. В окне виднелся свет. Высоколобый решительно приказал:

— Шурка, иди с этой бабой за лошадью. Запрягите пару, если найдешь. Жди во дворе.

Клара нетерпеливо крикнула:

— Да тикайте вы! Чего не бачили в оконце? Намерзло, не видать и ничуть ничого.

Степаненков легонько оттолкнул ее.

— Иди, баба, покажи, где лошадь. Запрягайте скорей. Мы сейчас.

Окрепший ветер ударял в стены избы, взвывал в трубе, но Алибаев шорох в сенях услышал. Приоткрыл дверь и крикнул:

— Кто там?

Ленивый, очень мягкий женский голос в избе позвал его.

— Да не тормошись, беспокойный ты какой! Ветер шумит. Ладно, как раз по ноге.

Алибаев двери плотно не притворил. В небольшую щель латыш острым взглядом разглядел избу. Створчатая дверь в горницу была плотно притворена, и в ручку засунут ухват вместо запорки. У маленького скосившегося деревянного стола с водкой и закуской стояла невысокая, тяжеловатая телом, белолицая, чуть курносая женщина в бумазеевом капоте. Она внимательно разглядывала новые блестящие резиновые галоши на ногах.

Алибаев подошел к ней вплотную, шумно дыша, припал головой к пухлому плечу.

— А песню. Марьюшка, не споешь нынче?

— Ай, да ну тебя. Уж тебе нынче пели-пели.

— Это пьяные-то?

— Да здешний народ и не поет, когда не пьяные.

— А пьяные частушку отстукают, как дятел носом по дереву. Разве это песня — без разливу? Они расейских не могут, а ты протяжно поешь. Я за то и залюбил тебя. Баба ты плохая и хапаная, гулящая, за что бы я тебя больше залюбил?

— Ну-к, пусти, я сяду. Спать мне уж охота, а не петь. Айда лягем.

— Ох ты, лапынька моя...

Дверь распахнулась, чуть с петель не слетела. Латыш сзади схватил Алибаева. Круглолицая женщина взвизгнула негромко. Степаненков быстро повалил ее на скамью и скрутил веревкой. Быстрым говорком просила, вертя головой:

— Не затыкай мне рота, голубчик. Я не закричу, не крикну я, товарищ. А то задохнусь, у меня дых шибко крепкий, задохнусь. Я не буду кричать, миленький! На кой он мне сдался, кыргыз страшнючий! За калоши я, на калоши позарилась.

Алибаев сдался без малейшего сопротивленья. Услышав слова женщины, дернул головой, и лицо его исказилось не то испугом, не то тоской.

Своего оружья не нашли. Дверь в горницу, чтоб шума не поднимать, не открывали. Латыш захватил большую железную кочергу. У Алибаева в кармане оказался револьвер.

Степаненков сказал:

— Ладно, до подставы недалеко, едем скорей.

Крепко скрученного веревочными вожжами Алибаева с глухо заткнутым ртом завернули в большой овчинный тулуп, нахлобучили шапку и вынесли на двор. Григорий завертел шеей, вбирая ноздрями воздух, но не дергался, не извивался в руках несущих. Высоколобый даже сочувственно попенял ему в мыслях:

«Удивительно недальновидный, даже глупый человек. Дал представленье, пошумел, а в нужную минуту остался сир и беспомощен».

Очевидно, думая о том же, латыш сплюнул и сказал:

— Дырявый башка. Старики, если дверь заломают, не помогут, испугнутся. Ну, скорей клади!

Запряженная в широкую кошеву нескладная пара, длинногривый гнедой жеребец в корню и пристяжка — молодая пугливая вороная кобылка, беспокойно топтались, чуя дыханье людской тревоги. Жеребец заржал. Из-под сарая выскочил Шурка. Бесшумно, по-кошачьи опередила его Клара. Она наклонилась над кошевой.

— Это хто? Ох, лыхо? А чому ж ее так!.. Та хиба ж я вам его отдамо?

Крикнула отчаянно, страстно:

— Ратуйте, люди!..

Шурка схватил ее за плечи, закрыл рот рукой, она вырвалась, бешено плюнула ему в лицо и снова яростно завопила:

— Э-эй!.. Помо-жи-ите-е!

Латыш с силой ударил ее кочергой по голове. Папаха слетела вбок, Клара, не согнувшись, повалилась около саней. Густо падающий снег быстро запорошил ее.

Тревожно прислушались. Никакого отклика на Кларин крик. Ветер бился в стены строений с гульливым высвистом и унылым гуденьем. Под напором его глухо постукивали ворота об засов. Покряхтывал плетневый хлевушок около избы. В студеном мраке, пересекаемом белым мельканьем снежинок, жутко чернела их подвода и четыре настороженных фигуры. Степаненков скомандовал:

— Садись.

Латыш схватился за вожжи. Степаненков придержал его за плечо.

— Пимы надо бы, пожалуй, захватить.

Шурка перебил:

— Кати! Некогда. На подставе запасная одежа есть.

— Ну, ладно, поворачивай к задним воротам. Через гумно выедем на дорогу.

В воротах жеребец зауросил. Круто задрал морду, поднялся на дыбы, сильно рванул кошеву вбок. Пристяжная задрожала, замельтешила ногами, метнулась в сторону, чуть не оборвала постромки.

Латыш соскочил с козел, перебросил вожжи Степаненкову, схватил корневика под уздцы, два раза ударил его кулаком под морду и дернул вперед по дорожке к гумнам.

На сырту, на горах крутил лютый буран. Со всех сторон неслись, налетали, свивались, кружили ветры. Сугробы, скрытые тьмой, гудели, шипели, стонали от ветрового разгула. Сверху скупо падала мелкая твердая крупа, но снизу большим белесым облаком без конца и краю вздымалась, вихрилась в студеной страсти колючая поземка. Застилала зыбкой непроницаемой мутью все вокруг. Шурка и латыш с козел видели только чуть чернеющие крупы лошадей и взвиваемую ветром, побелевшую длинную гриву жеребца. Холод жег лицо. На бровях и ресницах настыли льдинки. Лошади бежали уверенно и шибко. Люди на подводе, ныряющей в ночном буране, не сразу учуяли, как продирается под одежду стужа, как устают не видеть глаза. Они не слышали стенаний метели и не пугались их.

Сильно разгоряченные удачей, еще переживали радость ее в короткой отрывистой перекличке друг с другом, в мыслях.

Связанный Алибаев неподвижно лежал в кошеве между Степаненковым и высоколобым. Казалось — спал. Вдруг он яростно дернулся, сильно зашевелился. Высоколобый сообразил:

— Эх, забыли! Рот освободить надо, еще задохнется.

Озабоченно завозился над арестованным. Алибаев шумно продохнул и выругался.

— Ну, смекалистые! Разве пьющий человек может долго носом дышать? От запоя дыхание напорное. Закурить нет ли у кого у вас?

Ему никто не ответил. Степаненков напряженно всмотрелся вперед, оглянулся и тревожно приподнялся в кошеве.

— Краузе, что-то долго нет спуска! А? Што?

Не разобрать, что ответил латыш. Шум вьюги разрывал, глушил слова. Забеспокоился и высоколобый. Сразу ощутил, что ноги у него одеревенели от холода, а большой палец правой ущемила острая боль. Закричал, преодолевая напор ветра:

— Не сбились ли?!

Но в этот миг сбоку в белесой стонущей темноте выросла черная тень. Вешка! От сердца отлегло. И боль в ногах будто не так уж сильна. Латыш тоже весело взмахнул кнутовищем, указывая на вешку. Она, мелькн-

нув, тут же затонула в буране. Алибаев громко зевнул, передернул от холода плечами, лениво спросил:

— Степаненков, а вы куда меня везете?

— Довезем куда надо, не беспокойся.

Дорогу сильно замело снегом. Она становилась все трудней, и лошади пошли уже не быстрым бегом, а трусцой. Почувствовав сильно забиравшую его дрожь, Степаненков выскочил, пошел, держась за грядку кошевы. Следом за ним выбрался из саней высоколобый. Спрыгнул и Шурка с козел. Холодный ветер швырял в лицо обжигающую снежную пыль. От напора студеного воздуха трудно дышалось на ходу. Полы тулупов хлопали по ногам, мешали. Шурка, одетый щеголеватей и легче других, двигался быстрей, но скорей других иззяб, и ходьба его не согревала. Он начал дрожать и пристукнул зубами, как в сильной лихорадке. Чекисты часто срывались с твердого наста дороги, увязали в снегу, с трудом высвобождались. За сапоги набился снег. Затревожился латыш. Повернулся с козел к саням, громко спросил:

— Сколько верста до первой снус под гора? Слышь, Алибаев? А?

Алибаев, стараясь перекричать метель, громко взревел:

— Какой спуск? Мы вдоль по сырту шпарим.

— Этот не в город разве дорога?

— Да я вас ведь спрашивал, черти дубовые, куда везете? Зачем в город по сырту ехать? Сразу, как на гору поднялись, не по той дороге ударились.

— Куда-а?

— «Куда»!.. На кудыкину гору, вот куда! Чего я, лежа, разгляжу в этакой темнотище? Не знаю — куда, только не в город.

— Тпру-у! Стой-ой! Че-орт!

Латыш, резко дернув, натянул вожжи. Пугливая пристяжная, подавшись назад, больно ушибла о скалку задние ноги, взбрыкнула, бешено рванула вбок. Жеребец взмахнул гривой, захрапел, тоже сильно дернул кошеву. Сани накренились, латыш не удержался на козлах, упал, протащился на вожжах и выпустил их из рук.

— Сто-ой! Стой! Тпру! Стой! Дер-жи!

Шумно дыша, сразу согревшись, чекисты, увязая в снегу, падая, поднимаясь, все же не отбились от лошадей, добрались. Кони тоже с огромной натугой преодолевали

вязкие снежные валы наметенных сугробов, бежали недолго, с размаху угрузли в лощине. Жеребец надрывно заржал. Этот близкий живой зов просек взвыванье метели, помог людям в бесноватой мутной тьме собраться вместе у подводы. Шурка выбился из сил. Обхватил руками козлы, припал к ним головой и никак не мог отдышаться. Высоколобый тоже изнемог. Дрожащими руками нащупал край кошевы, грузно ввалился в нее. Незадолго до этой поездки у него обнаружилось нехорошее состояние сердца, и сейчас ему показалось, что он умирает. Непередаваемая физическая тоска во всем теле, стесненность в груди и особая, пронизанная колючими искрами темнота, видимая или, вернее, ощутимая закрытыми глазами. О, так мучителен может быть только чудовищный, явственный уход живого в небытие! Он застонал, скорчился в санях рядом с Алибаевым. Степаненков и латыш топтались, тяжело месили снег около лошадей, громко перекликались смятенными обрывистыми фразами, перебранивались. Алибаев, с силой вздернув голову, яростно заорал:

— Гусем надо было запрячь! Недоумки, дьяволы безголовые!

Латыш в сердцах замахнулся на него кнутом, Степаненков схватил за руку, удержал.

— Постой... Алибаев, назад повернуть далеко?

Шурка звенящим испуганным голосом крикнул:

— Да не ври, проклятый бандит! Все равно, хоть самим пропадать, тебя из рук не выпустим!

— Э-эх, ублюдки безмозглые! Всадили сами себя! Разве в буран можно коней с путя дергать? Теперь чего разберешь — куда далеко, куда близко?

Кругом со стенаньем и визгом качалась белесая бредовая муть, закрывала все пути. Степаненков попробовал искать их собственные следы с дороги сюда. Но они уже истоптали снег около подводы. Подавшись шагов на десять подальше, он сразу перестал видеть кошеву и лошадей, с трудом уловил голоса, закричал:

— Где вы-ы?!

Ветер озлел или изменил направление. Отстав от убегающих коней, они все же слышали ржанье, теперь отклик Алибаева чуть долетел до Степаненкова:

— А-а! Сюда-а!

Закудрявившаяся, запорошенная снегом шерсть взъерошилась на лошадях. Молодая кобыла дрожала мелкой дрожью вся — от гривы до хвоста. Кони вытягивали

шеи, напрягались и не могли высвободиться, стоя по брюхо в снегу. Латыш неистово хлестал их кнутом, ударял кулаком по хребтам и в бока, чтобы они сдвинулись с места.

Степаненков мрачно и неуверенно выговорил:

— Что ж, надо кричать. Может, кто с дороги услышит.

Закричал первый:

— А-а-а!.. Помоги-те!..

Высоколобый завозился в санях, напряг все силы, продохнул, с усильем слабым, неверным голосом простонал:

— Сюд-а! Помо-о-ги-и-те!

Шурка крикнул отчаянно, очень громко, захлебнувшись криком, как захлебываются плачем дети. Латыш вспомнил, вытащил револьвер, выстрелил вверх три раза подряд.

Вглядывались, прислушивались, мучимые надеждой. В беснованье зыбкой мглистой тьмы почудился Шурке отклик, чье-то живое спасительное приближенье. Он взволнованно попросил:

— Подождите!

Но сам не мог ждать, сейчас же снова закричал:

— Сюда-а!.. Э-эй!..

Слышали, ждали. Все то же взвыванье, гуденье, шипящее шуршанье снегов под налетами ветра и неживое жуткое колыханье студеного мрака. Вдруг ясно выделился унылый вой, непохожий на метельный. Он нарастал, креп, доносился все настойчивей и чаще. Высоколобый исступленно взвизгнул:

— Волки! Краузе, стреляй!..

Латыш выстрелил вверх три раза, потом завозился, отыскивая запасные пули. Долго заряжал плохо сгибающимися пальцами револьвер и хрипло, отрывисто бормотал проклятья, уже не по-русски, на своем родном языке. Стояли, топтались, кричали долго. Прислушивались, совещались. То один, то другой порывались идти на поиски дороги, но скоро возвращались обратно к саням. Шли часы. Им показалось, что ночь должна была быть уже на исходе.

Вой затихал, потом снова вздымался совсем близко. И высоколобый не знал, мерещится ли ему, или он действительно видит огненные точки волчьих глаз И справа и слева, здесь и там — всюду в окружающей их жуткой

темноте. Снова подступила к горлу дурнота, затомила страшная телесная тоска. И он отчаянно, неожиданно громко взмолился:

— Господи!.. Господи, помоги!!! Господи-и!..

Алибаев опять сильно завозился около него, закричал:

— Эй вы, дьяволы! Шурка-то, никак, упал? Растирайте его, тормошите. Да развяжите вы меня, собаки!

Степаненков наклонился над Шуркой, разметая по снегу полы тулупа. Позвал латыша:

— Краузе, надо его в кошеву... или в снег... Слышишь, давай снег разгребать. Всем нам надо в снег закопаться. Теплее.

Латыш рванулся к саням, остановился, плюнул и хлопнул себя рукой по лицу. Вспомнил, что захваченную в алибаевской избе кочергу бросил на дворе, пристукнув Клару. Иззябшие пальцы плохо повиновались. Мерзлый снег трудно им поддавался. Они разгребли яму только для Шурки, чуть прикрыли снегом его одного. Высоколобый, уткнувшись головой в угол саней, стонал уже без слов, часто содрогаясь всем телом. Шурка совсем затих около кошевы на снегу. Алибаев невнятно и злобно бранился, перекатываясь в кошеве. С огромными усильями удалось латышу вздуть спичку. Степаненков, широко распахнув тулуп, защищал слабый огонек от ветра и мокроты. Латыш разглядел на часах время. Только девятый час вечера на исходе. Краузе решительно сказал:

— Искать надо дорога.

Попробовал выпрячь пристяжку, она жалобно замотала мордой, осела еще глубже в снег, точно у ней подогнулись ноги.

Алибаев скрипнул зубами:

— Ухайдакали коней! Жеребец застывает, а кобыленка совсем сквелилась. Эх, паршивцы! Из-за вашей дурости животная гибнет! Нет ли дерюжки какой в санях, прикрыть бы.

Латыш махнул устало рукой и пошел вправо от саней.

— Краузе, не ходи от подводы. Пропадешь, болван!

Латыш не отозвался на окрик Алибаева. Отважно шел, увязая в снегу по колена. Скоро его не стало слышно. Алибаев, окликнув его еще два раза, раздумчиво сообщил:

— За ветер зашел, ниши пропало. Нельзя непривычному в буран от подводы отдаляться.

Степаненков уже перестал дрожать от холода. По-

чувствовал, как все его тело словно затекло, налилось большой, трудно преоборимой усталостью, как огрузнели над его глазами веки и ослабели губы. Он испугался. Закричал, с усильем ворочая языком:

— Краузе-е! Наза-ад!

Будто подымаясь на крутую гору, зашагал он около подводы, превозмогая тяжесть своих плеч и ног. Временами принимался опять кричать все слабеющим голосом:

— Эй! Кто живо-ой!.. Помогите-е! Кра-а-у-зе-е!..

И в час тяжелого топтанья, беспомощных криков в неживое, во тьму, в бездушное злодейство стихии он впервые в жизни ясно и строго думал о нелепой неверности человеческого существованья. Не один раз смерть дышала прямо ему в лицо. Как все люди, он перенес тяжелые, опасные болезни. С мужеством, не для всех досягаемым, сражался в бою. В ревностной работе Чека он часто, видя гибель, безбоязненно приближался к ней. И ни разу его не поражала мысль о хрупкости его человечьего, уже никогда не повторимого века. Мысли эти не оформлялись в его мозгу в ясные слова. Он воспринял и понял их в одном животном ощущенье гнуснейшей своей жалкости перед концом. Раньше, ожидая смерть, он знал, что станет отбиваться до последнего вздоха. В болезни будет лечиться, от живого врага — защищаться силой или хитростью. И в этом непременном сознательном отпоре, в достойной защите своего живого дыханья был самый большой смысл его человеческого бытия, уверенность в ценности его созидающего жизнь по своему устремленью мыслящего существа. Не только чувствующего, но и сознающего себя. Теперь он погибал вместе с жеребцом и пугливой молодой кобылой так же безответно и глупо — от случая, от стужи, от снега, погибал, как ничтожная букашка, которую давят, не жалея, не радуясь, просто не замечая. И от этой, не размышленьем, не мыслями, а чутьем учуянной конечной, одинаковой с букашкой своей жалкости он затрепетал, испугался. Кричал в тьму и вьюгу, звал помощь. Устал и снова встрепенулся от страха. Нельзя больше топтаться и ждать! Взбодрившись последним усильем воли, он, как Краузе, решительно пошел искать дорогу. Алибаев во всю силу своего голоса закричал ему вслед.

— Степаненков, пропадешь! Развяжи меня! Я, может, найду дорогу. Я здешний, у меня кыргызский нюх.

Степаненков приостановился. Прокричал в ответ громко, но уже беззлобно:

— Найдешь — так убежишь. Выручишь разве нас на свою погибель?

У него уже не было ненависти к Алибаеву. Смутно он ощущал даже его братскую близость от одинаковой их человечьей беспомощности перед лицом стихии.

— Развязывай! Кабы не захотел вам в руки даваться, так... Эх, дурак! Вон эти двое вовсе скорежились. Не медли. Мне парнишку жалко, а не нас с тобой.

Степаненков подошел, молча принялся развязывать веревки. Закоченевшие руки не могли осилить узла.

— Да, чать, ножик у тебя есть в кармане? После, как я пойду, ты снегом шибче руки растирай.

Степаненков еще раз вяло воспротивился:

— Алибаев, пожалуй, я не пущу тебя. Пропадать — так вместе.

— Ну, зачем ты губами зря шлепаешь? Сам скоро взвоешь: иди поищи. Это тебе не от людей отстреливаться, тут пулей не пособишь. Ну? Тяни мою руку. Вот! Эх вы, стервецы, тело примяли веревками! Стой, расправлюсь.

— Алибаев, пропадешь и ты. Куда тут идти?

— Я с рожденья здешний, степовой, не учи. Я под ветер не пойду. Голос подавать стану, услышишь. Слушай хорошенько. Да не поддавайся! Двигайся, ворошись, не дремли. От подводы далеко гляди не уходи. Эх ты, коняги-то застывают тоже! Большой убыток вы мне наделали, стервецы. Кони хорошие, недешевые. Эхма!..

Он выпрыгнул из саней, широко и сильно размахнул руками, расправляя смятое неудобным лежаньем тело. Потом с сердитым неясным бормотаньем пошарил в санях и около саней нашел кнут, сильно стегнул обеих лошадей по очереди. Жеребец содрогнулся, дернул кошеву, проржал коротко и слабосильно, будто жалуясь. Пристяжная чуть взмотнула мордой и опять понурилась.

Алибаев сочувственно причмокнул, похлопал ее по спине, вздохнул.

— Двоих молоденьких загубили — Шурку и вороную мою кобыленку. Вряд ли отдышатся! А молодое губить — это только и есть один грех, никак не замолимый. Сволочи вы!

Он подобрал полы тулупа и, увязая, но привычно легко высвобождая крепкие кривые ноги, закружил около

саней. Останавливался, вглядывался в крутящуюся мокрую темь, потом пошел в одном направленье, наискось от подводы. Скоро стал невидим, затонул во мгле, но часто доносились его короткие неразборчивые окрики. Казалось, он переругивался с бураном. Степаненков оживился новой надеждой, бодрей шагал около саней, останавливался, напряженно вслушивался, ловя алибаевский голос. Заворочался со стоном и приподнялся в санях отдышавшийся высоколобый, горестно позвал:

— Степаненков!

— Ну?

— По голосу слышно — он все удаляется. Не вернется он. Да это все равно... На что он нам *теперь?*

— А ну тебя к дьяволу! Молчи.

Вдруг далекий голос Алибаева прокричал сильней и ясней:

— ...о-ро-ога!.. а-а-а!..

Степаненков всем телом рванулся на крик. Собрав все силы, крикнул:

— А-а-а! Где же ты?

— Иду-у... ва-ам!..

— ...либаев!.. суда-а!

— Иду-у!..

Голос Алибаева то звучал совсем близко, то ослабевал, отшибаемый вьюгой. Около саней он вынырнул совсем неожиданно.

— Кружил, кружил, пропер было далеко, а дорога-то оказалась чуть не под задом у нас. Вот теперь не знай, как коней выволокем. Эти двое-то тяжесть, а не помощники. Об Шурке я уж не говорю, а вот... Эй, господин, идти сможешь?

— Не знаю.

Высоколобый попробовал вылезти из кошевы, но вскрикнул, бессильно упал назад.

— Ноги... ноги больно! И руками держаться никак не могу...

— Э-эх ты, пес тебя задери! Тебя, чать, и выкинуть не грех. Ну, ладно, лежи покуда. Что ж, Степаненков, айда постараемся. Руками владаешь?

— Плохо, но все-таки могу.

— Ладно, плечом тогда подсобишь. Перепрячь надо. А вы, недопеки, над здешним народом начальствуете, а ничего не приметили, как в чем он вывертывается. Ужли и ты, Степаненков, не слыхал, что в снеж-

ную дорогу гусем пару запрягают, а? И подобрали как: жеребца с кобылой. Да она же еще молоденька, непривычна. Ну-ка, ну-ка, милая, но-о!.. Ожила? Эх, как трусится! Чего, чего? Стой, стой, глупая! Ну, ну, вышагивай! Стой, куда! Эх, дура, вырвалась! Из последней силенки прыгает по сугробам. Ну, чего ж! Догонять — измаешься! Да у нее все одно это последнее брыканье. Лягет в пути. Пропала, голубушка! Чего пнем стоишь? Айда помогай жеребца из снега вытаскивать. Стой! Тут я. Ты подымай кошеву плечом. Этот постарей, поумней, ну да и посильней. Ну, голубь, ну, коняга! Но-о! Хоп! Еще... Ну-у. Но, но, но!.. Ну... еще... еще... М-м-м-ых! Ну, вот вылезли. Передохни, Степаненков. Что — скрючился и ты, друг? Ничего, живу быть, так расправишься. Айда рюхайся в кошеву, отлежись. Теперь уж с дороги жеребец не сойдет. Ишь, ишь, скотина, а понимает, что вызволились.

Лошадь тяжело вздымала боками, но, учуяв дорогу, дергала вперед, рвалась в бег.

— Стой, стой... Сейчас. Еще Краузе пошуметь надо. Может, где поблизости мается. О-о-о! Кра-у-зе-е! То-варищ! Доро-ога! Сю-да-а! Това-а-рищ!..

На братский свой зов Алибаев отклика не дождался, хоть и немалое время взывал.

— Говорил дураку — не ходи. Ехал бы теперь с нами живой, радовался бы. Эх ты, дельный мужик пропал. Лучше бы вот этого барина заместо Краузе в степи оставить. Ну, да чего уж... Едем. Доберемся, верховых из села на розыски вышлем. Айда! Но-о!

Высоколобый из кошевы громко возмолился:

— Скорей!.. Погоняй, дядя, плохо мне.

Алибаев повернул голову.

— То-то, человече, еще «тятей» назовешь. В беде бывает мирной человек хуже, чем опасный. Мирной сробеет, а опасный захочет, дак вызволит. Но-о! Двига-ай!

Ехали длинным долом. Здесь поземка взметывалась слабей. Только густо сеяло снегом беспросветное небо. Сугроб на дороге был мягче, полозья глубоко входили в него. Лошади тяжело везти, но она бежала во всю силу, отфыркиваясь и похрапывая. Буря в узком долу завывала, как в трубе. Просекала, рвала слова. Степаненков не мог понять, о чем кричит Алибаев, по долетавшим бессмысленным обрывкам. Он и не вслушивался. После всего испытанного в сумбурный этот день

и ужасную ночь теперь налегло на него тяжелое спокойствие, приглушившее сердце и мозг. Он силился думать не о том, что ожидает их на неведомой стоянке, куда везет Алибаев, а о том, что все же доверяться ему нельзя, он — враг, но ни злобы, ни настороженности в душе эти ленивые, дремотные мысли уже не возбуждали. Хотелось только тепла и сна. Скорей бы в жилье, согреться, расправить затекшее, издрогнувшее тело. Вдруг требовательно вошел в уши странный гулкий звук, напомнивший что-то хорошо знакомое, связываемое всегда с зовом, с кличем. Что это такое? Степаненков взбодрился, выпрямился, пригнулся вперед, насторожив слух. Алибаев оглянулся, наклонился к нему с козел.

— Слышишь? К селу подъезжаем. Звонят для заплутавших. Это, пожалуй что, Сусловка. Большое село. Тут даже милиционер вам на подмогу есть. Ну, барин, вот теперь помолись, поблагодарствуй за спасенье от нечаянной смерти. На звон выехали, теперь не пропадем. Все-таки, видать, твой бог расплющил глаз-то, когда давеча ты вопил к нему.

Высоколобый ответил смущенным, но уже окрепшим голосом:

— В бреду, вероятно, я, в беспамятстве был.

— То-то — в беспамятстве. Ладно, мы со Степаненковым за вас за всех старались, память не теряли. Ну вот, вам вперед наука: какая ни есть спешка, дуром ночью в буран в степь не суйтесь. Все одно — дело не выйдет.

Алибаев говорил строго, как набольший, подчеркивая, что теперь они у него в руках. Но замученные, иззябшие люди этим не возмущались. Степаненков очень неохотно и непастойчиво все-таки попробовал дать ему отпор:

— За нас, Алибаев, ответ с тебя все равно...

— Не трепли, друг, языком. Аль башку поморозил, плохо смекает? Убежать-то я мог, а не убежал. И в Каин-Кабаке я сам в руки дался, смекни хорошенько. Выпустить вас позабыл, Марья ко мне пришла. Я только похорохориться перед вами хотел. Ну, об этом разговор в городе будет. Шурка-то еще дышит?

— Сейчас шевелился, стонал.

— Стонет, это хорошо. Тело, значит, свое чувствует. Может, отдышится. Ну-ка, гнедой, шевелись! Еще маленечко. Н-но!..

III

В чистой горнице все на городской фасон. На окнах вверху надвески в три зубца из жесткого кружева. Цветы порасставлены на особых табуретках. Тоже не деревенские — не герань, не столетник, а клен, фикус и уродливые кактусы. У стен венские стулья, диван деревянный, крашеный. Стол перед ним, отступя, посередине горницы, покрыт зеленой клеенкой с желтыми изображеньями Кутузова в середке и других генералов Отечественной войны в коричневых кружочках по углам. Висячая лампа под потолком велика, на керосин жадна, невыгодна. И горка с разнокалиберной посудой за стеклами, и неширокая железная кровать под байковым одеялом, и цветные бумажные обои на стенах — все будто не обжитое, не для себя, а напоказ, по праздничному случаю устроенное. Но за обоями, в пазах и щелях — многочисленное клопиное племя. Всю длинную здешнюю зиму горница не проветривается. Дух в ней стоит исконный, густой. Из неплотной створчатой двери идет смешанный запах овчин, квашеной капусты, кизячной топки и застарелого, въевшегося в одежды человечьего пота. Передний угол с протемневшими иконами и только с одним моложавым образком, беленая кирпичная голландка с открытым прокоптелым жерлом без затворки, за голландкой — дощатая настилка для лежанья, с кошмой и бараньими тулупами в головах. Это настоящее — то, с чем живут.

Савелий Максимович, хозяин, хоть и хмурился, когда нежданные наезжие люди внесли в парадную горницу суматоху, сор, раскидали по полу сапоги и тулупы, сидел в ней теперь как-то охотливей, вольготней, чем всегда. Был он прижимист и негостеприимен. Достатком своим, уцелевшим после всех потрясений, без надобности хвастаться не любил. Еще спозаранку, убоявшись бурана, завернули к нему с дороги на базар двое старых его знакомцев. Один из них, Леонтий Кудашев, человек в нынешнее время сильный — председатель Совета здешней волости. Другой тоже очень полезный — прославленный в округе пимокат. Для них Савелий Максимович распорядился согреть самовар, но угощал их все же вместе с собой в жилой, семейной половине.

В ночи нанесло Алибаева с обмороженными. Косоглазый распорядился в дальней горнице их на отдых

устроить. Савелий проживал не в алибаевской волости, но знал его силу во всей округе и опасался. Алибаев как-то грозился и в чужих волостях переворошить «амбарушки». Савелий этих угроз опасался, при встречах старался задобрить Григория и теперь подчинялся его распоряженьям. Возились с его спутниками долго. Всей семьей растирали, согревали, отпаивали самогоном и чаем. Шурка и высоколобый лежали на двух перинах на полу. Высоколобый крепко спал, а Шурка затихал лишь временами, ненадолго. Сильные боли в теле нагнетали на него бредовые жуткие виденья. От физической маеты и от страха он стонал и метался. Степаненков, с лоснящимися от гусиного сала лицом и руками, вытянулся на диване у стола. Он часто открывал глаза, но взгляд его был блаженно-туп. Он не слышал ничего, кроме своего сладостно отдыхающего тела. Алибаев уже успел отлежаться. Он взбулгачил не только Савелия Максимовича, а всю его семью. Посылал его сыновей во многие дворы и добился, что снарядили верховых искать в степи заплутавшегося Краузе. Теперь, голый до пояса, сидел на полу, поджав под себя крест-накрест ноги, топил соломой голландку. От ярких вспыхиваний неподвижное лицо его казалось позолоченным тусклой позолотой, как у идола.

Буран все не затихал. От налетов ветра гудели порой стены. В замерзшие окна швырком ударялся снег. Час был уже поздний, полночный, а в горнице и в другой половине избы еще не спали взбудораженные люди. Пимокат сидел на припечке, свесив ноги, а Леонтий Кудашев — рядом с Алибаевым на полу перед голландкой. Он, лукаво усмехнувшись, обратился к хозяину:

— Что вздыхаешь, Савелий Максимович? Гостей считаешь? Подвезло тебе сегодня.

Савелий знал, что Алибаев с нестоящим городским народом не станет валандаться. Знакомство в городу ведет только с начальниками. Поэтому ответил сдержанно, но достаточно приветливо:

— Гости на гости — хозяину радости. А кто это с тобой, Григорий Петрович, вместе в беду-то попал? Чем в городу занимаются?

Алибаев усмехнулся:

— На ночь не стоит сказывать. Завтра весь их чин обозначится.

Савелий насторожился.

— О-о? Вона что!

— Да ты сиди спокойно, не ерзай. Тебя это не касаемо.

Кудашев весело засмеялся.

— Этот, на диване-то, знакомец мой. Мы с ним пространно беседовали. Только он в нездоровье сейчас, потому и не признал меня.

— Где же это ты с ним обзнакомился?

— А когда в чеке шестнадцать суток сидел.

Кудашев легко поднялся, пошел за кисетом к столу. Был он сухощав и легок на ходу, очень моложав для своих тридцати лет. Алибаеву понравилось его чистое, выбритое лицо и светлый взгляд, оттого он живо заинтересовался.

— Я про тебя что-то мало слыхал, а то всю округу знаю. За что же это ты втепался?

Дверь приоткрылась, и в горницу вошла высокая русая девушка. Она сильно покраснела, встретив взгляд отца.

— Я за тулупом, папаня. Одеваться нам.

Алибаев приметил, что необычно для буднего дня она старательно приодета, причесана с гребенками в закрученных волосах и, отвечая отцу, быстро метнула взгляд на Кудашева. Он оглядел их обоих засветившимся взглядом, когда Леонтий торопливо проговорил:

— А вы посидите с нами, Анна Савельевна. Все равно скоро верховые приедут, разбудят. Мы вот тут беседуем...

Савелий неласково перебил:

— Спать ей пора. Чего она к нашей мужиковской беседе пристанет. Иди спать, чего болтаешься? Завтра не добудишься.

Девушка покраснела еще сильней, вытащила с припечки из-за спины пимоката тулуп и ушла.

Кудашев поглядел ей вслед, кашлянул, закурил вертушку, стесненно, нарочито небрежно вымолвил:

— Вы, Савелий Максимович, по старинке дочерей ведете. В городах, особенно в нынешнее время, они не только в разговоре — и в делах участвуют, так сказать, во всем рука об руку с мужчинами. Отчего же с нами и не побеседовать бы Анне Савельевне в нашей беседе?

Савелий, отведя глаза в сторону, строго сказал:

— Девка беседовать может только с матерью да с подружками. Замуж отдадим, тогда с мужиком побеседует. Теперь не дозволяю и на улицу играть, и на свадь-

бы гулять не пускаю. Шибко озорной народ нынешний.

Кудашев вспомнил, что Савелий, по рассказам, сам смолоду через край озоровал. И в здешние края попал по уголовному делу. Срок отбыл, общество его не приняло обратно на родину. Оттого и осел здесь, женился, добро нажил, теперь славится своей степенностью и строгой повадкой. Хотел было Леонтий намеком уколоть, отомстить за свое неприятное ему смущенье, но сдержался. Насупившись, зашагал по горнице. Алибаев с большим душевным интересом следил за ним. Но когда Кудашев оглянулся на него, он отвернулся и равнодушно сказал:

— За что же тебя шестнадцать ден в чеке держали?

Савелий Максимович отрывисто засмеялся. Точно глухо пролаял. Но проговорил без улыбки, неодобрительно:

— Начальник на начальника наскочил. Ну, вы беседуйте, а я пока пойду посплю. Чать, к свету, не раньше верховые вернутся. Ишь ты, гудет как! Свету, чать, не видать. Разбудишь меня, Григорий Петрович, коль спонадоблюсь.

— Ладно.

— Да вы бы тоже ложились. Чего...

— Керосин жалко? Если из городу вызволюсь, пришлю тебе из своего запасу.

Савелий приостановился.

— А ты как же в город-то?.. Не по своей разве воле? Опять везут?

— Иди, иди, спи, обо мне не печалься.

— Да об тебе чего печалиться! Ты заговоренный. Смерть-то тебя, не знаю, какая забрать может, не то что начальство.

И он, тяжело ступая, вышел. Стены ныли, гудели от ветра. Сухо ударялся швырками снег в стекла. Раза два громко вскрикнул и забормотал Шурка.

Алибаев подбросил в печку новую охапку соломы. В горнице стало жарко, светло. Оттого что за стеклом бесновалась метель, казались жар и свет троим неспящим особенно дороги. Они расположились рядком. Пимокат лежал на животе, покашливал, почти не вступался в разговор. Большими печальными глазами глядел на огонь. Лицо его, уже сморщенное, с седоватой реденькой бородкой, сделалось наивным и теплым. Обычно он мешал всякой беседе желчными придирками,

недобрым смешком, назойливым приставаньем, похожим на немощную злость хилой беззубой собачонки. Кудашев на него взглядывал не раз с ласковым удивленьем. Все трое, случайно столкнувшиеся у одного огня, под защитою одной кровли, надежно укрывшей их от лютого вражьего дыханья стихии, обрели редкую радость душевного большого сближения друг с другом. Каждый ощущал хорошую человечью заинтересованность разговором, мыслями, судьбой другого. Кудашев неторопливо рассказал о своем аресте.

— ...Явился, значит, этот хлыщ к нам, зареквизировал во всех дворах тулупы и полушубки. Я гляжу — дело-то плохо, населенье волнуется. Взял да у себя в волости его заарестовал, полушубки назад роздал. Незаконно он действовал, после все выяснилось. Да если бы еще обидел вот Савелия — дело десятое, а то обобрал и правых и виноватых. И для себя лично, главное, много нахрапом приобрел. Ну, а у него мандат,— в волости-то испугались. Значит, его освободили, прямо, можно сказать, отбили, а на меня — донос. На их донесенье из города приказ меня с помощниками моими арестовать. Даже подводы не дали, пехом в город пригнали. Отсидел я, значит, в чеке в общем номере шестнадцать суток, пока дело разобралось. А потом — как в кадрели — он туда, а я сюда, на свое место.

— Что же, не обиделся ты? Не взбунтовался?

— Обиделся было, да одумался. Дурость и лиходейство, товарищ Алибаев, как дурная трава, меж хорошим из земли прут. Плохо, чего скажешь? Нехорошо. Я, как из Франции из плена бежал, сильно к большевикам стремился. Думал тогда, что у нас все хорошо, все без задоринки, а увидал много плохого. Ну, все-таки не забуду, как я к ним через страсть бежал. Добег — не уйду. Я вам так объясню: вроде как через те трудности кровная моя семья стали большевики. В другом месте я чужак, а здесь все свое. Где и засмердит, да ведь своя болячка, не отплюнешься, лечить станешь.

Он подробно рассказал, как бежал, три раза был возвращаем назад на тяжкие штрафные работы, наконец, все же пробрался через Швейцарию в Россию. Перед его глазами вставали картины чужеземной жизни, теснились воспоминания о событиях, разговорах, городах, горах, морях, пережитом отчаянье и ликованье.

Полоненный ими, говорил затрудненно, теряя нить, но с огромной сердечной горячностью. Потом пимокат медлительно и печально размышлял вслух:

— Трудящему, если он не пьяница и не ленив, жить всегда можно, даже при нынешней скудости. Одно беда: доктора хорошие почти все с буржуями убежали. Как я захворал, не умеют помочь. Сколько добра в городе пролечил, а все перхотка грудь сушит. Ничего мне не мило. Я и не разбираю, плохи ли, хороши ли нонешние правители, вот ученых у них мало — это плохо, доктора нестоющие... До войны у нас один киргизин своей киргизской молитвой хорошо грудной боли помогал... А что, Григорий Петрович, ты ведь киргизского рожденья и теперь водишься с ними. Дознайся. пожалуйста, куда сгинул этот знахарь, хромой Шишингара. Я и за сто верст к нему доеду!

Кудашев перебил:

— Правда, значит, вы из киргиз? Лицо ваше действительно выдает вас.

— Что рожей, что кожей в папаню мать меня выродила. Мое рожденье очень даже занятное.

Алибаев взглянул на Кудашева невидящим, зачарованным далеким виденьем взглядом.

— Нонешнюю зиму часто сны мне на вспоминку снятся. То самого себя мальчонком вижу, то привидятся мать с отцом, коих и не видывал, какие из себя были. Родительницу-то видал, да глаза у меня тогда еще были молочные, незрячие. Всякое, все из дальнего, как у старика, на ум во сне находит. По примете у нестарого человека это к смерти бывает. Во сне душа прощается, печалуется, глядит, где ходил, чего видал, слыхал человек. Эта девчоночка русявая тоже расквелила, кой-чего напомнила. Страдашенька твоя, кажись, Кудашев? Ну, ну, хоть отец буржуй, отца и по шеям можно. У меня вот такая же была... Похожая. Да. Вьюшку-то засунь, Кудашев, прогорело, а то выстынет. Рожденье мое удивительное, с другими несходное.

Уставившись неподвижным взглядом в затухшее успокоенное жерло голландки, он рассказывал неспешно, покрестьянски строго, постепенно, по годам, от начала, будто раздумчиво проходил по старой меже.

— ...Девушка православная, значит, она была, а в голодный год кыргызин ее накормил и всю семью ее вызволил. Она с тем кыргызином и слюбилась. Увез он

ее к себе в кочевку. Детей народили. Ну, а в Александровке-то в это время главный миссионер проживал, чтоб окрестных кыргыз в правильную веру приводить. Настойчивый, достойный был человек, в своем деле ретивый. Много кыргыз покрестил. Ну, к слову, после голодного году, как скот перевелся, они надолго затощали. Охотой множество в православную веру обращались. Для новокрещенцев начальство новый поселок устроило, избу каждому давали, лошадь, корову и хлеба на первый запас. Сам губернатор с иконками их благословлять один раз наезжал. Плохо ли? Гуртом крестились, семьями, а в избах маханину жрали, по-кыргызски разговаривали и Магомета и Николая-угодника равно почитали.

Чать, и посейчас так живут, не обрусели, коли не разбежались. И тогда, летами, на траву, в кибитки, много убегало. Ну, а поп этот, миссионер старший, видит — много кыргызья крестится, еще ретивей стал. Как же, мол, так: тут неверные стадом к православному богу валят, а тут вон какой случай! Мать моя, женщина правильной веры, с кыргызом сошлась, детей народила от него, их не крестит и сама от своего бога отшиблась. Сейчас, значит, мать под стражей — к попу.

В страду с поля взяли. После голоду кое-кто из кыргыз сеять зачал, русские бок о бок — обучили. И родитель мой, нехристь, тоже. Может, мать его, по крестьянской своей навычке, на хлебопашество натолкнула. Приволокли ее к миссионеру на кухню. По обряде кыргызка, но по-русски чисто говорит. Ребятишки чистокровные кыргызята, прямо неподложные. Девчонка старшенькая еще кой-как слов с пяток русских прохныкала, а мальчишка-пятилеток одно — горлом по-кыргызски булькает. Одежу на их расстегнули, глядят — крестов нет на шее. Все это, что рассказываю, после от людей слыхал. Сам не видал, мной мать на сносях была. И те, старшенькие, сестренка с братишком — люди после сказывали мне — тоже были, как я, в отца, чернущие, кривоногие. Орут, лопочут, трясутся. Мать на полу на коленках елозит, ноги поповы ловит, слезами половик заливает, приподымется, крест на своей шее за гайтан дергает, показывает — не сменила, мол, веры, по-православному молюсь, за грех с иноверцем сама отмолюсь, перед богом буду маяться и каяться, не карайте по людскому закону. Через слезы кричит: «Хучь кыргыз, хучь поганый, для православного с собакой вровень, а мне дорогой! Смилуйтесь! Отец моим

детям, а мне и без божьего благословенья муж. Не разлучайте! С грехом он меня не неволил, сама согласье показала. От смерти он меня вызволил. В Киев, в Ерусалим пешком на богомолье схожу, не отымайте у его детей, он к детям приверженный».

Поп головой мотает, перстом на икону кажет. «Нельзя! Сама в грехе смердишь и детей от бога уволокла. Бог не дозволяет, царь не велит».

Закон тогда такой был: из православья дозволялось переходить только в немецкую веру, ну, они тож Христа признают, а если к Магомету или в жидовскую — нельзя. За это в тюрьму. Разъясняет ей поп этот закон, заморился сам, аж губы побелели. Когда у бабы мужика желанного отбирают, ее законом вразумить так же трудно, как волчицу взнуздать. Кланялась, плакала, молила попа, да вдруг подтянула живот и, как кошка, прыжком на него, взвизгнула да в космы ему вцепилась. Народ на кухне толпился. Кинулись пастырю на подмогу. Что ж ты думаешь, как озверела баба! В тягости, а немало повозились с ней, пока скрутили. Заперли ее в поповой бане, во дворе. Вдруг стражник бежит: «Так и так, ваше благословенье, я к этому делу несподручный, что теперь делать? Баба родит, очень мучается».

Поп рукой отмахивается, слушать про женское безобразие не может, а попадья сжалилась. Послала стряпку за старушонкой-повитухой. Та пришла, помолилась перед иконой, посомневалась, но все-таки сдалась. «В грех ли, во спасенье ли выйдет, говорит, а потружусь около поганого брюха. Куда же бабе деваться, коль час пришел? Чать, бог меня за это не завинит».

Эта бабка, повивалка моя, долго жила. Как я большеньким стал, она часто мне говорила: «Под веселым боговым глазом мать тебя зачала, не доглядел, что от нехрещеного, в сорочке сын родился. Будет, значит, тебе сладость в жизни, терпи, дожидай, обязательно будет. В сорочке на счастье рождаются».

Ну, сорочка-то мне не сильно на подмогу. Мало меду хлебнул. Мать меня хоть и у православных, но чужаком кинула. Над горькими ее родами попадья шибко разжалобилась. Умолила попа, привели к ней в баню братишку с сестренкой моих. А может, базлали через край, допекли всех в дому. Только и стражу от бани сняли. Осталась на ночь одна мать с детьми. Бабка тоже не поохотилась в бане ночевать. Ушла домой и меня с собой унесла, чтоб

не придавила родильница в метаньях. Она, и разрешившись, не успокоилась. Все стонала, на банном полку с боку на бок перекидывалась. Да середь ночи, видно, опамятовалась и убегла вместе с детьми. После дознались: родитель мой, кыргыз, чисто кулик, потеряв птенцов, без ума по селу на коне кружил. Может, встрелись, вместе убегли — не знаю. Посланные на другой день от кибитки отцовой ничего не нашли, только угли от старого костра. Слух был, что отец в другую степь укочевал, а мать будто тут же после побега вскорости кончилась,— не знаю. Я вырос мирским дитем, молоко грудное и то не от одной женщины принимал. По очереди кормили меня грудью жалостливые бабы, которые кыргызским моим обличьем не гребовали. Греха не боялись, в церкви меня по-православному крестили. Даже к благородным в родню из купели попал: становой пристав крестным был, а матерью крестной сама попадья. Эй, други, не задремали? Дальше сказывать? Могу — разохотился.

Дивно самому: чисто со стороны, как другой человек жил, поглядываю. Ну, значит, при крещенье назвали меня Григорьем, по крестному величанье записали Петрович, а чтобы помнил грех рожденья своего, кыргызскую фамилию дали от родителя. Звался тот кыргызин Алибайкой. Я от него по свету гуляю — Григорий Алибаев. В зыбке качался я у бабки-повитухи в избе, на ноги твердо встал, разуметь все вокруг зачал, то есть лет пяти эдак от рожденья, к попу на кухню жить перешел. К гостям в праздники и на именины меня выводили показывать. Миссионер рассказывал, как господь чудесно меня удержал в православии и не дал матери с собой унести. Купчиха Тимонина слезы платочком вытирала, давала мне конфетку и по головке гладила. Спал я на плите, оттого что кухня была холодная, а плиту топили часто. Поп лапшу с бараниной с варку любил. Жилось мне хорошо, сытно. Но только крестный становой на меня позарился, выпросил у попа себе. Стал я спать у стряпки станового на кровати. Она меня на сон часто ругала поганцем, потом наваливалась на меня, и спалось мне опять тепло, хоть еда давалась паскудней поповой. Становиха была об хозяйстве рачительна, скуповата. И здесь на именины меня гостям казали. Только у попа я «Отче наш» читал, а здесь меня выучили петь «Ах мороз, морозец» и плясать русскую. Один раз, на святках, сплясал, спел — и мировому судье приглянулся. Он меня у станового

в карты выиграл. Раньше, сказывают, крепостных так-то выигрывали, ну, я не крепостной был, а еще хуже — ничей. Кто взял, тот и над душой, и над телом хозяин был. Вот и перешел я на десятом году возраста от станового к мировому. Шибко плакал, вспоминаю. С теплой стряпкой, чисто с матерью, жалко мне было расставаться. У мирового, если вспомнить по совести, тоже мне неплохо жилось, а сердце щемило. Сажал за еду он меня вместе с собой. Не семейный, скучал. А спал я у него по-барски, на диване. Разговаривал он со мною мало, разглядит когда меня. Глаза у него все мутные такие были, чисто спросонок. Пройдет мимо или даже прямо на меня глядит, а не видит. Дак вот, когда разглядит, засмеется, ткнет двумя пальцами под ребро: «Живешь, магомет?» — «Живу»,— отвечаю. И весь разговор. А больше мне и делать у него нечего. Заскучал я. Все-таки я бы жил у него, не убегал, кабы не напугался. С неделю я у него прожил, как он меня зовет к ему в спальную. Вхожу — он в подштанниках, собирается спать укладаться. Говорит со мной, об чем — сейчас и не помню, говорит, а сам перед зеркалом сидит. Я гляжу за его спиною в зеркало и вижу: зубы вынул, в стакан поклал. Потом все волосы с головы правой рукой снял. У меня сердце взвилось, сроду этакого дела не знавал, чтоб зубы вынуть и волосы снять можно было! А он тоже в зеркало-то увидал, что у меня морду от страха-то перекосило, взял да нарочно, чтоб еще больше напугать, схватил себя за обе щеки да голову обеими руками тихонько двигает. Я думал — он и голову отвинтить может. Заорал благим зевом — да из спальни, из дому дирака. Так напугался, что и темень не в страх! За село убежал и не вернулся туда больше. Наутро к нищему странничку пристал. Разговорчивый попался, от испуга меня разговорил. С ним уплелся верст за тридцать. Только скоро ходить и канючить милостыньку надоело. Взял да в селе Скоробогатовском отстал от старика. Ну, под крышу к кому-нибудь приютиться надо. Хоть летнее время, а чем же пропитаться мальчишке? Кружил, кружил по селу, дело к вечеру. Идет мужик по дороге. Поглядел на меня да засмеялся: «Откуда, говорит, ты, косоглазый?» Я молчу, а сам за ним чисто собачонка приставая плетусь. Шел, шел я за ним да заплакал. Кишки от голоду щемило. Он не отругнулся, пожалел. «Ладно, говорит, иди за мной, накормлю». Я за этим хозяином своей волей пошел

и уходить из его дому наутро не схотел. Баба его поленом меня выгоняла. Ушел да опять на двор вернулся, под крыльцом у них переспал. Утром ребятишкам своим велела согнать меня со двора. Побили, поцарапали — убег, а к ночи опять к ним. Ругалась, плевалась баба, била меня, а потом — ничего, привыкла. Заставила воду в баню больничную носить. Этот хозяин-то мой при волостной больнице сторожем служил. Больница не по-городскому, знамо, устроена, попроще. А в баню на задах сторожиха пускала париться мужиков, которы от дурной хвори лечились, по-нынешнему называют — венерических больных. Сторож гребовал их парить, а я парил, спину вехоткой смывал, мазями мазал. Они мне за это по пятаку с тела платили. Доход сторожиха получала. Ну, ничего, годов пять, не меньше, я у них прожил, и потом с чего-то тоска меня взяла. Обмываю язвенных, а самому плакать и блевать охота. Закручинился чисто большой. Да уж шестнадцатый год, из отроков в парни одна ступенька, понимать научился. Обижаться на свою долю стал. От обиды поп и становой с мировым издаля родней показались. Задумал я опять назад к ним. Затосковал, закручинился, дальше — больше, невтерпеж. Тянет меня в Александровку. Как-никак — родина! Ну, что же, побег на место рожденья. Побирался, тем и кормился дорогой. Народ тогда поротозеистей, помилостивей был. Везде подавали. Ну, пришел — здравствуйте. А с кем здороваться? Мирового паралич разбил, попу повышенье сделали, в большой город перебрался, становой цел, на том же месте, я к нему и объявился. Он ничего — засмеялся, признал. Говорит: «Ты как же без документов, бродяга, шатаешься?» Я оробел, говорю: «Мне документ не надо, я у вас желаю проживать...» Он смеется: «Ишь ты, ласковый какой! На что ты мне нужен?»

Документ мне выправил, а у себя держать долго не схотел. «Дочери, говорит, у меня в возраст входят, а с тобой играют, на россказни на твои уши развешивают, все в кухне трутся. Ты кыргызское отродье, кровь в тебе разум перешибает, и попадет одна из двух какая в беду с тобой». Вроде этого высказал. Умный был, доглядчивый. Распаляться-то на баб я, правда, рано зачал.

Ну, Тимонину, Ивану Филипповичу, торговцу, меня скачал в лавку в подручные. Чтоб сласти не таскал, в первый же день хозяин до хвори пряниками меня обкормил. И посейчас я пряники не уважаю — так объел-

ся тогда. Ну, на этом месте долго задержался. Хлопотно, да сытно. Одежей хорошей я тогда завлекся, справить ее порешил. У купца легче ее выслужить, чем у других хозяев. Жалованья мне не полагалось, но за старанье матерьем на одежу к праздникам дарили. Об одеже старался, чтоб баб приманить. Обличье мое было для них неприятное. Думал — оденусь, которая-нибудь и поглядит поласковей. Стряпка с нижней кухни меня ублажала, ну, собой такая, что и я только зубы сожмя с ней грехом занимался. Лет за сорок, рябая, и на лбу шишка кровяная вроде кисты — бородавка, что ль, эдаким красным бугром разрослась. Я хоть и кривоногий, а телом крепкий, настоятельный. Опять же сердцем дурной тогда, ласковый был. Залюбилась мне шибко девушка одна, сестра почтового начальника. Из себя она тогда была крепенькая, белая, русоволосенькая такая. Сразу, как увидал, чисто родня мне сделалась. Вот волос-то у нее такой же был, как у этой Аннушки у твоей, Кудашев. Да. Все об ней пекусь, думаю, что бы для нее хорошее сделать. На почту — надо не надо — бегаю. Как гривенник какой лавочник в хорошем духе кинет мне, я сейчас марку покупать. А куды мне ее? К чему прилеплять? Ну, деньги не часто перепадали — за маркой на неделе два раза не побежишь. Помогло вот что: лавочник «Сельский вестник» — газету и «Родину» — журнал выписывал. Я в это время самоучкой читать мало-помалу научился. Потому заглавья помню. Ну, бегаю год, бегаю другой, девчонка-то подалась. И косоглазый, и кыргыз, а поглянулся ей, привыкла. У брата-то она заместо стряпки при его жене и нянькой при детях. Занятья не господская, с моим ровная. А брат узнал про наше согласие, обиделся. Все-таки по рожденью ему сестра. Лучше в девках при семье в вековушках засолить, чем за работника отдать. Порешили с женой Фросю к тетке какой-то в другое село на время отослать. Почты начальник моему хозяину пожаловался. А у того после празднику престольного от перепою дурь из головы еще не вышла. «Выкради девку, говорит, заплачу за венчанье, улажу. Я его не люблю, брата Фросиного то есть. Невелик господин, а неуважительный, пусть от обиды покорежится». Ну, так и сделалось, обвенчались тайком. Купец-то после очухался, сердился, чуть нас со двора не согнал, да ничего — обошелся. Сильно я для него в работе жилился. Оставил у себя деньги, на свадьбу затраченные, отрабатывать, подарков всяких лишил. А Фросю в чистую кухню

на подмогу для ихней стрянухи поставили. Спали мы с ней в холодной кладовушке на дворе и летом и зимой. Ничего, молодые, горячие, не застыли. Только через год дите родилось, хозяева велели Фроську с младенцем куда хочу, а из дому убрать. Ну, в ту пору как раз мой мед-то я и хлебал — все удавалось. Министерской школы заведующая, старая девка, а добрая, Фроську с дитем в сторожихи приняла. Впервой родня-то у меня на земле объявилась. Каждый час к им тянуло, а со двора хозяин раз в неделю на одну ночь отпускал. Горячий я, ослушивался, — выгнал он меня. Но через три дня назад воротил. Выгоден для него я был, только за пропитанье работал, а старался во все силы. Воротил и даже жалованья три с полтиной в месяц положил и к праздникам опять подарки.

Это я уж зауросил, плату запросил. Прожили так три года, еще девчонка у нас народилась. В солдаты меня забрили. М-да, солоно показалось! Что ж, угнали. Я убечь думал, Фроська остерегла: «Меня с детьми, говорит, загубишь, протерпи службы срок». Терпел, письма бабе своей такие отписывал, что учительница плевалась. Написала мне, что читать Афросинье письма мои не будет, если нежности всякие не перестану расписывать. Чисто, мол, не жене законной пишешь, а игральщице. Эдак другие солдаты не пишут. А я не с похоти, с тоски ласкался. Опять чужаком в ярме, много ли со своей семьей поутешался? Дальше-то все под гору, годами старше, а житье мое хужей. Войну объявили, домой-то со службы я не попал. В отпуск, как вышло, не пошел. Маленько поздно вышло-то. Письмо-то у меня в кармане уже поистерлось. В нем учительница отписывала, что Фроська от застуды померла. Кашлять она, еще когда у лавочника оба жили, почасту закашливала.

Оттого, дескать, и застуда до смерти вредная ей пришлась, на кашель-то. Чего же? Башку разбить хотел, думал — в мозгах поврежденье произойдет от огорченья. Ничего, отдышался. И об детях сердцем обмирал, а в отпуск не схотел идти. Без Афросиньи и дети только горе растравят, не могу без Афросиньи с ними быть, и они без нее не в радость. Учительница при себе их оставила. Другие старые девки к собакам, к птицам, к копке за утешеньем, а эта к моим детям еще при Фроське сердцем прилепилась. Пишет — не в забросе они. Да и пособье на них за меня шло. Дернул я себя за космы,

стукнулся башкой об кулак, отказался от увольнения в отпуск. А после на фронт в действие попал.

Ну, об этом чего рассказывать? В каждой семье от сыновей знают. Меня не убили, обстоятельно даже не ранили, одно пустяковое было поранение. А все-таки я другой стал. После хвори так бывает. Не то повредился, не то через край выправился. Страх потерял. Себя не жалко, и ничего не боюсь. Без страху человеку вредно, невеселое сердце в человеке, когда ничего не боишься. Чего там было бояться? Смерть каждый день обок караулит. Случай намахнет — не открестишься, не отлютуешься. Трясись не трясись, никакого трясенья на года не хватит. Человека обидеть не жалко. Чего его жалеть? Может, он здесь останется, а ты завтра вытянешься без всякого шевеленья. Добро копить неохота, да и не заберешь с собой. Мы там грабили без острастки, а куда оно, награбленное? До дому не сохранишь, да чего домой унесешь? В брошенных усадьбах посуда там всякая, кресла, рояли — их не унесешь. Золотые побрякушки — это чинам повыше доставалось. Одежу? Куда ее наберешь? Узлы с собой в переходы не попрешь. Заразным девкам раздавать, ну их... Поглядишь, поразмыслишь, да там же на месте об пол трахнешь, разобьешь или подожгешь. Ничего не жалко и ничего не страшно. Как свободой нас поманули, я не от страху убежал с фронту, а скушно, от тоски сбег. Которые солдаты орут, радуются, а мне скушно. Про ребят вспомнил. Подумал — может, около них, за ихние головы устрашаться чего начну. Сон у меня нехороший сделался. Ну, отосплюсь, думаю, в избе домашней, детей разгляжу и, может, тогда для себя чего-нибудь зажелаю. Детишки это... глазенки у них уже со смыслом. Ладно, щипануло за сердце. А все скушно, и сон все нехорош: ни ухо, ни голова не засыпают. Только что глаза заплющишь, а все одно денное все в мыслях явственно. Охота мне растревожиться, на сходки на свои хожу, в город на митинги, ораторов слушаю. Потом зачал я во все партии в политические записываться. Потолкался и в народной свободе, и в есерах, и в меньшевиках, после к большевикам пристал. В программы я не вникал, народ глядел, искал, какой по сердцу больше придется. С большевиками позадержался покрепче. С ними позанятней, пошумней. В Александровку вернулся, первым делом за Тимонину лавку. Потрясли мы с товарищами хозяина. Из добра из его я себе довольно

нагреб, — а на кой? Дети еще невелики, корысть к добру всякому в них не упорная. Погалдят в новинку да и забудут. На кой вся та прибыль? Гомозился я все-таки с политикой, состоял во многих в председателях. Ну, не с весельем, а так, на время хорохорился. Ладно. И к детям я ни так, ни эдак. Отвыкли, что ль? Не льнут ко мне. За конфетки только ласкаются, пропаду — не заплачут. Эта старая девка-то, учительша, меня, чать, переживет. Еще крепкая. С ней свыклись. Чужая, а им вроде своей, ближе меня, родителя. Ну, чего же? Незачем отец им. Я даже злобиться на них зачал, еще больше отпугнул. Колчак их со мной развязал. Как он воцарился, в Алтайскую губернию я подался. Там с партизанами стакнулся. Ладно, хлебанули всякого. Врага не жалели. На той войне, на царской, я вроде не ярился. Убил если кого, так не видя попал. А тут морда к морде. С прохладцем убивал, с выдумкой... Всякое бывало. Ну, меня там знают. В Иркутской губернии тоже. Ничего, в тое время ровно оживел, тревожился. Когда наша власть верх повсеместно взяла, я, значит, опять в Александровку. А чего делать? Опять нету спроса на бесстрашье на мое. Дом хороший занял. Тимонина, лавочника-то, благодетеля моего. И его же младшую дочку за образованность и за веселый голос в гражданские жены к себе присогласил. А к детям в школу вроде как на свиданье только ходить стал. Не умею с ними обходиться, чего-то у меня неладно все выходит. С другими приятный часом все-таки бываю, а с ними все с натугой. Ну, ладно, житье привольное, с частой выпивкой, завидное, сытное. Люди со страхом предо мной, с почетом, значит, ко мне. Клавдия, жена гражданская, горяченькая, сладкая. Я на это дело спорый. Всякую бабу привечаю. И с Клавдей ничего, часом даже по-хорошему, добрый бываю. Только ненадолго. Баба ко мне все вяжется такая, что на часок один мне своя. После супруги моей Афросиньи Николавны, покойницы, ни одна не жена, так — только на срок утешницы. Ну, так чего же выходит? Ни к чему у меня жаркости нет. Со стороны посчитать — много за мной числится, а по-моему — ничего у меня нет. Заскучал я, запивать шибко стал. По месяцу, бывает, закручиваю. Ем мало, все пью, пью. Прошлый месяц из глотки печенку кровяную выблевал, перегорело от вина в нутре. Ну, пьяный шарашусь, нехорош, шибко бесстыж случаюсь, дак, чтоб дети мои меня в это время не видали, запой отбываю в Каин-Каба-

ке. Место самое подходящее. Народ тамошний глухой, ничем не удивишь и не разжалобишь. Слышьте, друзья, там на весь хутор только два человека веселых: гулящая солдатка Марья-песенница да дурачок один, сказки умеет сказывать. Ну, Каин-Кабак мне еще и для другого дела сгодился. Ладно. Никак, на дворе тишает? Айдате-ка прогуляемся, поглядим. Все поснули, надо, чать, и нам укладаться.

Степаненков приподнялся с дивана на локтях, озираясь по избе проясневшим взглядом, спросил:

— Алибаев, ты куда?

— Чего, до ветру провожать будешь? Погоди, в городу еще напровожаешься. Вернусь, не бойся.

Метель стихла. Негусто сыпались нестрашные пухлявые последние снежинки. Проглянуло мутнеющее предрассветное небо.

Кудашев, поеживаясь от холода, спросил:

— А сейчас-то вы по какому делу арестованы?

— Погоди, коня погляжу. Иди в избу, вернусь, доскажу, коль дослушивать охотишься.

— Да я с вами пойду... Помогу.

Когда, потушив свет, они трое улеглись на кошме, на полу, Алибаев досказал:

— Как-то вечерком поздненько заходит ко мне церковного старосты сын, приятель по вышивке. Мямлил что-то, тянул-тянул, все на меня взглядывал. Потом и говорит: «Гриша, нет ли у тебя бомбы?» — «Есть, отвечаю, а тебе зачем?» — «Надо»,— сказывает. Подпоил я его, он выболтал все. Плачет по-бабьи, жалится, открывается мне: в заговоре против Советской власти запутался. Теперь охота на попятный, да боится. «Одного,— канючит он мне через слезы,— отравили, как тот помогать отказался. Ветеринар, говорит, у них один в компании, яды достает. Обязательно отравят». А эдакому дураку винтовки и бомбы доставать поручили. Ну, думаю, заговорщики, а все-таки взбодрился. Мое дело такое, в драке вольготней я дышу, втянулся в драку. Дальше — больше, согласился я, стал на потаенные свиданья в разных уездах являться. Крестьянское восстанье они подымать задумали и по Сибири много насбирали в разных уездах согласников. И в Барабинском, в Омском, в Новониколаевском и Петропавловском в уездах. В которых селах по двадцати наших, а в которых пять, четыре и по одному было, всего довольно понасбиралось. Задумали с казаками си-

бирскими сосвататься. Главарей у нас двое было, оба с небольшим образованьем. Один бывший прапорщик, другой — служащий кооперативный. Так, невеликое место занимал,— с мелкой закупкой по деревням ездил. Оба в разных городах под чужими фамильями проживали. С одним и баба его, девица из высокоблагородных, вместе действовала. Это все уж дознато, я при чекистах и рассказываю. Хоть и храпят уж, а может, который услышит. Ну, ладно. Идет дело. Печать своя: посередке череп и кости, а по краям надпись: «Смерть изменникам». И знамя у ветеринара готовое хранилось — желтого цвета, черной бахромой обшитое. Когда к своему в дом мы входили, крестились на икону широким крестом и говорили: «Мир дому сему». А он должен ответить: «Смерть изменникам». Пароль вроде. Ладно. Народу понасбирали. Собрали отдельный особо независимый добровольческий отряд атамана Нехорошева. Надо было программу, идеология это называется, придумать. А бес ее выдумает, идеологию-то,— это не наше дело. Думали Сибирь отдельным государством объявить, а чего потом — не знаем. Царя сибирского поставить охотников не высказывалось. Отвыкли уж от царя, кто и думал — сказать поопасался. Какое правленье — ни черта не знаем. Стали искать знающих людей. Нехорошев было есеров искал, ну, дельных не нашел. Один подложный с нами позапутлялся. Вроде меня, во всех партиях перебывал. Ну, и чего же — гомозились-гомозились, а дела настоящего не выходит. Одна подготовка, а к чему — не знай. Мне надоело на образа креститься да «мир дому сему» буркать. Это не моя занятья. Отшибло меня, отравы я не боюсь. Перестал являться, куда указывали. На дело, говорю, зовите, голый разговор надоел. Ну, они и сами заторопились. Назначили день — двадцатого июня в прошлом году. А мужики-то, согласники из деревень, подвели, на сбор не явились. Я не ездил, раньше вызнал, что дело рассохлось. Коноводы диранули в Ташкент. Чека их все-таки выискала. Один по одному имали, вот и до меня добрались, везут. Я их давно поджидал.

Он услышал около себя ровное сонное дыханье Кудашева. Ласково усмехнулся в темноте. С большим интересом слушал, а уснул, не дождался конца. Молодой, здоровый, тело долит!

Пимокат заворошился, спросил:

— Почему же ты не убег?

— Заарестоваться порешил. Много видал, всякого хлебова хлебнул, а в тюрьме еще не сиживал. Посижу.

— Да, оно, чать, не шибко сладко в тюрьме-то. А то гляди и к стенке припаяют.

— Оно, друг, мне, сладкое-то, не дается. А в тюрьме-то, может, мне как иному монаху в монастыре, и поглянется. В какой-нибудь монастырь прятаться мне надо. Сын подрастает, сердится, жизнь ему моя не кажется. А прикончат — жалеть некому. Ну, айда спать.

День встал сероватый и кроткий, будто пристыженный буйством вчерашнего. Пухлые свежие сугробы без солнца лежали мирно и бело. Верховые вернулись только к полудню. Ночевали в башкирской деревне. Они привезли закоченевший труп латыша. У Степаненкова сильно болели лицо и руки, но он встал раньше Алибаева и послал мальчишку хозяйского за волостным милиционером. Тот скоро пришел на зов и остался ждать в Савельевой хате.

Когда привезли тело Краузе, Степаненков позвал милиционера в горницу. Потом сухо и коротко, глядя поверх его головы, приказал Алибаеву:

— Собирайся.

Алибаев пристально посмотрел ему в лицо, усмехнулся и сказал:

— Слушаюсь. Теперь довезешь, не заплутаемся?

Отводя глаза, Степаненков оборвал:

— Не канитель, одевайся скорее!

Савелий во дворе запрягал для них пару своих лошадей. Увидев Алибаева, погрозил ему кулаком:

— Сволочь! Привез. Ладно, когда-нибудь, может, и с тобой посчитаемся.

Алибаев покачал головой. Сказал, ни к кому не обращаясь:

— Вот теперь уже я верю, что заарестован. Все без опаски надо мною начальствуют. А приветить на прощанье никого не находится.

Вдруг с крыльца поспешно сбежал Кудашев.

— Увозят? Ну, прощай, Григорий Петрович. Набаламутил ты, а все-таки мне тебя чего-то жалко. Будь здоров. Слушайте-ка, Алибаев, в вашем деле с этим самым контрреволюционным нехорошевским отрядом случайно запутлялся братишка мой — Егор Кудашев. Он по глупости. Вы там напомните, чтоб меня в свидетели вызвали. Он зря попал, не так, как вы. Ну, ладно. Может быть, на свиданье к вам приеду.

Алибаев широко усмехнулся, крепко прихлопнул небольшой своей рукой руку Кудашева и тихонько сказал:

— А насчет Аннушки благословляю. Мне она глянется.

Степаненков сердито крикнул:

— Садись, Алибаев! Время.

IV

Число взятых по делу о нехорошевской контрреволюционной организации все увеличивалось.

Крестьяне тюремное заточенье переносили тяжелей, чем горожане. Вынужденную физическую бездейственность они ничем не могли возместить. Большинство было неграмотно или не имело навыка к чтенью. Для последних смысл преодоленных тягостным чтеньем печатных строк ускользал, тонул в тумане бедных представлений, не связанных непосредственно с делом их рук, со всем насущным для них. Убить время на разговор друг с другом в общих камерах они могли в течение двух, трех дней. Больше не хватало ни слов, ни охоты на беседу. На принудительные работы их не водили. Приближенье весны угнетало заботой о весенней пашне, о необходимости выбраться к посеву на волю, чтобы не схирела семья, не рушилось хозяйство, Стремясь вызволиться домой к нужному времени, они старались оправдаться, умолить, упросить власть, купить себе свободу любой ценой униженья и предательства. Каждый из них называл свое сельское общество огромным словом «мир», но мир этот, разбитый на мелкие участки отдельных хозяйских интересов, лишь редко и ненадолго ощущался ими как дыханье одного организма. Каждая клетка в давности приспособилась жить и отмирать отдельно, не нарушая общего теченья жизни. Выступивши скопом против города, крестьяне — только что их разделили при допросе — сразу распались каждый сам по себе, как колосья в развязанном сноне. Доказ, подозренье, ошибочные предположенья, прямая ложь, оговор — все сплелось в запутанную сеть их показаний. Начались новые аресты. Расследование затянулось. Взятые по одному делу, узники ожесточались друг против друга все сильней.

Жители Каин-Кабака держались плотней, реже выдавали — оттого что меньше теряли от длительного заточенья. Это были люди, утраченные для мирного труда

за годы царской и гражданской войн. Хозяйство во время их отсутствия развалилось окончательно. Создавать его заново они не принимались. Единственным делом их жизни стало разрушенье. Семьи научились обходиться без них. Если жена сумела сохранить исконную домовитость, она добывала пропитанье и детям, ворочала вместе с ними трудную мужицкую работу, сетовала на мужа в горький бабий час, но беспокойного возвращенья его домой даже не желала. Бабы другого, легкого склада приспособились скитаться за мужьями. С нищим своим скарбом и с детьми ездили они в обозе в большевистскую войну. Перебирались в город, когда мужья попадали в тюрьму, попрошайничали, торговали собой, скупали и перепродавали старье на барахолке, посылали детей «в кусочки» по дворам, ухитрялись сами питаться, мужьям носить ежедневно передачу и покупать у податливых тюремщиков мирволенье мужьям.

Каин-кабакцы кормились неплохо, пользовались многими недозволенными поблажками, изнывали в заключенье не больше, чем на пересадке в ожиданье поезда хладнокровные пассажиры. От возможного смертного приговора их охраняло чернокостное происхожденье и соучастье с войсками красных в бою. Но вдруг, неожиданно для следственной власти, и они на допросах бурно разговорились. Сведенья, доставленные ими, были совершенно новы и для следствия важны. А сообщили их внезапно и дружно каин-кабакцы в отместку атаману Нехорошеву. Все это скопище людей, лишившихся в бессладостной своей судьбе чувств, дорогих человеку, ревниво лелеяло веру в свою боевую доблесть. Сомненье в ней было для них единственной незабываемой обидой. Атаман Нехорошев, разгневанный, что в назначенный день восстания в июне месяце каин-кабакские сообщники на сборный пункт не явились все, во главе с Алибаевым, сказал тогда:

— Алибаевская шпана только на дележку вылезает, а пороху боится. Хлипачи!

Случайно узнав о произнесенных давно, но навсегда оскорбительных словах, каин-кабакцы пробовали учинить самосуд над ним в тюрьме. Произвести его не удалось. Тогда они дружно принялись продавать властям Нехорошева с его близкими, всех вместе и в розницу.

Алибаев, равнодушно отказывавшийся от каких бы то ни было показаний, в последний раз на допросе тоже оживился гневом. Сказал следователю ни с того ни с сего:

— Я этому свистуну, как на суде встретимся, морду изнахрачу.

— Кому? Что такое? В чем дело?

— Атаману самозваному. Только и знал, что штабы всякие из своих холуев собирал да по подложным бумажкам получал у ваших ротозеев деньги Понасажали дерьма кассы хранить, и стараться не надо — сами в руки суют казну.

— Кто по подложным документам деньги получал?

— Кто, кто? Чего после время на стуле прыгать? Задницу зря обижаешь. Ты бы раньше к стулу-то не прилипал, поспел бы, может, на дело. Ленивый у вас только не получал, вот кто! Вот я не получал,— мне своего, с бою взятого, хватало. А этот ублюдок Нехорошев задается, ата-аман! Не знаю, каким местом атаманил, вашего брата только пугал. По привычке чужими руками хотел жарок разгрести, а как своими довелось, дак — ой! обжегся! Без памяти диранул, как заяц, за Ташкент, и след с перепугу не замел. Где в войну был, страдовал ли, это еще неизвестно. Молодец — на овец, а спроть молодца — сам овца.

— Вот что, Алибаев, я тебе предлагаю: перестань кричать. Расскажи толком. В ваших же интересах.

— Ты ко мне с интересом не лезь! Про интерес с Нехорошевым разговор заводи, этого укупай — дешевый. А меня не укупишь! Офицерская затычка, мокреть ихняя, смеет каин-кабакских партизан хлипачами обзывать. А он их в бою видал? А? Нюхнул он эстолько, сколь они? А? Да не вылупляй ты зенки, не трусись, я те не трону! На харчок вы мне нужны все вместе с вашим бобром захваченным, с Нехорошевым. Ты знаешь, Степан Красков на белую разведку напоролся, брюхо ему располосовали, кишки вывалились, а он с лошади не упал, ускакать сумел. Это тебе хлипач, а? К нам доскакал — кишки свисают, обомлел, язык поворотить не может. Я ему кишки в брюхо вправил, снегу в них для охлаждения понабил и кричу: «Говори скорей, сукин сын! помрешь, не успеешь!» Сказал, место назвал, где встретил и сколько человек, только после этого кончился. Вот! Это мы вас эдак застаивали, дак неуж мы побоялись бы и против вас? А? Коли меж нами несогласье вышло, побоялись, думаешь, эдак же брюхом бы повернуть, а? Ты пошевели мозгой, после всей страсти какая еще нас пристрашит?

Нехорошев зимы испугался, до лета с восстанием дотянул. А нам зима была ль страшна? Когда за Советы бились, холода какие лютовали, слыхали вы с Нехорошевым, а? Куропать на лету падала. Схватишь ее — комок ледяной! А мы этот холод продышали, сдюжили. Нас и там бы помиловали. Эдакое крепкое мясо и белым на свою защиту получить шибко было желательно. Передохнуть, отогреться, откормиться бы нам дали. А мы об этом и не подумали. С вами в согласье были, вас и застояли до победы.

— Это все мне известно, товарищ Алибаев. И если я допускаю с твоей стороны...

— Не товарищ я тебе теперь! И Степаненкову я больше не товарищ... Ну, только и этой паршатине, сволочне этой тоже не товарищ! Сколь я живого у бога в смерть стравил, все мне простится. Коли за смертью ад объявится, мне простится. За то, что я с партизанами с моими в бой за эту гнусь не вышел, за их человечьей крови не пролил, всякий грех мой не в грех стал.

— Из Каин-Кабака, значит, никто на сбор не явился?

— Из Каин-Кабака! Эх ты, тютик! Не с одного Каин-Кабака, а с любого хутора ни один партизан бывший, да не только партизан — никто из нашинских не явился. В июне разве можно мужика тревожить? А? Нехорошеву абы бы тепло было, а после целая Сибирь заголодует,— ему все одно! Нам не все одно. Мы против начальства шли, а не против мужика. Нам его страда дорогая, за его мы кровь проливали. Не для таких вот, как ты, не для господ старались!

— Участники этого заговора все больше кулаки, что же вы о них заботились?

— А который в драку не шел, хозяйствовать бы в это время смог, а? Ну тебя, не смыслишь ничего. Мы пораньше тебя разглядели, что не в свой косяк попали, еще до объявки сбора отставать зачали. А ты, что ж, тоже думаешь, как Нехорошев,— бою испугались? Сами вы кишкой жидки, дак и в людях вам тот же мерещится изъян.

Алибаев уже не сердился более. Последние слова выговорил врастяжку, сам не слушая их. У него отяжелел, сразу затек затылок, замутились глаза. Он ощутил знакомую дрожь колен, жар, как злоба, распиравший грудь, и жажду, от которой по-особому колюче высохло во рту. Вторую неделю не удавалось добыть водки, и он томился, хворал. Гневное возбужденье ненадолго помогло

ему забыть трудную тоску запойного пьяницы. Опять, как навязчивое бредовое виденье, все вокруг покрыло одно представленье стаканчика или хотя бы глотка, одного глотка отмягчающего муку питья.

Взбодренный растерянностью его взгляда, странным дрожаньем покрасневших век и сразу стишавшим голосом, следователь сел тверже, прямей, спросил громче:

— А до этого, когда вызывали на явку, вы всегда являлись?

— А? Кто? Куда?

— Ну, хоть бы ты. О себе расскажи.

— Слушай ты, начальник, добудь мне водки. Пекет в нутре, не могу. Чего бормочешь, я не разбираю. Добудь хоть на один глоток, а? Помоги человеку, разок хоть один помоги, а?

Следователь заморгал, взглянул на Алибаева, нерешительно усмехнулся.

— Чудак ты, Алибаев! Разве допустимо с такой просьбой...

— Кабы мы с тобой от Христа не отреклися, я бы тебя ради Христа просил, вот чего допустимо! Жгет. Сдохну я нонче в камере, если хоть глоток не сглотну. Добудь, а? Да не вяжись ты ко мне с расспросами, стукотня в башке, сердце запеклось, понимаешь ты!

Следователь крикнул охрану, Алибаева увели в тюрьму. В камере он ничком распластался на кровати, тягуче стонал и скрипел зубами.

Под потолком в запыленном стеклянном колпачке загорелся холодный неподвижный огонь. Алибаев приподнялся. На стене ожила уродливая тень. Он содрогнулся и лег опять лицом вниз. Он боялся. Это не был тот страх, которого он жаждал. Он пугался себя, своих движений, резко внятных в одиночестве. Жизнь его тела вдруг стала всегда, каждый миг слышна ему, и это непрестанное слышанье себя точно со стороны, среди прикованных к одному месту предметов, в тиши толстых каменных стен — было жутко, как смех в гробу. Ему на воле часто казалось, что он не любит людей, что ему опротивела их возня, пачкотня, грызня друг с другом. Но теперь, впервые огражденный от их близкого дыханья, он напрасно старался с прежним отвращеньем вспомнить все зло, учиненное ими над его жизнью, многие от них полученные обиды и скорби. Он не забыл, как он сам и ему подобные, ближние и дальние, каждодневно надру-

гательствовали над добром, как все они, вихляясь и злобствуя, топтали, давили, убивали друг друга, как ненадежна немощная их любовь и как осмотрительна корыстная их ненависть.

Но теперь, в принудительной от них оторванности, настоятельно вспоминалось, что в несчастливой, болезненной и смертной человечьей жизни трудней было безнаказанно приласкать, чем ударить, и все же каждый тосковал по любви, отдыхал только под ее отсветом. И для самого Алибаева, прожившего больше враждой, чем любовью, нашлись любящие его и просто дружелюбные к нему люди. Их, а не обидчиков, он невольно часто вспоминал в тюрьме. Неожиданно сильно пожалел Клару, припомнил ласковость Клавочки, многих из партизанского отряда. За них он взъярился на Нехорошева, но ярость скоро остыла. Он не мог сейчас жить злобой, он встосковал по людям. Алибаев не понимал или бессознательно остерегался понять, что, оставшись с самим собой наедине, он оробел, как безнадежно робеет на свою погибель пловец, захлестнутый волной, как, оробев, падает с большой высоты ловкий акробат, усомнившийся в своей ловкости.

Эта робость — предсмертная боязнь души. За ней — только червивая пасть небытия, не прикрытая никаким спасительным живым обманом и не отвратимая ни хитростью, ни мольбой. Ощутив ее смрадную близость, Алибаев встосковал, что прожил мало и дурно, хотел повернуть назад в жизнь, что-то исправить, переделать, но не мог хотеть. И, проклиная, он не отодвигался, а тянулся в эту пасть.

Каждый вечер, завидев выраставшую на стене свою тень, мертвую, передразнивавшую каждое его движенье, заслышав тайное, уловимое только его мыслью шуршанье тишины, похожее на шум неторопливо ссыпаемой земли, он впадал в такое состояние совершенной тоски, что ему казалось — кровь свертывается в нем в холодеющие сгустки, слепнут глаза, голова тяжелеет непомерно, тянет долу все тело, и дышать уже нельзя. Холодный пот орошал лоб. Алибаев стонал, скрипел зубами, водил по стенам, по всей камере широкими зрачками жутких глаз, искал, чем убить себя, чтобы умерить, укоротить казнь.

За дверью послышался осторожный говор, потом звук повернутого в замке ключа, негромкое отодвигание засова, и дверь открылась. Алибаев вскочил, попятился назад, снова изнеможенно опустился на кровать. Он по-

думал, что ему померещилось. К нему приближалась Клавочка. Он сразу ее узнал, несмотря на мужичий чапан и шапку, но не мог ни поверить, ни понять, что она живая, настоящая проникла к нему. Клавочка подошла совсем близко, вгляделась в опухшее серое лицо с воспаленными полубезумными глазами, испуганно спросила:

— Ты что? А? Ты... ничего? Ты в памяти?

— Клава!..

— Да я же, господи! Что ты, не узнаешь, что ли? Как страшно смотришь.

— Я думал — мне привиделось. Как ты прошла? Тебя допустили?

— Ой, тише говори. Наверно, там слышно. Тайком, тайком пропустили. Я долго ждала, пока прошла проверка. Ну-ка, здравствуй, что ли. Испугал как ты меня. Да ну, обними,— я, я это, я!

Она внимательно осмотрела его всего, потом камеру, покачала головой, жалобно вздохнула и села рядом с ним на койку. Он не выпускал ее тела из своих рук, дрожащими пальцами гладил ее плечи, лицо.

— Ты что, все не веришь глазам? Ой, какой плохой стал! Напуганный какой-то! И потом уж очень прочернел лицом. Ну, знаешь, мне ведь сейчас же уходить назад надо. Кабы не попасться.

Алибаев не слышал ее слов. Он жадными неверующими глазами смотрел в ее неотметное миловидное лицо, потом вдруг рассмеялся затаенно, не разжимая рта. Клава поежилась, сдвинула тоненькие ровные брови.

— Да ты не молчи. Скорей говори, что тебе надо. А? Ты слышишь? Что тебе передать с воли? Или со мной чего накажешь?

Алибаев передернул плечами, встряхнулся, сказал торопливо и хрипло:

— Водки. Поскорей добудь, с утра завтра доставь. Маюсь, не чаю еще ночь протянуть.

— Да я знаю. Вот принесла, только очень мало, на груди, под кофточкой. Ой, как боялась!

Расстегивая пуговки, она шепотком скороговоркой рассказывала:

— Мужчина ведь взялся в камеру к тебе пронустить. Вдруг облапит, что тогда? Кричать нельзя — поймают, да еще с водкой.

— Ладно. Ты скорей. Глотку у меня захватило. Спирт что ль, у тебя или самогон?

Спирт, только мало. Вот, на... Тут все-таки по больше полстакана будет.

Алибаев выхватил у нее из рук плоский, довольно большой флакон из-под лекарства, прилип к нему губами, жадно глотнул. Клава схватила его за рукав.

— Ты не сразу. Ах ты, надо бы мне и рюмку за хватить. Гляди спьянеешь, долго постился. Эй не за дохнись.

Он тряхнул головой, оторвал рот от флакона шумно продохнул.

— Не учи, сам знаю. Дай-ко вон там в кружке на столе вода. Ну, вот выпил и закусил. Еще на глоток осталось.

Раздвинул руки, повел плечами, размялся и повернулся к Клаве. Она чуть подалась назад от его дыханья.

Ай сама не выпиваешь? Все еще трезвенница? Это хорошо! Кабы только ты не подлюга оказалась. Кто тебя нанял?

Ты что, от глотка одного спьянел, что ли?

— Ты, Клавочка, женщина хитренькая, сама бы поумней удумать могла, а послушалась глупыша какого-то. Я еще не вовсе здесь сдурел, хоть и спячиваю потихоньку. Подослали тебя с водкой... не тряси головой, знаю! Подкупить народ здешний весьма возможно Но шибко храбрых я не приметил, чтобы к такому подследственному, как я, в одиночку бабу с воли доставить взялись. Эдаких удалых здесь нет. Ну ладно. Спрашивай, чего спросить наказывали.

Клавочка зажала ладонями лицо, заплакала. Часто всхлипывая, она прерывистым шепотом объяснила

— Я давно ведь в городе кружусь, все свиданья добиваюсь. В гумзу в эту, как к обедне, с утра каждый день, из гумзы в чеку, опять в гумзу, ноги к вечеру поют. Какой-никакой, а муж ты мне или нет? Я-то ведь другого не заводила. Путался ты там много на стороне, а мне-то все-таки муж, и не по старому, а по новому закону... а я жена, не любовница. Как же мне не хлопотать за тебя?

— Погоди. Выспрашивать меня будешь?

— Да чего ты, в самом деле, Григорий? Женщина из сил выбилась, как бы повидать, как бы чем помочь, а ты меня встретил, как злодейку! Если я никак больше добраться до тебя не могла! Ты бы все-таки хоть то

оценил, что я, такая молоденькая, не бросаю тебя, забочусь, вот приехала. Арестовали тебя, всякого почета лишили, а я ведь не бросаю тебя, другого мужа не ищу. Ох, тяжело все-таки, Гриша, с тобой! Около тебя только и плакать я научилась!

Она вздохнула, пригорбилась, вытянула на коленях руки и опустила глаза. Темная длинная тень легла от ресниц на свежие щеки, опустились углы молодых ярких губ. Алибаев искоса поглядел на нее, вспомнил, что за время действительно тягостного с ним сожительства Клава не сказала ему ни одного сердитого слова. Откуда бы он ни возвращался, как бы ни был угрюм или зол, она всегда встречала его ясной улыбкой, оставалась неизменно ровна и приветлива. С простодушной безбоязненностью вверила она свое девичество человеку с невеселой славой доблестного убийцы и сожительствовала с ним как верная супруга, с легким целомудренным холодком, с мыслью о материнстве, но безотказно, и ни разу не оскорбила немолодого, некрасивого и даже нелюбящего мужа недовольством или грустью о другом. А ведь она очень молода, едва ли ей за двадцать. И щеки вот у нее еще по-детски округлые и плечи не наливные, а молодо суховатые. Алибаев почувствовал жалость к этой юности, зря захваченной им, большую нежность к несчастливой жене. Он осторожно, одним жестким пальцем коснулся ее руки.

— Ну, чего ты нахохлилась, птаха? Я не обижаюсь. То есть не на тебя обиделся. Скажи-ка ты мне лучше, как живешь?

— Да чего же, как мне жить? Вот постараться надо, чтобы ты вернулся. Я думаю, все-таки не могут не зачесть...

— Разве стосковалась без меня?

— А как же? Чужая я тебе, что ли? Наплакалась, очень боялась. Там такие рассказы по деревням ходят!

— А про Клару ничего не слыхала? Не поймали ее?

Клава обидчиво повела губами.

— Нет, убежала. Ты не сердись, Гриша, я, грешница, все-таки пожалела, что ее не добили в ту ночь.

— Да. Худущая, а живучая. Зачем же ты пожалела? Она тебе чем мешает?

— Боюсь, как бы не выкинула еще чего-нибудь, тебя бы не запутала.

— Я, милка, уж так позапутлян, что дале некуда. Умом вроде мешаюсь.

— Ну? Я боюсь... Как?

— Я вот тоже боюсь, только сам не знаю чего. Кабы ты сегодня водки не принесла, я бы как-никак, а покончил с собой. Ну-ко, дай-ко рученьки твои поглажу. Спасибо, пташка. Много я виноватый перед тобой. Не серчай, когда помру. Шибко я обрадовался не одной водке... Тебе обрадовался. Ну-к, стой, остаточек сглотну. Ух, хороша снадобья! Сердце мягчит. Степаненкова не видала?

— Нет. Хворает он. Говорили, что с той ночи все никак не выправится... Простудился, видно, сильно.

— И Шурка хворает. Краузе тю-тю! Вот оно, судьба-то как над людями изгиляется. Хороши люди за меня поплатились, а энтот лобастый, тля, насекомая, живет.

— Этот тоже, за тобой который приезжал, Богдановский — его фамилья,— он в отпуск отпущен по болезни сердца.

— Все ты знаешь, доглядчивая бабенка.

— Да как же не знать! Мне бы и не повидать тебя, кабы они здоровы были. Сильно они против тебя настроены. Вот тебе! А ты же их спас. Впрочем, лучше, что не бежал.

Алибаев шумно вздохнул.

— Ну, *тебя-то недаром допустили*. Ты чего им теперь скажешь?

Клава прижалась грудью к плечу Алибаева, обхватила его рукой за шею.

— Гришенька, миленький, а ты скандала не устраивай. Прошу тебя! Никогда ни о чем не просила, в первый раз прошу тебя, умоляю тебя... Муженек мой, Гриша, родненький! Не говори ничего, что догадался, а? Может, удастся еще увидеться. Я тебя выручить хочу, не мешай мне.

Алибаев, согреваясь ее телом, боялся двинуться, нерешительно поглаживал ее колено жаркой рукой, но ответил неприветливо:

— Я тебе не велю. Ничего больше не вымаливай. К смерти не присудят. Вот только в одиночке...

— Вот то-то и есть. Ты же с ума сойдешь. А мне обещали тебя в общую камеру перевести, если согласишься показанья дать.

— Какие показанья? Товарищей топить? Я убивать умею, а торговать людьми не пробовал. Не буду.

— Да каких товарищей! Нехорошев тебе товарищ? А? Если ты согласишься показанье давать, все равно какое, только обещаешь не отказываться от ответов, мы еще повидаемся. Гриша, ты подумай, много ли ты меня радовал? Гришенька, пожалей меня...

Алибаев тесно обхватил ее обеими руками, жарко поцеловал пересохшим ртом мягкие, влажные губы. Клава запрокинулась. Алибаев, тяжело дыша, наклонился над ней, отпрянул, поглядел налившимися кровью глазами на отверстие в двери, шумно передохнул и отодвинулся.

— Ну, что же, ну, Гриша? Так и погубишь меня ни за грош, ни за копеечку? Я все для тебя, а ты...

Алибаев встал, заходил по камере, то и дело кося на нее сумрачным, жадным взглядом. Потом остановился перед ней, постучал ногой в пол и хрипло сказал:

— Ну, иди, Клава. Чать, не на всю ночь допустили. Эх, облапил бы я тебя сейчас! Здорово ты мне сегодня желанная. И не то что только для блуда... Иди, жена, иди, бабонька. Пора.

Клава встала, обняла его за шею обеими руками, прижалась плотнее.

— Мы и на стороне у меня увидимся. Только не порти дела. Я же не уговариваю тебя против своих... В одиночке тебе нельзя. А тогда на работу будут водить, там увидимся. А?

— Ладно, иди, ластынька, иди. Я подумаю. Иди, иди... А то не выпущу.

У самой двери он больно сжал пальцами ее плечо и вплотную в ухо шепнул:

— А ты с начальниками гляди не блуди. Теперь я тебя за блуд не помилую. Помни.

V

Клавдя зажилась в городе. Закончила давно начатое вязанье крючком, сшила новые оконные занавески с этим кружевом и послала с попутчиком в свое село домоправительнице-тетке письмо:

«Дорогая тетя Маня! Благодаренье богу, хлопоты мои идут успешно, с пользой для несчастного моего мужа. До суда он теперь сможет находиться в более хороших условиях, часто на воздухе, вообще повеселее. А суд

выяснит, что Гриша не так виноват, как показался,— больше из-за своего беспокойного характера. Я на это твердо надеюсь, чувствую себя бодро и хорошо. Хорошо, что Степанида перешла жить к нам. Она старательная и работе и вообще нам подходящая. Главное — дальняя родня, никто не придерется, что мы пользуемся наемным трудом, когда мы содержим нуждающуюся родственницу. Но все-таки вы за ней следите, в амбар одну не посылайте. Ключ от амбара, пожалуйста, не забывайте прятать и вообще нарасхлебень ничего не держите. Человек даже не виноват, если вы его вводите в соблазн своей неаккуратностью. Напишите, пожалуйста, поскорей, доставил ли Семен Козырь супоросую свинью из Каин-Кабака. Тогда, с вещами, мне невозможно было ее взять, а он божился, что скоро доставит. Теперь она уж опоросилась, поросят он, конечно, не всех привезет, обязательно парочку-троечку украдет, но хоть бы свинья не пропала. Кларка-хохлушка в них толк знала, нашла очень хорошую. Так не забудьте, пожалуйста, написать мне. Если не привез,— я его и отсюда достану. Когда Парфен Алексеевич поедет в город — он скоро собирается, я знаю,— пришлите с ним ручную швейную машину, 2 пуда баранины, 1 — говядины, 10 фунтов свинины, 3 сотни яиц и полпуда масла. Приходится Гришеньке носить ежедневную передачу, а здесь провизия дорогая, и за деньги еще мало что продают, вещи разматывать не стоит. С Парфеном за доставку я сделаюсь сама, вы так ему и скажите, а то он вас обжулит. Ну, до свиданья, желаю вам доброго здоровья, крепко вас целую, буду ждать ответа. С сельчанами живите подружней, чтоб склока какая не произошла. От рябой Марфы держитесь подальше. Пусть в спину ругается, вы, очень вас прошу, молчите, не огрызайтесь. Пускай брешет, что я в городе живу для того, чтобы с чекистами путаться,— мне наплевать. Собака лает, ветер носит. Я не такая дура, чтобы по рукам пойти, на месяц регистрироваться, когда у меня муж есть и не собирается со мной разводиться. Вы стерпите, пока суд не кончился. Не надо ни с кем ссориться.

Любящая вас племянница *Клавдя.*

В начале письма я написала выраженье «благодаренье богу». Это, конечно, случилось по привычке. Я — жена партизана и все-таки как-никак большевика — не могу верить в бога, да и не верю. Но вам мож-

но в церковь ходить. Ничего, это нам не повредит, вы — старенькая, вас уже невозможно переделать. Пишите ответ поскорей, но все-таки повнимательнее. Очень много букв пропускаете, я с трудом разбираю слова. Еще раз целую вас крепко и желаю всего лучшего.

К. А.»

Клавдя облегченно вздохнула, закончив письмо. Сладко потянулась, прижмурила глаза, но, вспомнив, что пора собирать узелок для передачи, быстро вскочила со стула. Посмотрев на часы-будильник в изголовье кровати, мысленно выбранила себя:

«Дурища, расселась! Уж пять минут второго, еду надо к двум, а шагать-то вон сколько. И волосы не подвила еще. Фу, как время бежит, никак не успеешь все сделать. Ну, пойду побыстрей. Далеконько до вокзала! Ох... Много все-таки с моим Алибайкой хлопот».

Семнадцать человек — бывших офицеров, молодых мужиков из нехорошевских заговорщиков, наиболее здоровых на вид и степенных работящих уголовников — были переданы в распоряженье транспортного отдела политохраны для производства неотложных работ по восстановлению железнодорожного движенья. Перед самой отправкой неожиданно для тюремного начальства высшим распоряжением был причислен к ним Алибаев. В конце города, у вокзала, наскоро подремонтировали обветшалый арестный дом. Вместо поломанных в окна вставили новые железные решетки. У ворот выросла некрашеная, свежо пахнущая деревом караульная будка. Такие же молодые, веселые нависли ворота в прорыве седого, ощеренного меж досок забора. Арестанты, приобщившиеся в прогулке через город к нетемничной людской жизни, ввалились в них со смехом, с прибаутками, весело. Алибаев с усмешкой, широко обнажившей желтые, прокуренные зубы, подмигнул на будку и на ворота, крикнул:

— Правду в газетах пишут, покончали разрушать, строиться зачинаем!

Безбровый круглолицый солдат громко засмеялся в ответ, но быстро вспомнил, что он — охрана, покосился на других сопровождающих, мотнул винтовкой и пригрозил Алибаеву:

— Я те позубоскалю! Пролезай, что в воротах задерживаешь?!

Алибаев дружелюбно взглянул на него, ласково отозвался:

— Не серчай, сынок. Зазевался маненько.

На шатких, разбитых ступеньках входа он опять призадержался, поглядел на белесое небо, на притоптанный, загаженный людьми снег у крыльца, снова широко усмехнулся, хлопнул ласково по спине идущего перед ним и вошел в душный дом с железными решетками, как домой после томительного странствования.

Дом разделялся только на две половины. В одной стояли два длинных стола и одна тяжелая, во всю стену, скамья. Меж двух окон висел криво прилаженный, замызганный, исцарапанный телефон.

Здесь ранним утром и на ночь вместо ужина пили компанейский чай. Кипяток давался казенный, а заварка своя, собранная из передач. На дворе грели дежурные чурками медный с прозеленевшими боками самовар. Обедали на работе. Другая половина, совершенно пустая, даже без нар, служила спальней. В изголовье под окнами в ряд вытянулись узелки, мешочки, мешки и сундучки с пожитками. Посредине, во все помещенье, положена была солома — общая постель. В обеих половинах под потолком плохо светили маленькие электрические лампочки, по одной в каждой. Но пустой, без строений двор был сильно освещен. Там и на улице сосредоточивалась охрана. Караульный начальник на ночь устраивался на столе.

С семи утра, до темноты с полуторачасовым перерывом на обед, арестанты заняты были тяжелой физической работой на железной дороге. Грузили, разгружали вагоны по уроку — определенному количеству пудов в назначенное распорядителем время, таскали на носилках по крутым всходам глыбы льда в холодильник, ворочали камни и бревна. Целый день на ветру, на предвесеннем озлившемся холоду, редко — под крышей, в своей, из дому еще взятой, у всех плохонькой одежде. У кого и была хорошая — в тюрьму с собой не взяли. Правда, в натуге холод донимал меньше всего. Но все-таки семеро — четверо из офицеров и трое из нехорошевцев — на пятый день работы сданы были в тюремную больницу в жестокой застуде.

На чрезмерную тяжесть работы не жаловался только Алибаев. Слабосильней многих, давно отвыкший от физического труда, он обливался потом под ношей, шумно, с хрипом дышал, часто сплевывал со слюной кровь. Возвращаясь, чуть двигал разбитыми, ноющими в костях нога-

ми, со сгорбленной, затекшей спиной. По утрам и ночью, вставая на работу и ложась после нее, каждодневно он ощущал радость. Точно выздоравливающий после длительного беспамятства в хвори, заново видел вещи и живое — в их изначальной большой ценности. Под пакостной коростой дурных слов, злобы, скотского поведения он в окружающих, как собака нюхом, слышал теперь человека. По природе своей навсегда обреченный страстям, он и добро кощунственно воспринял как страсть. Как убивал и насиловал, так же стал благодетельствовать. Недоедая сам раздавал другим грузную Клавдину передачу. Даже большую половину доставляемой изредка водки дрожащей рукой отливал другим. Постоянно отбывал дежурство по казарме за ленивых. Навязывал всем свою помощь. Им стали помыкать. Он без разбора уважал и прохвоста и честного, его уваженье стало вызывать в других гадливость, как пресмыкательство. Начал Григорий часто заговаривать проникновенно о любви к ближнему. От волненья у него отвисала, мокрела нижняя губа, и смотреть на него со стороны было неприятно. Голос всегда ласковый, улыбка в ответ на брань надоели всем арестантам за полтора месяца совместного пребыванья — до отвращенья к нему. Нехорошевцы, в разговоре между собой, дивились, вспоминая прежнего Алибаева. Мефодий Долгов объяснил:

— Чего ж, повихнулся в уме, блаженным стал. Теперь время такое, некуда эдакого пристроить. Раньше, пока монастыри неразоренные были, он бы деньгу хорошую для обители зашибал. Божий сделался человек, а бог-то под запретом,— куда же ему деваться? И нам его надо терпеть, чего же!..

Степан Кухарев, сплюнув, заключил разговор:

— Беда! Чего с человеком случается! Кабы не знал сам, и сроду бы не поверил. Какой ведь орел был!

Клавдя на свиданьях подозрительно вглядывалась темненькими острыми глазками в его лицо.

— Ты не хвораешь, Гриша? Я похлопочу в больницу тебя. Что-то очень уж ты ласковый и разваренный какой-то.

— Брось, мне хорошо. Вот только ты очень устаешь. Заморил я тебя, пичуга. Ехала бы ты домой.

— Гришенька, я радуюсь, что ты теперь внимательный ко мне такой. А все-таки думаю... Право, хвораешь ты.

Свиданья здесь не разрешались, но допускались по человечеству самой стражей рано утром до увода на работу и вечером по возвращенье в любой день, если караульный начальник не был чем-нибудь расстроен или обозлен. Происходили и в столовой, и во дворе, и в сенях — как удобнее казалось охране.

Транспортный отдел ГПУ возглавлялся длинным сухощавым неразговорчивым человеком. Некогда он отбывал каторжные работы на царском руднике. В разговорах уклонялся вспоминать это время, но помнил о нем хорошо. Знал, что илоты бунтуют только тогда, когда отдушины тайных поблажек наглухо закупорены. Начальник наложил запрет на свиданья, но сумел сделать так, чтобы нижние доглядчики догадывались его неопасно нарушать. И заключенных радовала уверенность, что им сочувствует непосредственное начальство, относится к ним по-человечески, с доверьем, рискует, допуская запрещенные свиданья с близкими. И это обстоятельство рождало особое отношение к начальникам, в конце концов выгодное для надзора. По особому тюремному закону нравственности арестанты сами связывали, ограничивали себя, оберегая подвергавших из-за них себя риску надсмотрщиков.

Один Алибаев сомневался, что это попустительство без подвоха. Но, предавшись добру, считал эти мысли отрыжкой прежнего зла и сообщил их однажды только Егору Кудашеву.

В первый день пребыванья в этом арестном доме они хорошо встретились друг с другом. Как ввалились гурьбой в помещенье, молодой сероглазый парень с белокурым пушком над большим алым ртом, с черной родинкой на правой щеке повернул за плечо Алибаева лицом к себе. Приветливо сказал:

— Вон какой он есть, Алибаев!

Григорий лукаво подмигнул.

— Слыхал, значит, про меня?

— Как не слыхать! У вас что же, вещей-то никаких при себе, всего и осталось богатства, что этот тулуп?

— Хватит. Нечего хоромину-то загромождать. Ну, будем знакомы. Я и место займу вот тут, с тобой рядом. Ну, шабер, как зовешься-величаешься?

— Егор Кудашев. Егор зовут.

— Кудашев! Слышь-ка, а ведь у меня для тебя поклон в котомке давно закладен. Вот, волк меня заешь, как это я забыл. Брат твой, Леонтий Кудашев, тебе кланяется.

— А где же вы его видали?

— Давно виделись, память с того дня отшибло у меня. Велел он постараться разузнать об тебе, помочь обелиться в деле-то в нашем в бандитском, а я как в одиночке рассиделся, так и рыло от хороших людей в сторону. Забыл, понимаешь, совсем запамятовал. Как отшибло!

— Какое же с вашей стороны может быть обо мне старанье, коль рядышком оба в клетку захлопнуты?

— Нет, нет, это я еще мозгой раскину! Постой, с другими сватьями надо обнюхаться. Что за народ? С тобой еще, соседушка, набеседуемся.

Набеседовались они вволю. Алибаев узнал, что Егор Кудашев, действительно, зря запутался, но очень крепко. Доказать его невиновность трудно, так как он сам не захочет до конца все нити распутывать. По сбивчивым и неоткровенным его рассказам Алибаев чутьем докопался до правды. Обстоятельства перепутались необычайно.

Егор Кудашев жил в семье старшего их с Леонтием брата. Тот с партизанской войны до сего дня еще не вернулся домой, но, по верным слухам, был жив, находился где-то за Питером. Ушел он с белыми, потом будто бы *попал в плен к красным, с ними в рядах сражался* — не разберешь, с кем из них содружествовал по своей охоте. Егор остался в избе с его женой и двумя братниными малолетними детьми. Жена братова, молодая, смелая и здоровая, хорошо управлялась по хозяйству и без мужа. Егором как наймитом помыкала и была в доме главой. Мужа своего она очень любила, сильно тосковала по нем. Но она была уверена, что он за белых, а не за красных. Юный, очень душевный Егор сперва просто подчинялся снохе, потом, по-видимому, привязался к ней чувством более горячим, хотя грешной связи между ними не было. Из-за недосягаемости своей сноха сделалась для него как солнышко на небе. Дороже всего и ясней всего. Он верил каждому ее слову, выполнял все ее желанья. В самую распутицу попросились к ним два проезжих человека переночевать. Потом остались дней на пять, ждали, пока вода долами схлынет. Старшего Егор знал как Алексея Климова, ездившего от своего села в город с каким-то ходатайством в земотдел. Был же на самом деле он атаман Нехорошев. Про заговор Егор Кудашев ничего не слыхал, сам и мыслями и настроеньем почитал Советскую власть своей, стоял за красных. Как ни был мягок по молодости, не поддался бы на заговор, хотя бы и сноха

упрашивала. А после, как явились чекисты с обыском, нашли запрятанные охранные бумажки на имущество семьи этих Кудашевых с печатью организации Нехорошева и такое же письменное запрещенье мобилизовать принудительно Егора Кудашева в случае наступленья особого отряда атамана Нехорошева. В огороде разрыли бомбу. Сноха перед этим незадолго очень странный разговор вела с Егором. Теперь его он только понял. Она была виновата, но уж на попятный ладила, расчухала, что дело не выйдет. Когда производили обыск, она сильно перепугалась, что ее заберут от детей. Но заподозрили Егора Кудашева, забрали. Выдать сноху с головой он не мог, а иначе оправдаться ему никак было нельзя. Егор в рассказе выдал ее странно настойчивыми завереньями, что она *тоже* ничего не знала. Алибаев решил сообщить следователю про этот распутанный его личной сметкой узел, но услышал ночью один раз, как во сне Егор окликнул сноху по имени, а потом затосковал, заметался по нарам. Наутро от Кудашева держался в стороне, сердито его обрывал, а при свиданье с Клавдей через нее заявленья начальству, как собирался, не передал. Утешал себя мыслью, что его заступничество едва ли засчиталось бы в пользу Егора.

Один за другим незаметно в месяц выросли дни. Алибаев всем опротивел, но Кудашев от него не отодвинулся. В революционные праздники, когда не водили на работу, Егор читал вслух Алибаеву книжки из тюремной библиотеки. Сначала читал рассказы. Но все попадались новые, недавно напечатанные — про белых и про красных, про житье при Советской власти, очень странно, непонятно и скучно написанные. Стали тогда вычитывать из политических брошюрок. Обоим это показалось занятнее. Но Алибаев не все понимал и попросту смотрел в рот Егору, думая о своем. Егору один раз дали свиданье. Приезжала сноха, и он в этот день дышал как в лихорадке, ни с кем в камере не разговаривал, и для Алибаева это был единственный ощутимо тягостный день в его новом настроенье.

Алибаеву казалось, что он теперь всех людей любит просто за то, что они люди. Но он бессознательно хитрил перед собой, не замечая, что Егор действительно полюбился ему всей своей ухваткой. Кудашев хорошо примечал все вокруг, действенно всем интересовался. Не иконоборствуя, как Алибаев, он не боялся жить своим умом, стойко противоречить всему, чего он не хотел при-

нять. Был худощав, легок и вынослив. Поднимая на работе тяжелый груз, всегда устраивал его на спине особенно ловко. У него не было лишних движений, обременительной мужичьей неуклюжести. Никто не учил деревенского парня, как от них отделаться. Он сам, зорко глядя вокруг, заприметил их у других, нашел манеру двигаться, дышать, сберегая силу и время. Сделанные им ошибки не повергали его в унынье, не сбивали с панталыку. Он обращал их в пользу себе, как птица сопротивленье ветра для полета. Только в первом своем чувстве к женщине он оказался тяжело опрометчив и не мог еще из этой беды выкарабкаться. Алибаев, лежа рядом с ним на полу, спросил его как-то ночью:

— А что, Егор, Кудашевы русских кровей?

— Ыгы... А что?

— Глядел я все, сколь ловко ты ложишься, встаешь, и подумал — словно бы ненашинского народу ты человек. Шибко уж деляга. Догадливый, как жид, а спиной крепок, как русский. В человеке крови всегда обозначаются. Вот во мне русская от матери все-таки к старости отцову передолела. Жалостлив я стал, доходчивый до чужой туги. И сердце полегчало, совесть понятлива сделалась.

— Ну и зря. Блажишь ты не от матери, не от отца, а сам от себя. Дурачком сделался по доброй воле.

— А по моему сердцу, я только теперь и заумнел. Вот сейчас усну, когда злобы грех поменьшал во мне. А то спать не мог.

— Может быть, ты просто спился, ослабел. Пройдет еще это с тобой. Настоящие-то блаженные, все-таки правда, тронутые умом бывают. Я про тебя никак все-таки не думаю, что ты глупой.

— А я про тебя не сдогадаюсь хорошенько, умный ты или не вовсе умный, а только правильный. Действительно, правильный. А Леонтий, твой брат, тоже правильным мне показался, да все-таки не так.

— Вот тот правильный. Никакого правила не нарушит, раз оно ему втемяшилось. Сноха была, сказывала, что он в городу, здесь. А не пришел наведать, потому что здесь не по правилу, с обманом свидаются.

— О!.. Это уж и вовсе немец. Я на пленных немцев нагляделся, а то еще у колонистов бывал. Нет, есть к русским кровям у вас подбавка какая-нибудь немецкая. Перемешался теперь народ. Оно и хорошо. Новый приплод,

может, получшее выдет. Нашинское племя перед старым хилявое, а эти, может, опять на поправку.

— Спи. Сегодня отпраздновали, завтра на работу. Задышишь опять, как паровик. Отдыхай.

Зима раздрябла, расхлюпалась. Небо нагрузло водой. Снег падал вперемежку с дождем. В сырости работа сделалась еще трудней. Обедать сели под запасным навесом для клади. Издрогшие, измокшие, сбились тесно, пасмурной тучей. Нехорошо смотрел и был вял даже Егор Кудашев. Всю последнюю неделю он на себя непохож.

«Тяжелое в мозгу поворачивает»,— думал, наблюдая за ним, Алибаев.

Сегодня он ни за кем, даже за Егором, не мог заботливо следить. Кашель разбил всю грудь. Ныли плечи, то и дело туманилась голова, жаркие искры прыгали, мельтешили перед глазами.

К навесу подошел невысокий худой солдат со шрамом через весь лоб, в грязной шинели до пят. Он был безус и безбород, но немолод. Мелкие морщины пересекали переносицу, бороздили виски. На изуродованном лбу желтая, увядшая кожа. Десять человек, охранявшие арестантов, сбились своей кучкой тоже под навесом. Один из них взглянул на подошедшего, повернулся к нему всем корпусом.

— Ты чего?

Тот хриплым голосом спросил:

— Братцы, товарищы, а що, не знайдется у вас лишней краюшцы хлеба?

— Во, видали! Явился гость! Разве можно солдату побираться?

— Та який же я солдат! Недужный инвалыд. Бачишь сам — витром качае. К батькам помырать иду.

— Помирать не надо далеко ходить, везде можно.

— Було б не надо, кабы враз смерть, а то дыхаю, исты-ниты прошу.

Солдаты охраны поглядели друг на друга. Старший как раз жевал. Он отломил от своего куска и протянул пришельцу. Спросил:

— Откудова же ты идешь?

Солдат взял хлеб, вяло ответил:

— Сдалека.

И отошел. На ходу оглянулся, посмотрел на арестантов, скрылся за станционной больницей.

Старший передернул озябшими плечами, встал и начал переминаться с ноги на ногу. Солдат, сидевший поближе к арестованным, нехотя выговорил:

— Брешет, что солдат. Побирушка.

Старший равнодушно ответил:

— А пес с ним. Плохой, правда, хворый, видать. Ну, кончать еду надо, до вечеру мало время остается. Ты что какой сизый и трясешься весь? Хвораешь?

Алибаев, глядя мимо его лица, ответил сквозь зубы:

— Лихорадка трясет. Ничего, разомнусь.

— Ну, ладно, двигайся.

Алибаев не мог не узнать Клару. Узнали ее еще двое из арестованных. Оба они переглянулись друг с другом. Посмотрели на Алибаева, но тот отвел глаза. У него все захолодало внутри — не от испуга, а от жалости.

«Вот дурища! Несусветная дура! Чисто сучонка шалая, сама под руку подскакивает. Лучше бы ее тогда прикончили, сразу бы отмаялась».

Когда вернулись в арестный дом, двое, тоже признавшие Клару, по очереди урвали минутку спросить его о ней. Он обоим ответил:

— Ничего не знаю. Расхварываюсь, голова мутна, не разглядел. Чать, то вы в кого другого вклепались. И, как говорит, не расслыхал. Не знаю.

Укладываясь, Алибаев слышал, что его окликнул Кудашев, но не отозвался. Поглядел в темное плачущее окно, подумал о Кларе:

«Где она ночует-то? В эдакую непогодь да не под крышей. Худо! Ах, дура, дура».

Заснул скоро. Потом ему показалось, что он проснулся, поспешно открыл дверь, пошел по длинным, ярко освещенным, но совершенно пустым и незнакомым коридорам на улицу. Шумел дождь, хлюпала грязь, но было очень светло на улице, и он бежал быстро. Дождь не мочил его одежды. Как-то сразу очутился в церкви, при ярком свете люстры, восковых свечей. Пел невидимо где очень монотонный, похожий на шум дождя хор. Но Алибаеву пенье казалось радостным. Он стоял рядом с Кларой. Их венчали. Лезло в глаза чернобородое лицо священника, но Алибаев все отворачивался, чтобы это лицо не мешало ему видеть Клару. И он повернулся боком к священнику, увидал ее синие глаза, удивительный сияющий взгляд — и весь задрожал от любви, восторга, странно смешанных с такой мучительной тоской, что дыханье остановилось.

Чтобы не задохнуться, он хотел крикнуть громко-громко, но голос ему не повиновался, и он застонал. Вовсе это не церковь, а широкая равнина. Не видно ни травы, ни цветов, она вся синяя, и вверху в небе синева эта так ярка, что глаза режет. Он идет по ней один, но знает, что близко где-то Фрося. Опять его пронизал сладчайший трепет любви и боли, стиснул сердце...

С огромным усильем, с натугой закричал и проснулся, услышав свой крик. Он лежал на спине, и прямо в лицо ему светила лампа. Щеки были мокры. Алибаев поднялся, стал скручивать папиросу; руки тряслись, и он долго не мог свернуть ее как надо. Боясь смотреть в окно, но то и дело в него взглядывая, выкурил две папиросы, жадно затягиваясь, потом завернулся в тулуп с головой и опять лег. Больше уже не заснул до вставанья.

Алибаев был один в спальной половине. Все ушли в другую — обедать. Разговор оттуда доносился более веселый, чем в ближайшие прошлые дни. Сегодня, в день празднования Парижской коммуны, арестантам дан был отдых, на работу не водили. Она в последние дни всем показалась особенно тяжелой. Погода стояла переменная. С утра сверху оседала теплая сырость. От нее хилел снег и чавкал под ногами, промозглый воздух забирался в поздри и в рот, вызывал маятный кашель. Потом вдруг холодало. Студеный ветер замораживал мокреть. Носили тяжелую кладь по заледеневшим, скользким сходням. Отсыревшая одежда во время передышки в работе быстро отнимала тепло разгоряченного движеньем тела. Троих сдали в больницу, заменив их новыми, никому не известными арестантами, жителями дальнего какого-то места. Они, внове, часто сокрушенно вздыхали, жаловались на свою участь, искали в других жалости, сочувствия. Никто им не посочувствовал. Здесь мало было жалостливых.

Алибаев заново переменился. Он стал очень молчалив и хмур. Больше не кидался помогать другим. Назойливой услужливостью уже не надоедал, хоть и не огрызался, не спорил ни с кем, отвечал несердито, когда ответ от него требовался.

Сегодня, в день отдыха, приезжал из города оратор по путевке из губкома. Он делал доклад о международном положении и значении новой экономической политики. Арестантов его наезд развлек и оживил. Один Алибаев отнесся к нему безучастно. Сидел все утро

на полу, поджав под себя ноги, и настойчиво думал о своем. Темные глаза его поблескивали по-ястребиному. Сейчас он, казалось, уснул, завернувшись в тулуп. Но как только хлопнула дверь, тайком посмотрел: кто? Вошел Кудашев.

— Ты что же не обедал?

— Егор, погляди, где Щука?

— Во дворе. Офицеры дрова колют, он им помогает. Я сейчас оттуда.

— А мужики? Другие-то где?

— В той половине, там печка топится, теплей, здесь шибко холодно. А што?

— Чего же делать? А?

Кудашев подошел к двери, прислушался и подошел к Алибаеву.

— А ты что же, на попятный думаешь? Сгубить нас всех хочешь?

— Я за тебя, Егор, пуще всех опасаюсь. Главное, не верю я, чтоб дело вышло. Кларка ведь дело-то ведет, никто другой. Она отчаянная шибко. Вылезет где надо. Как в прошлый раз.

— Так чего же? Она показалась вам, чтобы письму поверили. Ведь опасались, что обманное. И день хорошо выбрала. Узнали только те, кому надо было узнать.

— То-то, они ли только. Да и сомневаюсь я...

— В ней?

— Сама-то она в пекло полезет за меня...

— Вот ты это понимай, что и нас вызволяют только из-за тебя, не пяться назад. Я передумывать не согласен. Все равно — один, безо всякой подмоги, а убегу.

— Да ведь ты раньше не думал. Каюсь я, что тебе рассказал. Ты меня и с панталыку-то сбил, я бы не согласился.

— Думал я и раньше, да зацепки не было. А теперь все равно, больше не могу. Силы тратим, надрываемся в работе, а конец для меня плохой ожидается. У меня ведь нет боевой заслуги, я в своем дворе топтался. Ну, а смерти дожидаться сидеть мне неохота. Значит, надо спасаться.

— Ну, а поймают тебя — тогда не спасешься.

— Не поймают. А поймают, так что же? Нельзя же не пробовать от смерти уйти. Жив останусь — и виноватость свою избуду. Через годок-другой по-иному и об деле нашем судить будут, а сейчас горячо, а я в первых чис-

побег необходим,— надо согласиться. Егор думал о годах заточенья, о подневольной, не в радость себе, работе, о возможной безвременной и постыдной смерти и, содрогнувшись, ухватился за мысль о побеге. Теперь его невозможно было разубедить.

День побега был назначен в субботу, из бани. Водили их по окончанье работ каждую субботу вечером по десять человек. В эту субботу собрались только Алибаев, Кудашев и пятеро мужиков, названных Кларой. Но перед самым уходом к ним неотвязно пристал Щука. Новенький, которому не доверяли. От него удалось скрыть замысел. Присутствие его в бане усложняло дело, но отвязаться от него не удалось. Сопровождали их трое солдат. Один — тот, что передавал первое сообщенье от Клары, их соумышленник. Он остался караулить у двери номера в коридоре. Два других сели в предбаннике, где разделись арестанты. У одного из мужиков, самого смиренного вида, были запрятаны под одеждой веревки. Он замедлил раздеваться. Один из солдат спросил:

— Что же ты? Кого ждешь?

Мужик замотал седой кудлатой головой.

— Что-то в грудях задавило. Отдохну, посижу маленько.

Щука раскрыл рот, прислушиваясь, но Кудашев крепко обхватил его за плечи и потянул в баню.

— Чего встал на дороге? Пойдем, пойдем.

Сзади надвинулись остальные, и все гурьбой ввалились в баню, хлопнув дверью. Караульные сели на диван и стали свертывать папиросы. Отставший от других мужик начал раздеваться.

В бане Щука только что принялся смачивать голову, как сзади на него прыжком налетел Кудашев. Втиснул его голову в шайку и налег всем телом на него. Дверь в предбанник распахнулась. Караульные не успели двинуться, как шестеро здоровых мужиков навалились на них. Рот им заткнули грязным бельем. Четверо держали, двое раздевали. Сняв с них солдатскую одежду, их связали и внесли в баню. Там скрутили и Щуку. Он уже перестал извиваться в руках Кудашева. Был в обмороке. Кудашев и еще один мужик быстро оделись в снятую с караульных амуницию. Остальные надели свою одежду. Кудашев огляделся:

— Все готово? Двигай.

И взял винтовку в руки. Тут только увидел, что полу-

одетый Алибаев, с лицом иссиня-красным, пошатывается на ногах.

— Алибаев, ты что?

Тот ничего не ответил. С трудом поворачивая налитыми кровью глазами, понятился, согнулся и лег на пол. Кудашев наклонился над ним. Он невнятно забормотал что-то несуразное:

— Хорек, хорек...

Кудашев побелел.

— Братцы, что же делать?

Седой кудлатый мужик дрогнувшим голосом ответил:

— Он не в себе. Я за им даве глядел, он нехорош мне показался.

Алибаев перемогался давно. Сегодня ему с утра было особенно худо. Он с трудом передвигал налитыми тяжестью ногами, но большим напряжением воли заставлял себя ходить, понимать, что делает. В бане, когда охватил его со всех сторон жар, он уже плохо видел и покачивался. В предбаннике, пока связывали караульных, на миг опамятовался. Но это напряженье было уже последним. Явь ушла из его глаз и слуха, он впал в беспамятство.

Кудашев раздумывал недолго.

— Ни вывести, ни вынести... Бьется в руках. Нука, скорей рот, рот ему... Он закричит. Что же делать? Эх-эх! Ну, нам передумывать поздно. Вяжи и его.

Кудлатый мужик тоскливо шепотом спросил:

— А чего же мы там скажем? Из-за его они больше старались, не из-за нас.

Егор махнул рукой.

— Что есть, то и скажем. Некогда теперь, поздно передумывать.

Он приоткрыл дверь и позвал стоящего у дверей. Из номера вышли пятеро в сопровожденье трех часовых.

Беглецов переловили в одиночку. В условленном месте не нашли они ни подвод, ни обещанных верных людей, и убежать далеко им не удалось. Только позднее стало известно, что в Каин-Кабаке в это время шла своя кутерьма.

Зима трудна выдалась для Каин-Кабака. Нужно было любовное упорство в труде над их неудобной пашней. Каин-кабакцы и в прежнее время не надсаживались над

полями. За войну отбились вовсе, разленились. И земля, как опостылая жена, рожала мало и худо. Иного промысла, отхожей работы поблизости не было. Волей-неволей приходилось тужиться по крестьянству. В ближайших соседних землях савеловских и копыловских хуторян озимь этой осенью, как щетка, вышла густа. У них же нехороша почти на всех пашнях. И еще от хозяйского недогляда или уже так — беда не ходит одна — напала хворь на скот. Чуть не каждый день на дворах по очереди бабы выли над подохшей животиной. И окрест над падалью в пустынном осеннем поле во множестве кружились беркута-стервятники, вертлявые сороки и жирное воронье, справляя пир. С холодами по людям пошла болезнь. В закромах заготовлено оказалось мало запасу. Еще до святок не дошло, каин-кабакцы уже доедали хлеб.

Раньше, пока ночная беда не прихлопнула алибаевский двор, жителям Каин-Кабака жилось тревожней, но и веселее. Перепадали с того двора и дары и подмога. Оттого сначала, когда забрали Алибаева, мужики густо загудели в гневе. Но вслед за Алибаевым взяли в тюрьму еще хозяев со многих дворов, самых охотливых на драку мужиков. Бабы подняли вой, сокрушаясь о детях, и робкие отцы семейств притихли. По-прежнему горячо о нем беспокоился, корил хуторян за бездействие только Васька Сокол, одинокий молодой мужик. У него жена и сынишка недавно померли. Он о них меньше сокрушался, чем об Алибаеве. Ему первому о себе весть подала Клара. С ним вдвоем они взбодрили сторонников Алибаева не только в Каин-Кабаке.

Вечером, накануне того дня, когда подбитые Васькой Соколом люди, во главе с ним, должны были явиться в назначенное место, бабы побежали гурьбой в избу Филатенковых. Матвея Филатенкова забрали по нехорошевскому делу одним из последних, недавно. Баба осталась на сносях, с пятью ребятишками на руках. Старшему сынишке всего одиннадцатый год, он и справлялся за хозяина. Евдоха Филатенкова, тяжело поворачивая огромный живот, сегодня собирала сына на мельницу. Мука вся кончилась, у соседей взаймы просить и совестно уж, да все-таки просила: в трех дворах отказали — самим никак не удается смолоть. Пришлось сына справлять на мельницу. Вдвоем с малосильным парнишкой насыпали и стащили на дровни зерно. А через час после этого Евдоха закорчилась в страшных, еще

обывалых ни от одного из детей родовых муках. Бабушка оклетея замаялась с ней. Вытирая трясущейся рукой от с лица, говорила собравшимся в избе:

Ну, бабы, ничего больше не могу. Умаялась, чисто сама рожаю. Заговор, видно, сделан на брюхо ем нибудь со зла.

Серолицая баба с глубоко запавшими глазами ответила ей слабым голосом:

Эх, баушка, на всех на нас тот заговор, из-за его и мужиков в острог посажали, и бабы родят неблагополучно. Я вот какая удалая допрежь родить-то была, а в нынешни года другого мертвенького скинула.

В ночи избу допоздна освещал с потолка маленький огонь пятилинейки. В кольце налегшей бабьей толпы на скорбном своем ложе лежала мертвая неразродившаяся Евдоха. Огромный живот возвышался над поверженным бездыханным ее телом как напоминанье об ее последней житейской тяжести.

Та же серолицая женщина, увидев его, затряслась и страстно взголосила:

— Сестрицы, бабоньки! Мужики отстраждалися, отвоевались, ждали бабы радости, работать без надсадушки, детей растить с родителем. А и где же те родители поцевалися? Ой, тошно мне, тошнехонько, ой, бабоньки...

Она горько зарыдала, оборвав слова, и повалилась на кровать, лицом в ноги мертвой Евдохи.

Бабы, плотней сбившиеся в избе, завсхлипывали в ответ. Взвился и громкий плач. Высокая рябая баба сурово его перебила:

Будет, бабы. Голошеньем здесь делу не поможенешь. Он страждал, воевал, а мы, что ль, не маялись? Он то наехал, с нами полежал, встал, отряхнулся да ушел, дело не дело, в драку в новую. А детей кому поднимать? В хозяйстве кто ворочать будет?

В ответ поднялся сполошный бабий шум. Жалобы, причитанья, плач наполнили избу. Обычно окружала мертвого строгая, уважительная тишина, нарушаемая только установленным причитаньем. Теперь обида и устройство живых отстранили мысль об умершей. Рябая баба сильным своим голосом опять покрыла общий крик:

Теперь, если мы сами не вступимся,— пропадать им и детям. Чать, не я одна дослышала, что Васька Шово подбивает.

— Мама-а!.. Ой, мама, ой-ой-ой!

— Стой, бабы, расступись. Эй, Степанида, это Гришанька твой. Степанида-а!

— Что ж, что мой! Пущай давят! Пущай всех подавят! Отец-то думает об их? А? Кто об нас подумает? Кто об нас постарается?

— То за большевиков ходили — наши, мол, наши. Ну, ладно, мол, наши. Как ни то перемогусь. Своими крылышками прикрою... Выстаивай за своих.

— И я, я тоже не отказалась. А теперь чего же, и это не свои. Да кто же тебе свои? Со всеми и будешь драться весь век.

— Кто с Алибайкой водился, кто от его наживался, тот пусть и вызволяет...

— Да, как раз! Нахлебники-то алибаевски, башкиры, казачишки-то, небось первы смекнули, поукрывались.

— Да что Алибаев? Опять, что ль, кто за Гришку собирается? Да скажите, милые, да не майте меня. Чего опять про Гришку?

— Васька Сокол на выручку...

— Они, соколы-то, взовьются да улетят, а отвечать опять воронам придется.

— Эдакому соколу перья-то повыщипать, башку набок пора.

— Да стойте же вы! Ой, да голубушки, ой, сестрыцыньки! Айдате не сдавайте. Соглашались мы на большевиков, пущай и будут большевики.

— Вон Евдохины-то дети воют на печи. И наши так же будут. Который год одни всю работу ворочаем.

— Работу за их ворочаем и рожаем опять же мы. Кабы они родили, дак узнали бы...

— Стойте, бабы! Угомонись. Ну, стой ты, зевластая! Третий год всего замужем, а всех забивает.

— Да я на третьем-то на годе, может, за двенадцать твоих...

— О-ох, сердечушко! Да и как я в свою избу взойду, да и как я гляну...

— Сто-ой! Кто чего слыхал, ну? Отколь узнали, что мужики затевают?

Рябая баба звонко отозвалась:

— Я подслухала. Не спалось долго с вечеру...

— Эй, потише... Ну-к, стойте. Чего она говорит?

— Да громче ты!

— Рассказывай, Феона, говори...

— Вышла я во двор, гляжу, за плетнем по нашему огороду кто-то крадется. Я было кричать хотела, да одумалась. Вижу — мужик, а на дворе-то я одна. Ну, гляжу, гляжу: Васька Сокол. А за им еще. Трое эдак друг за дружкой. Тут я и смекнула. Не иначе опять — на драку заваруха. Стой, думаю, догляжу. Они по-за амбарами вместе пошли. Я близко-то не могла. Но слыхала: Кларку поминали и Гришку, а потом: завтра, дескать. И плохо дослышала, но все-таки выходит так... Завтра ночью они с Кларкой встренутся за хутором...

Поднялся снова шум, но скоро опал. Женщины начали совещаться потихоньку. Когда расходились, рябая властно заказала:

— На язык замок. Нетерплячие мы на тайности, а все-таки надо помнить: детям нашим на погибель, коль до время мужики дознаются. Надо Кларку словить, в ней весь вред. Гришка родня нам всем одинаковая, нашему плетню сват. Будет, навоевались с ним. А сколь порухи он нам сделал, еще не считано.

Юркая бабенка сунулась к ее плечу.

— В других местах бабы нову сарпинку понакупали, а у нас при ем ни куплять нельзя, ни торговать нельзя.

— Торговалы с купилой-то еще нет, об чем засохла!

— Ну ладно, бабы, будет. Потишей языками-то...

Прошел день, а в следующую ночь спозаранок поднялись все в хуторе, от мала до велика. Чуть угадывался еще по-зимнему тяжелый на подъем рассвет, когда в сизом его сумраке забегали, зашумели люди. За хутором, там, где высился шест с красным флагом, сгрудился народ. Шум тяжелого бега, разговор, крики, руготня сливались, ширились, перекатывались по всему хутору. Никто друг друга не слышал, каждый метался, кричал во всю силу голоса. Звонко перекликались, плакали, смеялись шныряющие меж взрослыми дети. Гул людского волненья, как буря, далеко отдавался в предрассветной тишине за хутором в горах.

Бабы подкараулили Клару с Васькой Соколом и еще двумя мужиками. На помощь поймавшим из всех изб набежали бабы с ухватами, с кочергами, с палками, с поленьями. В руках у рябой был большой заостренный кол. Она кричала:

— А ну, Васька, бей! Бейте нас, мужики! Кончайте нас, мужики! Ты, Степан, убивай меня! Убей жену свою! Кончай детей наших, все одно!

А сама наступала грудью вперед, широко и сильно размахивая колом. За ней другие. Стоном разливался их вызов:

— Пали из ружья! Поклади на месте!

— Чего же стали? Нам один конец.

Мужики отступили быстро. Бабы повалили Клару на снег. Падая, она крикнула:

— Тут и лежатымо, де завъязала себе свит. Братцы, Григория...

Кончить она не успела. Ожесточенный женский визг еще долго стоял и над мертвой, как кощунственная панихида. Бабы непристойно надругались и над телом ее. Завернув ей на голову одежды, обнажив худые, с выступающими костяшками колен ноги, ее труп привязали к шесту под флагом.

Прибывшие на другой день из города начальники, проходя по избам, везде заставали мужиков опять мирно сидящими на печках. Бабы крутились в обычной своей работе.

В ночь побега арестантов из бани на постоялом дворе в городской слободке ночевало трое приезжих мужиков. Целый день они ходили по городу, вернулись они уже по темноте и сразу залегли спать. Но когда хозяин потушил лампу и ушел в свою половину, они один за другим проснулись, тихонько, ощупью пробрались во двор посмотреть лошадей. Во дворе было темно от грузного облачного неба. Падал тающий на лету снег. Ноги по щиколку хлюпали в талом, вязком, смешанном с навозом месиве. Высокий жердеобразный мужик натянул чапан на голову, огляделся вокруг и, успокаивая кого-то, примерещившегося ему в плачущей, шепчущей тьме, вслух проговорил:

— Овсеца мерину подбросить придется. Ну, дороженька на завтре — трудно ехать будет.

Чубатый немолодой казак сердито подтолкнул его.

— Иди, иди подальше. Растопырился у крыльца.

Сошлись под сараем у одной колоды и зашептались. Казак, плохо сдерживая басовитый вольный голос, объявил:

— Крыто! Ворочаться домой надо. Ни хрена!

Мужик в чапане зашипел предостерегающе, оглянулся, зашептал чуть слышно:

Каин-кабакские не явились, стало быть, отступились, а нам как же? Мы и вовсе по разным местам живем. Как сговориться — все вразброд, тот сюда гнет этот туда.

Третий, низкорослый, но коренастый, спокойно негромко отозвался:

— Рассудили, значит, что ни к чему буча? У вас все вразброд, а мы чего же одни башку ломать пойдем? И в Каин-Кабаке народ теперь тоже не прежний народился. Надоел он нам, говорит, беспокойный все-таки. Будет, навоевались! Хозяйство схилилось.

Казак грубым шепотом перебил его:

— Ну, тоже хозяйство! Как раз в Каин-Кабаке шибко ретивы мужики до хозяйства! Скажи: трус народ там — и все!

Мужик в чапане примирительно сказал:

— Ну, словом, ни у их, ни у нас, ни у вас нет охотников отбивать Григория. Народ, что волна в бурю, грозно гурьбой встает. Ну дак чо, будет уж бурей-то ходить. Пора кажной волне на свое место ложиться. Перепалки-то уж везде позатихли, а нам как новую затевать? Пущай сам как-нибудь старается. Он — дошлый! Утре, как маленько разведрит, айда по домам!

Алибаев отлежал полтора месяца в тифу. Только перед самым судом перевели его из больницы снова в тюрьму. Он совсем поседел, постоянно отвисала нижняя губа, и спокойно-туп сделался взгляд косых глаз. Теперь он никогда не отказывался от Клавдиной передачи. Много и жадно ел, почти все время заключенья провел в утробном глухом сне. В последний раз затрепетал перед жизнью во время суда. В первый же раз, когда он увидел, как подходит к красному столу своей отчетливой, верной походкой Егор Кудашев, он точно проснулся. Раза два в перерыве, в комнате, куда их выводили всех, ему пришлось говорить с Кудашевым. В первый раз он сказал ему:

— Вся вина на мне. Я ведь знаю, как люди помогают. Жалко тебя. Я ума решился, согласился на побег. Да кабы еще довелось с вами, а то... Худо мне, Егор, опять я шибко мучаюсь.

Во второй, приглаживая рукой седую щетину на голове, опять пожаловался:

— Люди сказывали — дикий зверь до старости не доживает. А я лютовал лютей зверя дикого, а смерть меня не берет ни в хвори, ни в казни. Коли меня не засудят на пристрел, куда же я тогда?

Кудашев невесело улыбнулся:

— А я вот знал бы — куда. И не пожалели бы судьи, кабы не засудили, а мне конец.

— Может, на суде обскажешь...

— Теперь поздно. Запутался я с побегом. Ошибся нáсовсем.

— Живой тем и жив, что ошибается да поправляется.

— В этой стрельбе промашки не бывает, а в могиле чего поправишь? На другой бок и то не перевернешься.

— Погоди, сынок, может, и не нáсовсем. Живой будешь — и оправишься и обелишься. У живого все концы в руках.

Он что-то еще хотел сказать, но передумал. Посмотрел ласково в лицо Егора и отошел.

Суд приговорил Алибаева к десяти годам лишения свободы со строгой изоляцией. Но, приняв во внимание его прошлые боевые заслуги, сократил этот срок наполовину. Под удар высшей меры отдали семерых во главе с атаманом Нехорошевым. На суде развернулась чудовищная картина зверской расправы нехорошевского отряда с отступниками и целый ряд тайных страшных убийств. К семерке применили революционный закон во всей его прямоте: расстрел без права обжалованья.

В тюрьме уже свободной стояла приготовленная смертникам камера, но все знали, что новые жильцы проживут в ней несколько часов, утра не дождутся.

Приговор был объявлен в дождливую весеннюю ночь, в два часа.

У зданья суда и дальше на площади густо чернела толпа в сплошной темноте под дождем. Жадно ждали осужденных, хоть и невозможно было даже разглядеть их. Выводили сначала под кольцевой охраной смертников, и на некотором расстоянье от них — остальных, приговоренных к заточенью, под конвоем менее страшным. Сквозь дождевую завесу тускло мерцали редкие и слабосильные фонари, освещая малые неясные пятна отдельных лиц среди людского скопища. Невидимые голоса, прорывавшиеся отдельно восклицанья, смех, чей-то надрывный плач — колыхались над площадью во тьме. В самой плотной черноте, в середине площади,

вдруг произошла заминка. Раздались громкие окрики:

— Раздайсь! Расходись! Освободить дорогу!

— Стой! Что такое?

— Товарищ Рудой!

— Наза-ад! Наза-ад!

— Стреля-ай!

В мокром воздухе один за другим глухо захлопали выстрелы. Налетела откуда-то конная охрана. Сквозь женские визги, шум и шлепающий панический топот бегущих очень сильный, уверенный мужской окрик:

— Все в порядке! Двигай дальше!

К охране, сопровождающей смертников, подскакал всадник.

— Что случилось?

Снизу, из тьмы, кто-то ответил:

— Ничего. В темноте-то, которых сзади ведут, кучей, сбились, прибавили шагу и натолкнулись на передних. Ничего, столпились, потолкались. Все целы: семеро. Сосчитай сам.

Никто не разобрал, что в толкотне Алибаев с огромной силой вышвырнул меж охраны в толпу народа Егора Кудашева и сам вошел на его место. Шагали медленно и ровно семеро, как прежде.

В камере, на свету, когда конвой захлопнул дверь и тяжело стукнул засов, Нехорошев схватил за плечо Алибаева:

— Ты, черт...

— Молчи! Задушу!..

Не прошло и часу, за дверью послышались осторожные шаги, заскрипел в замке неповоротливый большой ключ. Вошли люди с револьверами за поясом, с винтовками. Впереди высоколобый. Алибаев съежился, быстро повернулся спиной, но высоколобый не только сразу его увидел, но и все понял.

— Вместо кого? А? Нехорошев здесь? Кого нет?

Шестерых снова заперли в камере. Алибаева вывели.

Высоколобый не очень смело, глядя мимо Алибаева, спросил:

— Это что еще за фокусы?

Алибаев злобно прикрикнул:

— Не твоего ума дело.

Но потом спокойно и негромко, точно самому себе, вслух пояснил:

— Ошибку вашу поправить хотел, еще раз на добро

было попыкнулся. Может, еще и удастся, может, вызволится. Парень эдакий белому свету нужен. А меня куда берегете — не знаю.

Клавдя знала. Она усиленно хлопотала, во все ходы проникла, съездила в Москву и там сумела облегченья участи Алибаеву добиться. Последняя его выходка была прощена, потому что Кудашев не убежал.

Прошло только полтора года, и Клавочка высвободила Алибаева. Старая Клавдина тетка встретила их хлебом-солью у ворот. Входя в свой дом, Клавочка вздохнула всей грудью и сказала:

— Ну, вот, все хорошо. Я опять своему мужу жена и нашему дому хозяйка. Ох, надоело мне мотаться по судам.

Повернулась к Алибаеву и настоятельно сказала:

— Я надеюсь, Гриша, что ты теперь окончательно остепенился. Пора тебе честную старость себе добывать.

Как-то заехал к ним Савелий. За чаем, оглядывая одобрительным взглядом стол и расположившую румяную Клавдю, сказал Алибаеву:

— Не знай, за какое твое добро, Григорий Петрович, бог жену тебе такую послал. Без нее так бы и капут тебе. Дуром окочурился бы в какой-нибудь передряге. А теперь гляди, в дому добра — на детей и на внуков хватит. Сами оба наливные, не укулупаешь. Седой ты, да седина не в укор, коль детей еще печешь. Покрикивает наследник-то, растет? Только не в тебя, а в мать задался.

Савелий знал, что дитя привозное. В город Клавдя выезжала нередко, да и Шурка, случалось, сюда завертывал. Еще когда Алибаева выхлопатывала, сблизилась с Шуркой. Знал об этом и Алибаев. Но Клавдя ясно взглянула на Савелия и тепло улыбнулась.

— Растет. На отца непохожий лицом, не знай, какой характером удастся. С муженьком-то натерпелась я беды, не довелось бы еще и с сыночком.

Алибаев, навалившись грудью на стол, жадными пальцами тянул к себе кусок жирного пирога. Он равнодушно поглядел на Клавдю, на Савелия и, лениво ворочая языком, маловнятно отозвался:

— Какой-нибудь вырастет. Кричит только больно шибко.

Туго забив рот пирогом, выпучил глаза.

— Вот ведь как, Клавдия Тимофеевна, ты остепенила

человека. Крик слышать стал. А раньше сам без крику часу не жил. Ну, знаешь, Григорий Петрович, я все тебе прощаю. Много ты мне страху задавал, все прощаю. А вот как вы с чекистами коня у меня угнали, этого не прощу. И сейчас, как вспомню, ругаться с тобой охота.

Алибаев сильно огрузнел. Память у него тоже будто жиром затянуло. Он искренно ответил:

— Какого же это коня? Я чего-то забыл про коня. Какой конь?

Он редко вспоминал отдельные случаи из прошлого. И вся его былая жизнь вспоминалась ему дремотно, будто в жарко натопленной комнате, разморенный теплом, он смутно улавливал ухом взвыванье далекой непогоды.

Клавдя взглянула на него и ласково посоветовала:

— Не бери третий кусок, опять под сердце задавит. Не жалко ведь, ешь на доброе здоровье, да ведь тебе же под сердце задавит. Ну-ка, возьми вот, утрись, щеки у тебя намаслились. Муж у меня неплохой человек, Савелий Максимович. Только надурил много. Пораньше бы ему оглянуться на себя да вот эдаким спокойным манером зажить, как сейчас. В партии состоял, не удержался,— жалко. Дельному человеку лучше всего, когда он партийный. В работе шире можно развернуться. Я бы и сама партийной работой занялась, кабы было на кого хозяйство оставить. Тетя уж очень постарела, только и может, что ребенка нянчить,— и на том спасибо, все помощь. Вы-то, я знаю, по старой закваске, партии опасаетесь.

— Будешь опасаться, как зятька такого, как Леонтий, наживешь. Бабе-то, конечно, все одно — с кем живет, в ту дугу и поет, но мне Аннушку жалко. Ни достатку основательного, ни почету. В прежнее-то время я бы ее не так устроил.

— Я тоже дивлюсь, Савелий Максимович, как люди не умеют устраиваться. Хоть бы для пользы дела сообразили. В городе я знаю одного — уважаемый партийный, вроде пачетчика по разным собраньям выступает. А гляжу раз — дерет на собранье на это пешедралом через весь город, чисто беспартийный какой. Лошади себе не исхлопочет. Вот и у нас сын комсомолец, то есть пасынок-то мой,— ну, да мы с ним дружно живем, и одно я его за родного сына считаю, и он меня

больше Григория Петровича уважает,— так вот он тоже неразумный в этом деле. Это уж у него от Григория Петровича. Разговаривает он со мной, я ему ведь сочувствую, он любит со мной беседовать, а попросить его поддержку какую исхлопотать — нельзя. Сейчас зафордыбачит. А что же, так без поддержки и в кулаки недолго попасть. Вот тебе боевой партизан Алибаев, гроза на всю округу, а в кулаках засчитают за хозяйство. Ох, надо бы, Гриша, тебе заслуги-то боевые отчистить как-нибудь.

Алибаев, шумно сопя, поднялся, голосом искательным, неуверенным проговорил, глядя в сторону:

— А што, праздник ведь сегодня. Я пойду с теткой в подкидного дурака сыграю.

С недавнего времени он очень пристрастился к этой нехитрой карточной игре. Так самозабвенно ей предавался, что Клавдя иногда не могла дождаться его по делу. Приходилось вместо него самой с работником в амбар ходить, овес лошадям отпускать. И Клавдя ласково, как всегда, но безотменно наложила запрет на «подкидные дураки» в будни.

Клавочка проводила взглядом тяжелую, широкую книзу фигуру Алибаева. Когда его шаркающий шаг перестал быть слышен, негромко сказала Савелию:

— Надо куда-нибудь его пристроить. Может быть, еще для какого-нибудь дела сгодится, а то эдак кровь застоится, не дай бог и удар хватит. Может быть, вот в потребительскую лавку. Работа общественная, тоже все-таки неплохо. Он же боевой партизан, все-таки этого у него уж совсем-то не отняли. В городе ему легче устроиться, да жизнь там нетихая, беспокойная все-таки. И хозяйства такого уж не разведешь. Здесь крестьянствуем потихонечку.

Летним вечером Алибаев сидел на приступке у входа в потребительскую лавку. Еще люди не вернулись с поля, тихо лежало село. Но вечерние длинные, как в старости, тени уже вытягивались над землей. Поглядывая на смирное небо с широкой спокойной полосой заката и пустынную дорогу, Алибаев радовался покою. Хорошо, что покупателей сегодня мало было. Он еще не привык отвешивать, выдавать товар и получать деньги. Это занятье было ему неприятно. Но что же — спорить с Клавдей, ругаться, очень уж это беспокойно. Да в лавке

сидеть неплохо. Прохладно, и мух мало. Задремлешь — в рот не набьются. А дома чуть приткнешься где — мухи и в рот, и в уши, и в нос. Грузен очень стал. Как успет, вспотеет, жир пот гонит, мухи и облепят, как жирную падаль.

На дороге показался человек. Алибаев встревоженно приподнял голову: не в лавку ли? Эх, хоть бы мимо. Человек прошел мимо, даже не взглянул. Но Алибаева вдруг что-то пробороздило по сердцу. Он тяжело, с пыхтеньем задышал. В движеньях человека, в его легкой верной походке была большая схожесть с Кудашевым. С холодком в груди и поясневшим взглядом Алибаев подумал:

«Егор... нету его. А хорошо было зародился человек! Только не иначе что была в нем другая кровь».

Из-за угла выбежал шустрый босоногий мальчишка.

— Дяденька, Григорь Петрович...

От распиравшей его жажды действия мальчишка не смог обойти вниманием лежавший на дороге камешек. Подхватил его, лихо размахнулся рукой и пальнул в небо, только потом закончил:

— ...Хозяйка твоя чай пить велела домой идти. Да только скорей, самовар уж на столе. А то, она говорит: ты ногами возишь-возишь, никак не довезешь. Айда!

Налет

Рассказ

I

Около трех лет тому назад Виктора Алексеевича бросила жена. Сбежала в провинцию с военкомом. Тогда, в ежедневном бою с жестокой жизнью, каждому была внятна беда только из-за насущного хлеба или безвременной смерти. Боль поруганной любви, сразу состарившая, изменившая Астахова, как тяжкая хворь, вызывала и у родственника, и у друга оскорбительное удивление. И еще хуже — чуть тепленькую снисходительную жалость к «блаженненькому». Поэтому большую свою скорбь он затаил и от друзей, и от родных в домашнем добровольном заточении. Случайная житейская встреча дала ему возможность работать дома и сносно существовать. Один из друзей юношеской его поры оказался после революции на видном месте в Наркомате юстиции. Трудов Виктора Алексеевича по энтомологии он не читал. Узнал о них от автора, спросив: «Что ты поделывал все это время?» Но очень решительно и быстро устроил в Наркомпросе признание ценности книг товарища Астахова.

Охранная грамота, продовольственный паек и авторский гонорар обеспечили Виктору Алексеевичу жилье, тепло и возможность уединенной кабинетной работы.

Живучий человек в душевной невзгоде, как собака в болезни, сам находит для себя целебный корень. Астахов защитился от отчаяния напряженной научной работой. Она поглощала почти всю его человеческую страсть к созиданью. В последний год и внешние условия для работы сделались благоприятней. Он уж не отрывался для хлопот о приготовлении пищи, о чистоте жилья. Появилась приходящая прислуга. Полновесно счастливыми стали для него утренние часы, когда, не отвлекаемый ничем и никем, оставался он один на один со

своей наукой. Особенно четко работал мозг, была ловка и тверда рука, зорок глаз. Радостное чувство уверенности в себе давало ему творческую сметливость, почти прозрение.

Во всех трех комнатах и даже в кухне небольшой квартиры, окнами в тихий переулок, царила та драгоценная для умственного труда тишина, когда можно слышать свои мысли. Ни малейшее вторжение даже дыханья чужого в его жилье не мешало ему творить знанье всей кровью, всем мозгом. Заслышав, как прислуга, явившись на работу, открывает дверь своим ключом, он вздыхал, неохотно вставал и плотно притворял двери кабинета. Ревностно продолжал работу, но сила напряженья уже ослабевала. Только с семи до одиннадцати утра истинно чудесен был его день.

Позднее, начиная с прихода домашней работницы, врывалась в жилище хоть и небольшая при его образе жизни, но все же суета. Заходили необходимые в работе помощники, изредка навещал кто-нибудь из знакомых, приходилось выходить из дому самому. Но утрами он спешил к своему письменному столу, как пламенный священник к ранней обедне. Наперечет были редкие случаи, когда в эти часы Виктору Алексеевичу кто-нибудь мешал. Он всегда сдвигал брови, вспоминая их.

Вдруг в одну нехорошую пятницу, в час, когда над Ленинградом еще колыхался призрачный и неверный, похожий на сумерки утренний влажный свет, затрещал в квартире Виктора Алексеевича сильный звонок. Энтомолог только что умылся. Полуодетый, стоял у стола, держал пальцами внимательными очень бережно слоника, рассматривая любовно его хрупкий хоботок. Рука вздрогнула, и от этого неожиданного содроганья чуть было не пропал редкий экземпляр. Астахов осторожно положил его на стол. На лбу выступила испарина, и ноги ослабели от испуга. Кто-то нахально-нетерпеливый за дверью. Еще звонок, еще. Три раза с очень малыми промежутками. У Виктора Алексеевича уши покраснели от гнева. Сердито распахнул дверь.

Молодая худощавая девушка в надвинутой до носу клетчатой кепке стремительно ворвалась в переднюю. Поставила на пол небольшой, сильно потертый чемодан, а на него положила парусиновый тючок в ремнях.

— Здравствуйте, товарищ Астахов! У меня есть к вам письмо, если только я его найду. Черт знает, куда-

то засунула! Ну, я на словах все расскажу, там ведь обо мне. Здравствуйте. Вы рукопожатье признаете?

Виктор Алексеевич растерянно-неловко протянул мертво-белую кабинетную руку. Девушка быстро дернула ее своей небольшой, но крепкой рукой, нелепо ухарским движеньем стянула с волнистых сизых волос кепку, сняла пальто, устроила то и другое на вешалке, повернулась к Виктору Алексеевичу, осияла его очень черными живыми глазами и приветливо улыбнулась. Он остановившимся неподвижным взглядом смотрел на посетительницу.

— Знаете что? Нет ли у вас пимов? Чулки у меня тонкие и туфли — одна фикция, а галош нет. Пальцы скрючило, застыли. Вот чертова зима! И в Ленинграде, как у нас в Сибири.

— Вы... вы из Сибири?

— Не из какой не из Сибири, это два года назад я оттуда приехала. Сейчас из Москвы. Я сюда в университет перевелась. Собиралась вас попросить похлопотать, ну, устроилась сама. Куда пройти? Прямо? А вы неужели уже чаю напились?

Виктор Алексеевич наконец опамятовался, вознегодовал. С подчеркнутой сухой вежливостью спросил:

— Прошу вас, извините меня, но я вынужден задать вопрос: с кем имею честь...

Девушка внимательно посмотрела ему в лицо:

— Разве так еще говорят: «Имею честь»? Знаете что? Хоть у вас и расстегнутый воротник, вы все-таки, кажется, очень буржуазный. А я почему-то думала, что если вы по насекомым, естественник, так марксист. Ну, конечно, беспартийный, ну все-таки марксистски мыслящий.

Астахов инстинктивно прикрыл рукой грудь, вспомнив, что надел пиджак прямо на нижнюю рубашку, но от этого конфузливого движения сильней обозлился: «Невиданно беззастенчивая девица!»

Вслух сердитым голосом сказал:

— Да объясните, наконец: зачем и откуда вы ко мне явились?

Девушка приподняла плечи, развела руками:

— Да объясню, дайте согреться. Это столовая? Ой-ой-ой! Один во всех комнатах живете? Это — да! У вас печное отопление? Ну, то-то вы «все в прошлом». И еще не топлено сегодня? Чуть тепленькая. Все-таки я туфли

сниму и ноги погрею. Вот так сяду. Знаете что? Мне так вас не видно, не знай, вы тут, не знай, ушли. Вы тут?

— Да я-то, понятно, тут.

— Ну, так вот, получайте анкету. Имя, отчество, фамилия: Клеопатра Ипполитовна Камбулина. Год мне пошел двадцатый. Происхождение мелкобуржуазное, дочь адвоката. Ну, он еще до революции помер. Я еще не успела обуржуазиться. Оставил нас с мамашей без гроша добывать в поте лица. А мать моя двоюродная сестра вашей жены. Так что я вам родня, если по-обывательски рассуждать.

Виктор Алексеевич в изнеможении опустился на стул. Сказал совсем жалким голосом:

— Я должен вам сказать, Клеопатра... Простите, отчество...

— Меня товарищи Клепкой зовут. Не очень мне это нравится. «Клепка»! Ну, ничего не попишешь, все лучше, чем Клеопатра. Я уж ругала мать за такое похабное имя! На Египет ее потянуло, видали? А я весь век майся! Ну, я собираюсь пооктябриться. Мюдой нановусь. Понимаете? Международное юношеское движение: Мюда. Только денег нет платить за новое имя.

Виктор Алексеевич гневно двинул стулом. Подошел к ней и, оглядывая ее замораживающим взглядом, отчеканил:

— Поймите, барышня, что мне решительно все равно, как вас товарищи будут называть. Я никак не буду вас называть, так как вам придется оставить мою квартиру. Ваше присутствие здесь... простите, я буду откровенен... не только неудобно, а просто нежелательно для меня.

Девушка резко повернулась на стуле, чуть не упала, но ловко удержалась на ногах. Весело и ласково проговорила:

- Вот что значит физкультура. Из всякого положения стоймя встану. Это я себе говорю, гражданин Астахов. А вам что же я могу сказать? Убраться мне сейчас некуда. Не замерзать же, в самом деле, на улице! Вы вон в трех комнатах один растопырились, а у меня и угла нигде нет, а главное — и денег ни фига. Вчера ни крошки не ела, и сегодня, видно, не придется.

От ее резкого, очень неприятного для него, но искреннего тона Виктор Алексеевич снова растерялся:

— Я вас не гоню немедленно... Сейчас и кофе на спиртовке согрею. Потом прислуга придет...

— Конечно, вы сами понимаете, мне не очень приятно у вас одолжаться. Вон вы каким болдуином передо мною. Но я очень назябласъ и голодна. Значит, не приходится фасон давить. Хорошо, если дадите пошамать.

— Как? Простите, пожалуйста, но у вас убийственный жаргон...

— А по-моему, это у вас убийственный жаргон: все «простите» да «имею честь». Знаете что? Уж определилось, что мы противны друг другу. Я постараюсь поскорей с вами развязаться. Заехала к вам, потому что моя мать письмо мне прислала, чтоб к вам, и для вас было письмо, вот которое я потеряла. Мы знали, что моя тетка, хоть и двоюродная, разошлась с вами. Так что ж из этого? За это же нельзя взъедаться ни на нее, ни на ее родных. Может быть, вы ее никак не удовлетворяли.

Виктор Алексеевич сморщился. Прервал ее предостерегающим движеньем руки. Сказал очень тихо, чтобы сдержать гнев:

— Я не взъедаюсь и не потому не могу вас оставить у себя, что сердит на вас за... измену жены.

Клепка фыркнула сквозь сжатые губы:

— «Измена»... Все слова у вас из маринада, честное слово, я таких что-то не припомню, чтоб когда видала.

Виктор Алексеевич вздохнул и потер пальцами лоб.

— Подождите здесь, барышня. Я сейчас оденусь и согрею чайник.

Клепка стукнула рукой по столу.

— Не смейте обзывать меня «барышней»! Называйте просто по фамилии — Камбулина, если слово «товарищ» вам как волдырь на губе.

Астахов поспешно, не оглядываясь, ушел в свою спальню и притворил дверь.

II

Не мог вспомнить Виктор Алексеевич, чтоб за все сорок шесть прожитых на свете лет он когда-нибудь к кому-нибудь испытывал столь пламенную ненависть, как к этой Клеопатре... Разве что в младенчестве, в годы, не оставляющие в памяти письмен, могла существовать такая цельная, звериная, совершенно бессиль-

ная ярость. Тогда, может быть, это вторично переживаемая трагедия? Но во всей сознательной жизни не было, ну да, разумеется, не было столь мучительной злобы. Мучительной именно из-за полного бессилья. Ну, что делать? Милицию на помощь звать? Она и от милиции отгрызется. Да и не на улицу же девушку без гроша денег вышвыривать. На это у него при всей ненависти характера не хватит. Денег он ей предлагал. Но у этой девицы не только тупые, а вывихнутые какие-то мозги. Она заявила:

— Знаете что? Одолжаться по-настоящему я у вас не желаю. Ем то, что от вас и от вашей работницы остается. Куда это девать? Все равно собаки вы не держите, в мусорный ящик только выкинуть! Сплю в кухне на своем тряпье и целый день дома не бываю. Чем же, собственно, я вам обязана и чем стесняю? Если вы беситесь оттого, что я за две комнаты от вас дышать смею или двигаться, то это уж барские фу-ты ну-ты. Это из вас выколачивать следует. Если он научный работник, дак ты и не дыши поблизости! Эко блюдо Гарри Пиль!

И дверью еще хлопнула, уходя. Вот уже месяц к концу подходит, как из-за нелепой, смехотворной случайности он положительно болен, душой болен. Эта Клепка низменна до предела! Никак не может понять, что одна мысль о пребывании в его квартире ее, такой во всем чужой, органически неприятной, не дает ему свободно дышать.

Он с тоской ждет трескучего звонка, всегда несдержанного топота, ее шумливой возни в кухне. Иногда она забегает и днем на несколько мгновений. Тогда Астахов испытывает странное облегчение. Облегчает острая вспышка гнева. Когда же возвращается в урочный час,— целый день мозжит, как больная кость, злобное ожидание.

Случалось несколько раз — Клепка не приходила ночевать. Тогда он с отчаянием думал: если бы она его заранее предупреждала! Какой бы мог быть у него праздничный, прежний день.

Астахов осунулся, потерял аппетит, стал тревожно спать. Пробовал советоваться с друзьями, со знакомыми. Те смеялись в ответ:

— Да просто выгони ты эту наглую особу из своей квартиры — и только.

«Только.— Если бы он мог! — Не могу».

Сникая головой, печально думал:

«Свершение какого бы то ни было насилья для меня так же невозможно, недоступно, как для Клепки — деликатность!»

Прошло тягостно долгих полторы недели со дня Клепкиного вторженья. В чреде этих дней, стесненных и жалких, только одно утро выдалось радостное, освежающее. Учитель Александров, энтомолог-любитель, известил, что ему посчастливилось приобрести для Виктора Алексеевича ценную золотистую жужелицу. Сам в ближайшее время зайти к Астахову он не мог, но, зная, каким нетерпеньем загорится Астахов, получив извещенье, назначил ему свиданье в одиннадцатом утра в библиотеке Дома просвещения. От волненья Астахов спотыкался на ходу. Лицо его было растерянным и светлым, как в молодости, когда он спешил на свиданье к девушке, любимой и священной. Он ничего и никого не примечал вокруг. В одном из проходных коридоров почти натолкнулся на диванчик. Клепка, сидевшая на нем, подняла голову от книги, посмотрела на Астахова и, чтобы скрыть внезапную робость своего взгляда, насупилась, воинственно выпрямилась и голову немного набок занесла с вызовом. Астахов промчался мимо, не видя. Она вздохнула облегченно, снова с натужным прилежаньем углубилась в чтенье. А когда Астахов шел обратно, вышло так, что взволнованная Клепка его не заметила, а он ее увидел на лестнице внизу. Сердито передернув плечами, приостановился на площадке вверху, подождал — может быть, сейчас уйдет. Клепка стояла на предпоследней ступеньке с каким-то верзилой-блондином. Астахов видел только густоволосый белокурый затылок и спину мужчины, облеченного в черное суконное пальто. Но Клепкино лицо через плечо ее собеседника он видел хорошо. Она не отводя глаз смотрела на блондина. Щеки ее рдели. Грубая яркость румянца и черно-сизых волос смягчалась чудесной кроткой улыбкой и особенным трепетным сияньем глаз.

Такой удивительно духовный, жертвенно сияющий взгляд свойствен только темпераментным влюбленным женщинам. Он на мгновенье делает прекрасными до святости даже незначительные и некрасивые женские лица. Ни один самый страстнейший из необузданно-страстных мужчин так не посмотрит на желанную возлюб-

ленную. Всегда в жаркости будеть муть, хищность и стыд. А девушка, женщина в первой своей влюбленности, в десятой, в двадцатой, в какой угодно, еще неопытная или знающая грех, подарит этот взгляд любому кретину, преступнику, прохвосту, ничтожеству — *каждому, кто глубоко взволнует ее кровь.* Так смотрела жена Астахова, смиренница Нина Николаевна, на тупоглазого, мокрогубого, отвратительно белесого своего военкома. А прежде с такой же святой проникновенностью глядела на мужа, на Виктора Алексеевича. Но после измены жены Астахов возбрезговал, сделался навсегда трезвым и несправедливым в сближеньях с женщинами. Оттого сияющие Клепкины глаза пробудили в душе его гадливое чувство, еще большую неприязнь к девушке. «Нашла место где млеть! Проход загородили. Хоть бы кто-нибудь их спугнул. Не видят ничего кругом, друг на друга не наглядятся. Гадость какая!» И как нарочно, действительно, ни снизу никто не поднимается и наверху только он, Астахов. Сердито откашлявшись, он решительно пошел вниз. Приближаясь, *слышал конец разговора:*

— Не сердись, Костя... Честное слово, не надо. Не приду. Не стоит, Костька, право.

— Эх ты, расчетливая мещанка! Рыба!

— Ну, все равно, как хочешь обзывай, я не рассержусь на тебя. После сам поймешь. Эх, Костька!

— Ну, смотри, я кланяться не буду. Пожалеешь, а я и без тебя не заскучаю.

— Так не говори... Мне очень, очень обидно. Но я все-таки не приду.

— Ну, и дура! Я всегда считал тебя не особенно далекой, но все-таки. Ладно. Не хочешь, не надо, другую найдем. Больше ко мне смотри не вяжись. Прощай.

— Костя!

— Ну что? Передумала?

— Н-нет.

— А нет, так чего же... Ну тебя к дьяволу, надоело мне канитель тянуть!

Астахов был уже совсем около них. Блондин решительно шагнул впереди него и быстро пошел к выходу. Клепка проводила его взглядом, потом, сразу сникнув, пообвиснув, она медленно стала подниматься по лестнице, низко наклонив голову. Чуть плечом не коснулась Астахова, но не посмотрела на него.

Вернулась Клепка в обычный вечерний час, когда еще не ушла домой Петровна, прислуга. Она и открыла на звонок. Астахов слышал, как Петровна уходила, прощалась с Клепкой. И вдруг из кухни еле слышно донеслись голоса. Разговор. Значит, Клепка не одна. Он вышел в столовую. Прислушался. Юный приглушенный мужской голос.

«Что же это такое? Она своего самца привела сюда? Тоже в моей квартире поселить решила, что ли?»

Но голос как будто не тот, что слышал Астахов на лестнице утром. Выше и тоньше, чем у верзилы-блондина. Вдруг ясно донесся несдержанный Клепкин голос:

— Погрейся, посиди еще. Ну его к черту, не лопнет от злости! Эх, Ванька, плохи наши делишки, ну, ничего, наладятся.

Послышался глухой мягкий звук, похожий на шлепок по плечу или спине. Гость что-то ответил негромко, потом оба замолчали.

«Действительно, что же это такое, наконец! Утром Костька, ночью Ванька! Девица перестала стесняться!»

Развязность движений, нелепые Клепкины словечки, слишком громкий, «базарный», по определению Астахова, голос — всегда вызывали в нем ощущение какой-то нечистоты, совершенно недопустимой для девушки. Оказывается, она действительно... нечистоплотна. Ее дальнейшее пребывание в квартире даже небезопасно в таком случае. Этого еще недоставало! Астахов ощутил сильное сердцебиение и муть в голове.

Юнец в кухне пробыл недолго. Клепка проводила его и заперла дверь на оба ключа.

Оглянулась, увидела в дверях столовой Астахова с бледным, искаженным лицом. Охнула и проговорила:

— Батюшки, что это вы? Испугались? Чего?

Он бешено крикнул:

— Я не позволю устраивать у меня... Не смейте приводить сюда, в мою квартиру, своих... своих мужчин. Здесь не притон!

Клепка широко раскрыла глаза, качнула головой, потом вдруг голосисто расхохоталась:

— Я думала, вы его за налетчика приняли. Подумаешь, моралист какой выискался! Петровна мне рассказывала, как вы Дашу для аккуратной связи покупали, со всякими предосторожностями и от болезней, и от алиментов. Знаете что? Вот это очень скверно! Несозна-

тельное, очень нехорошее отношение к женщине. А мне вы не имеете права... Да еще зря! К Ваньке у меня нет никакого полового влечения, и у него ко мне тоже...

«Бесстыдная, наглая девчонка! Таким сквернейшим, разнузданным языком о глубоко интимных вещах...»

Виктор Алексеевич топнул ногой, подступил к ней с криком:

— Я не желаю больше, ни одного дня не желаю больше терпеть вас у себя! Слышите? Это действительно уж наглость... переходящая всякие границы. Потрудитесь освободить меня от вашего присутствия. Завтра чтобы не было вас здесь, иначе я приму меры к принудительному выселению.

У Клепки ярко разгорелись щеки и глаза. Она подбоченилась и тоже притопнула ногой.

— А, если вы так разговариваете... Довольно я терпела! Хватит! Если так, я у вас отдельную комнату отниму! Для одного и двух за глаза. Достану ордер, черта с два вы меня тогда выселите! И приходить буду, когда захочу. А то еще возьму и правда налетчиков на вашу квартиру наведу! Чтоб хоть воздух свежий впустить. Вот!

Виктор Алексеевич, перебивая ее, почти визжал:

— Налетчиков? Какой налет может быть хуже? Вы ограбили меня, я работать и мыслить не могу! Все разгромлено!.. И в довершенье всего еще недоставало, чтобы вы...

Клепка, не слушая, тоже перебила его криком:

— Еще хоть бы лекции читал, а то шлепает губами сам себе над букашками, над таракашками, а за ним еще ухаживают! Ученый, ученый, а начхать на вашу ученость, когда вы, как крыса из подполья, от людей шарахаетесь! Никому от вашей учености ни свету, ни радости.

— Дура! Распутная девка!

Неужели он эти слова прокричал? Сам себе не верил. До чего дошел! Эта особа довела его до того, что сам себя уважать скоро перестанет. Он закрыл лицо трясущимися пальцами. Особенно мучительны стыд, боль, унизительное раскаяние за вспышку оттого, что Клепка на последний, самый грубый выкрик его ни словом не ответила. Только посмотрела ему прямо в бешеные, покрасневшие глаза, потом с особым выраженьем большого уверенного достоинства и силы неспешно повернулась, ушла в кухню. Он слышал, как там она спокойней,

без обычного грохота, сдвинула ящики, налаживая свою постель.

С трясущимися губами, со взмокшими сразу волосами, смешно спотыкаясь, Астахов метался по кабинету.

Конечно, он совершенно непростительно, недопустимо забылся в гневе. Но все же, но все же... Ведь эта нахальная тупая девчонка, ведь она его в такое исступленье привела. Она не безграмотная, не из деревни, чему-то и раньше училась, теперь учится в высшем учебном заведенье. «Шлепаете губами над таракашками...» Плюет на науку, знает только какие-то удивительные плотские, как мычанье, убогие слова и ничего не признает, ничего, что выше куска, постели и этого... этого... совершенно зоологического: «У меня к Ваньке нет полового влеченья...» И ведь он этих, нынешних, почти не знает. Этих Костек, Ванек, Клепок. Не одна же она такая. Чувствуется, что и слова эти ходовые, не ее. Тогда... кому, кому в наследство весь его вдохновенный труд? Они понимают только то, что дает им грубо материальное улучшение немедленно, сейчас. Им понятны лишь прикладные знанья, то, что уже материализовано. А мысль? Высшее право науки на упоенье мыслью, независимой от их дневного рыночного заказа? Оно для них — ничто. Если даже Клепка не так развратна и грязна, как ему показалось, то все же, все же какая ужасающая нищета духа!

Уже мутнела тьма за окном. Астахов все не мог успокоиться. Не мог ни сидеть, ни лечь. Ноги дрожали, а он все срывался с места. Нет, это невозможно! Для него это невозможно. Она должна понять, что сама виновата. Во всяком случае, он-то должен извиниться за вспышку и более достойным образом попросить девушку уехать. Она тупа душевно, но он не смел сам перед собой, не смел даже ей, такой тупой и низменной, кричать в лицо омерзительные и бранные слова. Пожалуй, и она оскорбилась. Может быть, плачет, не спит.

Тяжело ступая, будто осев на ноги, Астахов прошел через столовую в кухню. Остановился, послушал, прежде чем постучать в закрытую дверь. От волненья кровь стучала в виски. Он не сразу расслышал, как в равномерное «ш-ш-ш...» глубокой ночной тишины так же размерно и спокойно врывается легкое всхрапыванье сладко спящей Клепки. Услышав, приподнял брови, горестно покачал головой, вздохнул и отошел от двери.

III

Астахов уехал в Москву, оставив Петровне для Клепки записку. Клепка вечером прочитала ее в кухне вслух:

«Простите мне оскорбительные слова, которые я в гневе наговорил. Я сам удручен ужасной этой неожиданностью. Но все же постарайтесь понять, что нам невозможно жить в одной квартире. Возьмите у меня взаймы, наконец, но устройтесь в другом месте. Трудно вам объяснить, что мой труд небесполезен, но это так, и для него необходимей всего душевное равновесие. Его я утратил с того момента, как вы ворвались в мое жилище. Прошу вас, дайте мне возможность работать, уйдите из моей квартиры. Я вернусь через неделю».

Петровна сочувственно покачала головой, вздохнула и шумно втянула горячий чай из большой чашки. Потом, вытерев вспотевшее лицо, деловито спросила:

— Как же ты теперь? Выгоняет начисто! Ну, пока он в отъезде, живи, а все-таки, Клепка, подыскивай, куда перебираться, как хозяин домой вернется.

Клепка, уставившись задумчивым взглядом в темное окно, приподнялась на носках, зачем-то подула в воздух вытянутыми трубочкой губами, покачалась всем корпусом и села на табуретку около Петровны.

— Петровна, знаете что? Ладно, я уйду через три дня. Мне здесь тоже не мед. Электричества долго жечь не хочу, а заниматься-то когда? Я и то днем без передышки... К Ваньке ночевать из-за этого раза два ходила.

— К кому?

— К парню нашему, вот недавно-то был, когда Астахов со мной почью ругался. А теперь у него негде. Товарищ с женой на время у него поселились, а комната маленькая.

— Зачем ты, дурашка, от матки своей уехала? А? Прокормились бы как-нибудь! К парням разве хорошо ночевать ходить? Да и чем от твоего Ваньки поживеться?

— Ничем. Он на заводе по рубль двадцать пять в день тяжести таскает. Ну, ходить далеко, опаздывает. Его уж, наверно, выгнали! А с мамой... Я очень учиться хочу. Знаете что? Так бывает, что здорово тянет на ученье. Все себе кротом слепым без него кажешься.

И чем дальше, тем все больше затягиваешься. Кабы я уж не начинала... А сейчас не могу отказаться!

— Может, замуж кто-нибудь взял, хоть и гражданским браком. А то что же, кинет тебя Ванька с брю ом, что с него возьмешь? А тогда уж какое ученье!

— Да ни с каким не с брюхом, у меня нет с ним половых отношений. Он — хороший товарищ.

— Все они товарищи хорошие, пока свое не получа Ты не поддавайся! Может быть, какой попадется, окру тится по-советски. Потерпи. Охранять-то вас, теперешних некому. Я тебе с добром советую.

— У вас, Петровна, взгляды отсталые. Чего охранять то? Я — физкультурница. Полезет какой, сама так поддам, он и с катушек долой. Я не хочу полового сближенья не из отсталости, вот как вы,— замуж надолго ль возьмет да всякая чепуха. А вот потому, действительно, что учиться помешает. Знаете что? Я — себе хозяйка. И даже если... любовь, все равно — я себе хозяйка, не сдрейфлю. Что вы? Это я так, глупости всякие говорю, очень устала сегодня!

— То-то устала... Избегаешься, девка...

— Ну, хватит причитать, ладно. Я этого не люблю. Знаете что? Есть контакт! Уйду я от вас в пятницу. Астахов ведь до субботы не вернется. А сегодня только понедельник. Я пока без него подчитаю, а то ведь негде! А в пятницу уйду. Как раз к пятнице мне червяк отдадут, на жратву больше чем на месяц хватит.

— Какой еще червяк? Кто тебе отдаст?

— А я платье ненадеванное продала. Мама мне прислала. Только деньги девчонке одной пока одолжила. Ей круче моего пришлось, жиденькая. Она не заначит, отдаст, сейчас ей только зарез. А то я бы давно уж ушла от вас. Главное — без вас кормиться негде мне было, а без еды одной нашей ходьбы, не то что занятий, не выдержишь. Начхать, что он ругается! Кабы я от его ругачки разлимонилась, Катьке бы хана!

В субботу Астахов нашел на своем письменном столе очень несвежий, в пятнах, большой лист бумаги. На нем лезли во все стороны кривые размашистые строки Клепкиного письма с массой грубых орфографических ошибок:

«Я устроилась, не только угол, но и работу неожиданно нашла. Ничего я на вас не рассердилась. Когда очень тяжело человеку приходится, он и побить может, хоть,

конечно, и сдачу за это может получить, но все-таки бывает, что робкий на драку полезет, бывает. Жить у вас очень плохо мне было; ну, не беда, мы не нежные. Только вы напрасно, что я не понимала, что вам при мне невозможно работать. Я понимала и старалась не шуметь и не мешать, но такая уж громкая, никак тихо не умею. А это бывает. Я привычная, и то с некоторыми нашими девчонками заниматься не могу,— фырчат и мне мешают. Если бы вы со мной когда-нибудь хоть разговорились, мы бы как-нибудь по-доброму сладились. А то я ведь видела, что очень вам противна, и вы мне опротивели здорово. И про вашу бесполезность тогда выпалила, но я знаю, что вы полезный, науку уважаю. И я не дура, только мне трудней выражать свои мысли, некогда читать, развиваться. Может быть, и слова у нас плохие, но вы-то ведь мало с нами разговариваете, потому что с нами терпенье нужно. Лебезить я не умею, но и на вас я не сержусь и объективно даже уважаю вас, потому что вы ученый и много работаете. Мне теперь по-прежнему кажется, что вы марксист, только я вас тоже не могла по-настоящему понять, потому что мне тоже с вами в одной квартире трудно было дышать. Мы уж очень разные. Денег я от вас не хотела взять, потому что вы негусто зарабатываете, мне Петровна говорила, а, кроме своей науки, разматываться не можете. Я это понимаю, тоже не люблю разматываться и работу нашла такую, чтобы учиться не мешала. Я тоже не такая плохая, как вам показалось. Вы ведь меня совсем не знаете. Только я не умею фигли-мигли и обращалась с вами безо всякой напыщенности».

Внизу, очевидно, после передышки или раздумья, прямей и старательней было выведено:

«С товарищеским приветом. *К. Камбулина*».

Астахов долго чесал лоб и откашливался, прочитав письмо. Он не перестал ощущать радость освобожденья, усладу вновь отвоеванного одиночества, но и утром на другой день ему мешала сосредоточиться на работе мысль о Клепкином письме. Он думал:

«В одном эта налетчица права,— что мы их, своих преемников, мало знаем. Пожалуй, да, совсем не знаем».

Он не считал себя в свои сорок шесть лет стариком, но вдруг ясно ощутил уход своей эпохи, благостную, уже старческую тягу к примиренью, к родству с идущими

взамен по иным крутизнам и провалам, в иной броне, иной походкой, но продолжателями, звеньями одной цепи людей, живущих на земле одновременно с ним.

Когда пришла Петровна, Астахов вышел к ней с небольшой записочкой:

— Я вас попрошу, сходите, пожалуйста, в адресный стол, возьмите справку, где поселилась Клеопатра Ипполитовна Камбулина.

И со странным чувством успокоенья вернулся к своему письменному столу.

История с Клепкой больше в этот день ему работать не мешала.

Стойте-ка... Когда волю крепостным император Александр Второй даровал, мне ровно как двенадцать лет исполнилось. Ну да, крепостные мы были. Отца моего, кузнец он был хороший, барин наш, Рындин, из Ярославской губернии, в карты проиграл в Новгородскую губернию, барину Розену, фону, из немцев. Еще у него бутылочный завод был большой. Может, слыхали? Ну, так вот я к чему говорю: на свете живу долго, повидала много, а нет ничего хорошего рассказать про наше женское сословие.

Вот вчера дамочка ко мне приходила. Полотера жена, в этом же доме живет. За советом, как мужа заново в себя влюбить. Из себя красивенькая, а глазищи понаплакала, распухли. Муж за другой гоняется. Этой всего двадцать третий год, а успела, троих ребят испекла. Теперь боится, трудно с детьми, если бросит. Я ей говорю: «Реви не реви, хоть рекой разлейся, сыростью мужа к себе не приохотишь. Которая повеселей, от той не побежит к слезомойке». Ну, конечно, у ней не о себе только самолюбная печаль, а материнская, о детях. Эта печаль — чисто ножиком в сердце ковыряют, знаю. А все равно, хоть не до смеху, а ты смейся. Такая женская доля. Под мужчинской волей ходишь, так с лукавинкой надо, с усмешкой. За смехом он и не приметит, как на твое сдаст. Если шибко умна да задумчива ты, дамочка, ум спрячь. Дурочке мужчина покоряется, а умной остерегается. Если по делу или в домашности что разумное придумала, натакни мужа, чтоб за свое считал. На шелковом поводу, глядишь, до могилы за тобой прошлепает, а крепкую веревку так разорвет на тридцать три обрывка,— после и не свяжешь. В нынешнее время, если бросит, так все-таки детям хоть

на худой прокорм сдерут с мужчины. Все-таки остраст-ку за кроватку зададут.

Я нынешнее правительство не люблю, привыкла настоящими господами управляться. Эти мне худого не сделали, врать не хочу. За двадцать девять годочков службы у господ эти мне социальное дают. Но я их не уважаю за многие ихние распорядки. Прежде всего, зачем господа бога ниспровергают? Пред кем же тогда женщине правду про себя показать, и покаяться, и пожаловаться, если его нет? Хитри, хитри, изворачивайся, а с кем же начистоту? С людьми? Они тебе нашлепают, долго не заживет. И еще нынешнее правительство тем нехорошо, что непредставительное, без мундиров. На портретах смотришь, пиджачные все, непривлекательно. Военных и тех обрядили некрасиво, в долгополые кафтаны. Вот раньше офицерские шинельки куценькие были. Конечно, не поспоришь, эти теплее, но некрасиво, какая серость! Не то что ляжками как дрыгает офицер не увидишь,— ног-то, как у попа, не видно. А уж какой же это офицер, когда не видно ни ляжек, ни ног! Прости меня, господи, грешницу, любила я, молодая, на господ офицеров глядеть. Ох, сколько из-за них нашей сестры пропадало! Оно ведь как устроено: женщина все одно и без военных в грех попадает. Но если отвечать родителям или богу, так лучше за военных. Курица и та глядит, какой петух гордей шагает. Ну, и меня первый загубить хотел хоть не совсем военный, а все-таки не штатского званья, аккуратный — господин околоточный. Но я не про себя. Для женщины из бедного сословия редкий мужчина — не лиходей. И тот — или дурак, или монах. Уж на что тятенька родимый, папаша, и тот надо мной как измывался. Мамаша моя родная умерла, я после нее совсем малюточкой, на шестом году осталась. Отец на другой женился. Мачеха из неродных своих детей больше всех меня невзлюбила. А папаша был такой человек,— самого себя любил только по годовым праздникам. Ему все казалось,— вся его жизнь не по нем, оттого водку сильно пил и на людей зверем кидался. Ни с кем не обходился добром, кроме господ,— поневоле. Вот видите, ни мать, ни мачеха не роптали. Бабе — все по ней, а мужчине досталось,— обижается: почему да как ему такая доля? Родственников в злобе увечит. В деревне надо силу на молотьбу или зимой за сеном ехать. Ищут кого наши деревенские мужики, отец орет: «Анютка что? Кобыла здоровущая, ей бы только лопать да лежать!

Собирайся, иди на молотьбу, езжай за дровами!» Двенадцати годков полных не было мне, а действительно рослая, крупная была, иные девки на возрасте завидовали. Но ведь жилы в руках еще отроческие, сила в спине все равно на двенадцать моих лет. А работала я вровень с мужиками. За сеном ездила; в снегу по пояс, а поворачиваюсь не зря, не кулем, от мужиков не отстаю, на вилы навиваю, подаю на воз. Сколько раз спасибо за девчонку говорили отцу. Мачеха молодая, детей в доме еще народила, а тут воля вышла. Освободили от крепостного права. Нужда, хоть ложись да помирай. Вскоре после объявления манифеста об даровании царем воли крепостным меня и порешили в город отправить. В городу, дескать, найдется работа, а здесь с волей без земли каждый рот сосчитан в семье. В Санкт-Петербурге на почтовом дворе хозяйка из соседней с нами избы взята была. К ней и послал покланяться, чтобы на работу определила. Тронулись мы после покрова.

С обозом меня отправили, мужики знакомые взялись доставить в Питер-град. Тут уже мне двенадцать годков полных было, тринадцатый вступил. Одежонки у меня никакой, одно платьишко, рубашонка внизу. Дали еще худенький платчишко, да и все. В руках — узелочек с хлебом, с лепешками. Бабы, в которых семьях я работала, на дорогу надавали.

Вот и тронулись. Обоз шагом двигается. Долго я оглядывалась, деревню все видно было, плакала. Снег еще не лег, а холодно. Дрожу в одном платьишке, бегаю около телег и так затрясусь вся, думаю: «Мамонька моя родимая, ведь не лиходейка ты мне, зачем на свет меня родила?» Тащились мы, уж не помню хорошо, сколько времени, много дней. С обозом, ведь не на почтовых, не поскачешь. Как в харчевню заедем на ночлег,— возчикам горячее хлебово, пищу готовят. Сядут за стол, едят, едят, уши у них покраснеют, пыхтят, пока не отвалятся. Я сяду подальше от стола, поближе к порожку, развяжу свой узелок, ем сухое, да вот так горсточкой придерживаю, чтобы крошки не потерять. Они хлебают, я на них поглядываю, думаю, а что бы который сказал: «На, девчонка, похлебай и ты немножко вместо милостыньки убогому». Но мужик с нажимом добывает, оттого на подачку прижимистый. Щей из своей чашки ни за что ни про что отливать другому не любит. Так я сухие кусочки только водицей да своими слезами смачивала.

Добрался все-таки обоз до города Петербурга, доставили меня возчики на почтовый двор. Хозяйка — ничего, добрая. Одежонку в изголовье дала и кормила, но что будешь делать со мной, с деревенщиной? На то ахаю, от этого шарахаюсь, зря всем под ноги попадаю. На улицу выйду — думаю, жива обратно в дом не вернусь. Ну, все-таки хозяйка почтового двора меня дня через три в няньки, в прислуги за все про все, что сворочу, к околоточному определила. Первые дни и ругали меня да и посмеялись надо мной тоже вдоволь. Хозяйка скажет за обедом: «Анютка, дай соль». Я хоп своей щепотью из солонки да в пальцах соль ей подам. Хозяин сплюнет: «Дура, дурища ты деревенская, необразованная! Живете в лесу, молитесь колесу, в городе-то на вас, сиволапых, как неприятно смотреть!» Смотреть не хотел, а как хозяйка не видит, меня хватает, коленком прижимает. Я один раз насмелилась, сказала ему: «Не трогайте вы меня, боюсь я, даже голову ломит. Ночью не сплю. Тринадцать годов мне, дите еще я». А он говорит: «То оно и хорошо!» И ну еще приставать. Один день никого дома не было. Он пришел. Я ребенка его качаю, а он на меня напал. Только визгу испугался моего. «От тебя, от дуры, говорит, еще мой сынишка младенской захворает, ну тебя!..» Знаете, так неудобно выразился и отстал. А я в ту же ночь еще визг подняла. Не то с перепугу, не то с простуды,— знобило меня все еще с дороги с той, холодной, захворала горячкой. Всего неделю на этом своем первом месте и прожила. Сдали меня в больницу, шесть недель в ней вылежала. Воротилась опять на почтовый двор. Хозяйка и ругается и жалеет. Рядом с ихним почтовым двором была квартира сочинителя Некрасова. После, уж когда его хоронили, слыхала я, что очень был знаменитый сочинитель. Про нашу крестьянскую долю хорошо книжки сочинял. А тогда я и неграмотная была, и не слыхивала, что за песни чины и деньги дают. Барин и барин; зовут «сочинитель», и я — «сочинитель». Вот теперь кому покажешь дом или скажешь к слову, пристают с расспросами про него. А я его и не видала. Кухарка у него была, про нее разговор. Бегу я как-то мимо, в лавочку меня посылали, она меня из нижнего этажа в раскрытое окошко и манит: «Есть, говорит, тебе место, можешь устроиться. В Петергофе акушерка чужую незаконную дочь при себе содержит, им прислуга нужна. Ты, говорит, небось своему незаконному акушерки в

матери не наняла, беги, у чужой послужи». Я так и обомлела: «Какому, мол, моему незаконному? Я в девичестве».— «Сказывай, говорит, размазывай, не с родов ли в больнице лежала?» Я очень расстроилась, а она говорит: «До законных ли нашей сестре, прислуге, если такой девчонкой начнешь служить, тридцать три горя придется хлебнуть, чего же ты обижаешься? Поступай к акушерке. Кормит она плохо прислугу, хоть и получает много за незаконную барышню, богатая какая-то согрешила. Ну, да ничего, попробуй, послужи». Ну, да уж и правда, привычная недоесть и недопить, а поголодала я на этом месте в Петергофе. Работала все: и стирала, и дрова колола, тяжело на плохом питании... Так ничего, обе хозяйки некрикливые. А барышня совсем тихая, все больше печальная: знала про незаконное рожденье. Это теперь безотцовым-то нет ничего; ни матери, ни дети не стыдятся людям в глаза смотреть, а тогда, ой, нехорошо, зазорно было. Вот и поглядите на женскую судьбу. Отец нагрешил, а доченька с пороком считается. Ну, захудала я у них, а все-таки с одного лета до другого апреля месяца прожила. А тут мне посоветовали: «Иди, говорят, на огороды *наниматься. Хорошо заработать можешь». Мне уж* пятнадцатый год, побойчей я, посмышленей стала. И расчет попросила — и ушла. Рассказали мне, куда идти наниматься. И мосты все рассказали, какие пройти. Из Петергофу-то я приехала уж не рано, пошла искать, да с мостами запуталась. Плутаю по Петербургу, а уж темно становится. Испугалась, расспрашиваю. Объясняют мне: «Совсем не туда, говорят, заплелась. Ищи лучше ночевку, утром пойдешь».— «А где же тут, спрашиваю, ночевать могу?» — «Иди, говорят, в дом Вяземский». Иду я опять по мосту, совсем темнеет. Гляжу, женщина бежит, торопится. Вот как сейчас помню, бурнусы еще тогда носили, косые рукава. Она в таком бурнусе. Я говорю: «Тетенька, где дом Вяземский?» — «А зачем тебе дом Вяземский?»— «Ночевать, говорю, там пускают». — «А ты кто такая?»— спрашивает. Так, мол, и так, запоздала, заплуталась. «Ладно, говорит, постой здесь, подожди меня, я в лабаз сбегаю, сейчас лабаз закроют, а мне муки купить надо. Куплю, вернусь, пойдешь со мной, у меня переночуешь». — «А сколько, говорю, вы с меня за ночевку положите? В Вяземском доме, сказывают, только пятачок».— «Ну, и я, говорит, пятачок возьму». Дождалась я ее, пошли. Комнатка у нее в подвале, ну, чистенькая, и только

двое их с сынишкой, с подростком, вдова. Ночью разго ворились, она и говорит: «После спасибо скажешь, что к себе я тебя увела. В Вяземском доме озорной народ ночует. Обыски, драки бывают, всякие буйства. Ты моло денькая, пригоженькая, тебе бы там несдобровать. А я с чего-то сразу поверила, что ты — девушка честная». Запомнила я эту женщину на всю жизнь за то, что поберегла она меня. После я много про Вяземский дом узнала. И потому еще запомнила я ту женщину, и как на мосту встретились, и как к себе увела, что после нее никто уже больше не появлялся вот эдак на дороге, не остерегал. Она первая и последняя пожалела девушку, у себя поберегла. Наутро-то я на Никольском рынке на сенокосы нанялась. Два брата, хозяева, нанимали и на сенокосы и на огороды. Артелью мы работали и харчевались у хозяина. Как ужинать придем, я стряпухе помогаю. Расторопная была, она мной и не нахвалится. И спала я с ней, как с мамушкой с родной, под бочком, подальше от мужиков. А она меня и продала. Сговорилась с хозяином. Как я уснула, она ушла, он на ее место лег. Здоровый мужчина был, рот пятерней мне прикрыл — не продохнешь. Я думала, живая не вырвусь. Да помог бог, вырвалась неопозоренная. Люди рабочие спят крепко. Все-таки завозился кой-кто. Хозяин шепчет: «Не шуми, не трону. Не делай сраму ни себе, ни мне». И ушел. Я до свету проплакала. А наутро одумалась, какой шум, зачем поднимать? С работы сгонит, куда опять пойду я мыкаться? А если все лето у них отработаю, так и одежонку справить смогу. Спасибо ему, хозяину, хороший был человек; и не прогнал, и не приставал больше. С другой устроился. Я после стряпухе говорю: «Тетенька, что же ты со мной сделала?» Она успокаивает: «Не сердись, милая, на деньги польстилась, да и не думала, что ты отбиваться будешь. Хозяин наградит. А ведь все одно — девчонка бессемейная — как ты от мужчины спасешься? Думаешь, замуж тебя, голодранку, кто позовет? Обрядись да скопи деньжонок, тогда в городе, может, кто и присватается к тебе, к прислуге». Но разжалобилась она, даже всхлипнула: «Ладно, говорит, не уйду я больше от тебя ночью, не бойся». Я сама от нее ночью ушла. Не на нее рассердилась, а на долю свою обиделась. Даже в голову, как хмель, обида ударила. Попросту одурела девка. Что ж я, думаю, как ягода в поле. Кто захотел да поспел, тот и съел. А может, и в года вошла, в самой девушке

грешная женская кровь объявилась. Подробно рассказывать совестно, только уж по доброй воле девичество свое на том же сенокосе покончила. Ему-то что ж, как говорится, встряхнулся да пошел, корить не за что. Не клялся, не обещался, хоть и неженатый был. Не взял за себя, да и все. После сенокоса я еще на огородах работала. Денег заработала при расчете столько, сколько у меня и отроду на руках не было. Да нахомутала на себя расход очень большой. Забеременела я. Теперь это всякие аборты. А тогда только богатые тайных акушерок знали, у них потихоньку рожали. И греха боялись, да, может, и акушерки тогда еще не такие ученые были. Учила меня одна бабка: я и порох пила, и тяжелое, сверхсильное подымала, и с лестницы падала. Ничем ничего. Здоровущая да молодая, растет ребенок во мне да растет. Хорошо, хоть денег прикопила. Пока в силах была, служила опять в прислугах. Управляющий домом из дворников был, барин его произвел в управляющие. Он женой-то гнушаться после этого стал, по другим, форсистым бегал. И дети у них с чего-то не жили. Жена его затосковала, пила запоем. У них я служила перед родами. Затягивала брюхо, чем могла. Дома не замечали. Вот хозяин уйдет, хозяйка напьется, сперва кричит, потом просит со слезами: «Пляши, Анютка! Давай плясать, станет нам весело».

И пляшем обе. Она с платочком, рот раззявый, чуть топчется, пьяная. А я скосорочусь, живот тяжел, и дышать неловко, а пляшу. И смех и грех, а уж какое веселье!

Когда разглядели, что уж назад-то я никак не согнусь, брюхо держит,— рассчитали, конечно. Сняла я угол у женщины одной. Она взялась помогать мне ребенка сбыть, когда родится. Не очень далеко от квартиры нашей больница помещалась. Около ящик такой стоял, вроде люльки. Детей очень много тогда незаконных губили. Ну, вроде вот как на счастье, успеешь, в ящик положишь, когда сторож прозевает, заберут младенца — жив останется. Только сторож около больницы ходит, увидит, кто подбросил, заберут на ответ, кто такая, почему? Назад отдадут или пристроят куда, а греха и сраму натерпишься. А уж зато успеешь, так шито-крыто и беспокойства никакого больше за ребенка нет. Нанялась хозяйка моего младенца в эту люльку положить. Она меня до родов уговаривала не кормить ни разу, чтобы тоски по ребенку не было. Я, глу-

пая, не послушалась. Родила легко, скоро, а отдать никак не могу. Все постой да погоди. Два дня годила, кормила. Хозяйка рассердилась, отказалась было мне помогать. Плакала я, плакала и решилась. Ох, и больно рожденное матери от себя отрывать! Ведь когда это было, сколько я горя перезабывала, а эту скорбь помню. Хозяйка сперва одна нести хотела. Я — никак: «Сама с тобой пойду». Закутали мы сыночка моего некрещеного, вынесли, как узелок, за ворота. Ночь холодная. Зима на повороте, февраль, а холод встал. Замерзнет, говорю, он в этой люльке, грех незамолимый будет на моей душе. А хозяйка укоряет: «Об грехе, говорит, надо было тебе думать раньше, без венца детей не заводить». Долго мы на улице, таясь, за углом дрогли. Небо черное, ветер холодный, и снег не белый, а темный, под ногами, а на сердце черная печаль. То сторож мешает, то хозяйка выберет время,— я узелка не отдаю. «Погоди, говорю, еще минуточку». Она совсем осерчала, пошла было прочь от меня. Передала я ей ребенка на руки. Руки и ноги у меня дрожат, а в груди во рту жаром печет. Она говорит: «Ты уйди подальше. Если не уйдешь, не понесу. Знала бы, так и ни за какие деньги бы не взялась. Подумай-ка, что ты с ним делать будешь, чем кормиться? Тебе чуть-чуть шестнадцать годков, что делать будешь?» Послушалась я, отошла. Как уж она исхитрилась, как мы с ней скрылись, до дому добрались,— не помню. Прямо в беспамятстве была. А наутро совсем обезумела. «Пойду да пойду сына выручать». Уж действительно намучилась и она со мной. Хоть и обобрала меня потом почти начисто, но за дело. Да еще за секрет с меня года два рубли вытягивала. Молоко материнское меня мучило. Тосковала месяца два, исхудала, пищу принимала плохо, а вот на живом все заживает. Победствовала, опять на место поступила, и смеяться начала, и пищу с охотой принимать. К немцам к одним я попала в судомойки. Кухарка, тоже немка, чисто и хорошо стряпала. От нее я много переняла, и цена мне уж другая при найме. Да, я пообтерлась, пальца в рот уж не клади. А доля все равно женская. Тот обидит, этот приластится, один силой, другой улещеньем, а ты крутись меж ними, безродная. Вот тут я и научилась с усмешечкой да с хитрецой. Всем мужчинам поддаваться,— дак погибла, истрепалась бы. А поди-ко, отбейся без хитрости, когда ты в низком положении! Я и научилась. На сердце лежит — убила бы, а лицом пока-

ываю — купила бы. И замуж так сумела пристроиться. Ну, об этом я в другой раз, когда разбеседуемся, расскажу.

Теперь чайку попить надо. Расстроилась я, вспоминаючи. Вот ноченьку эту, когда сынка, как щенка, кинула, без печали вспомнить не могу. А мне при расстройстве чаек хорошо. Мужчины вином печаль смачивают, а женщинам лучше чайком. Пьяную бабу самый паршивенький мужчина обидит, не то что дорогой.

I

Счастье в природе

Третью неделю плаваем на водах Урала. Оборудо вана наша экспедиция хорошо. Имеются в ее людском составе ветеринар, психиатр и бактериолог. В числе фуража три килограмма александрийского листа и всяческие противопоносные средства, но две лодки тащатся неохотливо. Гребцы невеселы. По призванию они все охотники, греблей занимаются поневоле. А птицы в последние дни встречается мало. Я не умею ни стрелять, ни грести, поэтому моя специальность на воде — критика того и другого. Сижу я на лучшем месте, на скамеечке в корме, и добросовестно оцениваю неудачные выстрелы, недостатки самодельных парусов при тыльном ветре, работу веслами при встречном и по тихой воде. На дальней суше, в Москве, когда сбивалась для совместного путешествия эта охотничья артель, моя роль была другая. Тогда я еще была охотницки безграмотным, абсолютно верующим слушателем стрелковых воспоминаний всех членов артели и каждого в отдельности; кроме того — громкоговорителем для возбуждения зависти и уважения в комнатных охотниках, у тех, кто предается страсти зверо- и птицеубийства разумно, только в мечтах, в час отдыха после обеда. В передаче своего восхищенья предполагаемой поездкой я преуспевала даже на расстоянии, по телефону. Один комнатный чуть было не примкнул к экспедиции, но в день отъезда вспомнил, что боится воды. Вместо него взяли в артель меня как аудиторию для своих рассказов. Предполагалось также, что, по женскому своему положению, «аудитория» будет варить и жарить охотникам пищу.

Ко дню отъезда я уже была в душе охотником. Правда, разочаровали меня несколько ружья в лодке. Какие-то неудобные, все о них ушибаешься. Дробь, на вид такая

маленькая, безобидная, удручительно тяжела. Из-за нее не позволили взять много приятного из городской снеди и полезного из домашних вещей. О порохе все время приходится помнить: не подожги да не подмочи. Выстрелы — занятие шумное, разорительное и зачастую никчемное. Но если спокойные, дельные люди моего типа не составляют артелей для дальнего плавания, а на воде, на безлюдных, не затоптанных тяжелой человеческой толпой берегах хороша пора мудрого предзимнего увяданья природы, чего же мне не стать в душе грамотным охотником? Я им и стала. И гребцом и охотником. Вникла в дело.

Вот из-за берегового леса вылетела пара уток. Гребцы побросали весла, схватились за ружья. Лодка закачалась. Я распростерлась ниц. Не важно, что моя голова за спинами стрелков, утки летят вперед. Все равно всякую незадачу объяснят тем, что нельзя же стрелять через мою голову! Да и вообще спрятаться спокойней. Выстрелил мой муж, не задел. Лет незатронутых птиц сразу сделался ироническим, спина и плечи стрелка — унылыми от опустившихся рук. Мы все надрывно кричим:

— С полем! С по-олем! С полем!

Блажной наш крик далеко разносится по реке. Потом, подумав, я говорю мужу:

— По-моему, ты промазал. Вообще, если так долго будешь целить, никогда никого не застрелишь. Всякий дурак улетит.

Муж отвечает мне кратко, но неприятно. Не хочется повторять. Удивительное дело, сами заинтересовали меня охотой, а когда я стала дельным и остроумным советчиком,— все недовольны. Например, мило говорю бактериологу Калиненко:

— А утка-то улетает и спрашивает вас: «А что, хлопец, случаем, ты не в меня стрелял?»

Он отзывается с любезной улыбкой:

— Вы изумительно остроумны, Лидия Николаевна, только эту блестящую шутку я слышал до вас сотню раз и от вас столько же.

Никто не виноват, что он так много мажет, но попробуй, укажи на это!

Сидящий со мной рядом дежурный, кормчий, молодой ветеринар Константин Алексеевич, жадным взором озирает чудесное небо ведренного сентябрьского дня, лес на берегу с багряной позолотой осенней лист-

вы, тихие, тоже золотом отливающие на солнце пески, серовато-зеленую воду,— все, только не течение реки, и мы с размаху, с треском в левом борту, налетаем на корягу. Голая, жесткая ее ветвь ободрала кормчему до крови щеку, лодка захлебнула воды, но не перевернулась. Со второй лодки, которую мы зовем за тихий ход и за мешки с припасами «Москва-товарная», раздается дружеское сочувствие:

— Эй, вы, адики! Безглазые черти! Лодку разобьете!

«Адики» — это ласкательное от слова «адиот». Так в анекдоте называла любящая жена своего мужа. Мы усвоили и пустили сами ее нежность в оборот.

Выжимая промокшее платье, я, естественно, не очень добрым голосом шучу:

— Дорогой Адик Алексеевич, сколько ворон в небе?

Константин Алексеевич, отворачивая нос в сторону, бубнит:

— Граждане, назначьте дежурного по смеху.

Павел Дмитриевич, помешивая воду веслами, ласковым голосом спрашивает меня:

— Зачем вы с нами поехали, Лидия Николаевна?

Хором четверо мужчин в нашей лодке и двое в другой, куда донесло ветерком вопрос, некрасиво гудят:

— Зачем вы с нами поехали?

Странные, непонятливые люди. Я, как и они, люблю природу и охоту. Теоретически я уже хороший стрелок, а если не стреляю, так зато и не мажу. Да, охотники — отсталый народ. Они еще не изжили буржуазного отношения к женщине. Особенно, если она охотится и по перу, и по шерсти без ружья. Я убедительным, пространным рассуждением хочу ликвидировать в них отрыжку позорного прошлого. Калиненко кричит:

— Эй, «Москва-товарная», сейчас мы будем грузить к вам политотдел нашей команды.

Со второй лодки осторожный Василий Павлович спрашивает:

— А это кто и что?

Константин Алексеевич ядовито поясняет:

— Небезызвестная вам, уважаемая...

Василий Павлович догадливо и категорично обрывает:

— Ни в каком разе!

Нарастала крупная перебранка. Я собиралась наказать моих невежливых спутников, объявить, что в

ближайшей станице я покину их, вернусь от дикарей к цивилизации. И как раз в этот момент свистящий шепот моего мужа:

— Утки!.. Утки! Кря-якаши!..

Опять привычная пантомима. Я кувырк ничком, гребцы и рулевой — за ружья, но стрельба предоставляется моему мужу. Он слишком настойчиво и свирепо шепчет:

— Это моя! Это уже есть! Дуплет, ручаюсь!

Утки налетают хорошо. Я, искоса взглядывая, вздыхаю: сейчас щипать оперенье. Ох, если бы без насекомых! Должна сообщить отсталой массе домохозяек: некоторые дикие утки, особенно серые, плохо следят за собой, не употребляют частого гребня. В их оперении бывает обилие быстро расползающихся по рукам насекомых. Я считаю это большим недосмотром природы. Довольно того, что у самих людей они заводятся, а тут еще с утками возись! Мое раздумье прерывается моим же собственным невольным вздохом облегчения. Утки после двух выстрелов непостижимо целы. У глубокоуважаемого охотника сегодня постыдный день или горестный чистый понедельник. Его даже никто не корит. Все конфузливо смотрят в разные стороны, делают вид, что не заметили. Калиненко фальшиво беззаботным голосом заводит дежурный анекдот:

— У нас в Балаклаве...

Мне жалко моего мужа. Небо ясно, благостен тончайший осенний воздух, тихонько играет с веслами вода. Сейчас где-нибудь на чистеньком песочке, горячо пригретом последним напором тепла, разведем мы веселый костер. А у человека, гражданина, у охотника опозорена быстро текущая жизнь такой беспросветно-бездарной промазкой. И главное — при свидетелях. Он пристально разглядывает, щупает патронташ, на лице его сумрачные тени. Я спешу поднять в нем ушибленную веру в себя:

— Валерьян Павлович, а помнишь, ты в третьем году этого большущего дудака дуплетом убил. Ду-уплетом!

В это время над лодкой пролетела беспечальная, дешево себя ценившая в глазах охотников ворона. Муж с яростью вскинул ружье, выстрелил, ворона черным комком бухнулась к нам прямо в лодку. Это было так неожиданно, что я чуть не опрокинулась за борт. Рулевой схватил за руку, удержал:

— Ладно уж, сидите, довезем как-нибудь.

В лодке нашей стоял веселый хохот. Громче всех хо-

хотал омывший вороньей кровью свой недавний позор охотник. Он, захлебываясь, потрясая трофеем, вопил:

— Ка-аралевский выстрел. Королевский!

Я жалобно причмокнула губами:

— Дичь-то не королевская. Чтоб тебе так в уток выстрелить! А то сейчас остановка, а у нас на семерых только и есть три худеньких куропатки.

Муж отмахнулся рукой:

— Много ты понимаешь! Замолкни!

Конечно, с этой стороны он поднялся на большую высоту. Но и я, внизу, могу понять,— чего тут не понимать? Когда сядем обедать, все поймут, что этакими королевскими выстрелами не прокормишься. Горячие обсуждения удачного выстрела, перекличка с «Москвой-товарной» опять отвлекли внимание рулевого. Лодка глухо заскрипела днищем по песку. Кормчий растерянно спросил:

— Ну-ка... померяйте веслом, не маячит?

Тут же лодка упрямо встала, а рулевой уверенно объявил:

— Маячит... Сели.

С размаху врезалась в мелкое дно и «Москва-товарная». Весело спрыгнул в воду пойнтер Грайка, выспавшийся вдосталь в носу нашей лодки. Охотники не так охотно слезали в воду. Переругиваясь, разувались, снимали верхние брюки,— все они носили трусики внизу. Разделись быстро. Один щепетильный и щеголеватый Калиненко долго засучивал концы своих «охотничьих» брюк. В начале пути, в вагоне, это был не мужчина, а картинка. Чистый тиролец, с перышком на шляпе. Но дни, пески, кустарник, невзгоды плаванья оставили на его костюме свой след. Сейчас он очень бы годился для любой клубной сцены. Мог бы изобразить в оперетке какого-нибудь ощипанного пижона из «бывших». В пути останки его буржуазного охотничьего вида служили постоянным возбудителем иронии в зрителях. Наша Грайка иногда, вглядевшись в него, начинала лаять. Но все-таки он пользовался своими «царственными лохмотьями» умело. Сейчас так долго засучивал узкие внизу галифе, что его оставили в лодке, а меня, даму, стряхнули за борт. Разумеется, равноправие и все такое — и на мне физкультурные шаровары, но походи-ка по камешкам, потащись по колено в воде по длинной мели, пока стащат лодку вглубь. А он сидит и командует:

— Вправо! Не-ет, левей тащите!

Я его осаживаю:

— Не забудьте, вчера Константин Алексеевич тетерева убил, а вы просалачили.

Он, восседая в лодке, гордо отвечает нам, водным труженикам:

— Я не гонюсь за количеством убитой дичи. Я охотник качества.

Довольна я была, что при посадке мокрая Грайка плюхнулась на него. Посидел, когда мы ходили, получай свою порцию мокроты. Так, все по пояс мокрые, голодные, поплыли мы дальше. Вдохновленный своей вороной, Валерьян Павлович краснобайствовал и убедил всех проплыть дальше, к гусиным пескам. Гуси — основное наше вожделение. Одну партию мы проморгали в час охотничьих рассказов. Проплыли мимо, они взлетели позади, и, погогатывая, унеслись длинной крылатой лентой высоко и далеко. С того дня каждую ночь кто-нибудь из охотников видел тревожный сон про гусей. Определяя, что мы часа через два будем у песков, где гусиная сидка, где их «тысячи», муж мой ссылался на илецкого начальника милиции, знающего Урал до Гурьева как свои пять пальцев. Я глубоко вздохнула. По моей далеко не безосновательной догадке, этот начальник милиции — существо мифическое. Религиозный дурман — опиум для нас. Его главный правоверный, видевший его въяве, раз десять уже заставлял нас причаливать к будто бы указанным начальником по карте местам. Не видали мы там даже гусиного помета в утешенье. Вера заразительна. Опять охотники сдались. Плывем с урчаньем в животе, с голодной слюной во рту. Уже выстывает день, солнце близится к закату. Подходящих к описанию песков нет, и яры не на месте. Не то карта врет, не то Валерьян Павлович плохо понял этого самого, прости господи, начальника. Наконец команда взбунтовалась:

— Даешь берег!

Мы всегда долго спорили из-за того, где причалить. Трое охотников — двустрастны. Они и рыболовы. Константин Алексеевич — когда как. Двое — однолюбы. Иногда троим кажется стоянка хорошей для рыбалки, четвертый мямлит, двое не находят возможным увидеть здесь какую-нибудь дичь, нет большинства голосов. На этот раз, как всегда при затянувшемся споре, вдруг вспоминают обо мне.

— Пусть она скажет, где ей удобнее доставать воду и чистить сковородки.

Зачастую я упиваюсь своим преимущественным голосом, дипломатничаю, долго размышляю, но сегодня не до того. Так проголодались, что в спорах спешно жуем сухой хлеб. А его мало. До станицы нигде не добудешь. Срочно необходим приварок. Останавливаемся на компромиссном пункте между спорными. Отсюда недалеко до яра, под которым обязательно водятся сазаны. Близко и кустарник, и лесок,— должна быть дичь. Место для стоянки низкое, песок, но над ним невысокий взъем с кустами. Шумно причаливаем, и вдруг Валерьян Павлович шипит, пыхтит, волнуется всей спиной. Увидала и я. Наученная горьким опытом, не кричу «тише», только, беззвучно широко разевая рот, дико вращаю глазами. В кустах пухлыми неприметными комочками — затаившиеся куропатки. Выстрел, другой, третий, пятый, шестой, пальба. Фршш! — серые птички взлетают, улетают, падают. Их было много — наверное, несколько знакомых домами семейств любовались закатом. Убито пять штук. Три прежних,— есть обед. Забыты и непросохшая одежда, и позорные промахи, и даже «королевская ворона». Я щиплю куропаток. Мужчины несут хворост, разводят костер, ставят палатку. Все в самом срочном порядке. Скорей, скорей, пока еще половина солнца видна на горизонте, наверх в кустарник, в лесок за куропатками! Пятеро, забрав и Грайку, уходят. Шестой с удочками — на сазанчу. Я остаюсь одна. Прохладный осенний вечер кроткими тенями прикрывает лес на противоположном берегу. Уже не блестят рыжие засыхающие листья, желтый песок под ногами становится смуглым, ощутителен холод от посеревшей реки. Ветви дальних кустов сливаются в одну темную купу. Но так свеж воздух, столько мудрого спокойствия в тихом небе, что не страшен уход ясного дня. Беззлобно, так же легко, как наплывают, густеют вечерние тени, вспоминается прожитая жизнь, отдыхает в миролюбии сердце. На сковородках шипели, жарились куропатки, на перекладине вскипал чайник, из отдаленья доносились выстрелы, тело отдыхало от долгого сиденья в лодке, все так хорошо, благополучно. И надо же... Ветерком донесло глуховатое, далекое «Го-го-го!...» Гуси! Гогочут гуси. Я вскочила как ошпаренная кипятком. Гогочут, «проклятые», гогочут, желанные! О-ох! Все ближе, ближе. Летят сюда, а на стану ни одного

стрелка! Лежит запасное ружье, но ведь я же не практик, я теоретик. О-ох! И вот над станом, низко, вижу, вижу вытянутые в полете ноги, кажется мне — над самой, над самой палаткой черная гогочущая линия. В ряд по одному. В перепуге от восторга, я кидаюсь вверх, кричу:

— Эй, эй, где вы?.. Охотники, Валерьян!.. Гуси! Костя, гуси!

Вдруг не услышат, вдруг не увидят, куда улетают долгожданные птицы. Я карабкаюсь выше, ору:

— Гу-уси, гу-уси!

Голые колени изодраны в кровь, взбираясь, я больно ушибла руку, но я уже вверху, бегу, кричу. Ни выстрелов, ни отклика. Не видно в вышине гусей. Гоготанья их уже не слышно. Я задохнулась от карабканья в гору, от бега, приостановилась перевести дух и вспомнила:

— А стан-то бросила без призора!

Место безлюдное, с реки могут подплыть бакенщики; они ничего не тронут, позовут нас, но куропатки, куропатки! Остались на жарком огне. Да. Опасенья были не напрасны. Обуглившиеся останки, черный прах куропаточий — вот наш обед. Что мне будет от шестерых голодных охотников?! Вот уж, поистине, не лови гуся в небе, жарь готовых куропаток!

Я не знаю, может быть, хладный мой труп плавал бы сейчас безнадзорным по Уралу, если бы не выручил меня рыболов. Брат моего мужа, глубокоуважаемый деверь Василий Павлович, с того дня для меня — один из замечательнейших людей эпохи. Ухитрился же как раз в такой опасный момент моей жизни принести рыбы. Он был счастлив, оттого великодушен, не ругался, сварил уху сам. Дело в том, что охотники бредили во сне гусями, а рыболовы — сазанами. И Василий Павлович «заводил» одного до одури, большого, кило на четыре, и поймал. Золотисточешуйный лупоглазый красавец трепыхался на веревке в воде. Удачливый рыбак во время варки ухи раз пять ходил любоваться добычей, поправлять прикол. Уха и готовый на утро сазан спасли меня от кары за кремацию куропаток. Правда, зато охотники взвалили на мою ответственность гусей. Сами их на стану не дождались, а я виновата. На принесенных куропаток они даже не смотрели. Наевшись, принялись стонать, как молящиеся в синагоге:

— Гуси! Гуси! Гуси!

Муж, качая головой, озирая меня с ног до головы изничтожающим взглядом, скорбно повторял:

— И зачем ты на свете живешь? Ну, чего ты стоишь, если стрелять не умеешь? Тут бы стрелять, а она орет благим матом! Почему ты хоть не попробовала, не стреляла?

На практике я, по совести сказать, даже не знаю хорошенько, что оно там нажимается у ружья, чтобы стреляло. Другому посоветовать могу, теорию знаю. Но сама... Едва ли вышла бы польза какая от моего выстрела. Все-таки я умно отвечаю моему мужу:

— Видишь ли, я боялась снизить. Я соображаю, а они не ждут, летят. Улетели!

На сазана любовались и поодиночке, и все скопом, пока ночь не покрыла темнотой победы и пораженья истекшего дня. Снизошла она, многозвездная, светлая и холодная. Калиненко и Павел Дмитриевич на вокзале удостоились шумного одобрения за свой легкий багаж. За возношенье, за хвалу теперь расплачиваются. Ночами их плохо греют байковые легонькие одеяльца. Остальные — каждый — захватили по ватному. В эту ночь я спросонок слышала, как, пристукивая зубами, Павел Дмитриевич жалобно будил Василия Павловича:

— Вася, а Вася! Вася, проснись!

Тот сердито заворчал:

— Чего тебе надо? Ну? Чего спать не даешь?

— Вася, нет ли у тебя какой-нибудь тряпочки?

— Ка-какой тряпочки? Обалдел?

— Озяб я, Вася! Прикрыться...

Василий Павлович ведь сегодня поймал сазана, он добр. Он прикрыл иззябшего своим одеялом.

Перед рассветом загудели берега, зашумела волна. Шел пароход. Громкое шествие цивилизации по безлюдному, глухому простору разбудило и нас. Слышно и видно было пароход издалека. Виден был свет прожектора, щупающий бакены, мели и берега. Мы успели разжечь костер в ожидании парохода. Прошел «Чапаев» близко мимо нас, осветив лучом прожектора группу отважных путешественников у костра. Мы все старались казаться красивей, как перед аппаратом фотографа. Пароход прошел, оставив после себя еще длительное беспокойное ворчанье воды. Уходя спать в палатку, мы самодовольно переговаривались:

— Они там из кают посмотрели на нас, скажут: вот, смельчаки...

— С палубы хорошо виден стан. Подумают...

Но едва ли на пароходе о нас думали и говорили. Час был глухой, заполночный. Навигация уже подходила к концу, на пароходах мало было пассажиров. Пожалуй, красовались мы, выскочив из-под одеяла в предрассветный холод, только сами перед собой. Но не важно, сами себе мы очень понравились на этом ночном параде и засыпали снова с гордыми улыбками на величавых лицах.

Но жизнь строга. Утром за гордость получили по носу.

Разбудил нас всех Василий Павлович. Будил очень решительно и сердито. Я сразу поняла: опять что-нибудь стряслось. Наконец он с мрачным видом объявил:

— Сазан ушел.

Все быстро повскакали.

— Как ушел? Как? Куда?

— Сорвался.

Я посоветовала:

— Ловить надо. Давайте удочки!

Даже никто не плюнул. Василий Павлович мрачно повествовал:

— Пароход поднял большую волну. Ну, верно, и его захватило вместе с приколом.

Мы долго искали у берега сазана на приколе, но не нашли.

Счастье изменчиво и на суше и на воде.

2

В ненастный день

«В животном страсти слиты в одно с рассудком, образуя побудку, а потому в страстях животного всегда есть мера. Страсти человека, напротив, отделены от разумного начала, подчинены ему, но вечно с ним враждуют и никакой меры не знают». На уроках чистописания в епархиальном училище мы списывали это изречение с прописи. Оно двадцать пять лет хранилось в каком-то закоулочке моей памяти так же бестревожно, как некоторые тексты из катехизиса или наречия с окончаньем на «е»: «крайне, втуне, вообще, прежде, вовсе и еще».

А вот прошлой осенью неожиданно приобрело для меня смысл. Оказывается, это об охотниках. Всем, кто связан родством или собственным попустительством с охотниками и страстными рыболовами, советую списать его в записную книжечку. В генеральной родственной перебранке следует им козырнуть. Можете приписать его если не Марксу, то Энгельсу. Результаты увидите сами. Они зависят от многих привходящих обстоятельств, я не берусь их предугадывать. Расскажу по порядку, чего я добилась этой цитатой. В нашей охотницко-рыболовной артели было шестеро мужчин, я и собака Грайка. На зимних квартирах все мы были людьми не то чтобы выдающимися по своей рассудительности, но все-таки нормальными середнячками. Грайка, конечно, и в городе была собакой, но толстой и спокойной. Выехали мы на Урал, поплавали, покочевали по его берегам, и разумно сдержанными в охотницкой страсти остались только двое: я и Павел Дмитриевич. Самыми отъявленными безумцами сделались бактериолог Калиненко, литератор Валерьян Павлович и брат его, советский служащий, Василий Павлович. Первые два — охотники, третий — рыболов. Вечерами они являлись на стан позднее всех. На свету, когда в палатку наплывал рассветный холодок и особенно сладок был сон людей нормальных, они опрометью вскакивали с постелей. Калиненко и Валерьян Павлович хватали ружья, Василий Павлович — удилище. Грайка, уже утратившая с ними полноту и спокойствие, все-таки некоторое время сдержанно потягивалась. Валерьян Павлович дико свистел, насильственно вызывал в ней «побудку», тащил ее с собой на мытарства.

Дурным примером безумцы нарушали душевное равновесие не только Грайки, но еще двоих членов экспедиции. Психиатр, Николай Павлович, вместо того, чтобы воздействовать на братьев и Калиненко гипнозом, сам предавался беспокойству. После их ухода он спал — уже несладко — часок, полтора и тоже тащился с ружьем. Вскакивал как неразумный и Константин Алексеевич. Но он ветеринар. От частого общения с животными научился хранить меру в своих страстях. Поэтому, проснувшись раным-рано, долго раздумывал об охоте на стану, кипятил чайничек, а не бежал, чуть продрав глаза, будить выстрелами птицу. Только я и Павел Дмитриевич в этой поездке сохранили прежний почтенный вес в теле и спокойствие души. Набираясь сил и здоровья, спали мы до

яркого солнца. Однажды оно запоздало. Утро встало серенькое и прохладное. Никогда на мягкой постели в прочных стенах жилья не снисходит на человека столь безмятежный сон, как на воле. На берегу реки или в степи, на кое-какой подстилке, русским раздумчивым, неярким утром спится, как младенцу на руках у родимой. Павел Дмитриевич храпел в глубине большой нашей палатки. Я вторила на своем месте у входа, головой наружу. Поэтому нарушился сначала мой второстепенный храп. Откуда-то из глубины воспоминаний до сознанья моего дошло: «А ведь, пожалуй, орет какой-то обозленный человек». Я струсила и проснулась. В яви слышался действительно злой крик. Долетали отдельные отчетливые слова: «Черти... спать приехали!..» Я догадалась, что крик относится к нам, вздохнула и вышла из палатки. Мы ночевали на отлогом песке, а на противоположном крутом берегу, под деревьями, кричал и сердито, по-медвежьи, топтался на одном месте Василий Павлович. Кротким голосом я позвала: «Ау!» Видно было, как яростно сплюнул Василий Павлович. Он хлопнул себя рукой по боку и зазевал еще злей и безнадежней:

— Черта мне с вами теперь аукаться! Улетели. Дрыхнете, окаянные, будто нанялись спать!

Я степенно шмыгнула носом и спросила:

— Во-первых, кто улетел? Во-вторых, в какую сторону? Если направо, туда наши собирались вчера. Может быть, убьют.

Василий Павлович плюхнулся на берег, вытянул ноги, покачал головой и уже изнемогшим голосом отозвался:

— Что с вами разговаривать! Скажите этому спячему идиоту: дудаки над станом пролетели.

Василий Павлович — наш капитан. Я — дисциплинированный член команды. Поэтому я сначала вернулась к палатке, растолкала Павла Дмитриевича, сообщила ему в точности сказанное и о дудаках, и о спячем идиоте, потом уже продолжала разговор с начальством:

— Зря, Василий Павлович, вы орете. Во-первых, мы наладились стрелять гусей и уток, а тут непредвиденные дудаки. Во-вторых, Костя до обеда всегда около палатки, а сегодня ушел. Я думала, он здесь, и спала спокойно.

Сердито наматывая леску на удилище, Василий Павлович заявил:

— Если бы вы спокойно спали, не просыпаясь, всю

нашу поездку,— лучше было бы. Что кричите? Рыбу всю распугали. Действительно, с вами порыбачишь, поохотишься. Компа-ания!

Он съехал собственными средствами вниз, к реке, вспрыгнул в лодку и с размаху ударил по воде веслами. Павел Дмитриевич умывался прямо из реки, виновато взглядывая сквозь мокрые пальцы на приближающуюся лодку. Явная несправедливость. Первый заорал благим матом сам рыбак. Рыба уже была напугана, когда я вступила в переговоры. Наконец он забыл самое главное. Василий Павлович исхитрился, из реки от перемета протянул в палатку бечевку со звонками. Он ждал осетра. Эта уважаемая рыба должна была вызвать такой же звон, как архиерей, навестивший сельскую паству. Я помню, в детстве слышала, каким оголтелым звоном его встречали. Но дергала все мелкая рыбешка, слабосильно, но неустанно. Правда, меня звонки не будили, но я спросонок слышала, как другие жаловались. Могла бы указать и я на ночное беспокойство. Тем более что улов оказался мелюзговым. Но я благоразумно предоставила дальнейшее объяснение Павлу Дмитриевичу. Молчком пошла разводить костер. Я знала, что Василий Павлович любит повторяться. В этом они одинаковы, два братца, Валерьян Павлович и он. Тысячу раз слышала от них: «Не рыбачишь, не стреляешь, хоть бы высматривала птицу». Польются горькие попреки, а разве я виновата? Если бы мне было известно, что дудаки полетят, я и в полночь бы встала. Не могу же я, задрав голову к небу, сидеть с разинутым ртом, не спавши, не пивши, не евши. Да и не успеешь уследить сразу и за небом и за землей. Один раз я так сидела, выпучив глаза, искала в небе дичь, а из кустов выскочил заяц. От неожиданности я перепугалась чуть не до смерти. Где тут охотников звать? Елеле ноги в палатку унесла. Прислушиваясь к жестким определениям Василия Павловича и ответному виновато рокочущему баску Павла Дмитриевича, я узнала, что дудаки пролетали медленно и близко от стана. Василий Павлович увидел их сразу и с замиранием сердца ждал выстрела. Ему самому стрелять с другого берега не имело смысла. Он горько жалел, что расположился рыбачить против нашей палатки. Лучше бы не видеть! Наконец, когда дело было безнадежно, он стал кричать и ругаться. Сидя у костра, прихлебывая упоительный горячий чай, он все еще время от времени взварчивал:

— Не понимаю! Охотники, рыбаки... Спят до обеда.

Я сообразила, что день во всех отношениях будет ненастным. Как разливная российская грусть, расстилалась от нахмуренного неба над лесом на том берегу, над водою, над одиноким стогом в степи, за палаткой, над бледным во дню огнем нашего костра мглистая серость. На взъеме к степи нахохлились мелколиственные кусты. Без блеска, без переливов, с ленивой печалью обмывала берег темная волна. Желтый сыпучий песок меж кустами и рекой помутнел, казался теперь плотным, хмурым и древним. Сколько десятилетий намывала его такая вот невеселая река?

Стреляют наши. Близко они или далеко? В сыром воздухе выстрелы звучат приглушенно. Надо скорей готовить еду. Первым появился Константин Алексеевич. И только он один с добычей. Бережно положил около костра трех взъерошенных сереньких куропаток. Василий Павлович чистил ружье. Он мрачно сообщил Косте:

— Опять просалачили. Дудаков. Придется мне бросить рыбалку. Охотники! Вон, видали? Проспал.

Из презренья он указал не приспособленным к указанию, а большим пальцем на Павла Дмитриевича. Тот поодаль от нас уныло ловил рыбу спиннингом, ничего не вылавливая. Раздался треск в кустах. Замученный, хилый, в изодранных штанах появился Калиненко. Вид его был суров, но жалок. Он дотащился до костра и молча лег на землю. Ясно,— с пустыми руками.

У Константина Алексеевича на кротком лице, как масло на блине, засветилось торжество. Он тихоньким голосом, очень ласковым, медленным завел, как всегда, свое раздумье вслух:

— Почему необходимо искать птицу от стана далеко? Не всегда обязательно протащиться не знай сколько километров, измучиться вконец, изорвать одежду. Надо сначала поискать поближе. Уж если нет, тогда идти далеко. А то что же далеко ходить? Я никогда не тороплюсь, я не гонюсь за тем, сколько убить. Мне это не важно, незачем хвалиться. Вот пошел тут рядом, походил, посидел...

Калиненко разом поднялся, сел, стиснул худые колени руками. Голосом умученного святого отрока воскликнул:

— Господи! Надолго это он завел?

Костя, невзирая на помеху, плавно тянул дальше свой рассказ:

— ...опять встал. Потом думаю: «Вот здесь по кустам пройду. Надо хорошенько осмотреть то, что близко, а потом уж ходить далеко»...

Новое вмешательство его не могло смутить. Костя всегда стойко хранил постепенность рассказа, сколько бы раз его ни прерывали. Поэтому, не смущаясь аккомпанементом его кроткого голоса, я сказала Калиненко:

— А что же злиться? Действительно, поглядите хоть на меня. Цветущий, приятный вид! А вы? «Смотрите, дети, на него, как он угрюм, и худ, и бледен. Как презирают все его!»

Калиненко приподнялся на локте и угрожающе спросил:

— Это что? Намек?

Костя все еще продолжал свое повествование. Небо совсем потемнело. В этот миг по склону из степи скатилась к стану Грайка. Она тяжело вздымала запавшие бока с очевидными ребрами и трясла сильно высунутым языком. Так же, как и Калиненко, она почти упала на стану. Я собиралась жалостливо ее погладить, но у костра появилось существо, еще более запаленное. Оно было гражданином, не лишенным избирательных прав. В уголовном розыске наверняка о нем выдали бы в критическом случае справку: «Не судился, не приводился и не разыскивается». Я это знаю. Это мой муж — Валерьян Павлович. Но что он такое сейчас по внешнему виду? В обрывках нательной сетки и из порыжевших, протертых штанов видно худое, прокаленное дочерна солнцем, обветренное тело. На лице только большой нос и запыленные очки. Головную покрышку он, вероятно, где-то в траве потерял. Глаз под пропыленными очками не увидишь. Ружье на левом плече подрагивало от напряженного дыхания. Прямо беглый, осужденный по мокрому делу. Хорошо еще — бумажник хранился у меня. Кто на жилой берег такого без документов пустит? Он упал у стана прямо на спину в полном бессилии. Взглянув на него, Василий Павлович, всегда сдержанный в выражении родственного чувства, спросил с братской жалостью в голосе:

— Где же ты себя так ухайдакал?

Дыша громче хрипящей, свистящей Грайки, Валерьян Павлович прерывистым голосом сообщил:

— Туда, сюда... Стрепетов по степи искал. Потом — на гусиные пески. Верст восемь отсюда... ну, может, побольше... Понимаешь, помету! Штук тысячу их было... И дня два назад... А сейчас ни одного!

Константин Алексеевич уже окончил свой рассказ. Но, увидев нового слушателя, завел сначала:

— Зачем далеко ходить? Прежде надо близко поискать...

Вот тут и я рассвирепела. Встала над костром, подбоченилась, мотнула головой на загнанную Грайку и продекламировала:

— «В животном страсти слиты в одно с рассудком, образуя побудку». И так далее.

В середине моей проникновенной цитаты на стану появился последний запоздавший охотник — Николай Павлович. Ремень от ружья у него съехал, оно лежало поперек спины. Он торжественно потрясал обеими занятыми руками. Их отягощал матерый темно-серый заяц. Николай Павлович посмотрел на меня и крикнул моему мужу:

— Валя, в аптечке у меня есть валерьянка. А пожалуй, лучше слабительного...

Константин Алексеевич заканчивал вторично свой рассказ, на меня смотрел мечтательными, далекими глазами. Василий Павлович крякнул, глухо пробормотал:

— Спала, спала и доспалась до точки.

Калиненко взбодрился, вскочил, высоким звенящим тенором объявил:

— Товарищи! У нас в Балаклаве тоже был такой случай. Один грек заговариваться стал...

Подоспевший вовремя деликатный Павел Дмитриевич поспешил переменить разговор:

— Пойду баклажанчиков постреляю. Вон уселись.

Так ласкательно он называл бакланов. На них охотились все шестеро: и присяжные стрелки, и рыболовы. Просто из спортивной яри. Птица несъедобная, а вблизи и видом отвратительная, но очень сторожкая. Убить ее трудно. Обычно на возглас Павла Дмитриевича: «Баклажанчики!» — с готовностью вскидывалось не одно ружье. Но сегодня никто не отозвался. Устали. Павел Дмитриевич одиноко побрел с ружьем по берегу. Лежа плашмя на песке, Валерьян Павлович все же решительно заявил:

— Надо Лидию Николаевну на берег. Довольно! Взбесилась!

Калиненко злорадно удостоверил:

— Факт. Разговаривает, как тот грек в Балаклаве.

Василий Павлович, прирожденный организатор, немедленно изготовил план.

— Доплывем до ближайшего аула, оставим на берегу палатку, вещи, Лидию Николаевну, а сами в степь за дудаками. Сегодня протянули вот здесь. Возьмем в ауле киргиза-проводника, а Лидии Николаевне в подмогу сторожа. И она отдохнет, и мы поохотимся.

На воде он был завзятым рыболовом, на суше — специалистом-загонщиком в охоте на дроф. Рыба в последние дни клевала плохо. Надо же было дудакам сегодня налететь на мирный наш стан! Придется мне сидеть на захоженном скотом берегу, где-нибудь вблизи нищего сонного аула. Меня бы взяли в степь, на ароматное ее на зорях увяданье, под широкое небо, а теперь сиди на водопойном берегу. Это мне за цитату. Все же я решила не сдавать, потерпеть за правду. Небрежным тоном заявила:

— Везите меня к автобусу, вернусь в город. Не останусь около аула.

Мне хором ответили, что батраков нет. Всем надо ехать за дудаками. До станицы с автобусом доплывем в свое время. Я одна, могу и подождать шестерых. День становился все сумрачней и темней. Река вздувалась. Рыба перед дождем взметывалась кверху из глубины. Бакланы носились низко над водой. Раздался выстрел, второй, за ним торжествующий вскрик Павла Дмитриевича. Он убил баклана. Доставали его все шестеро и Грайка. Я угрюмо готовила еду. За обедом Павел Дмитриевич то и дело восклицал:

— Снял баклажанчика. Ерунда — проспатые утром дудаки! В степи отыграемся, отомстим.

Я вспомнила, как один наш знакомый ядовито телеграфировал из Одессы: «Передайте Пупе: и ты, Брут!» Эх, Пупа, Павел Дмитриевич, и ты, Брут! Тоже дудаков проспал и на охоту мало ходил, а задается. Я, может, пятерых бакланов бы убила, если бы вообще стреляла, а сижу хмуро, к безумцам не подмазываюсь. После еды все повеселели. Охотно и бойко стали грузить палатку и вещи в лодки. Небо совсем набухло. Я сказала:

— Многоумные граждане! Нас дождем нахлещет на воде. Переждали бы в палатке.

Валерьян Павлович понюхал воздух и авторитетно заявил:

— До ночи не будет дождя. У меня примета есть. Плывем! За дудаками выберемся только завтра. Я знаю одно место для ночевки. И рыбы, и утки, и куропатки. Эльдорадо!

Погрузили все в лодки. Уродливую черную птицу, не годную ни на варево, ни на жарево, Павел Дмитриевич бережно уложил в корму. Поплыли по серой реке в Эльдорадо. Упали первые крупные капли дождя, потом засеял частый и мелкий. Валерьян Павлович бодро кричал:

— Ничего! У меня примета есть. Пузыри от дождя на воде, значит, дождь ненадолго.

Ни неба, ни берегов. Сверху вода, внизу вода. Непромокаемые плащи, как водится, промокли. Одежда прилипла к телу. По лицу неустанными слезами струился дождь, застилал глаза, мешал видеть. Короткошерстая Грайка, пойнтер, дрожмя дрожала, временами взвизгивала. Калиненко, посинелый, измокший, меланхолично декламировал Есенина. Букву «г» он выговаривал по-южному.

Дорохая, сядем рядом. Похлядим в хлаза друх друху...

С дикой бодростью Валерьян Павлович громко и неверно запевал:

Мы на лодочке катались...

Но, захлебнувшись дождем, кашлял и замолкал.

Со второй лодки озабоченно прокричал Павел Дмигриевич:

— Валерьян Павлович, еще далеко до Эльдорадо? Дождь-то обложной.

Я в унисон с дождем принялась точить всех в нашей лодке попреками. Никто не оборвал меня. Гребцы усиленно гребли. Свободно сидящие боролись с мокрогой. Река пузырилась под каплями, но плывем больше часа, дождь все льет, и конца не видно. Наконец на обеих лодках начался дружный ропот:

— Приставай к берегу! Черт с ним, с Эльдорадо!

И капитан прокричал:

— Приставай к высокому берегу, тут невдалеке должен быть аул!

Между двумя берегами намыло мель в целый островок. Лодка «Москва» обогнула ее слева, мы — с правой стороны, и дно нашей лодки затрещало. Въехали, спасибо. Долго длилась перебранка рулевого и гребцов. В конце концов решили: пристать нам к одному берегу, «Москве» — к другому. Небо как будто насытилось измокшими жертвами. Дождь поредел и перестал. С большим трудом передали на «Москву» Калиненко. Они вдвоем с Василием Павловичем должны были отправиться в аул. Калиненко ворчал:

— Я вам не Христос, гулять по водам не привык.

Ухнув раза два по пояс, он все-таки выбрался на островок, оттуда — на «Москву». Разведчики вскарабкались на берег, ушли искать аул. Павел Дмитриевич примостился на прибрежной крутизне. Их пустая лодка мирно покачивалась внизу. Мы вчетвером выбрались на мокрый песок. Мужчины стали разводить костер. И только что по сучьям побежал огонь, снова пошел дождь. Низенькая ветла на берегу не защищала от него. Мы перестали бороться со стихией. Валерьян Павлович и Костя приплясывали, напевая:

— Это Эльдорадо! Вот так Эльдорадо!

Дождь был теплый, а к сырости мы постепенно привыкли. Я от скуки принялась щипать Костиных куропаток. Двое ушли за талы искать птицу. Николай Павлович ходил, как часовой, по берегу, время от времени окликая Павла Дмитриевича:

— Эй, Мальмгрем, вы живы?

Тот полулежал на выемке противоположного берега. Сначала он отзывался, потом смолк. Мы долго вглядывались и наконец рассмотрели: он спокойно спал под дождем. Наконец истощились последние хляби. Солнце ясно воссияло над нами. Затрещали два высоких веселых костра на обоих берегах. Павел Дмитриевич выспался и тоже сушился у огня.

I

Кузнец Трунов пил горькую. Семья его бедствовала. Старшая дочь, красивая Лизавета, вышла замуж за нелюдимого, нехорошего лицом и телом, набожного вдовца. Сожительство с ним претило ей. Но была она сыта, одета, обута, защищена от злых соседей. Родные и знакомые считали ее жизнь счастьем. Мать хотела, чтоб и вторую подрастающую дочь Клавдию миновали нищета и порок, чтобы устроилась она так же, как старшая.

В один апрельский вечер, за всенощной, усталая старая мать молилась об этом богу. Она устремляла искательный взор на иконы, на трепетный огонь свечей, навстречу душистому кадильному дыму, вздыхала, простиралась ниц, часто крестилась боязливыми мелкими крестами. Близ нее сердито молилась увечная женщина, знаменитая в городе белошвейка. От сухотки спинного мозга ей плохо служили ноги. Она то и дело присаживалась на складной ковровый стульчик у стены. Тогда странный взгляд ее затуманенных глаз с неравномерными зрачками бегал по толпе молящихся. Униженное, суетливое моленье старухи разжалобило ее. По выходе из церкви они разговорились и пошли рядом. Костистая Трунова бережно поддерживала под локоть низенькую рыхлую белошвейку. Рассказывая, она неловко взмахивала левой рукой, будто подшибленным сухим крылом. Горестные движения заскорузлых, темных ее пальцев были выразительней, чем слова. Белошвейка сочувственно приговаривала чудесным голосом, нежным, искренним, как у детей. Она обещала даром учить, одевать и кормить Клавдию, с тем чтобы, обучившись ремеслу, девушка отработала на хозяйку еще три года за небольшое жалованье. Озирая темнеющее небо с яркой каймой заката, белошвейка назидательно проговорила:

— И на небе и на земле создал бог прекрасную красоту. И людям была бы жизнь прекрасная, если б достойны были. Бог за всех, а мы уж друг за друга. Бумажку мы у нотариуса заверим. Завтра приходи. Мой домишко в Заречной тебе все покажут.

II

Проезжал освободившийся катафалк. Траурные лошади бежали вольной рысцой. За колесницей вздымалась позолоченная солнцем веселая пыль. Клавдя приостановилась на перекрестке. Черный возница крикнул ей:

— Хороша девчонка, жалко — некогда!

Клавдя слов не разобрала, засмеялась в ответ на обрадованный взгляд. У ней было хорошо на душе. Утром чай пила с молоком и с сахаром. На теле — чистая рубашка, отмытые ноги обуты, платьице, перешитое из старья, сидело ловко. Воспоминанье о том, что всего месяц назад она виновато шныряла меж людей босой, простоволосой, голодной, не омрачало ее сегодняшней радости. На ходу она потаенно пела, иногда беззвучно шевеля губами. В песню вплетались ее собственные мечтанья. Когда белошвейка станет ей платить за работу, она справит себе зеленую шерстяную юбку и две-три кофточки. Одну — розовую шелковую, как у Шурки гулящей. Этой кофточке завидовали все женщины на улице. Потом она купит матери валенки к зиме, а весной — крепкие ботинки. Так, мечтая, она откормила, одела всю несчастливую свою семью и пристроила себя. Она вышла замуж. Ее муж улыбался ей, как проехавший мимо приветливый похоронщик, но лицом и голосом походил на молоденького почтальона. Тот приносил зимой Труновым письмо с родины. Клавдя больше не видела его, но дважды он приснился ей. Один раз — будто смотрит на нее во все глаза, берет за руку и говорит: «Милка моя». Во втором сне он шел по странной цветущей дороге, оглядывался на Клавдю, кланялся ей, не то звал, не то прощался. Клавдя хотела побежать за ним, но не могла двинуть ногами, проснулась в слезах и весь день думала: «Не помер ли?» При воспоминании об этих снах сердце Клавди сжалось от светлого страданья, доступного только юности. Зрелому

возрасту оно чуждо, старость знает, желает, но не может его ощутить.

Когда Клавдя пришла с покупками, белошвейка приметила ее душевное состояние. Оно не понравилось хозяйке. Ее жизнь была окутана горьким туманом болезни. И как в тумане всякая чуть выступившая тень кажется большой и недоброй, каждое юное смятенье казалось ей грехом. Будто разыскивая нечистоту, она брезгливо, издали оглядела девушку до ног и сказала звенящим голосом:

— Моль точит одежу, ржа — железо, девушку — улица. Я думала, ты скорей вернешься.

У девочки задрожали ресницы. Она побледнела, ответила, заикнувшись:

— В другой раз скорей схожу.

Испуг ее смягчил хозяйку. Но, когда Клавдя, босая, переодетая в заношенную рубашку с холщовой становиной, несла чистить во двор большой медный самовар, белошвейка еще раз оглядела злыми глазами ее тело. Клавдя втянула грудь в плечи, пошла сгорбившись. Ей было стыдно и горько, но она не оскорбилась. В узком проходе между глухой стеной дома и каменной кладовой помещалась тесовая будочка с высокой вытяжной трубой. Строеньице внутри было выскоблено, вымыто; закоулок, ведущий к нему, чисто выметен руками Клавди. Созданная ею самой, но не подобающая, как ей казалось, этому месту чистота вызвала в ней уважительное удивление. Сиреневый куст закрывал постройку. Под ним Клавдя чистила большой медный самовар и думала о том, что у хозяйки есть другой, томпаковый, его ставят, вероятно, только на пасху.

Однажды белошвейка открывала при ней окованный блестящей жестью сундук. В нем большие отрезы шерстяных и шелковых тканей, много сшитой ненадеванной одежды. В кухне помещалось обилие неупотребляемой утвари. Все ткани, вся излишняя посуда, дом, двор, чистая будочка для грязной нужды и благоуханная эта сирень, овощные гряды и прелестно цветущие две молодые яблони в другом конце двора — все это собственность белошвейки, Марьи Васильевны Клепиковой. Поэтому Марья Васильевна сильна, несмотря на увечье, всеми уважаема. С ней спорить нельзя, сердиться на нее бесполезно, надо ей угождать. Иначе хозяйка прогонит. Для Клавди навсегда захлопнется вход в этот мир, где за высоким забором растут чудесные деревья, существуют

чистота и счастливые излишки. Тогда опять избенка без двора, близ кузницы, меж ними полянка с затоптанным гусиным щавелем, где по воскресеньям дерутся взлохмаченные хмельные мужики, в потемках крадутся озорные парни. Крадутся к дочерям кузнеца, чтоб обольстить или осилить, потом смеяться. Если ж во всем угодить Марье Васильевне, она поможет добиться хорошей судьбы.

III

Время было горячее, перед рождеством. Пожилая мастерица Ксенофонтовна не уходила домой ночевать. Спали в сутки часа три. На Клавде лежала также вся ежедневная работа и разноска законченных заказов. Девушка сильно уставала, часто впадала в дремоту за ночным шитьем. И она и Ксенофонтовна, чтобы прогнать сон, выбегали во двор умываться снегом; нюхали горчицу. Хозяйка страдала бессонницей. Но в эту ночь она вдруг закрыла глаза, улыбнулась блаженной улыбкой. Пальцы ее с нежной осторожностью задвигались по столу. Клавдя увидела, вскрикнула:

— Ой, что вы щупаете, Марья Васильевна?

— Собираю их в решето,— счастливым голосом ответила увечная и очнулась.

Ей приснилось, что под руками пушистые желтенькие цыплята. Рассказав, она заплакала:

— Одолевает сон. Это у меня — к смерти.

С усилием приподняв грузный зад, потянулась она за горчицей. Движение было смешное, но лицо, мокрое от слез, некрасивое, озарилось строгим светом самой страшной человеческой мысли. Клавдя посмотрела на нее и с бессознательным уважением потупилась. Работали в полном молчании; потом хозяйка встала.

— Укладывайтесь, часика через три разбужу.

Клавдя охнула. Она забыла принести постель. Марья Васильевна рассердилась:

— Ты думаешь, я тебе должна и постель стелить, и нос вытирать? Поработала бы, когда я была ученицей, узнала бы!

Клавдя спала на полу, на войлочке, в спальне хозяйки. На день, чтоб не нарушилось годами утвержденное благообразие двух маленьких комнат и чистой

кухни, ее постель, скатанная в трубку, становилась в чулане, в сенях. Зимой необходимо было приносить ее заранее, чтоб согрелась. Виновато улыбаясь, Клавдя побежала за постелью в чулан. Стены его покрылись студеным пушистым налетом. Обхватив руками стоявший в углу войлок, девушка сразу озябла. А спать сильно хотелось. Глаза слипались, ноги дрожали. Клавдя склонилась к войлоку и заплакала. Увечная улеглась, вздремнула, проснулась, девушка все еще не возвращалась. Белошвейка, сердито дыша, поднялась, оделась потеплее и вышла с лампой в чулан. Прижавшись к войлоку, Клавдя крепко спала стоя. В склоненной шее, во всех членах неловко согнутого, сладко уставшего молодого тела было столько животной теплоты, что сердце Марьи Васильевны сжалось от умиленья и зависти. Белошвейка больше не заснула, но помощниц подняла на час позднее, чем собиралась. Увечная лежала в темноте. Она упорно смотрела в черный потолок, будто именно там из прошлого, как болотные огни, вставали разрозненные видения. Наутро хозяйка замучила Клавдю неровностью в обращении. То была слишком ласкова, то до крайности придирчива. Девушка на бегу глотала слезы, отвечала невпопад. До рождества оставалось пять дней. У белошвейки был обычай в этот срок раздавать подарки. Ксенофонтовне вручалась благородная материя, шерстяная или полушерстяная, очередной ученице — ситец. Избранным беднякам ее церковного прихода Клепикова дарила старые вещи. Она рассуждала, что в пять дней при желании можно сшить обнову к наступающему празднику.

Вечером пришел кривой сосед. Он чистил двор, возил Марье Васильевне воду и колол дрова. Кроме церковного причта, это был единственный мужчина, вхожий к белошвейке. Клавдя быстро пригладила волосы, выпрямилась над шитьем. Ксенофонтовна мельком на него взглянула, на хозяйку посмотрела оживившимися глазами. Клепикова благожелательно улыбнулась и пошла в спаленку. Собрав подарки водовозу и Ксенофонтовне, она задумалась над ситцем, приготовленным Клавде. Первым отблагодарил и откланялся, со стыдом и неловкостью, кривой сосед. Потом Ксенофонтовна поцеловала руку Марьи Васильевны, приложилась к ее щеке уважительно подтянутыми губами. Белошвейка отмахивалась от обоих и светло улыбалась. Дарить было приятно. С помолодевшим лицом она протянула материю Клавде.

— А тебе, птица, голубой шелковой сюры на кофточку. Юбку из моей перешьем.

Клавдя, как в прежние годы, поклонилась хозяйке в ноги быстрым земным поклоном, но глаза ее засияли счастьем. Руки, принимавшие подарок, дрожали. Увечная душевно растрогалась. Она за свой счет отдала срочно сшить модную обтяжную кофточку с пышными рукавами.

В сочельник старуха Трунова постилась до первой звезды. Теперь она с наслажденьем ела мягкий хлеб, запивая его водой. Хмельной кузнец необычно спокойно уснул на печи. Старуха отдыхала от радости насыщения. Нарушал тишину трудный храп кузнеца. Он был привычен для жены, она его не слышала. Все кругом казалось ей погруженным в блаженный отдых. Клавдя вбежала шумно. Мать содрогнулась, не сразу обрадовалась дочери. Потом старая и молодая долго рассматривали кофточку, щупали шелковистую ткань, переговаривались приглушенно, как бы воркуя. Проспавшийся кузнец долго прислушивался к их разговору. Он слез с печи, опухший, распущенный, красноглазый, хрипло сказал:

— Тряпичницы! Пускай гнилая кикимора замуж Кланьку выдаст.

И ушел, натянув полушубок лишь на один рукав. Неожиданный совет его показался дельным старухе. Она решила переговорить с благодетельницей-белошвейкой. Праздничные дни Клавдя проводила приятно. Отец загулял где-то в городе, дома не буянил. Вечерами Клавдя ходила со слободскими девушками, плясала на одной вечеринке. Она была одета хорошо, ее теперь звали в гости, парни не стеснялись заигрывать с ней. С вечеринки она вернулась на свету, но сразу не смогла уснуть. Сердце стучало громко и часто. Девушку томило множество желаний. Они не укладывались ни в какие слова, сливались в одно ощущение, похожее на страх от предвкушения счастья.

IV

В крещенье ночью на пустыре, около своего жилища, замерз кузнец Трунов. Сумеречным утром нашла жена его скрюченное черное тело, запорошенное чистым снегом. Бурное горе старухи удивило детей и соседей. Она рыдала, ползая по снегу на коленях, долго целовала нечистое лицо пьяницы, обнимала его, не могла

оторваться. Вместо положенного причитанья, из ее груди вырывался отрывистый плач, похожий на рончущий клекот. С похорон вернулась она домой сразу одряхлевшая, безучастная ко всему окружающему. И после оживляла ее только забота о замужестве Клавди. О нем были последние слова кузнеца. Жена считала их заветом.

Избу Труновых заколотили. Мать поселилась теперь в семье Лизаветы. Она помогала как умела, нянчила детей, но зарабатывать стиркой уже не могла. Спина старухи сильно сгорбилась, ходила она с батожком. Зять ею тяготился. Со двора старуха уходила только в церковь шептать свои пугливые мольбы да к белошвейке поглядеть на Клавдю. Марья Васильевна была приветлива, жалела обессилевшую мать. Она охотно беседовала со старухой. Разговоры их состояли в том, что белошвейка говорила, Трунова с ней во всем соглашалась. Увечная обстоятельно и подолгу жаловалась на свое слабое здоровье. Поэтому и старуха, и все окружающие все больше убеждались, что хозяйка недолго проживет.

У старой Труновой была на примете небольшая дружная семья, куда взяли б Клавдю за сына охотно, если б хозяйка помогла на первое обзаведение. Старуха долго выбирала удобное для разговора время, а заговорила неожиданно и некстати. В нерабочий, праздничный день, в марте, когда сквозь видимую хмурость веяло незримым весенним теплом, они вдвоем ходили по двору. Хозяйка осматривала деревья и голые ягодные кусты. Вздыхая, она приговаривала:

— Расцветут и плод принесут, а меня не будет. Для меня росли, а кому после одинокой достанутся?

Старуха остановилась, взмахнув батожком, и придержала Марью Васильевну за рукав.

— Благодетельница, золотая, многим обязаны. Выдай Клавдюшку от себя замуж...

Хозяйка не сразу поняла, в чем дело. Ей подумалось, что Клавде надо спешно прикрыть девичий грех, что где-то близко, может быть, сейчас за воротами, ждет выгоды распутный жених. Она закричала, размахивая руками:

— Все вы такие, все, все... Распутные, корыстные, урвать бы только чего!..

Нежный ее голос в гневе становился пронзительно тонким. С криком, ковыляя неверными ногами, она поспешно ушла в дом.

Поздно вечером за матерью к Лизавете прибежала Клавдя. Белошвейка извещала, что умирает и просит старуху немедленно прийти проститься. Клепикова, правда, занемогла, даже пролежала три дня в постели, почти не вставая, но поправилась. Старая Трунова прислуживала ей у кровати. Увечная говорила о несчастливых супружествах, о многодетности, о нужде, о нечистых нравах мужчин и хвалила Клавдю. Наконец она заявила:

— Если дочка твоя до моей смерти не выйдет замуж и сохранит себя в девичестве, оставлю ей свой дом со двором, со всем, что есть. Пускай послужит мне, как родная. Недолго придется служить.

V

Тихо болея, Клепикова прожила еще двадцать пять лет. С каждым годом она двигалась все меньше. Ее лицо становилось прозрачнее, тело грузнело. Уход за ней был тяжел. Клавдя не одну ночь плакала злыми, необлегчающими слезами. Девушка решала утром уйти на вольную работу и каждый раз оставалась. Она думала: «Уйду, а она умрет, и все мои годочки — прахом...»

Старуха Трунова умерла, не дождавшись. Наконец Клавдя почтительно, с богатой милостыней похоронила хозяйку. В августе тысяча девятьсот восемнадцатого года во владении домом утвердили Клавдию Максимовну Трунову. Ей шел сорок третий год. В слободке уже давно за ней утвердилось прозвище «Закопченная невеста». К сорока годам у нее сильно потемнело лицо, на лбу и около рта легли тонкие морщины, прямое тело чуть пригорбилось. Но в застенчивой улыбке отцветших губ, во взгляде, прямом и чистом, таилась молодившая стареющую девушку печальная детскость. Белошвейное дело у новой хозяйки пошло плохо. Клавдия Максимовна порой думала, что люди перестали рассчитывать на долголетье. Все чаще на белье приносили батист вместо полотна. Дорогую, кропотливую, но прочную ручную вышивку вытесняли жидкие машинные узоры и дешевая мережка. Клавдия приспособила ножную машину и для вышиванья, и для мережки, но не нравилась ей эта работа. Она собиралась выйти замуж и заняться домом, хозяйством. После полученья наследства присватывались женихи,

приличные, пожилые вдовцы. Клавдии Максимовне были неприятны бородатые озабоченные лица, расчетливые движенья их немолодых рук. Безусый почтальон не старел в ее мечтах. Она отказывала. Однажды, отбирая старье для семьи Лизаветы, Клавдя вынула из сундука кофточку из голубой шелковой сюры. Ласково расправляя слежавшиеся пышные рукава, она задумалась. В доме вставляли зимние рамы. Племянница Клавдии Максимовны протирала стекла и негромким, мирным голосом пела новую песню:

Бей буржуазию, товарищи, ура!

Очень ясный свет осеннего солнца заливал девочку и полосатую кошку на стуле.

Клавдия Максимовна окликнула:

— Полюшка, погляди, вот эту мне первую справили...

Девочка оглянулась, откидывая тыльной стороной ладони спустившиеся волосы, и засмеялась:

— Какие старые моды были смешные... Мурка, и чего ты все спишь? Ах, ты, ах, ты, ах, ты!..

Она подхватила кошку, потискала ее, нежно повизгивая, на мгновенье загляделась в окно, увидела, как в прозрачном воздухе кружатся ржавые листья, и подхватила с полу таз:

— Пойду воду сменю...

Полюшка пошла к двери, шаля на ходу длинными ногами, высоко ими взбрыкивая, как бы приплясывая. Она качала головой в такт беззвучной музыке, играющей в ней самой, улыбалась глупой, милой улыбкой. Клавдия Максимовна с неприязнью оглядела чуть сложившееся девичье тело и закричала:

— Шестнадцатый год, а кривится, как маленькая! Уходи с глаз моих долой, дура, растрепа!..

Она сильно хлопнула крышкой сундука. Чтоб ее умилостивить, пришла ночевать сестра Лизавета. Лежа рядом на кровати, они долго разговаривали. Клавде хотелось вспомнить молодость. Но Лизавета свою забыла. Она вспоминала только боль и радость, доставленные детьми, выпрашивала у Клавди для семьи подарки. Клавдя вдруг почувствовала, что и у самой у ней мало воспоминаний, вслух и рассказать нечего. Она перестала слушать сестру, думая о своей жизни. За радость, за ласку никто уж ее не возьмет, сватаются из-за дома. И какой-нибудь седой вдо-

вец, если он хороший человек, ставши мужем, будет лишь добр к ней. Тело у нее худое и усталое, к непогоде ноют кости, волосы седеют и сильно падают. Клавдя заплакала. Чтобы скрыть всхлипыванья, она сердито сморкалась и кашляла. Но Лизавета ничего не слышала. Она заснула внезапно крепко, как засыпают дети и счастливые ста рики.

О замужестве вскоре прекратились всякие разговоры. Человеческая жизнь вокруг стала такой же путаной и непрочной, как машинная вышивка. Собственный дом Клавдии Максимовны уже мало кого привлекал. По совету зятя, она спешно продала его первому покупателю за новые тысячи. Уходить со двора ей было тяжело. Она долго простояла у ворот, сгорбившись и утирая слезы. Но вечером у Лизаветы, обильно и льстиво угощавшей богатую сестру, Клавдия Максимовна развеселилась. Она пригубила лишнее из стаканчика самогонки. На темных щеках выступил пот и разлился пятнами немолодой, некрасивый румянец. Коротенько, визгливо посмеиваясь, она тягуче говорила:

— Бог с ними, с домами да садами, не на радость они нынче. Пока поживу с вами, за кусок заплатить хватит. А потом, говорят, по новым правилам, заставляют кормить одиноких стариков. А? Вот Петеньку заставят, он тетку прокормит. А?

Семнадцатилетний Петя, рассыльный в суде, гордясь знаньем законов, стал обстоятельно объяснять:

— Видите, во-первых, мы обязаны кормить родившую нас мать...

Клавдия Максимовна низко склонила голову с потускневшими редеющими волосами, уронила меж колен горестно сплетенные руки, заплакала, повторяя нетрезво:

— Родившую мать!..

Маргарита сидела перед зеркалом, закладывая складочки на берете, чтобы лучше шел к лицу. В комнате было светло и чисто, у Маргариты — хорошо на душе. Она громко пела старую свою деревенскую песню:

Всю ночь прогуляла, беды не было,
Заря занялась, беда случилась.

Она пела и вспоминала свою жизнь, горе и счастье, перенесенные на плечах за тридцать два года. Горя было больше, но счастье в последние годы пришло столь явное, что былая боль не мучила. Маргарита думала о деревенском детстве с мачехой, о надрывном физическом труде, о нелюбимом первом муже, о смерти первенца, о годах, проведенных в чужих семьях домашней работницей, и тяжко ей не было. Самые печальные, даже унизительные воспоминания вставали облегченные радостью настоящего. Будучи домашней работницей, она училась на вечерних курсах.

Теперь она — шофер, самостоятельно зарабатывает, на прошлых выборах прошла в члены Моссовета. Бывшая горькая деревня отделена от нее теперь не только большим пространством. Той деревни уже нет, как нет и Матрены, девчонки Мотьки — а есть Маргарита Семеновна, по новому, законно оформленному имени. В деревне жизнь сейчас очень трудная, но совсем другая, чем прежде. Вчера приходила приезжая из деревни Дуня Свищева. Она все запиналась на непривычном имени, поэтому Маргарита разрешила ей называть себя по-прежнему. Дуня обрадовалась, стала проще, разговорчивей. Она всплескивала руками, восклицала завистливо:

— Ой, чего же ты достигла, Мотя! Большого ты достигла, милая.

Но зависть ее была беззлобна, зависть к недосягаемому. В личной ее судьбе жизнь тоже повернулась к лучшему. Маргарита смотрела на плотные плечи, туго обтянутые городской батистовой блузкой, на короткую черную юбку, а за ними видела прежнюю непричесанную Дуньку в рубахе с холщовой становиной и рядом с ней такую же боязливую, бедную — себя. Оттого разговор между ними стал откровенным, как между дружными сестрами. Маргарита рассказала о своем двухлетнем сожительстве с Константином Блакутиным, как встретилась, как полюбили друг друга. В больших глазах, во всем крупном теле Маргариты сказывалась большая, странно девичья радость во время этого рассказа. Застенчиво улыбаясь, она вспомнила:

— Говорит он мне по телефону: «Выходите прогуляться, погода уж очень хорошая». А я думаю, ну и дурак, дождик идет. А самой так весело, бегу под дождь, как под милое солнышко.

Дуня сочувствовала, восхищенно вздыхала, но порой прерывала раздумчиво:

— Женатого, значит, замарьяжила? Много ль жене в отступное алиментов плотите? Так, так, а не склоняется назад, к рóдным деточкам?

Вопросы эти несколько расстраивали Маргариту. Она горячо говорила:

— Какие пустяки! Там отрезано, и не думает он об возврате. А я уж как стараюсь ему во всем понравиться. Теперь вот на массаж хожу, боюсь — полнеть начала.

К этому Дуня отнеслась совсем неодобрительно.

— Это уж зря. Они, мужья, на поблажку скоро привыкающи. Своя похудеет, за чужой за толстой потянется.

Маргарита рассердилась:

— Чего ты меня все расстраиваешь? И так все было хорошо, да ревность меня мучает.

Дуня засмеялась и короткопалой темной рабочей рукой похлопала ее по плечу.

— Чего тебе расстраиваться. Собой король-баба, и сама зарабатываешь, не из мужниных рук глядишь. Ходи козырем.

Потом они развеселились, пели свои прежние, петые в юности песни.

И сейчас Маргарита завела одну из них, улыбаясь хорошим своим мыслям. Сегодня у них с Костей вы-

ходной день. Он утром был очень ласков, шутлив, звал жену за город и сейчас ушел «принарядиться» в парикмахерскую. Маргарита встала, осмотрела через плечо свою статную фигуру и запела еще более звонко:

Куплю плеточку шелковенькую
Бить жену молоденькую.

В дверь постучали, вошла невысокая тоненькая хорошенькая девушка. Из-под надетой набекрень пушистой зеленой шапочки выбивались кудрявые, такие же пушистые, светлые волосы. Она сказала голосом звонким, детским:

— Здравствуйте. Я извиняюсь, Константин Дмитрич Блакутин здесь живет?

Маргарита не любила, когда молоденькие женщины-товарки заходили по делу к мужу. Она ответила сухо:

— Здесь. А вы что к нему? Выходной он сегодня.

И на всякий случай добавила:

— Оба мы с ним выходные, всегда вместе празднуем.

Девушка засмеялась рассыпчатым, таким же тоненьким, как она сама, как ее руки, смехом.

— Я к двери подошла, услышала, что поете — празднуете. Чего же вы какую-то песню некультурную? Вот я вчера в патефоне у одних ответственных слышала...

Девушка, слегка нагнувшись корпусом вперед, округлив глаза и рот, пропела:

Ах, эти черные гла-зза...

Прерывистый голосок, приятное манерное пенье, вся игрушечная прелесть неожиданной посетительницы показались Маргарите противны. Она строго поджала губы и отвернулась. Девушка с боязливой наглостью посмотрела на нее и вдруг решительно опустилась на стул.

— Ничего не поделаешь. Придется, значит, обождать. К нему я...

Уже явно сердясь, Маргарита спросила:

— Да вы ему что, сродственница, что ль?

Гостья странно улыбнулась, одновременно как будто и заискивающе, и насмешливо.

— Ну да. Я ему — жена.

Маргарита нахмурилась, подошла к ней поближе:

— Вы это как, на пушку меня берете? Жену я знаю, мы ей алименты плотим. Хорошо я знаю Катюшу, его первую жену.

— Да я и не Катюша, я — Нюрочка. Может, вы и не слыхали, так меня это не касается. Он-то знает...

— Чего он знает? Как знает? Что это за нахальство с вашей стороны? Какая бессовестная.

Нюрочка сильно покраснела, в глазах у нее выступили слезы, но ответила она мужественно-злым голосом:

— Еще неизвестно, кто бессовестная. Держать мужьев насильно, теперь прав таких нет. А я против вас ничего не возражала. хоть и сейчас здесь живите.

У Маргариты на скулах зардели яркие пятна, руки ее невольно было поднялись, но она сдержала себя.

— То есть как и сейчас? А где ж мне еще жить? Чья это комната?

— Ой, не кричите на меня. Нервная, слабенькая я. Там прописали меня временно, до двадцать пятого. Оно кончилось, куда же я денусь? Я и пришла к мужу.

— То есть как к мужу? Сколько времени он тебе муж? А?

Громкие их голоса услышали люди за стеной. В дверь всунулась женская седая голова с закрученными в тощий узелок волосами. Старуха посоветовала:

— Дай по морде да под задок, и окончен бал. Какой с ней разговор, коль чужого мужчину...

Нюрочка отклонилась назад, вытянула вперед худенькие руки, защищаясь, и закричала с детским всхлипом:

— Ой, не бейте. Не бейте хоть по лицу!..

Маргарита, тяжело дыша, топнула ногой:

— Не буду я бить. Зачем вы меня так понимаете? Я — партийная, не имею права бить.

Востроносая старушонка с укоризненным вскриком вошла в комнату:

— Это как не имеешь, и партийная, и член Моссовета? Я вот никакая, а возьму да за тебя хрясну. Только после ты за меня заступись. Ну-к, я ее!..

Маргарита с большой силой оттолкнула старуху к двери.

— Не тронь, темная, ничего ты не понимаешь, думаешь, у меня сердце не горит?

Нюрочка перебежала к Маргарите, уже ища у ней

защиты. Маргарита оглянулась на девушку и крикнула почти с отчаяньем:

— Да отойди ты, гражданочка, в сторону. А то ведь не уберегешься и вправду двинешь. Уйди, бабка, уйди от греха, а то тебя вместо нее...

Старуха скрылась, яростно бормоча:

— Ну, чумовые, не разбери-бери! Я за нее, она на меня. Ну и неправильный народ...

Нюрочка горько заплакала, уронив голову на стол:

— Ве-едьмы какие, ну, право же, ведьмы, за что взъелись. Я — молоденькая, чего я понимаю, мне всего-то восемнадцать лет.

Маргарита металась по комнате, сразу отяжелевшая, неуклюжая, хватала ненужные вещи со стола, из гардероба.

— Ну, это не говори. Я в восемнадцать уж горя хлебнула. Меня и в шестнадцать никто не жалел. Кто тебя трогает, чего плачешь? Ох, да где ж он, проклятый? Господи, когда же ты будешь сыт моей бедой?

В это мгновенье вошел Константин Блакутин. Он слышал последнее восклицанье Маргариты и был в коридоре обо всем предупрежден. Явился он явно навеселе, насмешливый или обозленный, непонимающий, дурной.

— Что, закололо, так бога вспомнила, воинствующая безбожница, партийный дорогой товарищ? А, Нюрочка, отыскала меня, стервочка?

Оба женских голоса, низкий сильный и горестный тоненький, откликнулись ему враз, слитно.

— Костенька, они меня чуть не избили, а куда же я, прописка кончилась... Из той комнаты гонят.

— А он, радость моя, пьяный! Не тебе меня богом попрекать, не первый день знаешь, как не верю. А ты, вот ты, подлый человек...

Константин закрыл оба уха ладонями, затряс головой.

— Прекратите неприличный этот крик. И врешь, не пьян, а выпил для храбрости, для объяснения с тобой. Сядь, Нюрочка, не дам тебя в обиду.

Маргарита хотела крикнуть, но у ней от волнения перехватило голос. Она сказала хрипло, как в удушье:

— Гад! Настоящий ты гад, а не человек. Из-за страху, из-за выгоды, что ли, обманывал? Эх, мучительный ты, обманный человек. Напился от страху, эх!..

Константин присвистнул и сел на стул, широко расставив ноги.

— Про страх я пошутил. Боюсь я тебя, как мышь кошки, так и знай! Маргарита, я вот с этой девушкой зарегистрировался, нельзя было иначе.

Маргарита подошла к нему почти вплотную, обдавая его жаром и горестью взволнованного дыхания...

— Нельзя? А со мной было можно? А меня...

— С тобой? Сравняла! Погоди, не налезай, не дура какая-нибудь. Ты без меня не пропадешь. Ты мне самому двадцать очков дашь вперед. Ты — женщина, так сказать, современная, сама себе обеспеченная. А это же оно что? Беззащитная, хрупкая барышня. Не плачь, Нюрочка, утри слезки.

— Аль я девушкой сроду не была, аль меня и теперь нельзя пожалеть? Ох, Константин, а чего ты мне про любовь наводил?

Константин встал, как будто сразу отрезвев. Неожиданным резким движением он взял Маргариту за плечи, насильно усадил ее на стул.

— Сядь, не волнуйся. Ни от чего не отказываюсь, как в раю я с тобой два года прожил. Только в раю-то скучно, сказывают. Яблочко даже скушать нельзя.

Нюра взглянула на него, просияла лицом и робко хихикнула. Маргарита злобно сдвинула брови, низко на грудь уронила крупную черную голову.

— Жена ты моя дорогая, я сам не знаю, может, я завтра заплачу о тебе. А жить с тобой обидно, ненавистно мне. Очень уж ты сама по себе. Да еще притязательная! А у Нюрочки маленький спрос, она всегда может быть счастливой. Кто-нибудь позавидует, что в машине со мной едет, или костюмчик ей справлю, она счастливая на целый месяц. А к таким Катеринам Великим, как ты, мужья еще не привыкли

Нюра, косясь на поникшую красивую голову Маргариты, вдруг перебила его жалостливо и душевно:

— Я ни об чем не спорю. Я соглашаюсь, чтоб и не уходила она. Теперь бывает, что по две живут. Мне ведь просто деваться некуда.

Маргарита вскочила, ударила рукой по столу.

— Дура! Гнида! Кому дележку предлагаешь? И на кого польстилась? Не видишь, какая он дрянь.

Константин, не то опять охмелев, не то притворившись хмельным, засмеялся:

— Ну, не очень дрянь. Вон какая боевая жена по мне горюет.

Маргарита повернулась к нему спиной, заплакала и, злясь на себя, глотая досадные слезы, ответила:

— Вот пусть и посмотрит дурочка, какие у боевых-то жен мужья неверные.

Рывком хватая пальто, шапочку, она оделась и кинулась к выходу. Константин хотел удержать ее. Маргарита толкнула его в грудь и выбежала из комнаты. День был мучительный. Два раза, к подруге, куда убежала Маргарита, приходил Константин, уговаривал, уверял, что хотел припугнуть, присмирить немного ее, Маргариту, что с Нюрочкой немедленно разведется. Она с тайной надеждой вглядывалась в него, но видела в лице мужа что-то боязливое, враждебное, злую растерянность и не верила ему. Чтоб не разговаривать больше, не объясняться, она ушла в гараж сменить товарища на ночном дежурстве. Ночью случилась беда. Возвращаясь в освободившейся машине в гараж, Маргарита в одиночестве вспомнила остро свое горе. Слезы застлали ей глаза. Неожиданно из ворот большого дома выбежал оборванный мальчишка. Из озорства *иль спасаясь от погони, он кинулся наперерез* автомобилю. Маргарита увидела его слишком поздно, судорожно стала тормозить, невысокая черная тень заметалась под самыми огнями, вдруг закричала щенячьим выкриком, и тело подростка упало на мостовую. Маргарита сильно повернула руль, машина резко дернулась вправо, влетела на тротуар, сильно накренилась, в ней что-то хрястнуло. Сейчас же распростертый на мостовой мальчик поднялся, прихрамывая, побежал к другим воротам. Он был жив и здоров, хромал от испуга. Машина, сильно поврежденная, лежала на тротуаре. Маргариту окружили дворники, постовой, припозднившиеся прохожие и, ругаясь, помогали составить протокол.

На разбирательстве дела, в комиссии административного отдела Коммунального хозяйства, начальник гаража хмуро ответил Маргарите:

— «Тормоза не держали»,— для тебя не оправданье. Член Моссовета, порочишь оказанное тебе доверие! Как у тебя могли не держать тормоза? Где же твое наблюдение, член Моссовета, Никитина?

После осуждения Маргарита год работала в колхозе на тракторе. Константин узнал, что она приехала в Москву на съезд ударников-колхозников, и добился билета в Большой театр на заседание. В кулуарах он ее не нашел,

увидел на сцене. Маргарита четко говорила в густо наполненный людьми большой зал:

— Товарищи! Женщина уж теперь не прежняя птица-курица, она выше полетом. Когда я прежде батрачила на полях, я и не знала, что вот есть это самое большое здание, а теперь я в нем говорю, а вас такое множество меня слушает. И говорю я не о своей личной беде, а о нашем общем государственном, что всех нас может и вознести и сокрушить. И понимаю я, что личная беда, товарищи, только в упор силам на общее дело идет, когда женщина не курица.

I

Таню обидел отчим. Девочка его любила. Всякая размолвка с ним отягощала ее недетской, сокровенной печалью. Сегодня, как всегда, они вдвоем пили ранний утренний чай. Александр Андреевич сумрачный пришел к столу. Таня этого не заметила, потому что она встала весело. Спеша есть, двигаться, говорить, она сбивчиво рассказывала события вчерашнего дня и свои утренние мысли:

— Ленин — основоположник марксизма.

Александр Андреевич прервал ее:

— Прежде чем сказать, люди думают. А ты?

Бывали случаи, когда он грубей обрывал Таню, но сегодня она учуяла в его тоне особое, неопровержимое презренье к себе, невыросшей, несамостоятельной. У нее от обиды захватило дух. Заносчиво, но неверным голосом девочка ответила:

— Я всегда говорю вещи, в которые я убеждена.

Александр Андреевич сердито передвинул стакан и, вставая, уронил стул:

В которых, а не в которые. Нет у тебя убеждений, потому что нет знаний. И говоришь ты черт знает каким языком!

Он ушел, не простившись. В комнате, кроме нее, никого уже не было, но Таня запрокинула голову через спинку стула, чтобы слезы не выкатились из глаз. Как же у нее нет убеждений, когда она пионерка? Если бы ему, партийцу, кто-нибудь такую вещь сказал, он бы небось озверел!

По дороге в школу Таня не отмечала ни улиц, ни людей. Ноги шли, глаза смотрели, тело привычно уклонялось от трамваев, извозчиков, автомобилей, но мысль ее была поглощена обидой. Девочка думала со стесненным сердцем:

«Если взрослые так будут, то в конце концов можно и умереть... Глотнуть чего-нибудь и вообще взять да умереть. Нет, не «взять», а просто умереть. Если «взять», то есть самоубийство, то, конечно, скажут, никаких убеждений. Есенинщина, скажут, заела... «Не такой уж горький я пропойца, чтоб, тебя не видя, умереть»,— мысленно пропела Таня.

У нее защипало в горле, и слез проглотить уже не удалось. Они оросили щеки. Таня, всхлипнув, стерла их перчаткой, но они набегали снова и снова.

«Ну, «Письмо к матери» — вообще упадническое... Не признаю. А все-таки здорово трогательно. Как это? «Мр-а-а-ке часто видится одно и то ж...» Да, умру, так пожалеют. Вот я умерла нормально, от скарлатины... Папа стоит у гроба... Нет, если нормально, то не все пожалеют. А вот умри я на посту... Вот случилось нападение на Москву...»

Глаза у Тани высохли, щеки разгорелись. Она придумывала и переживала различные возможности доблестной смерти за СССР, за революцию. Перед ней ясно вставали подробности замечательных похорон:

«...даже вожди у моего гроба в почетном карауле. Из нашей школы все будут рассказывать: «У нас она училась, у нас».

Но когда в представлении встала долговечная урна с ее собственным, Таниным, прахом в час, когда все живые ушли от нее, Тане очень захотелось жить.

«Можно идейно пострадать, но не до смерти. Даже пускай ранят, но не до смерти. Вот, предположим, я в тюрьме, в капиталистической стране. Да, я в Америке, агитирую... Да, побег был исключительно смелый...»

Когда Таня входила в школу, она в воображении прожила не одну прекрасную, героическую жизнь. Все эти жизни были схожи в основном. Каждая из них уходила на победоносное страданье за утверждение Таниного мира. Танин мир был определен. Он в совершенстве четко делился всего на два лагеря: своих и чужих. Свои — те, с кем выросла Таня. Чужие, никогда еще не обнаруженные в личном Танином существовании, но общеизвестные враги «своих» — капиталисты Европы и Америки, вредители в СССР. Для нее, как в старых убедительных трагедиях, «свои» были без единого изъяна, всегда во всем правы, враг жесток в чернейшей, без просвета, неправде. И пережитые девочкой в мечтанье лю-

бовь и ненависть были подлинны. Победа любви потрясла ее душу восторгом. Отсветы его легли на существующий повседневный мир. Они сделали его счастливей, добрей. Вот хотя бы Ким. Он вовсе не закоренелый бузотер и грубиян. Он страдал, раскаивался в Таниных мечтах, когда ее мучили в американской тюрьме. Он сознавался с настоящей большевистской самокритикой:

«Недооценивал я, товарищи, Таню Русанову».

Поэтому Таня сегодня подошла к нему сама и заговорила с ним таким пленительным тоненьким голосом, что Ким отверг разговор:

— Ах, не влюбляй меня навеки, покрасивей найдем!

Таня багрово покраснела, но в перебранку не вступила. Она только мстительно подумала:

«Горько тебе будет. Очень горько!»

Весь школьный день девочка была с товарищами уступчива, на уроках прилежна. Но в конце дня с ней снова приключилась неприятность. Собственно, никакой неприятности не было. Все понимают, что Таня ответила правильно, а все-таки... В школе побывала сегодня Надежда Константиновна. Вышло, что у входа она поговорила с Таней, а на прощанье протянула ей руку. Девочка ответила, как надо:

— В нашей организации мы руки не подаем.

Лицо Надежды Константиновны просветлело от хорошего смеха, но в глазах как будто мелькнуло смущенье. Так показалось Тане. Это ее расстроило. Она размышляла:

«Надо было руку пожать. Не из подхалимажа, а из уважения. Нет, не надо. Она понимает, что у нас в организации не зря выдумывают».

Но чем больше Таня убеждала себя, что поступила правильно, тем смутней становилось ее душевное состояние. На обратном пути домой она тягуче говорила Игорю Серебрякову:

— Мне уже двенадцать лет, а я все не решила, кем я буду. Как ты думаешь, кем я буду?

— А я откуда знаю? Вот я буду летчиком или моряком. Море или небо, без никаких!

— А я ни на чем еще не остановилась. В прошлом году я хотела быть киноактрисой. Очень заманчиво! Ну, а потом решила — это занятье несущественное. У них там какие-то кулисы да закулисы, вообще что-то, интриги. А я еще не знаю, есть ли у меня талант. Вообще

мне многие занятия не нравятся. Вот, например, зубным врачом — ни за что. Всю жизнь смотреть в чужие, дурно пахнущие рты!

— Да-а, невесело. Когда зубы болят, все воют. Я один раз так взвыл, что зубодерка убежала.

— Конечно, и зубные и другие врачи — очень полезные люди, но об себе тоже надо подумать. Я думаю, Игорь, все-таки я буду горным инженером.

— Горняком? Валяй. Одобряю.

— А все-таки я еще сомневаюсь.

— А ты собиралась еще композитором.

— Ну его, нет! У меня мама — композитор...

— Ну что ж, у нее, кажется, позиция правильная.

— А что с того? Она свой человек, хоть и беспартийщина. Но все невеселая да невеселая. Со своими никогда не смеется. Нет, я маму люблю, но жить с ней — спасибо, не надо. Она хорошо придумала, что за третьего замуж вышла.

— Уж за третьего?

— А как же? Первый муж — мой отец. Ну, мама его чего-то отшила, записала меня на себя, я его не знаю. Второй — Александр Андреевич, мой теперешний отец. Ты знаешь, он очень доволен, что я его сама выбрала. Когда мама уходила, я кричала, плакала, что не уйду. Он и Соня меня усыновили, оттого я Русанова, а мамина же фамилия — Балк. Только у нас бывают с ним разногласия.

Таня глубоко вздохнула и неожиданно для себя рассказала Игорю утреннюю сцену. Рассказав, рассердилась на себя за это, покраснела и нахмурилась. Игорь оживленно подхватил:

— Удивительно наши предки любят придираться к словам. Впопыхах что-нибудь неясно скажешь, пойдут разутюживать. На меня отец взъелся, когда мы из лагеря вернулись. Я прекрасно вел работу в деревне. Ну, докладываю отцу, матери: «Я три колхоза организовал». Он говорит: «Ты организовал?» И начал меня унижать.

— Игорь, ты «Отцы и дети» читал?

— Чье сочиненье? А, да, этого, как его... Нет еще.

— Я тоже еще нет. Соня с чего-то советует проработать...

— Наверно, сама недавно прочитала. Им как что понравится, сейчас и мы прорабатывай.

— Там как будто дело в том, что Базаров — марксист, а родители его — наоборот. А после плачут на могилке.

— Расстраиваться они умеют и без могилки. Особенно матеря. Слушай-ка, ты вот что,— прочитай «Войну и мир». Художественное сочинение. Я летом читал. Только несколько длинно. И охота узнать, что дальше, и прямо устаешь. Замучился, но прочитал. Интересно.

— Игорь, а я иногда страницы пропускаю.

Игорь поправил на голове шапку, отвел глаза в сторону:

— Я тоже кое-что несущественное промахнул, а вообще — нет,— не следует. Я не пропускаю. Ну, пока.

— А ты мне обещал по математике объяснить.

— Я к тебе вечерком загляну. Вообще не расстраивайся.

Игорь свернул в боковую улицу. Зажигались огни. Они возникали четко, будто являлись на дозор, следить, куда уходит отслуживший день. Воздух — во власти ни света, ни темноты, а странного их соединенья — казался зыбким. Громкое дыханье машин, везущих людей или многообразную для них кладь, истеричное, всегда неожиданное взваниванье трамваев, отдаленное зычное оханье паровозов, заводские гудки, неизмеримо слабый в сравнении с ними, но повсеместный, непрерывный человеческий голос — весь этот слитый шум большого города стлался далеко и гулко окрест, как запуганный рев сильного чудовища. В утробе города в эти сумеречные часы самодовлеюще жили только маленькие дети и необрачившиеся влюбленные. Люди другой поры, подвластной воспоминаньям, испытывали тоскливое чувство разобщенности с миром. Отчетливо ложились перед ними грани своей, отдельной человеческой судьбы. И Таня показалась себе самой всеми забытой, утомленной. Девочка плелась, пришаркивая на ходу подошвами. На крышах лежал некрасивый снег. Встречные тоже не нравились Тане.

II

Дверь Тане открыл Александр Андреевич. У него было измученное лицо. Тане он улыбнулся устало. Но все же улыбнулся. Значит, забыл и «основоположника», и все другие ошибки. Милый отец! Таня подпрыгнула и крепко обняла его за шею.

— Ну-ну, хорошо! Что ты так поздно?

— У нас была Надежда Константиновна... По нашему советскому обычаю, пошли сниматься.

В дверях столовой показалась Соня:

— Иди, иди! Есть хочу, обедаем.

— Все вместе сегодня? Вот роскошное житье!

Семья собиралась за столом не часто. У каждого был свой труд, свои заседания, друзья и встречи. Соня уходила на работу раньше всех. Бывали дни, когда Таня совсем не видела ее. Может быть, поэтому девочка жила с молоденькой мачехой в большом согласье. Но чувство любви к ней было совсем иным, чем к отчиму. Если б тоненькая Соня, с ее милым лицом, простой, неяркой шутливостью, с ее неуменьем долго страдать или сердиться, вдруг исчезла из Таниной жизни, девочка горевала бы сильно. Утрату Сони она перенесла бы трудней, чем исчезновенье из совместной жизни родной матери. И все же горе не было бы столь глубоко, не образовало бы такой, всю жизнь ощутимой недостачи, как при утрате Александра Андреевича. Сама Таня об этом никогда не думала. Александр Андреевич вдруг понял это сейчас, встретив доверчивый, сияющий взгляд дочери.

— Папа, что такое «грех»?

Он машинально переспросил:

— Грех? Разве ты не знаешь?

И вдруг осознал всю значительность этого незнанья. Таня выросла без религии, как и без родителей по плоти. Она совсем новый человек в новой стране.

— Разве в книжках ты не читала?

— Я как-то не замечала в них такого слова. А сегодня Нинка говорит: грех тебе будет.

Подыскивая выраженья, Александр Андреевич не очень ясно объяснил:

— Грех — понятие религиозное. По установкам нашей морали, грех — это преступленье перед революцией, перед классом.

— Эта Нинка — просто злая дрянь! Тварь я буду, если мне когда-нибудь можно будет сказать: грех тебе.

Соня сморщила маленький чистый лоб.

— Таня, выбирай выраженья...

Александр Андреевич перестал слышать их разговор. Он думал:

«Мы совершили не только физическую и экономическую революцию. Мы совершили уже психологиче-

скую. Этих детей трудно возвратить в мир капиталистических понятий». Он подумал и о том, что в его привязанности к девочке была доля самопохвалы, высокая оценка способности любить чужого ребенка, как своего собственного. Вот именно этого понятья «собственный» для девочки не существовало никогда. Она не знала не только собственных домов, она не знала даже долголетних квартир. Она не знала времени, когда семья, свой род служил противопоставленьем чужому. Она не знала, что такое кровные узы. Она многого не знала, что считалось естественным или неестественным еще так недавно. Но чувствует она совершенно естественно и цельно. Этот человек охранял мое детство, воспитывает, учит, живет со мной, я его люблю,— он мой отец. Тем труднее будет ей объяснить, что если он и ошибся, то не враг он ей. Большая область старого бытия, отложившего на нем свой пленительный и злой груз, ей непонятна. Как всякий совершенно новый человек, она мыслит прямолинейно. И вообще, черт знает, как трудно теперь с детьми! Присущий всему молодому эгоцентризм, конечно, действителен и для них, как был присущ самому Александру Андреевичу в отрочестве и юности. Но они его как-то сочетают с непререкаемым авторитетом родителей и учителей. Да, если эти родители и учителя — их единомышленники. Таня в некоторых отношениях — ребячливая двенадцатилетняя девочка прошлого. Но именно во внутренних своих установках она устойчива не по-детски. Чувство ответственности перед коллективом у них велико. Пресловутое чувство локтя! Раньше дети были другими несомненно. Ему тяжело оскорбить ее любовь к нему не только потому, что привык он к этой любви. Ему тяжело оскорбить в ней именно этого нового человека. Александр Андреевич отодвинул тарелку и закурил. Соня укоризненно потянула его за рукав.

— Что это ты? Почему не ешь?

— Не хочу, дайте чаю. Голова болит.

Жена просительно улыбнулась:

— Если можно, вызови машину, прокатимся на часок за город. Тебе надо освежиться.

Александр Андреевич нахмурился, скулы его чуть порозовели. Он подумал со страшным злорадством:

«Вот завтра вам покажут машину!»

Но вслух он сдержанно сказал:

— Не могу. Я буду работать. А Сычева не пускайте ко мне, если придет.

Таня покачала головой:

— Да, его не пустишь! Он упрямый, как наш Кимка Шмидт. Папа, ведь Второй съезд РСДРП состоялся в Лондоне, в тысяча девятьсот третьем году! А Кимка засыпался, в тысяча девятьсот втором, из самолюбья так на своем и стоит.

— А ты вот из самолюбья хвастаешься шпаргалочными сведеньями. Ведь истории прошлого совсем не знаешь. Ну-ка, скажи, про крепостное право ты что-нибудь знаешь?

— Знаю. Это когда Петр Великий...

Александр Андреевич усмехнулся:

— Из всего прошлого ты, кажется, про Петра Великого только слышала.

Таня покачала головой:

— Как не так!.. А еще Николай, которого мы свергли. Еще какие-то были... крестьянам волю без земли. Нет, вообще, папа, я неплохо учусь. Но, конечно, про всех про Николаев да Людовиков устанешь читать. Нам нужно партитурное чтенье. Так нам сказал...

Соня засмеялась. Александр Андреевич ласково смазал Таню рукой по лицу:

— Глупа ты еще, девица! Партитурное.

И, как будто в Таниных смутных знаниях по истории таилось для него какое-то облегченье, он взглянул на девочку светлей. Он встал, чтобы уйти, но невольно задержался. Сегодня он боялся одиночества. Домашняя работница, Елена Михеевна, принесла чай. Соня услужливо освободила конец стола. Она всегда немного робела перед этой сухощавой светло-русой женщиной с темными, горячими глазами. А Таня ее не любила. Она переносила присутствие Елены Михеевны, как неизбежную непогоду. Поворчит да скроется. И Елена Михеевна враждовала с Таней. Она никак не могла сердцем принять, что «чужеродное дитя» занимает столь большое место в семье. Но недружелюбье свое начала проявлять открыто недавно, после одного горячего спора с девочкой о боге. Тогда Александр Андреевич недовольно посоветовал дочери.

— Ну ты, воинствующая безбожница, учись подходить к людям...

В их быту и еда, и чистота, и целость одежды за-

висели от большой старательной работы Елены Михеевны. Александр Андреевич говорил, что, если она их покинет, им останется одно: переселиться в асфальтовый котел, на иждивенье к беспризорникам. И Елена Михеевна ценила его бережное отношение к себе. Она увидела, что сегодня он чем-то огорчен, устал, чувствует себя больным. Подавая ему стакан крепкого горячего чая, как он любил, Елена Михеевна ласково сообщила:

— Сычев приходил, я в комнаты не допустила. Вам отдохнуть надо. Я сказала: «Хозяев нет, и не пущу».

Таня враждебно, хотя стараясь выговаривать не особенно внятно, проговорила:

— «Не допустила», «хозяев». Скоро у нас будет, как в «Крокодиле» напечатано: «Барин на ячейку ушли».

Щеки у Елены Михеевны вспыхнули:

— Меня, Танечка, переучивать поздно. Я старый человек. И довольно некрасиво с вашей стороны.

Таня постаралась смолчать, но, встретив сухой взгляд нелюбимых глаз, не смогла:

— И старой вы себя не считаете. Как собираетесь куда, так сколько времени перед зеркалом... Потом и старее люди есть, а бога им не надо.

Соня с упреком спросила:

— Таня, это что такое?

Александр Андреевич крикнул сердито:

— Замолчи сейчас же!

Елена Михеевна шумно собирала со стола грязные тарелки. В глазах у нее выступили слезы, голос пресекался:

— Они еще жизни не знают. Попрекают меня, что не могу от веры в бога отказаться. Ну, не могу и не могу! Их еще на свете не было, когда мне, кроме бога, некому было пожаловаться. Я за Советскую власть хоть на смерть пойду, а вот бога не могу отрицать... Они думают, что если я кухарка...

— Да разве я про это говорю? Я про вашего бога. Про кухарку Ленин сказал...

— Ленин всякого трудящегося человека уважал, а вы на готовенькое пришли, а домашних работниц считаете все равно что грязь...

— Неправда! Неправда же!

— Таня!

Александр Андреевич выговорил устало:

— Елена Михеевна, успокойтесь. Все это пустяки.

— Для меня не пустяки. Хоть и бог для меня — не пустяки, но и Советская власть не пустяки! Я при этой власти вторую ступень на курсах кончаю, а прежде...

— А я про что говорю? Вы теперь больше меня, может быть, прошли, а все богу молитесь...

— Я не знаю, что вы в школе прошли, а дома трудящихся презираете. Я вас просила на пол карандаши не очинять и бумажки не раскидывать...

— Да я подберу, сама подмету! Я сама себе все должна... Елена Михеевна! Ну, если я за ней побегу, она еще больше запсихует.

Александр Андреевич удержал ее за плечо:

— Ладно, сиди. Откуда, действительно, у тебя такой тон? А?

Соня неожиданно улыбнулась.

— Уж очень ты ее зеркалом обидела. И, главное, зря. Она не кокетка. Недавно представлялся случай выйти замуж, никак не хочет. Терпеть не может мужчин!

Таня упрямо покачала головой:

— Лучше бы она бога не терпела, а завела себе пятерых мужьев. От мужьев только ей забота, а от бога кругом — предрассудки.

Соня уже не сдержала звонкого смеха:

— Пятерых! Таня!

Сумрачно усмехнулся и Александр Андреевич, но девочка, глотая слезы, поперхнулась. Подняв на отчима блестящий от слез, но твердый взгляд, она сказала:

— У меня, может быть, грипп. Что-то глаза слезятся. И вообще весь день неудачный.

Таня быстро выбежала из комнаты. Соня пошла за ней. Александр Андреевич забарабанил пальцами по столу. Какие неудачные дни еще ждут бедную девочку! Он вспомнил первую встречу с ребенком, Тане шел от роду третий год. С ее матерью, Натальей Сергеевной, тогда его женой, он в первый раз пришел к ним на квартиру. Электричество было испорчено. Комнату освещал слабый свет оплывшей свечи, воткнутой в бутылку. Нянька готовила в кухне чай. Девочка сидела в большом кресле одна. Большими безбоязненными глазами она следила за темными тенями в глубине комнаты. Ее часто оставляли одну, и она привыкла не бояться ни темноты, ни тишины. Мать взяла ее на руки, осыпала горячими виноватыми поцелуями и поднесла к Александру Андреевичу:

— Вот твой отец.

Девочка покачала непричесанной головкой и заявила степенно:

— У меня отца нет.

Наталья Сергеевна засмеялась и всхлипнула, снова принялась ее целовать.

— Не было! А теперь есть! Мы будем жить втроем, жить очень, очень хорошо!

В дверь постучали. Пришел монтер. Мать опустила девочку на пол и заговорила с ним. Вдруг Таня дернула ее за платье. Наталья Сергеевна наклонилась к ней:

— Что, детка, что?

Ребенок спросил спокойно и громко, указывая на монтера:

— Мама, это тоже отец?

Очевидно, ей казалось естественным, что из необычной сегодняшней темноты должны являться неведомые отцы. Александр Андреевич посадил ее к себе на колени. Она долго внимательно смотрела ему в рот, когда он говорил с ней. Потом девочка потрогала своим пальчиком его губы и спросила:

— А где ты был, когда тебя не было?

При этом воспоминании сердце Александра Андреевича сжалось от нежности и тоски. Он сам не понял, что сказал в ответ вошедшей Соне.

III

Прошла неделя. Пионеры писали письмо Максиму Горькому. Как во всех ответственных письменных выступлениях организации, руководил Игорь Серебряков. Широко расставив руки, он почти лежал на столе. Правая щека у него была запачкана чернилами. Левой рукой он разглаживал наморщенный потный лоб. Долго стоял спор о том, как обращаться к Алексею Максимовичу: на «ты» или на «вы». Игорь убеждал:

— Он для нас все равно партиец. А потом даже у буржуазного поэта пустое «вы», а сердечное «ты».

Из-за спины Игоря тоненьким, рассудительным голоском Леонтина Кочергина поправила его:

— Так это же романс, он еще обидится.

Игорь с сердцем отодвинул ее локтем:

— Не дыши в ухо, романс! Зачем вчера кудри завила?

Темноволосая девушка, из-за стройности казавшаяся

выше своего среднего роста, строго придержала его за локоть:

— Что за грубости в пионерской среде, Игорь?

— Ничего не грубости, а дайте же посоветоваться! Если на «вы», то как же выйдет: «Мы вас любим, потому что верим...» Гораздо тверже выходит: «Мы тебя любим, потому что верим тебе целиком и полностью».

Таня громко крикнула:

— Нет, нет! Слишком интеллигентски: любим, верим. Может, лучше выйдет: «Мы прислушиваемся к каждому твоему слову...»

Игорь сердито пробормотал:

— Что тут прислушиваться, уж зря не скажет!

Ким ядовито спросил:

— А ты разве его не любишь?

Таня, зардевшись сердитым румянцем, встала со своего места и подошла к мальчикам. Она не любит самого большого пролетарского писателя, своего писателя!

— Как ты смеешь меня оскорблять?

Ким не был по натуре злым, но ему доставляло удовольствие дразнить Таню. Она, во всем искренняя, сердилась горячо. Сейчас он и не подумал о том, какую боль он причинит девочке.

Он потянул ее за платье и сказал насмешливо и громко:

— Ничего удивительного! У тебя с папочкой, кажется, другие вкусы.

Чувствуя, что над ней сбывается какое-то несчастье, Таня испугалась этого внезапного напоминанья о «папочке». Пожалуй, в первый раз за свою сознательную жизнь она не решилась потребовать объяснения. Она стояла около Игоря, постепенно бледнея и не зная, что ей делать. Та же высоконькая, темноволосая девушка Лиза, что запретила Игорю грубить Леонтине, подошла к Тане. Она стала перед ней почти вплотную, как бы желая закрыть ее от глаз детей.

— Товарищи, Таня Русанова — наш ничем не опороченный товарищ. Она сама сделает нужные выводы. Она сама сообщит нам о деле своего отца. Ким, травить отцом не только преждевременно, а вообще...

Таня переспросила почти беззвучно:

— Травить *моим* отцом?

Девушка повернула ее за плечи, сердито шепча:

— Ты не читала сегодня «Правды»?

Хрупкая, оттого сладчайшая, надежда на короткое время облегчила сердце Тани: «Ребята берут меня на пушку, чтоб я ежедневно газеты читала». Проходя около Кима, она даже сказала ему неуверенно задорным голоском:

— А ты знаешь, отчасти ты дурак.

— То есть как же это?

— Вообще.

Вспомнив об этом, теперь она еще ниже опустила голову. Игорь хмуро подал ей «Правду». Они заперлись в маленькой комнате, где обычно работала редакция школьной газеты. Их было пятеро. Пионервожатый Лиза, Игорь, Таня и братья Крицкие, очень похожие друг на друга близнецы, оба активисты. Игорь увидел, что Таня от волненья плохо разбирает строки. Он почему-то пониженным голосом рассказал ей содержание:

— В ущерб государственным интересам он стремился сохранить свое хозяйство. Ну, понятно, не свое личное! Совхозы своего треста. Вообще, я полагаю, трестовиков надо почаще проверять. Работа такая... хозяйственная. Ну, понятно, не растратчик он! Личная корыстная заинтересованность не отмечается в постановлении. Но, видишь, он оставил в совхозах скрытый хлеб. На прокорм для своего трестовского совхозного скота. А государство? Понимаешь, тут всякие могут быть мотивы! Вообще, понимаешь, явный оппортунист.

Внешне Таня казалась спокойной. Руки ее сразу перестали дрожать. Серые глаза смотрели в лица товарищей сурово и прямо. Только сквозь тонкую кожу лица не видно стало ни кровинки, побелели и губы. Но ей казалось, что она дрожит, так беспокойно приливала к сердцу кровь. Все волновавшие девочку разнообразные чувства в мыслях выливались в одно:

«Уцелеет или не уцелеет?»

И ни на одно мгновенье, ни в каком темном инстинкте ни разу не сказалась эта мысль как боязнь за служебное положение отца или страх грозящей материальной необеспеченности. Таня естественным считала, что ее, невзрослую, кормят и одевают. Она была убеждена, что всегда накормят и оденут. Начальнические и неначальнические ранги для нее были равны. Александр Андреевич с малолетства не позволял ей пользоваться его общественными преимуществами. Он доходил в этом до мелочности.

Девочку, как и жену его, никогда и никуда не возили на его трестовской машине. Лишь иногда, когда он слишком уставал и на какой-нибудь час ездил сам за город, он брал их с собой. Однажды Таня попросила у него для школы из треста фанеры. Отец сильно рассердился:

— Не разыгрывай из себя ответственной дочери! Таким путем твоя школа от меня никогда ничего не получит.

В этом сказывалась и показная строгость к себе как к начальнику. Но для Тани такие правила были благотворны. Она знала, что не все живут хорошо в бытовом отношении. Но, не испытав нужды, не думала о ней и не боялась даже ее. Свое «уцелеет» она относила лишь к одному: «Оставят ли отца членом партии». Большее число часов своей жизни девочка проводила в коллективе. И семья их не была замкнутой в тесном мире личного сообщества. Беспартийный представлялся ей каким-то хилым единоличником в общественной жизни. Как же отец, папа, станет таким? Не может быть, не бывает! Нет, нет, не будет так! Разве это можно? Вообще все происходило как во сне. И дома, и улицы, и дверь в квартиру, такая знакомая, показались ей нереальными. Молодое, свежее сердце отказывалось верить тоске. Впустив Таню, Елена Михеевна укоризненно сказала ей:

— Что это у вас чулки спустились, как у тетки? Подтяните.

Ворчливое замечание Елены Михеевны, столь привычное в ее обращении с девочкой, вызвало у Тани впервые в жизни тоску о прошедшем. Даже малоприятное показалось ей милым в нем. Пускай бы только все осталось, как было! Вечно женственным движеньем она туго натянула чулки, держась очень прямо, вошла в комнату; Александр Андреевич, серый лицом, с беспокойными глазами, зачем-то встал ей навстречу, потом торопливо и ненужно сел на другой стул. Соня плакала у окна. Обычно слезы у ней высыхали быстро, а теперь нос распух. Давно плачет. По комнате, легко нося длинное тело, ходила Танина мама, Наталья Сергеевна. Как-то всегда случалось так, что приходила она к Русановым во дни неприятностей или с собой приносила печаль. Она не чувствовала себя удовлетворенной ни личной жизнью, ни искусством. Оттого часто страдала искренне и тяжело для окружающих. От нее и пахло всегда печальными духами и вином, как от увядающих в стакане цветов. На ходу

она поцеловала дочь. Ощутив этот знакомый запах, Таня совсем сникла. Бледненькая и очень усталая, она прижалась к дверному косяку. Александр Андреевич спросил ее несколько хрипло:

— Ну?

Таня, потупившись, молчала. Простым, добрым сердцем Соня поняла, какое большое крушение доверия, надежд и понятий происходит сейчас в душе девочки. Эти внезапно бледнеющие, потускневшие детские лица, что может быть горше! Она быстро подошла, хотела обнять и увести девочку, но Таня еще судорожнее уцепилась за косяк. Александр Андреевич неловко закурил и заговорил неохотно, нервно:

— Будет разыгрывать из себя малютку. Если ты хочешь что-нибудь сказать или спросить, так спрашивай.

Наталья Сергеевна рассердилась:

— Да что вы, действительно? О чем с ней разговаривать? Она же, конечно, еще малютка. Иди, Таня, умойся и полежи. Не твое дело — судить отца.

Таня резко повернулась к матери:

— Как не мое? Я ему никогда не говорила неправды! И все ребята наши знают, что я немедленно засыплюсь, если солгу. А ты зачем же мне все неправду говорил?

Сердито откашлявшись Александр Андреевич постарался говорить возможно ровней и суше:

— Я учил тебя всегда говорить правду, я! И тебе я не лгал и вообще не лживый человек. Но ты меня поймешь только тогда, когда к тебе придут свои сложности.

Долго сдерживаемые слезы вдруг прорвались у Тани. Они сразу обильными струями потекли по лицу. Она торопливо вытерла их о плечо и обеими руками.

— А... у меня разве их нет? Лиза Борщенкова... от пионеров вызвала отца на соревнование. Он слесарь и плохо работал. А он взял да изругался, нехорошо ругался, и лист не подписал, а изорвал. И даже ударил ее. Она и говорит: «Товарищи, как же я с ним буду жить?» А если б... ты лучше меня ударил, а ты сам всадился... в оппортунисты.

Наталья Сергеевна всплеснула руками:

— Это чудовищно! Взрослые отвечают за вас, а не вы за них. Как ты смеешь?

Громко всхлипнув, Таня отозвалась уже спокойнее и строже:

— Мы все друг за друга отвечаем. Мы не капиталисты, чтобы вразброд...

IV

Эти два месяца были тяжелыми для Тани. Отца не лишили партийного билета. Ему дали безвыездный и неизвестно на какой срок отпуск. На собраниях, в учреждениях и в профсоюзах обсуждали его поведение. В газетах почти ежедневно было укоризненное упоминание о Русанове. Александр Андреевич похудел. В волосах его выступила явная седина. Но, узнав, что из партии его не исключают, он значительно успокоился. Чтоб как-нибудь убить тяжкий досуг, он усиленно занимался английским языком, математикой и много читал даже из беллетристики. Многое он и передумывал за это время. Особенно после разговора с Таней, когда он старался ей объяснить известное его возрасту положение, что не ошибаются только равнодушные. Девочка его не поняла. Он размышлял, почему не поняла. И, будучи честным, увидел, что корни его ошибки глубже, чем в словесных объяснениях. Таня чует это. Она чувствует, что все же он считает себя по существу правым. А ее закон — прям. Если ты уличен в неправоте и все-таки считаешь себя правым,— значит, ты враг. В чем же его неправота? Он искал и находил в себе многое, уже ненужное и даже вредное этому новому, Таниному миру. Оно таилось иногда в мелочах: в еле уловимых оттенках славянофильства; в любви к дико тоскливым проголосным русским песням, нагнетающим вялую скорбь, в том, что ему нравился мужик типа толстовского Платона Каратаева, иногда становилось жалко прежней, невозделанной русской ширь, оттого, что иногда взгляд его становился радостным при виде кривой, маломощной ветряной мельницы на опушке заросшего леса. Все эти обвинения, выраженные в словах, звучали тупо. Казалось, даже снижали красочность мира и жизни. Тем не менее он понял, что пионерам совершенно нового бытия являются врагами иногда и простой мирный пейзаж. и высокое в своей первооснове чувство любви ко всем людям. С Таней об этом не говорил. Сложность всех этих переживаний была, конечно, еще недоступна ей. Отношенья у них установились ровные, но как будто

между ними встала прозрачная, а все же перегородка. Отчетливо это сказывалось в том, что Таня теперь скупо рассказывала ему о делах своей пионерской организации, а раньше надоедала ими. И вообще она сделалась как-то сразу взрослее. Мир уже вставал перед ней не четко разграниченным, а в сложном переплете света и теней. Случай с отцом научил ее видеть многое, чего девочка раньше просто не замечала.

Наконец, через два месяца, Александр Андреевич получил направление на новую работу. Его послали за границу на торговую работу. Соню не отпустил Московский комитет партии, и Александр Андреевич уезжал один. В день отъезда пришла провожать и Наталья Сергеевна. Она размахивала каким-то листком:

— Знаешь, твое назначение очень удачно. Там пойдет моя опера. И ты мне поможешь. Я — советский композитор. Придется выступать и с речами.

Таня замахала руками:

— Ой, мама, не надо! Брякнешь еще что-нибудь мелкобуржуазное. Ты лучше здесь поговоришь, мы поправим.

Все засмеялись, а Александр Андреевич сказал:

— Ну, вот и приезжай ее там поправлять. Приедешь, а? Ты ведь меня не забудешь?

Таня подняла на него свои искренние глаза и сказала совсем тихо:

— Я бы тебя и тогда не забыла, папа. Только моя жизнь тогда стала бы несчастливая.

Он понял, что она хотела сказать этим «тогда», и как оно еще страшит ее в воспоминаниях. Он крепко поцеловал ее, с влажно блеснувшими глазами. Когда девочка зачем-то вышла из комнаты, он попросил старших женщин:

— Берегите девчонку. А ты особенно, Наталья Сергеевна, иногда уж очень к ней неумело подходишь. Ты не права, они имеют право судить нас, им жить по нашим установкам. Для них мы возводим леса...

Увидев возвратившуюся Таню, он весело закончил:

— Вот и вознаграждают нас они то красным галстуком почетного пионера, то рогожным знаменем.

Летом Таня поехала к отцу за границу. Накануне вечером они гуляли с Игорем по Москве. Игорь наставительно говорил:

— Без дела не вылезай, там пионеры в жестких тисках. Но все-таки не забывай и об организации. А то

ведь вы, женщины, там шляпки, тряпки, ах, крепдешин дешевый.

Таня укоризненно покачала головой:

— Ну, что ты, Игорь, разве я такая?

Игорь взглянул искоса на чистую, ровную линию лба и носа, увидел сразу и легкую походку, и яркий серый глаз. Сердце у него учащенно забилось. Девочка остановилась. Они пришли к ее дому. Игорь крепким пожатием взял ее руку и сказал взволнованно хмурясь:

— Нет, ты не такая. Ты хорошая. И вообще для меня — самая хорошая из женщин. И всегда будешь самая лучшая...

Таня покраснела и осторожно потянула свою руку. Игорь круто повернулся и пошел. Не оглядываясь, он крикнул:

— Так завтра, на вокзале! С дороги обязательно напиши мне!

Он скрылся за углом. Девочка постояла, посмотрела ему вслед и ушла. Только что скрылась она в дверях подъезда, из-за угла снова вышел Игорь. Он посмотрел на опустевшую панель с ощущением сладостной боли, с тем чувством, которое осознается лишь в зрелости, а в первоначальной своей чистоте никогда не повторится.

Игорь получил письмо от Тани с дороги. Множество кривых, написанных карандашом строк лепилось на небольшом листе. Содержание его тоже было беспорядочно. Между прочим, она писала:

«Игорь, обязательно учи языки, хорошенько учись, всех ребят заставляй! У меня какой нехороший случай вышел. Дипкурьер, с которым я еду, не захотел завтракать. Я пошла с билетиком в ресторан одна. Села, понимаешь, а ихний подавальщик в форме не подает мне есть, а все чего-то говорит, говорит. Я сижу, а все на меня смотрят, хоть провалиться. Сижу, краснею, краснею и не знаю, что делать. Потом какой-то заграничный дядька, немножечко знающий по-русски, объяснил мне, что у меня билетик на второй завтрак. А то сижу, сердце ноет, мучительно вспоминаю: дер офен, дас фенстер, ди диле, а у самой даже спину ломит. Пожалуйста, учитесь! Зачем давать мировой буржуазии возможность смеяться над нами?!»

Совсем сбоку мелкими буковками было приписано: «Ты для меня тоже очень хороший».

I

Долженковы лет пять скитались в оренбургских степях, искали вольной земли. На родину вернулись в голодное время, в начале двадцать первого года. Возвращенье было постыдное. Уезжали хозяевами на двух подводах, обратно притащились пешие, с легкой поклажей на загорбках. Их изба обветшала, кровля провалилась. Старший сын по возвращении устроился на работу в чужом хозяйстве. Младшего, Степку, в пастухи наняло общество. Жена старшего, Дарья, двух детей вытягивала нечастой поденщиной, писанием писем, прошений и ворожбой на гуще. Была она грамотная, смышленая и дерзкая женщина. Из всей долженковской семьи одна при встречах с почетными хозяйственными мужиками смотрела им прямо в лицо. В прошлом году послали ее на женский съезд в уездный город; там она пристроилась на работу в казенной прачечной. В городе она разузнала, что средний сын, Матвей Долженков, проживает в Москве, служит на хорошем месте.

Матвея очень любил отец. Все дети — свои, как пальцы на собственной руке. Какой ни зашиби — болит, какой ни отними — навовсе о нем не позабудешь. Но когда они еще малы, толкутся под родительской рукой, выделится один для отца или для матери утешней остальных. Родительская память хранит драгоценный детский его облик во всей полноте и тогда, когда он станет взрослым, уйдет к своей судьбе, хотя бы незадачливой и зазорной. Взрослым Матвейку отец не видал, ничего не знал о том, как он живет. Снился он ему часто ночами, и сновиденья эти всегда были тревожны. Матвейка рано ушел из семьи. В третьем отделении сельской школы мальчишка сильно приналег на ученье. На экзамене учитель и приехавший из города господин по учебной части захвалили его. Заве-

дующий школой сам приходил к Долженкову уговаривать учить сына дальше, в город отправить. Точно зельем опоили парнишку. Стал худ и ненавистлив ко всему вокруг, будто хворый. Иногда в праздник приходил отец домой под хмельком. Во хмелю он бывал всегда слюняво ласков. Матвейка жался к нему, приставал неотвязно, точно осенняя муха, все с одним:

— Папаня, пошли в город учиться. Я ведь в дом жа, вам жа наживу.

В то время у Никанора Долженкова были амбар с запасом и двор со скотиной. Но старшего сына надо женить, вышла пора и дочь замуж выдавать. Митревна прихворывала. Сохнуть, сутулиться начала, но детей еще носила. Всех обездолить придется, если Матвейку в городе учить. Никанор, жалостливо моргая глазами, внушал ему:

— И дед твой и отец неученьими прожили, ничего, не хуже других. Пить-есть, обуться-одеться хватает, и соседи не корят. Хлеба не занимаем.

Но хлеб добывать при малоземелье в их местности становилось все трудней. Двинулся Никанор с семейством на новые земли.

Перед германской,— в деревнях нежданной, как грабитель в ночи,— войной обосновались Долженковы в Оренбургской губернии, богатой скотом. Приехал к ним из города прасол. Он купил у Никанора на убой яловую корову и быка. Полученные с прасола деньги считал Матвейка. Он жарко поспорил с покупателями из-за недоданного пятиалтынного. Прасол ругался, плевался, ногами топал, пророчил парнишке лихую судьбу. Но когда распивали с Никанором магарыч, горячо похвалил мальчишку за сметку, за упорство, вздохнул, посетовал на свою бездетность.

Никанор разнежился, всхлипнул от умиленья, тоже жаловался:

— Парень-то хорош! Хоть я и отец, а не хвалясь скажу — золото парень, а печали от него довольно.

Он рассказал подробно про Матвейкино горе. У прасола магарыч был не первым в тот день. От удачи в закупке скота, от вина веселый шум стоял в голове. Он то и дело широко распахивал кургузый городской серый пиджачишко, ласково подмигивал мужикам, обнимался с ними, хвастал про свою нестяжательность, неразумную щедрость. Тяготила ли его бездетность и он

действительно до сердца восхитился чужим потомком, захотелось ли ему во хмелю оставить в деревне после себя славу благодетеля,— только предложил он Никанору взять Матвейку с собой, обещал обучить на свой счет, сделать его своим подручным, а там, может быть, и компаньоном. Никанор заупрямился.

— Не купец я, а свое рожденье могу сам на ноги поднять. По чужим дворам не живали еще. Покорнейше благодарим, ну, не согласен.

Отказ раззадорил прасола. Раз пять принимался уговаривать Никанора. Тот упорствовал.

На утренней заре прасол, проводив с погонщиком закупленный скот, выехал вслед на легком тарантасике один. За деревней дожидался его Матвейка, со слезами просил взять с собой. Прасол был уже трезв и сумрачен. От обещанья не отказывался, но без согласья отца не взял, даже отговаривал мальчишку от ухода надолго из семьи. Все же сообщил, где его разыскивать, добавив сердито:

— Только пускай теперь он сам, твой отец, хорошенько меня попросит. Без этого не возьму.

Матвейка слезами, угрозами деревню подпалить, утопиться, а больше всего страстностью своего отчаянья вынудил Никанора на тягостный поступок. Поехал отец догонять прасола, униженно просил и сдал ему Матвейку.

Во время войны прасол разбогател. После Октябрьской революции бегал с другими богачами от большевиков, в свой город вернулся нищим умирать. Матвейки при нем уже не было. Парень ушел с красными и затерялся где-то в городах. Справлялись о нем родители много раз, при всяком случае, но искать след человека тогда надо было с предельным упорством, как дорогу в степи в буран. Долженковы так разыскивать Матвейку не могли. Старший сын долго отлеживался раненый в австрийском госпитале, а вернувшись, попал опять в сраженье. То белые, то красные забирали его воевать. Потом вся семья переболела тифом. Разорились, затощали, перевели скот и хлебные запасы. Митревна, крепкая до косности в своих привязанностях, тосковала на новом местожительстве. За четыре года никак не могла она привыкнуть к людям, собранным в степной губернии с разных концов России, к разнообразию их обычаев и верований. Для нее свои, Россия, русские были только там, где женщины носили фартуки, как она, выше грудей, где бог один — страшно-

лицый Спас за престолом в церкви, и нет иноверцев в селе, где коренной хлеб не пшеница, а рожь, где у земли привычный с детства, оттого сердцу Митревны, тугому на новую красу, незаменимо милый лик родных мест. Степь вместо лесов, смешанный говор, незнаемые прибаутки, присловья, свадебные обряды, проводы покойников — все казалось ей странным, даже нечестивым, вызывало брезгливую настороженность. По ее мольбам привел Никанор семью обратно в родное село. Но родина показалась ей по возвращении подмененной. Не той, что вставала в воспоминаниях и во снах на чужбине. Горьки были и здесь старость и нищета. Прошло шесть лет. О Матвее перестали даже разузнавать.

Вдруг сноха Дарья сообщила старику, что добыла его адрес. Отец даже прихворнул от душевного волнения. С неделю плохо двигался, больше лежал. Дарья написала Матвею письмо. Ответ получили Долженковы только через три месяца. Матвей извещал, что находился в отъезде по своей службе, письмо Дарьино недавно прочитал, скоро приедет в Александровку на свиданье с родителями. Ни сами Долженковы, ни соседи их, никто в деревне обещанью не поверил. Если бы Матвей захотел старикам помочь, выслал бы денег, а он только отписался. Ну, что ж, понятно: трудно дается после голодных лет хороший кусок. Матвею уже двадцать пятый год. Свою семью завел,— как же иначе? Отрезанный ломоть.

Но донимала нужда, и, прослушав его ответ, старик Долженков вздохнул, проговорил, совестясь, покашливая:

— Ну, что же... кхм, кхм... на добром слове спасибо... кхм... кхм... А может, прописать ему, не пришлет ли... кхм... кхм... рублей пять? Муки, картошки купить... кхм... кхм... Как, Дарья, посоветуешь, а?

Дарья взглянула искоса на старика, поправила на голове повязанный по-городски концами назад красный платок, пристукнула по столу жилистой рукой, визгливым бабьим голоском протараторила:

— Я ему пропишу, я ему отпою, он у меня почешется! Я его разыграю по басам. Жди-пожди, когда приедет, кобель ласковый! Мать с отцом в ожиданках ноги с голоду вытянут! Ну, и мы поумнели. Я расстараюсь да в Москву к нему проберусь. Сам не даст помощи — вытянем! Небось хватит! Посовестились, натерпелись. Коли этакой сын, чтобы самому сладко, а родители пускай водицу пьют

да водицей и закусывают,— эдакого и за грудки потрясти не грех. Не думайте, папаша, не сомневайтесь: от меня он не отвертится!

Но не только поехать в Москву, написать она собралась не сразу. Много было работы, очень уставала за день, не до писанья. Болели изъеденные стиркой руки, ныла спина.

На этой неделе в субботу, ввечеру, Дарья с детьми пришла из города, чтобы провести праздничный день с мужем. В сумерки семья собралась во дворе за ужином. Сидели на земле вокруг разостланной дерюги. Истово черпали ложками из большой деревянной чашки тюрю из черных сухарей, приправленную луком. Дарья не один раз оглядывала всех неспокойным взглядом. У нее в узелке, принесенном с собой, были белый хлеб, заварка чаю, селедка и три куска сахару. Разделить на всех,— что каждому достанется? Двое стариков, Степка, сестра его Фрося, она сама, двое ее ребятишек — семеро. Губы только помазать! А затемно придет на ночевку с работы муж. Тоже не жирно кормится, пусть хоть он сегодня поест вдоволь. Она считала себя правой, но не могла победить жалости к близким, давно не знавшим сытости. Взглянув случайно на Степкину спину с выпиравшими из-под рубашки острыми лопатками, она сжала тонкие губы. Худенькое рябоватое лицо ее стало совсем маленьким. Трехлетний Петька дотянулся до общей чашки, запустил в нее обе руки. Дарья с размаху ударила его по спине.

— У, свиненок, пропаду на вас нет. Еще ногами в чашку залезешь! Сиди!

Ребенок содрогнулся от обиды и боли, громко заплакал. Детский горький вскрик далеко разнесся по улице, по тихому вечернему полю за избой. Старик укоризненно покачал седой с прожелтью головой.

— Мачеха ты, что ли? Ну иди, иди ко мне, внучек, иди, маненький! По земле чуть ступать начал, а ты затрещины сыплешь. Еще надают без тебя, на это не поскупятся, не думай. Что-что...

Дарья перебила его визгливой бешеной скороговоркой:

— Надоели они мне пуще всякого лиха! Кто хорошо живет, так детей ни крестом, ни перстом себе не вымолят, а на наши нехватки они плодятся, как тараканы. Двоих схоронила, радовалась, а вот, никак, опять тяжелая. Чего же это, господи, куда? Петька с Кланькой скрутили меня,

чисто лошадь путы. Без них я бы давно в делегатки выбилась. Из-за них и собранья пропускаю, и книжку почитать некогда, а нонче только с читаньем языком двигать можно и работу добыть. Люди-то живут...

От горячей злости у нее перехватило дыханье. Поперхнулась словом, махнула рукой и замолкла так же внезапно, как взголосила. Старуха тяжело поднялась с земли. Крестясь, пришептывая сыздетства привычные, непонятные ей самой слова молитвы, она трижды поклонилась на восток серо-синему небу, медленно разливавшейся по нему темноте. Выгнутая дугой спина старухи уже не распрямлялась. Когда она пошла к избе и на ходу заговорила с невесткой, казалось, что скрючил ее предельный испуг, потому оглядывается старуха не через плечо, а, боязливо согнувшись, из-за локтя.

— Мудришь больно, сношенька! Делегатки, да пролетарии, да текучий амент, наслухалась я на старости, при недальней своей могиле. Уж столь дивного понасказали наши-то олатыри, никак более и в диво человеку ничего не осталось.

У входа в избу она повернулась, согнувшаяся, будто каждый миг готовая рухнуть ниц под бременем долголетних трудов и неврачеванных болезней. Она с усилием приподняла повыше серое, морщинистое, как иссохшая земля, лицо и с унылой, бесстрастной убежденностью сказала:

Землю-то матушку сколь ни бутырь, хошь вверх донышком переверoти, людям предел не переменишь. Как господь назначил, так оно кажному на его долю и будет. Если бог без счастья на свет послал, так и в делегатках сытости ты не добудешь. Нет, милая, нет, не ухватишь! А другой и в низком звании, никакой тебе не пролетарий, а, как мы, пень серый, деревенский, живет в счастье, кажный день досыту ест.

Дарья вскочила, хлопнула себя ладонями по бедрам, страстно ахнула, сплюнула и, рывком схватив на руки успокоившегося около дедушки Петьку, зашагала в поле к огородам. Семилетняя Кланька вприскочку побежала за ней. Степка, сутулясь от худобы, пошел, позевывая, в избу, на ходу неожиданно взвеселился, взбрыкнул ногами, как длинноногий жеребенок, крикнул:

— Пра-алитарии, которы пролетают...

Фроська благодарно, радостно фыркнула, вытерла губы грязным рукавом кофты и тоненьким голосом запела

недавно заученные слова последней песенной новинки в Александровке:

Я для него была верна
И воровать порой ходила,
И деньги все, признаться вам,
Ему же, Каину, носила.

Старуха из избы заругалась на нее за нехорошую песню, заохала, закашляла, закряхтела.

Степка из сеней звонко спросил:

— Папаня, а папаня! Говорят, в Москве печек нет Из-под полу горячий дух напустят, а во всем доме тепло. Правда али брешет учителев Федька?

Старик не ответил, не услышал. Он стоял прямой, тощий, неподвижный, лицом к востоку. Собирался на ночь богу молиться. Перед ним расстилалась широкая поляна. В сгущавшемся сумраке цветы и травы казались сплошным темным покрывалом, принакрывшим для ночного отдыха яркую радость справлявшей юность земли. Но еще различима была прорезавшая поляну прямая длинная дорога и слитная единая тень деревьев березовой рощи за ней. Из рощи, с поляны ветер наносил быстро, легко набегающей и убегающей волной ароматы майского цветенья.

Старик вдыхал их нежадным старческим дыханьем, но про молитву забыл и не приметил, как появился на пути городской тарантас на железном ходу. Звук мерного тренья колес об дорогу, стук лошадиных копыт, понуканье возницы слышались уже явственно во дворе. Подвода повернула к деревне, приближаясь к долженковскому жилью. От невероятной, но настоятельной догадки у старика всполошилось сердце, стеснилось дыханье в груди, зазвенело в ушах. И вот по двору разнесся вопль испуганной старухи. Потом старик увидел, как с разбегу перемахнула через жердины изгороди простоволосая Дарья, уронившая на бегу платок, как сходились к их двору возлюбопытствовавшие соседи, позже сам обнимал сына, расспрашивал его, отвечал на вопросы, но голоса людей и его собственный казались ему приглушенными. Все вокруг — двор, не закрывающая его изгородь в две березины, изба, кривенький хлевушек — стало непривычным, недействительным, как в сновиденье.

II

Слух о приезде к Долженковым московского гостя быстро разнесся по селу. Дарья насбирала в соседних дворах угощенье для него. Никто в этот раз ей не отказал. Косоглазая Устинья с дальнего конца деревни без просьбы сама понесла самогон в бутылке с надписью «мадера» и горшок крутой пшенной каши. Поспешили вдогонку за ней и другие бабы. На ходу Устинья рассказывала:

— Тетка Маша первая увидала,— едет, говорит...

Низенькая востроносая бабенка горячо перебила:

— Тетка Маша? Господи! Вот какие люди есть, прямо без стыду! Тетки Маши и в повидах-то не было, как я на дорогу выбегла. Корова у меня не пришла, корову поглядеть... Гляжу, он едет... Я тут же сдогадалась.

Басовитая, от одышки всегда пыхтящая Катерина, по прозванью Мотириха, не дала ей договорить:

— В тую пятницу видала я во сне, будто бы старуха Долженчиха, Митревна...

Но и ее внушительный голос был покрыт торопливыми сообщениями других баб. Каждой хотелось быть причастной к событию, взволновавшему течение одинаковых дней.

В избе у Долженковых стол, криво сколоченный маломощными руками старика, принакрыли самотканой скатертью. Дарья раздобыла и лампу и керосину. За столом разместилась вся семья и почетные посетители. В открытые настежь двери избы один за другим входили мужики. Оттесненные назад бабы вытягивали шеи через их плечи, судачили шепотком, протискивались поближе к Дарье, к Митревне с расспросами. За окнами слышалось шушуканье, дурашливое покашливание парней, девичий приглушенный смех. Ребятишки, не таясь, влезали на завалинку, всовывались внутрь избы, оглядывали всех с жарким любопытством. Стоящие сзади хватали их за ноги, стаскивали за шиворот, чтоб не мешали видеть. Сердитое сопенье упорствующих мальчишек порой прерывалось хныканьем, возгласами:

— Я те сам щипану! Какой нашелся товарищ ротный, командир сопливый!

- Глашка, не трожь, у, мокрохвостая богородица, в девках родила!

— Мамка, а-а-а! Чего он ухи мне дере-ет!

— Тише вы, галманье! Дайте послушать, что московский сказывает.

Степка и Фроська часто высовывались в окно на улицу, наперебой хвалились жарким шепотом:

— Он только на кой-то застегнулся, а он при часах.

— А пинжак-то, видали, какой у него? А? Ладней, чем вон у тех проезжих, автомобиль-то которы в овраге ухрястали!

— У тех какая одежа, у нашего-то куда богатей! Вот те и «ври»! Какая у него пальто, дак и не наврешь. Эдакого матерья не наврешь.

Фроська, победно оглядывая столпившихся в темноте, подтвердила прерывистым от страстного восторга голосом:

— На низу на пальте подкладка чистая шелкова, ладошке щекотно. Сроду-отроду я не брехучая и сейчас брехать не стану, чистая шелкова!

Из толпы им отвечали завистливым сомненьем, смешком, дружеским одобреньем, советами.

— Ты, Фроська, завтра вели себе купить ботинки с калошами.

— Ни пальта, ни на голову платка, а ты — ботинки с калошами. Деньги просите, с деньгами уму хватит, чего надо купить.

— А с богатству тоже, бывает, ум теряют.

— О-о, гляди, ты не разбогатей, неустойка выйдет — терять тебе нечего.

— А мне вот дай-ко тыщу рублей, дак умней меня, до край свету пройди, будет только тот человек, у кого их две ай три.

Матвей сидел во главе стола. Он охотно поворачивался во все стороны, успевал слышать многих, почти каждому отвечал. Старик, сбоку, сначала робко, со сладким замиранъем сердца, потом трезвей, внимательно разглядывал его. Свой, никто не поспорит,— Долженков. Сложеньем в отца, высок, сухощав, но крепок в кости. Таким смолоду был Никанор. Обличьем очень с матерью схож, светлоглазый и улыбчивый. Воды много утекло с той поры, когда звонкоголосый мальчишка Матвейка ушел от семьи в город. А со времени Митревниной младости — еще больше. Кто знал ее молодайкой Аксиньей, и тот не найдет в ней прежних черт, но Никанор видит и за морщинами, и за тусклостью взгляда нежные щеки и синие глаза. За выбор жены он никогда родителей не корил, пришлась по душе, и молодой ее образ ему памятен навсегда. Сходство с ней у Матвея особенно сильно потому, что ни борода, ни усы не изменяют лика. Он гладко выбрит. Но безволосое по-

женски лицо как и вся городская повадка, делает его чужим, человеком иной жизни, отпугивает.

Старику стало не по себе, когда сын вольно, с шуточкой отвечал старикам:

— Спасибо, дедушка Пахом, живу ничего, хорошо. Поедемте со мной в Москву: там старых заново молодыми делают. Нет, не шучу, доктора такие есть.

Федор, старший брат, в поле ездил. Поспешил прийти, не умылся. Темной тенью лежала пыль у него на лбу, у крыльев носа и во впадинах глаз. Сгоряча он близко подсел к брату, но поглядел в его бритое, чистое лицо, на белые руки, потом на свою прилипшую к потному телу грязную рубаху, торопливо поднялся со скамьи:

— Дарья, ну-ка смениться мне, дай-ка чистую рубаху. Пойдем, сплесни воды, умоюсь.

Он приостановился, свертывая толстую бумажку для цигарки.

Матвей быстро выскочил из-за стола, выхватил у него из рук засаленный кисет.

— Постой, вот покури. Я папирос привез. Да бери всю пачку. У меня с собой много, я много курю.

И тут же к соседям, к чужим — мало ли их поглазеть набилось в избу! — ко всем:

— Пожалуйста, закуривайте! Пожалуйста, пожалуйста!

Ловко, вертко, обращаясь то к тому, то к другому, он открыл чемодан и принялся совать папиросы направо и налево целенькими пачками по двадцать пять штук.

— Алексей Иванович, пожалуйста! Ух, старый друг! Не узнал бы я тебя, Сашка, если б ты сам не назвался. Прямо пожилой мужик, а ведь мы одногодки. На, бери, бери, чего ерундишь! Степан Яковлевич, пожалуйста!

Митревна опасливо поглядела на сына, жалобно — на мужа. Старик угрюмо отвернулся. Только легковесный человек, расточитель показывает чужим свой запас. У такого, сколько ни есть благоты, все прахом пойдет. Не маленький, поди сам понимает: кто легко одаривает, над тем люди смеются. И Матвея на смех поднимут все, кого дуром угощал. Скажут:

— Эх ты, целыми пачками папиросы ширяет туды-сюды, возьми, забирай. Видать, не потное, не горбом добытое. Дается же в эдакие дырявые руки добро!

А Матвей и впрямь, как блажной, начал за папиросами и гостинцы родным при всей деревне доставать.

— Мама, а тут вам я привез...

Митревна замахала руками поспешно, чуть не споты каясь, скрючившись сильней, чем обычно, подошла к сыну

— Ладно, ладно, сынок, иди-ко закусывай, не ломай стол, садись! Чего там — привез! Приехал сам,— вот за это спасибо! Чего навезешь: самому-то в городе прожить сколько стоит!

Юркая старушонка — в деревне звали ее «бабка-телеграф» — пронырнула под локтями у мужиков к столу протарантила дребезжащим говорком:

— Матушка, Аксенья Митревна, утроба ты моя, из-за тебя я и не сплю. Уж какой наш стариковский сон, а тут и вовсе никак, и глаз не завела! Да радость вам какая! Да как же, о-ох, господи-и! Нет, мол, сама, себе думаю, в могилу скоро, там отлежусь, отосплюсь, а теперь резво бегите, плохие мои ноженьки! Как не приспешать с Митревной, с Никанор Пахомычем, с родителями, со счастливыми, не порадоваться! За терпенье за ваше, за кроткую вашу молитву наградил вас бог-то как, а? Соколик-то, сынок любимый, Матвей Никанорыч, налетел. Налетел, милый, к родителям, налетел, утроба! О-ох!

Она громко упоенно всхлипнула, быстро вытерла концом фартука глаза, всплеснула ладошками, стиснула их в умилении.

— Пригож, ой, пригожий какой удался он у тебя, Митревна! Уж что тут скажешь? Ничего не скажешь,— и умен, и с лица приятен. И жинка-то поди под пару? Дамочка румяная, умница золотая. Жалованья вы сколько получаете?

Матвей и Дарья засмеялись, отозвались одновременно:

— Не женился еще, бабушка, в Москве свахи плохие.

— Поутру, бабка, сосчитаем с тобой его получку А сейчас на-кось выпей, проздравь с приездом.

Старуха, протягивая сухую цепкую руку за стаканчиком отрицательно качала головой:

— Куда уж мне выпивать! Воды глотну — и то качнусь. Силы-то у меня осталось, сколь у воробья, да и смолоду выпивать неохотлива была. Только уж для тебя, утроба, для тебя, Матвеюшка, с радости, с проздравленьем пригублю. Ты мне все одно как мой сынок Павлушенька, заместо его, утроба! Ну, здравствуйте! О-ох, как крепка, самодельная-то! Ба-тюшки! Дух не переведу с непривычки-то. У Пермяковых брали? У их, видно. Только у их удается эдакая жаркая.

Матвей засмеялся, сунул под столом брату Федору деньги. Федор подозвал Степку. Тот, крепко сжимая кулак, вихрем помчался по улице. Вернулся он скоро с четвертью самогона и с двумя бутылками водки под мышкой. С ним вместе вошел парень с косым пробором на голове, в спортсменской полосатой майке, в белых брезентовых туфлях — гармонист Митя. Дарья подозвала Митю к столу, предложила выпить. Он бережно снял с себя гармонию и передал Степке.

— Поберегите, молодой человек!

Стаканчик он взял, оттопырив мизинец, стукнул пяткой об пятку и поклонился, держа голову вбок.

— Приветствую вас, Матвей Никанорыч, от лица культурной части населения

Лихо осушил стаканчик одним глотком, перевернул его вверх дном и пояснил:

— Как вас уважаю, так и выпиваю.

Свежий воздух, входивший в раскрытые окна и дверь, густел мгновенно от махорки, от дыханья разогретых выпивкой людей, от запаха пропотевших мужицких рубах. Сумятица пьяной беседы становилась все шумней. Дед Парфен, похожий на сову желтыми круглыми глазами и мохнатыми бровями, тянулся через стол к Матвею.

— Ну, ладно, если я собирал, если я старался и у меня было, за это я — дерьмо? А пролетарий — ни кола, ни двора, на рубахе один ворот без заплат, он — человек? Да теперь же кто хлеб на базар повезет? О-он? Никогда-а! Раз у него нет — он чего повезет? А у него нет и не будет. Чужое, что в руки попало, дак и то промеж пальцев утекло. Чего он тебе привезет, а? Ты рассуди. Опять я повезу? А мне чего везти, а я где возьму везти? Да ты чего, милый, да ты рассуди,— я чего повезу?

Коротконалой жесткой рукой он стучал по столу, передергивал крепко сбитыми плечами, шумно вздыхал. Бабка-телеграф юлила сзади то справа, то слева около него, перебивала, зудила:

— А ты, Парфен, бога не гневи, у тебя есть чего везти, есть, знаем, знаем, не прибедняйся! На-айдешь, чего везти! Есть, есть, есть, есть, не гневи господа. Нака-а-жет!

Парфен озлился, быстро повернулся к бабке всем корпусом:

— Ты помолчи, ты промеж меня и господу не встревай, не тебе за бога встревать!

— Я и не встреваю! Я ему, милостивцу, не докучаю,—

чего даст, чего отымет, за все спасибо. А вам все мало, все боле просили, вот и раздражнили бога, надокучили. Он вам и поставил Советскую власть.

Парфен хлопнул себя по коленкам, вскрикнул с горячей обидой:

— Да Советы нешто богом установлены? Богом, што ли? Разе на комиссаров помазанье бывает?

Бабка отмахнулась обеими руками.

— Меня это не касаемо, какое им бывает помазанье. Я живу себе, живу, во всем ему, владыке, покорствую, не обижаюся. А вы его допекли до ярости. Немилостивый стал! Когда солнышко надо,— дождик хлещет, когда дождю,— сверху жаром пышет. Прошлый год хлебу зреть, земле прогреваться, а святых-то не знай чем опоили на небе. Ливмя лили! Не подноси, Матвей Никанорыч, не надо, не потребляю ведь я. Сокол ясный, утроба, только для тебя вышью! Только для тебя! Здравствуйте!

Парфен сердито отстранил бабку локтем от стола.

— Отойди, не мешай разговору! А я вот тебе скажу, Матвей, ты это как рассудишь: ежели человек бедный али партейный, дак он обязательно дельный, а?

Бабка снова сунулась через его плечо:

— У меня зять коммунист, дюже дельный, вот бы с тобой, утроба, он побеседовал всласть. Только из партии-то его выгнали, кооператив растратил. Ну к што ж, грех на всякого живет.

Гармонист приподнял брови и внушительно проговорил:

— Я бы вас попросил про коммунистов поаккуратней выражать. Возмущать население я не разрешаю.

Бабка подбоченилась.

— Ишь ты, поди ж ты, навострился как в машинистах-то на мельнице. Утроба, Митенька, и на гармони ты горазд, и высказываешь браз уж до чего хорошо. Матвей Никанорыч, слышь-ка, да ты вот к нему, к Митеньке-то, поближе. А мы что, мы народ серый: коли что не так, так не взыщи! Ну, как люблю, так и пью. Ух, утроба, Матвеюшка!

Никанор, тыкаясь подбородком то себе в грудь, то Матвею в плечо, тянул уныло, запинаясь в словах, будто беззвучно икая:

— Сынок, спа-а-сибо... Сынок, хто я стал? Нищий я стал, а ты при... прие-ехал, спа-асиба. А-абидно тебе, хто я стал... Ма-атвей, не гнушайся. Не-ету у меня ни коня, ни коровы. Сынок, курицы нет во дворе.

Он с усилием приподнял вверх лицо. На мокрой седой бороде налипли кусочки каши. Нижняя губа отвисла, обнажив выщербленные старостью желтые зубы, слюнявый немощный рот. Крупная прозрачная слеза застряла в морщине на щеке. Так он долго просидел с устремленными в потолок тоскующими глазами. Федор, хмуря брови, откашливаясь, перегибался к Матвею, отстранял рукой отца:

— Вы, папаша, погодите! Вы маленько перегодите, вы сейчас это не к делу. Я вам, Матвей, вот что скажу. Мы не против, вы этого в мыслях не держите! Папаше вы любезный сын, мне дорогой брат, но мы понимаем, на какое вышли положение вы, а где мы остались! Ну, я все одно, мы не против, мы на это согласны. Если что не так скажем, всякое лыко в строку вы нам не ставьте. Вот хозяйство мы желаем подправить...

У Матвея кружилась голова и от выпитого вина, и от душевного смятенья. Ему хотелось каждому из них в отдельности или всем разом сказать особенными проникновенными словами, как хорошо он каждого из них помнит и ценит, рассказать, как они ему близки с детства и как он счастлив от ощущенья любви к ним в себе. Но слов он не находил, голос пресекался. Настойчиво и бессвязно он твердил:

— Я разве не знаю?.. Я знаю. Вот и на родине опять. Я, знаете, давно собирался... Ну, разве я не понимаю? Я ведь вам не чужой. Тут мне ведь и деревья в лесу — все родня! Человек человеку часто бывает враг, а как это тяжело, друзья!

Гармонист громко крикнул Степке:

— Тубаретачку мне, молодой человек, раздобудьте. Граждане, прошу вас, освободите мне место в отдалении, постараюсь для гостя, поразвлеку вас сегодня. Потанцуйте, желающие!

Усевшись, он закинул лицо вверх, прищурил глаза, подумал, заиграл плясовую «Мельник». Бабка-телеграф, примаргивая то одним, то другим глазом, плавно двинулась, притопнула, закружилась, выводя тоненьким голоском:

Ветер дует спереду,
Мельник мелет в середу,
Цвяты мои, цвяты,
Цвяты алы, голубы.

Дарья бешено сорвалась с места, звонко подхватила:

Цветы мои, цветы,
Цветы алы, голубы.

Притопнув, она взвизгнула, махнула мужу рукой:

— Федор, уважь! И мы празднику дождались. Мы нынче гуляем. И-их, «сторонись, богачи»!

Обычно быстрые ее движенья в пляске были неистовы. Сотрясенье бедер и плеч вызывало представление о телесном разгуле. Федор плясал, сурово поджав губы, со строгим взглядом, но вприсядку прошелся с исключительной ловкостью и легкостью. Вслед за ними закружились, толкаясь, мешая друг другу, еще две бабы и маленький увертливый мужик.

Согнутая Митревна, тряся головой, затопталась в кругу. С хилым смешком она приговаривала:

— Бабы, бабы, доченька, сношенька, выпимши я! Ба быньки, с радости я... Фрося, Фрося, Дарьюшка, веселая я. Внучки мои, голубчики мои, поглядите на бабушку: я выпила.

Сивые космы выбились из-под черной старушечьей повязки, глаза выпучились, в них набухали кровавые жилки, старческое ее лицо нехорошо исказилось от пьяного смеха.

На кровати, суча ногами, трепеща ручонками, отчаянно плакал разбуженный шумом Петька, Митревна потянулась было к нему. Он закричал еще сильней, затрясся всем телом и посинел. Тощая нежнолицая баба осторожно взяла ребенка на руки, прижала его голову к своему плечу, пошептала, погладила. Он затих, но долго еще содрогался у нее на руках. Она тщетно звала к нему Дарью:

— Дарья, да ты что, ай стыду в тебе нет? Кинули свое дите в избе на пьяных, чисто безбатешного какого, а сами, на-ка, расплясались! Страмота! Тьфу!

Сердито расталкивая народ, она вышла с Петькой во двор.

Из-за хлевушка раздался режущий уши визг, оттуда выскочила Фроська, кинулась к бабе:

— Тетенька, тетенька Стеша, и я с тобой. Ой, господи, напугалась я как, ой, сердце вырвется! Тетенька! Перепились, сдурели, ой-о-й, беда! Я с тобой, ох, с тобой! По нужде по своей вышла, а он...

— Да что ты, что ты...

И тут же баба догадалась:

— Небось Василий-снохач? Вот кобель, прости господи, взъярился на старости! За этим, как выпьет, только и гляди, и дите испортит, греха не побоится. Налакаются, поглядишь,— дак и не пьяна — заблюешь. Ба-атюшки, ша-

леют от зелья, беду свою пьют, а все варят, все лакают! И кто его первый выдумал сготовлять, всё адовой муки мало для него. Ма-ало!

Она недавно схоронила мужа, убитого в пьяной драке. Задрожав от воспоминанья, она заплакала надрывно, с причитаньем ушла со двора и увела с собой Фроську.

В сенцах Степка корчился от натужной рвоты, взывал:

— Мама, мама-а... ой, помру сейчас. Ха-а-а! Ой, смерть моя!

В избе мужики зевласто и вразброд запели старую протяжную песню о том, «как горька полынь-травушка, а горчей ее служба царская». Вдруг вошел в хор, выделился, повел дальше песню верно и душевно высокий мужской голос. Пьяный многоголосый хор бессилен был опорочить его и затихал, покоряемый им. Один за другим отстали, смолкли хмельные мужики. Только один проникновенный голос продолжал петь. Молоденькая несчастливая женщина, тосковавшая бесслезно в ближнем огороде, упала в грядку лицом, взрыдала всласть, потом тихонько поднялась, подошла к плетню, чтоб лучше слышать. Под окном долженковской избы затихла возня и девичьи взвизги. Во дворе Дарья, прислушиваясь, отрезвела, вздивилась:

— Что же это хорошо-то как, аж мураши по спине! Да кто это? Никак, Матвей?

Она протолкалась к окошку сквозь притихшую толпу. Матвей стоял, прижавшись спиной к дверному косяку. Конец песни он вытянул долгим, хватающим за сердце, но чистым ненадсадным звуком. И сейчас же, чуть передохнув, завел иную, веселую.

Видно было Дарье его побледневшее, просветлевшее лицо, но она перестала видеть, всем вниманием ушла в слух. Вслед за словами, какие теперь радостно выпевал Матвей, она невольно распрямила спину, подобралась, взвеселела.

Расходясь по домам, мужики прощались с Матвеем проще и теплей, чем здоровались по приходе. Гармонист с искренним восторгом заявил:

— Отчаянно поет! Замечательно!

Низенький старичок с кудрями вокруг лысины хлопнул его ласково пониже спины, растроганным голосом проговорил:

— Ну и мастер ты, парень, песни играть! Ух и мастер! В нонешнее время никто, пожалуй, во всей округе тебя не переноет. Слабогрудый народ пошел, больше горлом надса-

живается. А я хорошо слышу, кто если обманывает, горлом если заместо нутряного выпеву. Смолоду я сам певун был хороший. Вот уважил ты меня нынче! Вот спасибо, как уважил!

Узкоплечий мужичок очень высоким голосом заявил:

— Не видал я еще себе певца под пару, а вот довелось. У нас в полку никто тоньше меня не вытягивал. Солдаты высоко хором ведут, а я взовью,— в ушах засвербит! Ротный командир, бывало, скажет: «Ах ты...» — ну, тут, известно взматерится, извиняйте, и скажет: «Да у вас с женой-то который за мужика спит, не она ли?» Вы не так тонко выводите, ну, хорошо!

Юная черноглазая баба задержалась в дверях, посмотрела долгим взглядом на Матвея. Горячий свет ее восхищенных глаз мерещился ему до полного рассвета.

III

Уезжая из города к родным в деревню, Матвей думал пробыть у них полтора месяца, весь свой летний досуг. По приезде первые три дня, когда Долженковы покупали муку, пшено, телегу, приторговывали лошадь, были напоены до краев радостью давать людям радость. А на четвертый уже затомило Матвея странное ощущенье: будто он откинут в дальнее прошлое и заперт в нем. Кругом память о недавнем и новшества настоящего. За ближним лесом сохранились еще обвисшие обрывки проволочных заграждений. При въезде в село торчат останки дворов, разрушенных в гражданскую войну. В бывшем волостном правлении — волисполком, на вывеске — новый герб: серп и молот. Речь не только молодежи, но и пожилых мужиков, даже упорно косных старух просекалась нерусскими, незнаемыми прежде словами. В церковном доме, где раньше жил священник, помещался клуб. По окончании полевых работ молодежь собиралась в нем. Зимой почти каждое воскресенье ставились спектакли. Митька-гармонист особенно хвалил постановки «Марат», «Теща в дом — все вверх дном» и оперетки, где под его, Митину, гармонь пели про козни Антанты. Церковь бóльшую часть праздников оставалась наглухо запертой. Нечасто наезжал для богослужений и выполнения треб священник из другого села. Наделяли его щедро. Но когда он выразил желание обосноваться здесь на постоянном служении, жи-

ели назначили ему малую, как нищему подачка, плату Парфен Булыгин, большой ревнитель благолепия церковных обрядов, вразумительно объяснил:

— Батюшка, когда редко ты приезжаешь, ты нам гость, а гостя надо и в будни по-праздничному угостить. А коли поселишься здесь, станешь, как свойственник, часто захаживать. Тут уж не гневайся, получай только то, что сами не доели,— где же на кажноденное твое гощенье напасешься. Накладу на нас и без тебя много. Да и, чего скажешь, поотвык народ от обедни и кажное-то воскресенье. Ты, батюшка, не гляди, не уповай, милый, что в твои-те наезды церква битком. Это по редкости в охотку, и охальники наши приходят наряженных девок глядеть. А насчет бога народ нерачительный, неуважительный стал. Уж чего боле говорить: у меня в горнице кивот дедовский с иконами, а, коло его сидючи, мои же сыновья табак курят. Нет, и не торгуйся, все одно больше не заплотим.

Парфен об этом разговоре сам рассказал Матвею.

Были в Александровке три семьи, в которых росли некрещеные дети. Минувшей осенью отпировали пять свадеб без венчанья, лишь по записи. Пожилой александровский народ без задору, лениво попенял молодоженам.

Митревна, сообщая сыну о невенчанных и о младенцах некрещеных, устало добавила:

— Им совесть дозволяет, а нам што? Кажный сам себе советчик. На то, видно, мир повернулся, кажный по своему обычаю живет.

В километре от деревни лагерем стояли пионеры из детских домов ближнего уездного города. По вызову они являлись на работу к александровским мужикам. Сторожили коней в ночном, таскали воду на поливку огородов. Девочки в избах у занедуживших хозяек убирали, стирали, доили коров.

Но все это новое было наверху, как на озере круги от удара камнем. Нутряная жизнь во дворах, в избах, в поле, в семье хранила свой прежний многовековый уклад.

Однажды в полдень Матвей, разваленный бездействием и жарой, спал в сенях. Отчаянные крики разбудили его. На соседнем дворе женщина кричала, хрипела, замолкала, сомлев, снова взвизгивала режущим уши и сердце взвизгом. Матвей кинулся на помощь. Вернулся он с большим синяком под левым глазом В своем дворе его встретил старик. С тихой укоризной, покачивая головой сказал сыну

— Неладно ты сделал. Промеж мужа и жены чужому нечего соваться, какое тебе дело! Теперь у нас и дружба врозь, обижаться на нас соседи будут.

И Митревна, охая, вздыхая, похлопывая себя по бокам, дивилась:

— Сынок, и на кой тебе надо в чужое дело путаться? Хошь они и невенчанные, а все одно муж да жена, стало — одна сатана. Он поучит, он и пожалеет. Теперь Верка-то поди пуще прежнего плачет. Побил бы, да и отошел, а за твою заступу ей выместит, долго злобиться будет. Под глазом-то примочи водицей, а то... погоди-ка...

Матвей крикнул ей с сердцем:

— Человека убивают, а вы рядом сидите, э-эх!

Митревна спокойно ответила:

— Чать, не дурак, до смерти не убьет,— за смерть, известно, хочешь не хочешь, а отвечай. Да кабы убил, ты сунулся,— и тебя замотают в суд да в дело. А если мы слыхом не слыхали, видом не видали, какое наше дело? Да нас дома не было — и все. Кабы в праздник,— от нечего делать не стерпели, побежали бы поглядеть, а нынче и глядеть некому.

Матвей, тяжело дыша, присел на завалинку, взял в рот папиросу, но не сразу смог зажечь спичку. Пальцы у него дрожали. Мать присела рядом с ним. Он неприязненно скосил на нее глаза. Митревна продолжала сетовать. Голос ее уныло и равномерно поскрипывал:

— Да сказался бы мне, куда побежал, я бы тебя не пустила. Уж как ни то уговорила бы, не пустила. Верка-то теперь мне выговорит. Скажет: «Мало ль бы што кричала я! Больно было, вот и кричала, а чужих мужиков моего страмить не звала». И чего ей страмить его: хорошо как живут, согласно живут! Намедни в городу ей на платью набрал. А взял он ее только что не телешом, безо всякого приданого. Да недоглядчивая она, нехозяйственная,— поди за какой недогляд и поучил муж. Он в город-то не курей ли возил на базар?

Матвей сердито пробурчал:

— Откуда я знаю, курей или свиней? Дайте мне, мама, посидеть, успокоиться. Идите, ведь вы отдыхали, ну, идите отдыхайте.

Митриевна проговорила раздумчиво:

— Нету свиней у них. Не иначе, как курей, боле ничего. Нехозяйственная она, Верка-то. Ну, и поучил, ну, и другой раз лучше доглядит, ему же спасибо скажет.

Отец твой вон какой смиренный, ни-ни не дрался, а однова заставил его свекор... Ты куда, куда опять пошел-то? С подбитым глазом куда пойдешь? Теперь тебе и на улку-то выходить три дня нельзя — засмеют.

Матвей смотрел через плетень на залитую солнцем улицу. На завалинке напротив пристроились две бабы. Одна положила голову на колени другой, и та большим гребнем для расчесывания шерсти искала в ее жидких длинных серых волосах.

С обеих сторон улицы, в ослепительном свете, темнея закутками своих дворов, стояли тихие, точно необитаемые избы. Было слышно только, как чесалась, сотрясая ближний плетень, свинья и где-то поодаль поскрипывал невидимый журавль колодца. У соседей тоже все затихло. Может быть, Верка и ее муж оба уснули, отдыхая; она — от побоев, он — от битья. У Матвея саднило щеку, ныло зашибленное Веркиным мужем плечо, но тупая, тоскливая вялость, сковавшая тело и мысли, была не от боли, от этой солнечной неизбывной тишины.

Митревна пробормотала еще какое-то невнятное назиданье. Матвей ее не слушал, не разобрал. Она глубоко вздохнула, пошла в избу. Там, кряхтя и охая, достала из-под кровати овечью шерсть, села на полу, вытянув ноги, и стала шерсть разбирать. Увидев, что сын смотрит со двора в окно, сказала:

— Распраздновалась я. Курушатиха на той еще неделе шерсть принесла, наказывала поскорей отобрать, а я на радости-то заленилась. А ты чего томишься, сынок? Шел бы в сенцы, лег бы, отдохнул.

Матвей угрюмо отозвался:

— Ничего я не делал, не устал, не от чего отдыхать.

— А чего тебе делать? Отдыхать приехал — отдыхай. Вон Дарьины книжки на божнице, возьми книжку, почитай.

Матвей невесело усмехнулся.

— Мама, я уже тебе говорил: на другой день приезда я их прочитал. Что же, я двадцать раз одни и те же книжки буду читать? У Дарьи их всего-то пять штук.

Старуха приподняла на него недоуменные глаза.

— Нешто мало? А где же их боле-то напасешься? Я и то на Дарью поругалась. Три книжки, сказывает, подарили ей, а за две деньги заплатила. Много ли денег-то у их, а Федор на табак прокуривает, она за книжки отдает. Ни от табаку, ни от книжек сыт не будешь,— того не

думает, лучше бы платок лишний голову покрыть купила. Подарили три книжки, ну и читала бы их.

Матвей вздохнул, зевнул, расправил плечи, прошелся по двору. Никанор у сарайчика неверной старческой рукой обтесывал какие-то колышки... В их бедном дворе нечего было делать. Федор, и Дарья, и Степка, и Фроська — все работали на людей. Он оставался один со стариками. Третьего дня и вчера он уходил на целый день за деревню, в лес. Там лежал на траве, в сладостном фимиаме цветущей зелени, потом долго старательно пел голосовые упражнения, арии и песни. Сегодня ни гулять, ни петь ему было невмочь. И последующие сами по себе длинные летние дни тянулись для него непомерно долго. Даже погода ни дождем, ни ветром не нарушала их тождества. Стояла ровная жара. Митревна никак не давала сыну ни валежнику в лесу для варева собрать, ни воды наносить. Она начинала неистово махать руками, назойливо причитать:

— Да ты не трожь, не трудися! Да ты отдохни, поди отдохни, сынок!

В ее представлении данные им семье деньги, подарки, привезенные из Москвы, были окуплены большим физическим напряженьем, надрывным телесным трудом. Както попробовал он ей объяснить:

— Мама, мне полезно заняться вашей работой. Это мой отдых.

Митревна всплеснула руками.

— Матвеюшка, поднял ты нас! Сколько дал,— Федор с Дарьей в пять лет того не добудут,— да тебе не поспать, не отлежаться? И не говори и не обижай родителей. Сделаем, все сделаем, иди отдыхай. А может, поесть хочешь? Я для тебя башку сварила. Левонтий косоглазый пиванерам говядину доставляет, я у его башку откупила. Сла-адкая! Поешь.

Вся семья ела кашу или щи с забелкой, без мяса, ему же отдельно каждый день готовилось мясное, иногда блины, пышки, пирог с луком и с яйцами. Умывались без мыла, вытирались чистой, но жесткой холщовой тряпкой. Полотенце и душистое мыло Матвея оставались неприкосновенными. Одеяло и подушка у него были свои, мать раздобыла где-то старенькую перину ему на подстилку. Старики спали на кошомке, с одной общей засаленной подушкой, укрываясь стародавним вытертым тулупом, Степка — зиму и лето на печке, не покрываясь, с полушубком

в головах. Фроська — на голой скамейке, ветхую ватную кофтенку — единственную свою верхнюю одежду — под голову, укрывалась половиком. Матвей купил им в городе два ватных одеяла, полотенца, мыло и две подушки. В сенцах стоял Дарьин, доныне пустой, деревянный сундук. Старуха все заперла в него. Мыло давала по праздникам одной Фроське, веруя, что от него «румянцы играют». Фроська в невестин возраст входила, и надо было ей румянцы наживать, чтоб скорей засватали. На полотенца Митревна и поглядеть не дала. По-прежнему вытиралась вся семья общей тряпкой. Матвей уговаривал мать, спорил с ней,— старуха не сдалась.

— Хочешь — назад отбери, твое. Трепать не дам. Чуть разжились добром, да и не поберечь его? Им же сгодится, Фроське замуж выходить. Кажный день с мылом размываться,— не господа мы, не привычные к эдакому роскошеству.

— И зимой одеяла не дадите?

— И зимой не дам. Спали, поспят и еще, вырастут,— им же запас. О, еще сгодится потом, как сгодится-то, мать добром помянут.

— Ну, запас, а теперь-то как же?

— А чего теперь, чего еще надо? Бога за тебя надо молить, в сундуке добро завелось, чего теперь? Людями стали. Сундук запертый держим.

Из привезенного из Москвы Матвеем ситца сшили сменные платья и рубахи, но надевали их только в праздник. «На люди выйти не хуже других». В будни дома ходили по-прежнему в старенькой, заношенной одежде. Пока еще держалась она на плечах.

Когда Матвей покупал мясо для всей семьи, старуха никогда не давала его съесть сразу. Она варила его столько, чтобы поесть вприкусу с хлебом, как сахар с чаем. Остальное опускала в ведре в колодец, чтобы подольше сохранить без погреба летом. Поэтому свежим его только отведывали, а на другой и на третий день ели слегка протухшее. Никанор, Федор, даже Фроська соглашались с матерью, что иначе нельзя.

— Седни нахмякаться досыту, а на завтре кусочка не сберечь,— как же это можно!

Ворчала Дарья:

— Сберегатели! Свежего кусочка не попробуют, чистыми, умытыми и не походят.

Да Степка иногда канючил:

— Братка уедет — щи с говядиной все одно не станешь варить. Хоть бы при нем досыту накормила. Говорила Митревна.

— Кажный теперь за себя ответчик, кажный по свое му закону живет...

Но терпимость ее была от сознания беспомощности утвердить один закон. Для нее самой и для всей семьи, кроме Дарьи, такой закон был: «Что люди скажут». Люди — это те, кто живет в преданности понятиям, воспринятым еще от прадедов.

Забежала к Долженковым комсомолка Зина, вожатый отряда. Ей, по-мальчишески стриженной, худенькой, в коротких штанах, на вид можно было дать не больше четырнадцати лет. Но разговаривала она очень наставительно, на низких нотах. Зина звала Фросю и Степку на беседу у костра. Матвею строго выговорила:

— А почему же вы, товарищ, не приходите к нашему костру? Конечно, может быть, вы беспартийный, но, во всяком случае, культурный человек из центра должен поинтересоваться нашей работой. Вот вам заданье: приведите брата и сестру.

Но, разговорившись с Матвеем, она забыла свой слу жебный тон. Голос у нее стал звонким, неровным, и смеялась она много и охотно. Митревна присела поодаль, смотрела в сторону, упорно молчала. Старик вошел в избу, смущенно покашлял, пригладил волосы на голове, ушел обратно во двор. Фроська жадно, во все глаза, осматривала Зину с головы до ног, временами искоса, с опаской поглядывала на Митревну, вторила Зине в смехе тихонько, прикрыв рот рукой. В длинной юбке, в кофте с торчащими на плечах сборками рукавов, казалась она много тяжелей и старше Зины. Посмеявшись, каждый раз спохватывалась, лицемерно кротко подтягивала губы, и бабьим, старообразным делалось ее свежее лицо.

Зина спросила:

— Где же вы работаете, товарищ? В каком учреждении?

Матвей ясно улыбнулся.

— Работаю голосом. Пою. В опере пою.

— В о-опере? В Москве? Ах, как это интересно. Мне девушки говорили, что у вас чудный голос, но я не думала, чтобы даже в опере. Вон вы какой! Артист, значит?

Совсем детским, робким голоском добавила:

— Я сроду не слыхала оперы. У нас одна пионерка

была в Москве, она рассказывала. Говорит: чудно! Она, может, вас слыхала. Про оперных артистов даже в «Известиях ВЦИК» пишут. Про вас тоже писали?

Матвей весело тряхнул головой, засмеялся:

— Ох, писали, много писали!

Зина по-ребячьи задрыгала голыми ногами, захлопала в ладоши.

— Замечательно как! Дорогой товарищ, спойте! Ну, хоть немножечко! Ну, хоть две строчки! Вы знаете «Шахту номер три»?

Матвей с неловкостью оглядел избу, пожал плечами.

— Да я сейчас как-то не могу.

Митревна тревожно приподнялась, озабоченно темной, сухой рукой стерла со стола невидимую пыль и неуверенно проворчала:

— Каки же песни в буден день? Люди вздивуются, с чего у Долженковых песня. Ай, мол, все еще не отгуляли? Да ты в каператив даве охотился сходить, чать, уж открыли его.

Зина вскочила.

— Ой, и мне пора. Очень интересно, я и засиделась. Миленький, дорогой товарищ, нам вы споете?

Матвей встал и, крепко пожимая тоненькие Зинины пальцы, пообещал:

— Непременно. Я приду к костру. И «Шахту» спою, хотя это и не для моего голоса. Вместе хором споем.

— О-обязательно, мы будем ждать. Вот чудно! Ну, до свиданья! Так Фросю и Степу с собой — обязательно.

Со двора она заглянула в окно, помахала рукой.

— Так мы жде-е-ем. Обязательно! Товарищ дорогой приходи-и...

Зина бегом побежала по улице, Матвей, улыбаясь, смотрел в окно ей вслед. Фрося сияющими глазами следила за братом. Митревна сердито дернула ее за юбку.

— Ты это што же, девка, цельный день и будешь у окошка стоять? Ты што, не слыхала, тебя Настасья кликала дите понянчить, а?

Фроська дернула плечом.

— Дак Зина же приходила.

Митревна, согнувшись над столом, угрюмо проворчала:

— Зина, Зина приходила, праздник какой!

С натугой приподняв голову повыше плеч, она вдруг дребезжащим голосом крикнула:

— Ты у меня, Фроська, мотри, я молчу, молчу, да примусь за вас! Тебе Зйна какая кампания? Ты с нее моду не бери, я еще не померла. Помру, тогда, может, эдак же в штанах по улке побегешь, абы стыд прикрымши. Почитай, все ляжки наружу, тьфу, прости меня, господи-батюшка, грешницу! Молчишь, молчишь, а не стерпишь, перевернет нутро: телешом девки ходют! Это уж куды же, распутство какое пошло. Я бабой была, по ягоды через реку ходила вброд. Никанор когда на берегу один стоит,— муж ведь мне,— я не заголялась. Так во всех юбках, по пояс намокну, иду, а тут, гляди...

Матвей засмеялся, ласково прихлопнул ладонью ее темную, жилистую руку.

— Мама, да ведь притворство это! В баню всегда вместе с отцом ходите...

У Митревны голова затряслась. Она выдернула руку, с сердцем ответила:

— Об эдаких делах, сынок, с матерью не говорят. В баню полагается мужу с женой ходить, все люди ходют, а при Фроське ты эдакого разговору не заводи. Пока жива, не дам ей с голыми ляжками бегать. И нет моего согласия на ихние костры ходить, не пущу. Вон Сонька Зверева бегала к костру, дак пымала ее тетка — папиросу она курила.

Фроська, захлебываясь, поспешно перебила:

— Сонька заучилась у костра тебе, что ли? Она с Митькой гуляла, он ее попросил: «Коли я тебе симпатия, на-ка покури!» А ей Зина же, не кто другой, Зина не велела курить.

Митревна постучала рукой по столу.

— Не перекоряй матери, не смей мне перекорять! Я Зине не указчица, не в таком житье мы ноне, чтобы нам другим указывать. В своей-то семье живем зубы сожмя, своему-то, вот из себя рожденному, и то не говоришь, все молчишь, но уж только тебе страмоты этой не дозволю. Иди сымай кофту, беги ребенка нянчить, а то я хилая-хилая, а за космы тебя оттреплю.

Фроська, шмыгнув носом, всхлипнув, нехотя, задевая ногой за ногу, ушла.

Матвей зевнул, встал, расправил плечи так, что кости хрустнули, и зашагал по избе.

Ворота скрипнули. Старуха насторожилась.

— Кто это там?

Вошел Федор. Мать удивленно спросила:

— Ты чего? Ай забыл што, с поля воротился, ай вовсе не ездил?

Вытирая пот со лба, отдуваясь, Федор тяжело опустился на скамейку.

— Не ездил. В Совет зовут. Панька забегала утресь, говорит: «Если сегодня не придешь, придется в город ехать, обязательно заставят». Анкету заполнить насчет бедняцкого хозяйства. Давно звали, да я все не собрался, некогда, да и замучили, собаки, расспросами. И об чем расспрашивать,— все знают, какая у нас именья. А Панька еще пугает, говорит: тебя в другую графу перепишем, у вас корова завелась, и лошадь, слыхать, покупаете.

Митревна испугалась, голова у ней затряслась.

— В какую еще графу? Да што же это, господи, милостивец, до чего люди ненавистники! Это бабка-телеграф в Совет бегала, насудачила, не иначе — она. И в какую еще графу, и ничем-ничего не разберу, батюшки!

На ее причитанье, обеспокоенный, вошел Никанор. Узнав, в чем дело, он тяжело опустился на лавку, поник головой.

Матвей рассердился:

— Что вы за люди? Все под страхом, всего боитесь! Что ужасного в том, чтобы анкету заполнить? Ведь скрывать-то вам нечего, у вас ничего не берут и не возьмут, вам же, вероятно, помогут на поднятие хозяйства. Вами, бедняками, других пугают, а вы боитесь.

Никанор встал, торжественно и горестно произнес:

— Сынок, ты в городах проживаешь. Там у вас не знаю как, но не поверю, чтоб и там у бедняка жизнь была веселая. Стращать-то нами и тут стращают, вон за Федора старика Терехина взгрели, что недоплатил батраку, а опосля мы с им, с Федором-то, оба в ноги ему кланялись. Острастка-то, она нам же по шеям, как опять в батраки наниматься надо. По завидке аль по злобе люди наплетут, а там поди выкручивайся, пока разберут, что нет у нас ничего и ничем не разбогатели мы.

— Да чему у вас завидовать? За что на вас злобствовать?

Федор, окинув брата сумрачным взглядом, ответил:

— Люди найдут. Тебе тоже в Совет велят прийти. Со мной вместе, я за тобой и пришел. Матвей, ты на какой должности там? Панька допытывалась, а я чего скажу? Я не знаю.

— Я — певец. Пою в опере.

Он засмеялся, подыскивая слова, какими можно объяснить им понятие «опера».

— Театр такой есть...

Федор и Никанор посмотрели друг на друга, потом оба недоуменно — на Матвея. Митревна вытянула шею, чтоб лучше слышать.

— Какая, сынок, должность? Чего говоришь?

И Никанор переспросил:

— Чего?

— Ну, как вам объяснить? Театр, слышали? Вот где бывают спектакли, представленья. Вот как у вас в клубе. Только там почти не разговаривают, все поют. У вас тут оперетку ставили. Митька на гармони играл и пел, так же...

Никанор облокотился на стол.

— Постой! Дак Митька же машинистом на паровой мельнице, там он на должности, а пел он... У нас тут много парней моду взяли, представляют тиятр, ну, и поют тоже. Дак эта же кака должность? За это жалованье не плотют. Ты про должность скажи, где жалованье получаешь?

Матвей засмеялся.

— Да там и получаю, в театре, в опере. За то, что пою. Я знал, что будет трудно вам объяснить, потому сам и не начинал.

Никанор провел рукой по лицу, почесал затылок, головой покачал.

Митревна в раздумье медленно выговорила:

— Не возьму я в толк все-таки. Поёшь... Мало хто поет? Отец твой, как пьяный напьется, тоже поет. Вон и Федор всегда во хмелю с песней, хуть невеселой, а поет. Никто им за это денег не платил и не заплотит. Аль уж из ума я выжила, аль не то слышится, что говорят? А?

Отозвался Федор:

— Ты, мам, этого, конечно, не слыхала. И папаша тоже, конечно, в крестьянской жизни. А я, как служивший солдат, и во многих городах, подтверждаю, действительно есть. У нас в лазарет певицы эти самые приезжали, пели. Ну, и нанятые мужчины тоже. Артисты они называются.

Матвей весело вскрикнул:

— Ну, вот, вот! Я — артист, актер. Я — певец!

Федор шумно втянул ноздрями воздух, отозвался задумчиво и медленно, как бы сам с собой рассуждая:

— Оно, конечно, оно так, есть такие люди... Ну, только занятья эта плохая. Какая эта занятья, петь там али плясать? Плотют, конечно, и одеты они по-господски. Ну, мы так думали, из тех они господ, что на брюхе шелк, а в брюхе — щелк, одно слово — артисты. Сколь им там заплотют? Это не работа.

Матвей покачал головой, посмотрел Федору в глаза, душевно сказал:

— Это, Федор, работа, очень трудная работа. Искусство это, брат, называется. Вот ты возьми хоть поприще: портной. Чтоб он стал портным искусным...

Федор, стукнув ладонью по столу, страстно перебил его:

— Дак то же портной! Это нужное: в одежде ходим, одежда нужна. А тебе кто плотит? За песни сколько захочет кто заплатить? Если есть шальная деньга в кармане, дак можно, конечно... Портной! Ты скажи еще — мельник...

Никанор печально и робко вступил в разговор:

— Сынок, Матвей, а чего же, в науке-то, значит, ты не дошел, коли этим, как его, а-артистом заделался?

Митревна затрясла головой, запричитала:

— Ой, сыночек ты мой, бессчастный, да где же ты денег добыл? Шутка сказать, нам сколько помог...

Матвею трудно было выговорить, вдруг совестно сделалось сказать,— потому что в сравнении с их жизнью ему самому легким показался его большой труд,— сколько он зарабатывает. И, главное, живет все с недостачей, а как объяснить — почему? Освободила его от объясненья бабка-телеграф. Она всунулась в окно со двора. Митревна горько подумала: «С задов, змея, подкралась».

Бабка-телеграф бойко затараторила:

— Давно у окошка стою, поздоровкаться никак не допущаете. Тыры-тыры, тары-бары, об чем беседа? Матвейка правильно обсказал: трудное дело. У их, у артистов, и косточки все поломаны,— я в цирке видала: зять в городу спьяну меня возил, дак видала, как изгинаются. Отколь деньги, зачем деньги — есть деньги, и слава те господи! Может, он, Матвей, для отводу артист, а сам в чеке служит. Мне зять обсказывал...

Неожиданно рассвирепел Никанор:

— Брысь, проклятая! Шныряешь кошкой под чужими окнами. Какое твое дело в нашу семейную беседу встревать!

Бабку, как водой, смыло с завалины. Издали она прокричала:

— И в чеку не возьмут его, дурака такого! Может, каператив у дураков тоже растратил где-нибудь, сюды скрываться приехал. Не скроешься, а-артист!

Митревна уронила руки на колени, заплакала:

— Прямо с первого дню твоего приезда, Матвей, под нас подбирается она, ведьма ласкучая! Сколько раз ловила я ее на задах, во дворе, в хле-еву у нас. Теперь дождалась празднику, растрезвонит наше горе по всему селу. То «Матвей Никанорыч, утроба», а сейчас — «Матвей». Я сразу сдогадалась. Навредит по всей Александровке! Расскажет: «артист». Даве Зинке рассказывал... Ну, я никак не сдогадалась. А мы-то думали... А-артист, как же это?

IV

Митревна хотела пойти в избу. Матвей неожиданно открыл дверь изнутри, чуть ее не зашиб. Они столкнулись лицом к лицу. Голова старухи сильно затряслась, неразгибавшаяся спина еще пригнулась. Ее ранняя дряхлость, весь жалкий вид вызывали у него острую тоску, ощутимую, как физическая боль в сердце.

— Мама!

Обняв согнутую спину, прижался губами к виску, втянул, почти внес ее в избу.

Мать заплакала, вскрикнула:

— Матюшенька, милый сын!..

Непривычная сыновняя ласка ее потрясла. Матвей усадил мать на скамью, сел рядом с ней, погладил ее костистую шершавую руку. Она долго не могла успокоиться, дрожала, смотрела на сына сквозь слезы, шептала слова, какие говорила когда-то над ним над дитятей; ей и сейчас представлялся он беззащитным без ее охраны.

— Птенчик мой, кровинушка, дитятко ты мое...

Хотелось прижать обеими руками к своей груди, закрыть собой от толчков, обид, от небреженья людского. Матвей учуял ее мысли, сказал с ласковым укором:

— Мама, что я — болен? Умираю? Беда, что ли, какая стряслась надо мной и над вами?..

Старуха торопливо, горячо перебила его:

— Я к телеграфихе сейчас ходила, будто яиц купить... И купила, сынок, чтобы ей доход, не гневайся, десяток цельный купила... О-ох! И сказала, что служишь ты на должности на хорошей, а выговорить, мол, на какой — не могу; они нынче мудрены, эти слова...

Матвей невольно рассмеялся.

— Да чем плохая у меня должность? Как вам растолковать?

Старуха еще поспешней, давясь словами, досказала.

— А нащет, что только песни поет, смеялся это он с нами. А мы-то, мол, не сразу по своей темноте раскумекали, что в смех, что дело. Говорю это я, а сама смеюсь, сама усмеиваюсь. Весело так высказываю, сердце-то у меня дрожит...

Матвей покачал головой, тяжело вздохнул, поднялся со скамьи.

— Ну, хорошо. Главное — успокойтесь сами. Говори всем, что хочешь, только не надрывай мне сердца... Мать моя милая, гордиться ты мной должна.

— Да я и не корю тебя, сынок! Оно ведь как, разве я не знаю, который и поплоше, да в науке дойдет, а который из бедности, хоть хорош, ему — закавыка. Я-то понимаю, а чужие люди неуверчивы: сам, мол, виноват...

— Я, мама, пойду прогуляюсь, голова у меня болит. Верно, перед дождем: очень душно сегодня. А вы... успокойтесь вы, смотреть на вас тошно. Да вот еще что: посчитайте с отцом, сколько денег, ну, что вам еще купить. Самое необходимое, а потом, месяца через полтора пришлю еще... Буду высылать.

Старуха упавшим голосом спросила:

— Уезжать скоро хочешь? Говорил, поживешь у нас...

— Нет, надо ехать. Денька через два, через три.

Митревна сникла к столу, проговорила чуть слышно:

— Боле не повидаю тебя, не дожить... О-ох!

— Ну, мама, опять заплакала! Не надо. Как это не дожить? Повидаемся еще не раз и не два. Да я не завтра еду. Дня четыре, пять, ну, неделю еще пробуду.

— Да я што? Я — ничего. С нами тебе какая веселья, о-ох!

Матвей вышел во двор. Мать окликнула из окна:

— Матвей, что я скажу. Подь-ка поближе!

Робко, искательно она зашептала:

— Уважь на старости отца с матерью! И телеграфихе скажи, всем, кто спросит, скажи...

Матвей махнул рукой, быстро пошел задами к лесу. Им снова овладело смешанное чувство большой досады и жалости. Какая нелепость! Какая смехотворная и горькая нелепость! Были убедительны его слова, потому что шли от горячего желанья прошибить вдруг вставшую между ним и родной семьей отчужденность. Но все, что он говорил, разбивалось в прах, в ничто о незримую преграду розного уровня человеческого миропонимания. Именно розного, а не только разного. Не слишком высоко над ними его ступень. Он — человек средней умственной одаренности, с малыми, отрывочными сведениями от истоков знанья. Но он приобщен к той жизни, где даже голодный нуждается не только в хлебе. Здесь весь мир стиснут в одном утробном урчанье. И не только для его обнищавшей родни. Немощная старуха ходит защищать, обелять его по дворам. Отец почти целые дни проводит в лесу, чтобы не встречаться с односельчанами, не вступать в объяснения с ними. Фроська проплакала весь прошлый вечер: «Братом дражнют, прохода не дают». Степка выходит из избы со взглядом затравленного волчонка, готового к грызне. Федор третий день не заходит к своим. Даже Дарья сумрачно попеняла Матвею:

— Зачем было обсказывать, как и что? Служу, мол, и все,— какое в деревне понятье? Непривычно нам, чтобы певунам экие деньги давались. Шутка ли, двор ты поднял, помог.

Утром заходил к Долженковым старик Парфен. Поздоровался с косой усмешкой. Уселся на лавку, широко расставив ноги, наклонив голову, строго оглядывая круглыми желтыми глазами избу. Он долго не начинал разговора, пыхтел и гмыкал. Матвей слышал, как Фроська шептала матери, возившейся у печи:

— Чисто бугай пыряться пришел.

У Никанора вспотела голова, он покашливал, заговаривал с гостем льстивым, неверным голосом. Вдруг Парфен с размаху хлопнул себя по коленкам.

— Дела-а! Ну, дела-а!

Никанор смолк на полуслове. Парфен уставился на него в упор.

— Дела, говорю, отец! Хороши дела. А? Как рас-

судишь? Чего боле рассудишь, я рассудил! Рассудил, говорю, отец! Еще мало с нас, дураков, продналогу берут. Мало, мало, прямо говорю, мало! Обсказали мне теперь говоруны-те наши, которы на съезды ездиют. Им в Москве песни шибко хорошо пели, послухали и они. А еще, говорят, Иродиада советская здорово выплясывала. Почитай, нагая, одно слово — Иродиада. И ей тоже ладно плотют. Ну, сказывают, и не жалко заплатить. Уж так плясала, сказал бы как, да не ругаюсь в избе, иконы здесь висят. Ну, как же не мало с нас берут, а?

Матвей сдвинул брови. Глаза у него засветились сердитым блеском, но спросил он спокойным голосом, садясь рядом с Парфеном.

— Дедушка Парфен, ты к нам в гости зашел? Хочешь разговаривать как следует? Я тебе объясню.

Парфен вскочил, будто его кипятком ошпарили.

— Хватает с нас объяснильщиков, хватает без тебя, парень! А ты пой, распевай! Мы, мы трудом, мы в поте лица, а тебе жалованье идет за песню. По-ой!

Матвей стукнул ладонью по столу.

— Я знаю, что мне делать! Буду петь, я — певец! Ты не понимаешь, старик!..

Парфен предостерегающе поднял руку.

— Не шуми, не застращаешь! Столь стращали,— страх весь из себя я уж вывонял.

Твердым неспешным шагом пошел к выходу, от двери повернулся, сказал с большим презреньем:

— Выхваль ты, вот ты кто! Есть такой зверь, выхваль. За шерстку, за покрышку ценится, верхушкой выхваляется, за то и зовут выхваль. И, так тебя, его только городские мотальщики покупают. Привелось мне однова этого выхваля у купца видать. Дак тот его за собственные деньги купил, а на тебя казенное жалованье тратют. Ну...

Он не договорил, вышел, хлопнув дверью. Во дворе еще прокричал:

— Выхваль и есть! Как приехал, выхвалился капиталом, одежей... А с кого на тебя капитал-то содрали?..

Матвей припомнил весь обидный, бестолковый этот разговор и сморщился. Но когда он вошел в лес, лицо его прояснело, он вздохнул всей грудью и лег на землю. Сквозь узорные просветы зеленой листвы солнечные блики падали на траву, от малейшего колыханья веток играли на ней веселыми зайчиками. Под стволами ста-

рых раскидистых дерев, в сумраке густоты ветвей, тень лежала на зелени темным отливом. Открытая поляна в тихом зное была вся золотая, упоенная щедростью солнца.

Стрекотанье насекомых, переливное журчанье скрытого в ложбине ручья, шуршанье крыльев птиц при взлете, их щебет, шорох листьев наполняли лес слитным шумом. Музыка лесных жизней, игра света и теней, смешанный запах вызревающих ягод и прели от прошлогодних листьев — эта литургия звуков, красок, ароматов всегда отрадна была для Матвея.

Он долго пробыл в лесу. Меж деревьев совсем стало темно, но над селом еще светил догорающий закат. Матвей устал, проголодался, но домой идти не мог. Митька-гармонист ввел его в семейство Советсковых. Это была уличная их фамилия. Митревна объясняла:

— Носовы они, по рожденью Носовы, А это их прозвали за то — при белых в тюрьме старик с девкой сидели. А теперь, как что не по их, сейчас: «Не по-советскому, дескать, понимаете», али: «Мы — советские граждане»,— ну, их и зовут Советсковы. У них одна девка в городу в прислугах живет — комсомолка, ну, все-таки ничего не скажешь — дельная, а Надька, котора здесь, так с возрасту ветер-дура. Три мужика у ей перебывало, а помер только один: живых меняет.

Старик Советсков земледелием не занимался. Он лудил самовары, чинил сельскохозяйственные и швейные машины, сепараторы, вставлял стекла, малярничал, знал много ремесел и без заработка не сидел. Дородная, очень моложавая его жена пела когда-то на клиросе, считалась первой в Александровке красавицей; теперь она слыла неразумной, нерачительной бабой, краснобайкой и пьяницей. Муж и посейчас называл ее Липочкой, она его — Васенькой. В избе у них всегда было хламно, но приветно. По вечерам в нерабочую пору толкалась молодежь. Матвей к ним заходил с Митькой раза три. Ему там дышалось легко, и он прошел по лесу прямо к Советсковым. Надя, женщина лет двадцати пяти, бледная, с темными кольцами вокруг серых глаз, но очень милолицая, встретила его во дворе.

— Здравствуйте, Матвей Никанорович! Вот домовничаю, скучно одной в избе, я и разгуливаю по двору.

— Чего же по двору? Я вот в лесу гулял, хорошо,— сказал Матвей, пожимая небольшую Надину руку.

Надя несла на себе почти всю домашнюю работу мать не много делала. Вечерами, убравшись, Надя надевало чистое, по-городски недлинное, неширокое платье, туфли с каблуками, пудрилась и завивала мелкие кудряшки на висках. Во все свои посещенья Матвей видел ее чистенькой, улыбчивой, и она ему нравилась. Но сейчас он чувствовал себя утомленным, очень хотел есть и все еще был расстроен своими мыслями, поэтому не отметил, что Надя особенно ласково заглядывает ему в глаза. Она засмеялась приятным, негромким смешком.

— Ну, еще придумайте, и я бы с вами, что ли, в лес гулять пошла? И так ославили чуть не проституткой. Сейчас я огонь вздую и самовар поставлю.

— Вот за это спасибо! Я, признаться, голоден.

— Ну, яичек сварю. Пожалуйста, заходите!

В сенях она сразу приостановилась и повернулась. Матвей натолкнулся на нее. Надя охнула, не отодвинулась, прижалась к нему.

— Напугали вы меня!

Матвей понял, что женщина просит объятий, и вдруг она стала ему неприятна.

Строгим голосом он ответил:

— Извините, пожалуйста!

Надя отпрянула, легко вбежала в избу.

— Темнота, не видно. Заходите, заходите, я мигом вздую свет.

Пока самовар кипел, Надя угостила его водкой и круто просоленным свиным салом. Сама выпила водки она глоток и попросила у Матвея папироску.

— От папаши крадучись курю, а мамаша знает. Со скуки. Какая наша жизнь? Очень скучная. Я не к этому стремилась. Если вам рассказать мою судьбу все равно что книжку-роман прочитаете.

Они сидели в чистой половине избы. В ней стояла ножная швейная машина, на столике под стенным зеркалом — пустые флаконы из-под духов, фарфоровая собачка, будильник и пудра. Окна еще днем от мух завешены были поверх коротеньких надвесок из бумажного тюля темным старым тряпьем. Сенцы Надя заперла на задвижку. От водки Матвей повеселел, сам придвигался к Наде поближе, схватывал крепко за руку. когда она вставала. Но Надя настроилась рассказывать ему свою жизнь. Спокойно, решительно его отстраняла и певучим приятным говорком рассказывала:

— Первый муж у меня венчанный был. За него меня выдали по семнадцатому году. Ну, конечно, девчонкой была, не понимала про любовь и даже не знаю, какой он у меня был. Умер — пожалела, конечно, все-таки... Деток жальче было. Двоих схоронила, с ним рожденные. Теперь вот третий муж, мы с ним даже не регистрированы, не нравится он мне. Сейчас тут в городе работает, а ни копейки в дом, с меня же просит. Хозяйство-то у родителей, конечно, мое на большую половину. Но за что я ему давать буду? Знаете, как несогласно живем? Вот лягем ночью на кровать, он к стенке лицом, а я к краю лицом, спинами друг к другу

Матвей засмеялся, обнял ее за плечи рукой.

— Да, этак скучновато!

Надя высвободилась.

— Подождите, вы сейчас за мной не ухаживайте. Потом, погодите. Мне охота вам душу открыть и с вами посоветоваться. Здесь не с кем, все народ отсталый, на старое воротит.

Матвей досадливо махнул рукой, затянулся папиросой и, позевывая, сказал:

— Плохой я советчик. Курить хотите?

— Дайте, коль не жалко. Еще я вас попрошу на память нашего знакомства: спишите мне какой-нибудь стишок или простыми словами что-нибудь сами составьте. Вот я сейчас.

Она потянулась, достала со столика под зеркалом зеленый альбомчик с разноцветными листками и подала Матвею. Он ухмыльнулся, почесал ладонью щеку.

— Ну знаете, это я, наверно, не сумею.

На одном из листков он увидел лихой почерк и подпись Митьки-гармониста, заинтересовался, прочитал стихотворенье:

ПРОЛЕТАРСКАЯ РОЗА

Пролетарская красная роза,
Расцвела я в публичном саду,
И дрожала она, как мимоза,
Тщетно ждя свою череду.
И боялась она и желала,
Чтоб ее кто-нибудь сорвал.
Кто сорвет эту розу — счастливец.
Кто своею ее назовет —
Важный спец, или скромный партиец,
Или просто какой-нибудь люд?

Надя, это вам на память в намек на вашу красоту. Прочитайте еще одну шутку.

Женская душа

Полфунта правды, пуд коварства, полграмма совести, пуд зла, притворства десять килограммов и пылкой страсти два ведра. Одна восьмушка фунта чести и постоянства один фунт.

Надя, может быть, и не все, конечно, этого я не знаю, все-таки множество есть таких.

Любящий вас. *Дмитрий Телепин.*

Матвей прочитал, звонко, раскатисто расхохотался. Надя обиделась. Крупная слеза покатилась у ней по щеке, оставляя желтую борозду на запудренном лице.

— Не ожидала я от вас, чтобы над стихотвореньями смеяться. Я очень люблю стихотворенья. Сам так не сумеешь сказать, чтобы грусть проняла али в насмешку. Здесь люди не нуждаются, а я люблю... Покупаю даже со стишками книжки, а на эти деньги лучше бы пудры купить.

Матвей сразу смолк, подумал:

«Для нее это как пенье для меня. Это для нее искусство. Бедняжка, милая!»

Он очень нежно обнял ее и крепко поцеловал. Они не слышали, как давно под окнами кто-то тихонько возился, осторожно переступая от одного к другому, подслушивал. Резкий стук в окно заставил вздрогнуть, отшатнуться друг от друга. Матвей уронил стул, громко выругался:

— Черт! Кто там?

За окном злой, срывающийся голос ответил:

— Я не знал, что хозяйствует здесь Матвей Долженков. Надька, отопри, а то стекла выбью!

Надя сдвинула брови, прислушалась.

— Это кто? Митя? Я тебе какая Надька далась?

— Отвори-и!..

— Не отворю, если грубияните. Хоть разбейте стеклы, а к нам тогда больше — до свиданья!

Послышалось приглушенное ругательство, но вслед за тем голос прозвучал просительно:

— Ну, ладно, отопри, Надя, дельце одно сказать хочу.

Надя вздернула плечи, вздохнула и прошептала Матвею:

— Не уйдет, все одно, пойду впущу. Завтра сговоримся, когда свидимся.

Крикнула громко:

— Сейчас открою, иди к двери!

У входа в сени Надя приостановилась, поманила к себе Матвея. Матвей сердито отмахнулся рукой. Надя виновато прошептала:

— У него ко мне жестокая любовь. Ну, вот уж, правда: «Любовь, и всем ты хороша, когда взаимная бываешь».

В сенях дверь затряслась от ударов кулаками. Надя убежала открывать. Вошли они не сразу. Долго перекорялись шепотом во дворе. Митя вошел как-то боком, сердито скривил рот, поздоровался угрюмо:

— Добрый вечер, Матвей Никанорыч!

— Здравствуйте! Вот и еще гость, веселей будет.

Митя быстро повернулся к нему.

— Я здесь в гостях бывал пораньше вас, а вам часто захаживать не советую. С песнями с вашими по другим дворам ходите: здесь в их не нуждаются.

Матвей дружелюбно двинулся к нему.

— Будет, Митя! Напрасно сердишься, я случайно зашел. Я не знал...

Надя перебила:

— А что тут знать, что перекоряетесь? Дмитрий Степаныч, *вы думаете, я вами глубоко затронута?* Нисколько я вами не затронута. Я вас просила... Не желаете вежливо, не нуждаюсь...

Митя взглянул на нее с жаркой обидой, подбоченился, выставил вперед ногу пяткой в пол, пошевелил носком и плечами.

— Фу-ты ну-ты, мамзель-стрекозель, вы сколько классов прошли? — Вдруг заорал: — Столько же, сколько я, одинаково! А я тебе не под пару? Образованней ищешь? На нем костюм завлекательный, а?

Он засучил рукава, кинулся к Матвею. Надя вскрикнула, вцепилась ему в плечи, повисла на нем.

— Ой, не бейтесь из-за меня! Не деритесь, боюсь, боюсь драки, Митенька!

Матвей громко, с сердцем, заявил:

— Не собирался я из-за тебя драться. Замолчи, Надя! Успокойся, парень, никто не отбивает.

Он вышел. Митя кинулся за Матвеем, волоча за собой повисшую на нем Надю. Но у порога ей удалось его остановить. На улице еще слышал Матвей Митины крики:

— Дармоед! Классового пролетария обижаешь! Меня, рабочего машиниста? Трудового крестьянина?

Матвей прибавил шагу. Митины крики стали неясными, смолкли в отдалении.

Наутро рано прибежала к Долженковым во двор бабка-телеграф. Она сообщила Митревне, что Надька на свету с громкой бранью выгнала от себя Митю-гармониста. Матвей проснулся, услышал бабкин говорок во дворе и сразу, даже не умывшись, стал укладывать свои вещи в чемодан. Понурый вошел со двора Никанор. Сын, не оглядываясь, попросил его:

— Найдите мне, папаша, на завтра подводу.

У Матвея было нехорошо на сердце. Томили обида, стыд, даже сознанье невольной вины перед стариками. Весь день провел с ними, пробовал искренне поговорить, они пугались, громко жалели сына, ругали Советсковых, мать навзрыд плакала. Фроська вбегала в избу, всплакивала вместе с Митревной и убегала опять. Она с жаром судачила с девками и бабами про брата в огородах, на речке, у колодца, приходила, наблюдала, снова бежала докладывать. Это было веселей, чем бояться покора и прятаться в своей унылой избе. Вечером Матвей пошел к костру повидаться с пионерами. За воротами повстречался ему Степка и попросился идти с ним. Мальчик, подняв вверх лицо, с вызовом оглядываясь по сторонам, мужественно прошел всю улицу с братом мимо еще не заснувших, злобно шушукающих во дворах баб. Вышли за село. На глади полевой издали был виден яркий костер. Встретили их радостными криками. Всем любопытно было поглядеть на Матвея. Деревенские разговоры о нем долетели и сюда. Степка сидел рядом с ним притихший, стесненный. Но когда запели,— отошло от сердца у Степки. Во всю глотку, неверно и проникновенно он пел в хоре. Потом голос одного Матвея далеко разносился в ночной полевой тишине. Разошлись только в полночь. Зина недалеко проводила их. Стараясь разглядеть лицо Матвея ласковыми глазами, она нерешительно проговорила:

— Конечно, вы нехорошо поступили, зачем-то пошли.

водку там пили и вообще. Но все-таки вы, товарищ, наверно, неплохой человек?

Матвей засмеялся.

— Наверно. А если нет, так буду хорошим, я еще тоже молодой.

Зина радостно подтвердила:

— Конечно! А главное, в деревне все-таки мещанские сплетни,— кому, наконец, какое дело? А жалованье вы имеете право получать. Всякий труд должен быть оплачен. А певец — ведь это тоже служба. Они даже нас ругали, что денег стоим.

Простились они сердечным крепким рукопожатьем. Степка сунул Зине несогнутую ладонь, проговорил горловым басом:

— До свиданьица, товарищ! Будем к вам захаживать.

Дорогой Матвей легко разговорился с братом. Степка расспрашивал про Москву, смеялся, дивился, восхищался. Не заметили, как подошли к деревне. У самой околицы от последнего двора отделились три черные фигуры, следом за ними — еще две. Степка увидел, закричал пронзительно и жалобно:

— Братка, бить будут!

Первым наскочил на Матвея неизвестный ему небольшого роста мужик в рваном пиджачишке. Он бормотал что-то о продналоге, о легком Матвеевом заработке.

— Гребешь наши денежки, сучий сын!

За ним сбоку Митя-гармонист.

Матвей был силен и ловок. Он быстро скрутил руки мужику, ударом ноги отшиб Митю. Но пятеро его одолели скоро. Били нещадно и веско. Он кричал, звал на помощь. Его должны были услышать в ближайших дворах, но на выручку не пришел никто. Степка с визгом промчался по улице. На его зов кинулись первыми Никанор и Федор. Присоединились и соседи. Матвея отняли живым, но он хрипел, изо рта темными сгустками вытекала кровь. На подводе, нанятой накануне для отъезда, повез Федор брата в ближайшую больницу. В волисполкоме допрашивали арестованного Митьку с пособниками. Жители боялись попасть в суд, в дело, и подводу с Матвеем до околицы провожали только Никанор с детьми. Митревна лежала без памяти, без языка. Безбоязненно трусила за Долженковыми лишь бабка-телеграф и причитала.

— Утроба-а, милай, да зачем ты ехал, да что нашел? Пел, распевал, горя не знал, приехал, болесть себе нашел. Утроба-а!

На пригорке за селом встретили телегу пионеры. Зина с рдеющими щеками, с взъерошенной головой остановила подводу, сказала отцу:

— Гражданин, мы вынесли постановление требовать для виновных строгой ответственности. Вам окажем мы помощь в хозяйстве и вообще.

Никанор посмотрел в ее заплаканные, припухшие глаза, низко поклонился и молящим голосом спросил:

— Барышня, вы — ученая, поглядите, помрет он или выживет?

Зина, привстав на цыпочки, наклонилась над телегой, спросила тоненьким, беспомощным голоском:

— Очень вам плохо, товарищ Долженков?

Матвей ее услышал, даже понял, но явь мешалась у него с лихорадочными его мыслями; отозвался он сумбурно, невнятно. У Зины вздулся, покраснел нос, набухли слезами глаза. Отвернувшись от старика, сказала она сквозь зубы:

— Не-е знаю, гражданин! По-моему, выживет.

В Москву из далекого уезда Матвей вернулся, когда начали падать на бульварах, в городских садах багряно-золотые осенние листья.

V

Последнюю зиму старик Долженков часто хворал. Удушье и ломота в костях сильно мучили его. Никанор подолгу лежал на просторной печи, стараясь теплом успокоить ноющее тело. Дарья однажды ласково заворчала на него:

— Что это, папаша, новый дом не поглянулся вам? В избенке-то в нашей со всех щелей дуло, а там не знобило, не ломило вам руки, ноги. Теперь в пятистенном доме, в чистоте, в светлоте самая бы вам пора пожить в добром здоровии, а вы, нате вам!

Никанор, кротко вздыхая, отвечал ей:

— Была пора — ушла от меня. Придет пора, не найдется меня. Семьдесят шестой, Дарьюшка, не то семьдесят семой год доходит. Аксинья моя поди заждалась там, за гробом-то.

Дарья сердито махнула рукой.

— И говоришь, отец, не знай чего, слушать нечего! Какие ожиданки мертвому? Живой держись, бодрись и ожидай. Помрешь, ждать больше нечего.

Никанор с необычным для него упорством заявил:

— Вы, Дарья, как знаете, как желаете, а я во гробе ждать буду Страшного суда. Милости божьей после него, жизни вечной ждать буду. Повидаю там и супругу свою, тоже господом за грехи прощенную.

Старик, волнуясь, даже поднялся, сел на печке, свесив ноги.

— Да как же по-другому-то? Кто возвестит Аксинье об детях, об вас обо всех? Умерла в скорбях, неужто бог допустит еще, чтоб она и там, у его престола, мучилась? Нет, сведет он нас в бесплотной жизни. Вместе сведет, так и знай. Когда грешное тело у меня в болезни ноет, когда обида нудит, я той минуты жду и утешаюсь. Вам-то, может, и впрямь не надо будет царства небесного. На земле добьетесь и заступы и награды. А мы не сами себе упряжку выбирали. Работы хватало, беды хватало, а сытости, радости мало доставалось. Уж там поживем без печали, без воздыханья, без хлопот об земле, об детях.

Дарья хлопнула себя руками по бедрам.

— Да о чем же тебе теперь печалиться? Об чем заботиться? Живи, отдыхай, на детей да на внуков только радуйся. Не кончину зови, не к покойникам тянись, а дожидайся правнучков. За эти восемь лет, как матушка-свекровь померла, житье наше как поправилось! И не гадали, и во снах не видали! Дом новый, двор крепкий, одежа и на себе и в сундуке хорошая. Тебе от всего колхоза почет. Да не только от нашего колхоза...

Старик перебил ее:

— Вот, вот! То самое и я говорю. Дожил и до почета. Больше нечего мне на земле дожидаться. Самое время помереть, пока еще старик я не тяжкий. Хуть плохо, а своими руками, ногами владею, не ослеп, не оглох.

Он раскашлялся натужным старческим кашлем, отдышался, с большим усилием, в изнеможении снова лег на печи. Голос его зазвучал утомленно и слабо:

— Видишь, износилась моя сбруя. И сипит и хрипит, все тело скрипит. Пока еще совсем не опостылел вам, проститься мне с вами охота. На том свете старуху

обрадую, расскажу, что живете хорошо, в люди выбились. Этого шибко ей было желательно.

Дарья засмеялась.

— Ох, отец, отец! Да в Писании сказано: в раю разговаривать друг с дружкой некогда, все хвалу богу поют.

— А я в хвале все и обскажу. Не смейся надо мной, Дарья, не обижай. С какой верой жил, с такой помру, с упованьем на господа.

Дарья улыбнулась жалостливо и ласково.

— Да бог с тобой, уповай. Кто тебя корит? Кто мешает? Ну, поспи, не круши себя печалью. Кланька придет, ужо покормит тебя. А мне в столовую на работу пора.

Она быстро накинула на себя платок и шубейку, вышла, но сейчас же вернулась.

— И вот, папаша, еще что мне удивительно. Матвею-то вы разве не рады? Ведь со дню на день опять его к себе в гости ждем.

Никанор приподнял седую, совсем белую голову. Бескровное лицо старика оживилось светлой улыбкой.

— Его-то я, Дарья, дождусь, обязательно дождусь. Для матери поклон от него приму.

— А, опять за свое!

— Не сердись, сноха. Его шибко жду. И не возгордился в таком высоком положении, и обиды не попомнил. Спасибо ему, сыну милому. Дождуся. На ногах, не на печи лежа, встрену. Постараюся.

— Ну, то-то же!

Дарья хозяйственно плотно прикрыла дверь. Не прошло минуты, как задорная ее скороговорка послышалась уж под окнами, на улице.

«Быстрая,— подумал Никанор.— На язык востра, ну и на работу спорая, хаять нечего. А и вправду говорит: готовься, дед, в прадеды. И у них с Федором дети не маленькие. Кланька — невестится, шешнадцатый. Матвей оженился поздно, а тоже — два дитя уж. У Фроськи трое, у Степки дети будут. Будут еще Долженковы без меня, от нашего корня. А вроде совсем недавно сам под венцом стоял молодой. Господи-батюшка, как же это устроено? Какая жизнь у человека короткая. Давно ли я мальчишкой в бабки играл? На-ко, и не оглянулся, как все одно другим сменилося. Чисто увидал все про себя в один сон, за одну-единую ночь...»

Воспоминанья наплывали на него, будто мелкие разрозненные облака. Отрывочные, но для него внутренне неразрывные. Весь путь от детства к старчеству, от конца — возврат к началу. Он заснул, но и во сне продолжалась работа встревоженной памяти. Ему снилось далекое, невозвратное прошлое. И оттого, что было невозвратимо, отрадное и горькое, все в нем казалось равно милым. Душа не хотела смерти, прощала все страдания человеческого бытия.

А вокруг творилась жизнь настоящего. Необычная жизнь, в которой Никанор многого не понимал, иного просто боялся. Село застроилось новыми домами, разрослось. Окрестности его перестали быть глухими. Неподалеку отыскали медь. На разработки пролегла узкоколейная железная дорога. С рудника дали электрический свет колхозу «Освобожденный труд», хотя и не ко всем еще избам подошли провода. У Долженковых горел уже новый свет. В осеннюю грязь, в пору весенней распутицы, в нынешнюю снежную зиму освещенные улицы не устрашали поздних прохожих, как бывало. Больше, чем внешний, изменился внутренний уклад деревенской жизни. Очень приметной, настойчивой в своих желаньях и вкусах сделалась молодежь. Дарья Долженкова, давно приверженная к городской обстановке, все же многого не ввела бы в свой житейский обиход, если б не Кланька и Петька. Федор громко бранился, старик тихо, укоризненно ворчал, когда обставили горницу в новом доме. И платяной шкаф, и кровать со светлыми шишечками, и кружевные надвески на окнах, хрупкая этажерочка для книг,— все это несколько смущало и Дарью, но радовало молодых Долженковых. Особенно горячо хвалил горницу Степан, хоть сам не жил в семье, только наезжал на побывку. Он служил шофером в областном городе и без отрыва от работы обучался в летной школе. Также радовала городская обстановка жилья Фросю.

— Хватит с нас, нажились без убранства, без уюта. Пора пожить культурно.

Пять лет назад Фрося вышла замуж за Митю-гармониста. Телепин уже не служил на паровой мельнице, водил паровозы по железной дороге. Перед женитьбой Митя ездил в Москву мириться с Матвеем. Тот принял его весело, радушно. Теперь Митя не раз говорил друзьям:

— Я — человек не гордый, а есть и у меня гордость. Не собой горжусь, горд я своим паровозом и своим шурином. Артист знаменитый, певец на весь мир. Голос у него — золото, а характер — брильянт без подделки. Вот какой человек у меня в родне!

С Фросей они жили очень дружно. Может быть, потому, что Митя любил вызывать восхищенье собой у окружающих, а Фрося искренне и неустанно им восхищалась. Она верила Митиным глазам больше, чем собственным. У Телепиных было трое детей. Родители часто привозили их к деду. От колхоза они жили недалеко. Фрося с мужем, так же как и Матвей, настойчиво звали Никанора к себе хоть погостить, если не хочет совсем переселиться... Старик раз и навсегда отказался наотрез:

— И не уговаривайте! Матвею Дарья от меня отписала, а тебе сам говорю: не поеду. Ездить в гости — жалко мне свои старые кости. Какой я теперь ездок? Мне один путь лежит недальний: на кладбище повезут. Все вы мне — дети, сердцу моему дорогие, слов нет. А Федор со своим семейством непривычней. Я — ваш отец, но не по вам. Низенький стану при вас, совсем оробею. А старшому своему — гожусь. Дарья нам тоже под стать, сколь ни городи она в горнице белендрясов господских.

Он вздохнул и устало махнул рукой.

— Киньте эти уговоры-разговоры. Ни к чему.

К Дарьиным «белендрясам» старик скоро стал равнодушен, только в горницу не любил заходить. Совсем особенно смутил его один «белендряс». В свой последний приезд Степка установил в доме радиоприемник. Раньше в граммофоне слышал Никанор и музыку и человеческий голос. Но то было как занятная, затейливая игрушка. Удивило, даже восхитило, но не поразило. Мало ли чего не придумает досужий смышленый человек? А когда установили в доме черный круг на подставке, Никанор был поражен. Круг не только пел, играл, а и рассказывал о близких, понятных ему, как еда и питье, колхозных делах.

Однажды, не рано, уж ввечеру, ложиться спать собирался дед. Степка попросил его подождать, не укладываться.

— Чегой-то? — удивился Никанор.— Кому я понадобился в ночь? Ночью кличут виноватых да сильных. За мной ни вины, ни силы уж не осталось.

Степка, Дарья, Кланька и Петька дружно засмеялись, усмехнулся даже хмурый обычно Федор.

— Обождите, папаня. Виноватить вас не за что. Дожидайтесь радости. Послушайте радиу.

Никанор знал, что его дети говорят ему «вы» лишь в торжественный или очень горький час. Федор обещал не беду, а радость. Значит, готовится какое-нибудь семейное торжество. Либо Дарью, либо Федора опять изо всего колхоза наградой отличили. Оба хорошие работники, их силу, старанье и уменье очень ценили в колхозе. А может, снова об Матвее шумный хвалебный разговор.

«Диву даешься,— думал старик,— на какую высоту сынок из-за песен взошел. Кто раньше укорял, теперь не нахвалится. Заглазно, в лицо не видя, люди ему кланяются. И достаток и почет через детей достался мне на старости. Через родных моих детей. Отцовскому сердцу лестно. Маненько бы пораньше все это пришло, веселился бы я, гордился бы. Может, и похвалялся бы детьми, а через них и собой. Вот каков Никанор Долженков! Хорошей жизни дождался. А теперь чего же? Ослаб. Укатали сивку крутые горки. От беды не взвою, от радости не взвеселюсь. Чисто палый лист осенью, от всего оторватый... Ну, чего мне тут слухать? Спать пора. Пускай молодые слухают». «Черный круг» громко пел, играл. Молодые, слушая, притихли. Вошла Дарья, бесшумно разделась и тоже подсела поближе к ним. Не слишком понятные музыка и пенье, особенный песенный разговор на разные голоса, слова врастяжку. Старик уже знал, что все это вместе называется опера. То самое учрежденье, в котором служит Матвей. Никанору Степа обещал, что услышит он и Матвея по радио. Старик не поверил, хоть не раз убеждался, что удивительные обещания его детей часто исполняются. Трудно было представить, что не чужие, неизвестные Никанору музыканты, рассказчики, певцы, а свой, зримо знаемый сын заговорит, запоет, невидимый, через эту круглую «штуковину». И вдруг сидевшие близ радиоприемника, словно по команде, разом, воззрились на старика. Петька подбежал к нему, сказал приглушенным, прерывистым от восхищенья шепотом:

— Слушай, дедушка... Деда, милый, слушай же!

Никанор не сразу узнал родной голос. Скоро сомневаться стало нельзя. Поет Матвей. Он, сын. Его го-

лос звучал с перерывами, большими и малыми. Во время этих перерывов семья накидывалась на старика с восклицаньями, радостным смехом, с расспросами. Он сидел как громом оглушенный. Вопросов не понимал, досадливо махал руками, ничего не слышал из того, что говорилось вокруг. Один только Матвеев голос был слышен ему даже тогда, когда замолкал. Он звучал в нем самом, в его мозгу, в его сердце, в биении крови. Отец забыл, что поет его сын. Иная, редкостная близость сроднила старика с певцом. Высокое волненье души сблизило одного человека с другим. Оно заставило их обоих враз дышать, нераздельно мыслить и чувствовать. Певец пел: «О, дай мне забвенье, родная...» Никанор забыл и о певце. Ведь это он сам страдает, его собственная мольба звучит сегодня в ночи. Его личная — не Матвея, а Никанора Долженкова — мольба. На склоне лет впервые познал Никанор силу и власть искусства. Наутро в его потрясенном существе родился протест. Старик стал бояться радиоприемника, когда он передавал музыку или пенье. Слишком тревожили они его усталое сердце. Тем не менее противоречивая человеческая душа порой жаждала, уже требовала этой новой, тягостной и сладкой тревоги. Сейчас, заново переживая во сне свою длинную жизнь, Никанор Долженков слышал музыку, и она была ему желанна, отзывалась, повторялась в его сердце как ощущение жизни.

VI

Знаменитый тенор, орденоносец Матвей Никанорович Долженков предложил дать два концерта в бывшей Александровке. От платы за свои выступления он отказался. Взамен потребовал, чтоб на его вечерах участвовали музыканты, певцы и плясуны из колхозных кружков самодеятельности. Была жаркая подготовка и жесткий конкурс.

Накануне приезда Матвея семья Долженковых сидела в сборе за столом. Не торопясь пили чай. Завтра воскресенье, оставшееся по-прежнему нерабочим, выходным днем в селе. Дарья веселой скороговоркой, то садясь, то вскакивая со стула, изображала, как готовились к выступленьям Советсковы и другие местные исполнители песен и плясок.

— А при них бабка-телеграф, вроде маятника при часах. Глядеть со стороны, так без нее всему делу танет остановка,— смеясь, сообщила она.

Федор не любил оживленья за едой. Он привык есть много, быстро и молчаливо, чтоб не терять лишнего времени.

— Ты сама-то не трещи, как телеграфиха. Куском подавишься,— нравоучительно и недовольно прервал он жену.

— Ты скорей подавишься, глотаешь целый кус. Я говорю, да жую. Не бойся, у меня время сроду зря не убежит. Следи за своим.

— Ну, ну,— примирительно произнес Никанор,— всяк по-своему и по земле топает, и ест, и спит, и со своей женой живет. На это указки нет, абы работа у человека спорилась. А на бабку-телеграф я дивуюся. Скажи, какая старуха вечная! Постарше меня, а ни хвори, ни удушья. Высохла себе в сморчок и живет, не устает.

— А с чего ей устать? — спросил Федор.— Всю жизнь, как скворец в скворешне, с подсыпным кормом За мужем да за детями припеваючи прожила. Клюет, мельтешит по дворам да языком трещит — вся ее работа.

— Ну, не говори, чего не знаешь,— перебила Дарья.— Трещать она трещит без умолку, а когда и без толку, но в хозяйстве с толком снует, что челнок в машине. Из-под ее кур яичка ни один ловкач не стащит. Каплю молока сноха прольет, она тут как тут. Натрещит, настрамит, а то и кулачонком костистым в глаз ширнет. А на спекуляцию — ух, дошлая, нипочем ей в город смотаться, купить, перепродать.

— Она, мама, в город не за тем часто ездит. Говорят, какой-то дяденька ее сказки слушает, записывает, ей деньги за сказки платит. Она, люди сказывают, хвалилась, что придет время, не меньше дяди Матвея будет денег получать,— сообщила Кланька.

— Ну-ну,— погрозил девочке Федор,— глупостев не болтай. Сравняли! Матвей — певец, опера! Это — занятье большое, ордены дают, заслуженное званье определяют. А ты балоболку старую. побрехушку с ним равняешь.

— Я, папаня, тоже певцом заделаюсь. Учитель говорит, что у меня хороший голос. Прошлый раз так и пошутил: не у дяди ли, говорит, голосу занял?

— Дай бог тебе, сынок.

Никанор глубоко вздохнул... Уже несколько дней его не терзали ревматические боли. Чувствовал он себя бодро, очень радовался, что встретит Матвея, как обещал, «на своих ногах, не на одре лежащий». Оттого старик часто улыбался, смотрел вокруг повеселевшими глазами. Сейчас вдруг у него снова сжалось от печали сердце и как будто заныла спина. Он тоскливо подумал:

«Теперь все на Матвея с завидкой. А как выбивался, с какими скорбями дела своего достигал, теперь мы от чужих только прослышали. А нам, кровным родным, и невдомек было расспросить, пожалеть, когда в первый раз приезжал. Мы его только укоряли. А он, может, с тем и ехал к родным, чтобы пожаловаться, сколь труда и обиды хватил».

Все это хотел старик сказать Федору, но мудро смолчал. Семейное чаепитье закончилось в мирном довольстве.

Ночью нанесло буран, замело дорогу. Колхозники поднялись рано, чтоб расчистить ее к прибытию гостя. Особенно усердствовала молодежь. На работу подоспел Дмитрий Телепин. Он в работе не отставал, но сразу принялся командовать:

— Дружно, товарищи! По-ударному двинем по сугробу, колхозники. С рудника машину выслали на станцию, так чтоб не угруз автомобиль. Ровней! Чище! Гладко делай!

— Куда уж глаже! — прокричал ему в ответ пожилой колхозник.— Чего разоряешься? Царю ровней дорогу не прокладывали.

— Не царь едет, а честный человек. Делай лучше! — надрывался Митька.

— Да тише ты, кишки криком надорвешь,— смеялся старик Советсков.— Жена моя, гляди, как старается. Башкой снег сбивает.. Милая, снегу не наглотайся. Охрипнете, с кем дуэт наш распевать буду?

Прибежала на расчистку и бабка-телеграф. Ее встретили громким смехом.

— Вот это — подмога! Одной рукой весь сугроб своротит.

— Как бы только снежинка озорная самую не сшибла. В чем дух у тебя, бабка, держится?

— В языке! Не гляди, что мала и дохла. Языком гору своротит.

— А что, милые, а что же, товарищи колхозники, утро-обы! У кого какая орудия. Иной с пушкой, другой

с мелким ножичком. А еще не знай, который осилит. Вы сгребайте, сгребайте, а я подолом размету. Ведь встречаем-то кого? Едет кто? Язык сразу не осилит рассказать, какой почетный гость.

— Твой осилит. Повернется, подвернется, перевернется да всякое осилит.

— И страмное, и смешное, и вопленное.

— Зачем вопить, утроба? Плясовую играть надо. Матвей свет Никанорыч едет. Ох, утроба! Какой почет нам, на завидку всей округе. Гляди, гляди, вон — подводы от соседей тянутся!

— И впрямь большой съезд колхозный. Вот праздник так праздник.

Подъезжавшим подводам кричали со всех сторон:

— Куда? Местов нет в клубе! Давно билетов нет.

— «Сколько вас, куда вас гонят?»

А подводы из других колхозов все прибывали. Многие заехали во дворы к родичам и знакомым. Санями заставлена была вся площадь у сельсовета и клуба. Сугробы по краям дороги далеко за село украсили зелеными елочками с красными флажками. Весь колхоз «Освобожденный труд» гудел от разговора, смеха и споров.

— Куды же вы понабились? Пять клубов не вместят, не то что наш.

— Вы — люди, а мы нé люди? Вам — отрада певца услышать, а наши уши грешнее ваших, не хотят, да?

Пока расчищали дорогу и спорили на улицах, со станции прибыла легковая машина за стариком Долженковым и его семьей. Намечена была торжественная встреча Матвея с родными на станции. Никанор поехать отказался. Его уговаривали настойчиво и долго. Наконец за него вступился Митя. Осторожно, кончиками пальцев прикасаясь к старику, будто к драгоценной хрупкой вазе, он сказал сладчайшим голосом:

— Я извиняюсь,— папаша у нас болезненный. Не растрясти бы их, не потревожить бы чего-либо из внутренностей. Разрешите их, за слабостью, дома оставить.

Из-за локтя Мити пронырнула вперед бабка-телеграф, завопила тоненько и протяжно:

— Нет уж, товарищи, сто раз дорогие, уважаемые, любимые! Не повредите старичка. Он у нас один не то что на весь уезд, на всю область-губерню один — отрада! Ох, драгоценный старичок, утроба! Сынок-то, Матвей Никанорыч, весь в его. Умудрилась покойница

Аксенья Митревна, чисто по форме испекла всего в родителя, точка в точку в родителя! Не замайте отца, не огорчите сынка.

Еле отвязались от нее приезжие. Один облегченно вздохнул, садясь в автомобиль:

— Древняя старушонка, а цепкая. Что же это было смолоду?

— Затрудняюсь представить,— любезно ответил Митя и гордо посмотрел на любопытных, обступающих машину.

Так же надменно хотелось взглянуть на толпу Петьке. Но глаза его сияли от беспредельного восторга. Губы сами собой раздвигались в счастливую улыбку. Клавдя закрыла руками пылающее лицо, крепко прижалась к материнскому плечу. Дарья твердо сжала губы, а взор ее также сиял радостью. Федор уселся важно, с каменным лицом. Сердце у него учащенно билось.

Никанор вмешался в толпу любопытных, пошел вместе с ними на дорогу. Люди двигались плотной стеной. Вдруг раздался длительный автомобильный гудок. И стена покорно разделилась надвое. Идущие встали по обочинам дороги. Старик Долженков стоял в тесно сомкнутом ряду. Губы старика тряслись, в глазах стояли слезы, но впервые в жизни Никанор был сознательно счастлив. Сейчас ему не хотелось умирать. Медленно двигался автомобиль среди расступившихся людей. Навстречу ему неслось пенье большого согласного хора. Колхоз приветствовал певца.

Беду ждали, но пришла она как будто неожиданно. Уж очень резко смяла она всю жизнь колхозников.

Село было расположено на взгорье, верхнюю половину его заняли немцы, в нижней — до последней возможности отбивались красные бойцы. Но войска отошли на новые позиции. Нижняя часть села была вся разрушена. Верхняя пострадала, но уцелела. Воронцовы жили в верхней.

Сереже Воронцову недавно пошел тринадцатый год: худощавый, невысокого роста — по виду он казался десятилетним, не старше.

В просторной избе Воронцовых за перегородкой в чистой горнице поместились два немецких офицера. А в той половине, где стояла русская печь,— трое солдат. Бабушку, Сережу и мать выгнали в темный чуланчик в сенях.

День и ночь у сеней стоял немецкий караульный. До пяти утра и позднее семи вечера хозяевам запрещалось выходить даже во двор. Июль уже отцвел. Начались очень прохладные в этом году августовские ночи; хозяева спали на земляном полу чулана, на старых вытертых половиках. Покрывались уцелевшим тряпьем,— теплые вещи забрали немцы. От холода и душевной тревоги мать и бабушка часто не засыпали до самого рассвета.

Стоял погожий августовский день, нежданно теплый, как летом. Утром Сережа отправился в лес. Там было привычно хорошо. Но его не радовали ни яркая осенняя листва, ни солнце. Он сел под старым дубом, потом лег лицом в опавшую сухую листву и заплакал. Понемногу он успокоился и стал собирать грибы.

Даже начал насвистывать «По долинам и по взгорьям». И тут вдруг ему показалось, что зашевелился высокий

куст поблизости. Мальчик насторожился, опустился на землю. Из-за куста послышался негромкий девичий голос:

— Сережа, Сереж! Ты один здесь?

Голос ему показался знакомым, но сразу он не вспомнил — чей? Ответил неуверенно:

— А, что? Кто это?

— Глупый, своих забыл! Ах ты, Черныш-огарыш...

По этому шутливому прозвищу Сережа вспомнил, узнал. Да ведь это же Настя, его двоюродная сестра. Незадолго до прихода немцев она исчезла из деревни, а раньше работала счетоводом в сельсовете. Сережа вскочил, радостно крикнул:

— Настя!

Девушка вышла из кустов, замахала на него руками:

— Тише, тише, дурной! По лесу-то разносится. Ты — один? Иди ко мне.

Она взяла Сережу за руку, потянула его через груду сухого валежника, подальше, в глубину леса. Они сели рядом на упавшей сухой березе, скрытые со всех сторон зеленым молодым ельником. Настя обстоятельно расспросила его о селе, о немцах. Ответами Сережи осталась не совсем довольна.

— Ты что-то скис, малый? А какой был шустрый! Того не видел, этого не знаешь, а ты гляди в оба, все примечай!

Тут они и условились, чтобы Сережа никому ничего не говорил об их встрече.

— А через пять дней приходи опять в сосняк у Макридина болота, знаешь? Так, за полдень. Постарайся пораньше, а я тебя часов до четырех подожду,— сказала девушка.— Да песен наших не свисти, а прокукуй кукушкой девять раз. Ну, беги домой, братишка, да помни, что я тебе доверилась. Не сбрехни, не похвались, не выдай!

— Настя! Никому! Я лучше помру.

Девушка ласково погладила его взъерошенные волосы.

— Помирать рано. Еще дождемся радости, Черныш-огарыш. Беги!

Мальчик возвращался домой, не чуя под собой ног. Ему казалось, что сейчас по-прежнему изба стала своей. Словно ему уже возвратили ее во всем родном уюте и довольстве.

Не доходя до дому, через низкий плетень Сережа увидел в огороде обоих немецких офицеров. Они сидели на ковре под старой ветлой, пили водку, закусывали, о чем-то громко и задорно спорили. Старший из них, высокий и тощий, первым заметил Сережу и странно обрадовался. Бритое губастое пьяное лицо его осклабилось в усмешке. Он вскочил, хлопнул по спине лежащего на ковре краснолицего, безбрового и закричал Сереже, подзывая его рукой:

— Комм... Иды суда. Шнель! Бистра!

И краснолицый, приподнявшись на локте, тоже поманил мальчика рукой, икая:

— Су... уда! Пар... ничка, ско... ра... скора!

Вся кровь отхлынула с лица Сережи, даже губы побелели. Сердце сжала такая тоска, что Сереже показалось — оно уже не бьется. Втянув голову в плечи, Сережа вошел в огород. Неужели проследили? Видели их с Настей? Что делать?

Но офицеры и не думали о том, откуда возвращался мальчик. Они спорили, кто из них более меткий стрелок. Длинный особенно горячился:

— Ты — хороший стрелок, знаю. Но тебе далеко до меня. Знаешь ли ты, что я могу сбить яблоко с головы ребенка, не веришь? Я тебе при случае докажу. Вот досадно, что сейчас яблока под рукой нет, да и ребенка... А, смотри! мальчишка! Я тебе сейчас докажу. Яблока нет, а я блюдечко поставлю ему на голову и разобью... Да не голову, одно блюдечко! Русского мальчишки не жалко, я тебе докажу! Мальчишка будет цел и невредим, а блюдечко — разбито.

— Эй, мальчишка, скоро сюда! — закричал он по-русски. Сережа остановился. Немцы, смеясь, толкая друг друга в бок и споря, приблизились к нему, схватили мальчика, подвели его к ветле. Ветви мешали. Тогда безбровый потянул его к плетню и приставил к высокому стояку калитки. Оба согласно закивали головами. Сережа ничего не понимал. Но странно, уж ничего и не боялся. Тупое безразличие охватило подростка. Одна смутная мысль промелькнула в его мозгу:

«Хорошо, что не спрашивают про Настю».

Безбровый остался в огороде, держа мальчика за плечи и прижимая его к стояку. Высокий сходил в избу и вернулся с длинной веревкой. Они крепко привязали мальчика. Потом высокий снова сходил в избу, принес

шарф. Оба офицера снова заспорили. Длинный шарфом замотал шею Сережи и столбик калитки, чтобы мальчик не мог резким движением головы сбросить блюдечко прочь. Поставив блюдце на голове подростка, оба офицера отошли. Дальше Сережа ничего не помнил. Его оглушил выстрел высокого немца...

Очнулся он на своей постели в чулане. Над ним глухо рыдала бабушка, а мать, припав к его ногам, стонала протяжно, как стонут от нестерпимой боли. Пуля разбила блюдечко и рассекла кожу на голове мальчика, но он остался жив и рассудка не лишился. Только с того часа начало у него подергиваться лицо, временами искажаясь в страшной гримасе. Увидев это в первый раз, мать, обрадованная было тем, что сын остался жив, снова застонала. Сережа сказал ей негромко:

— Мама, не убивайся, не расстраивайся. Я все понимаю. Даже лучше, чем прежде, все понимаю.

Поиграв жизнью русского мальчика, долговязый немец стал проявлять к нему жуткую приязнь. При встречах он щелкал его пальцами по лбу, приветливо подмигивал, говорил по-немецки:

— Последний ум потерял, русский поросенок! Ничего, тебе его и не надо. Землю для нас пахать, навоз возить сумеешь. Благодари, что жив.

По тону и усмешкам офицера Сережа догадывался о смысле его речи и опускал глаза, чтоб не увидел палач гневного блеска в его глазах.

Это тяжелое событие имело одно хорошее последствие.

Мальчику разрешили свободнее ходить по селу. По его болезненным гримасам его сочли повредившимся в уме. Но смертельное испытание детского мужества, наоборот, обострило природную сообразительность Сережи. Он сразу научился не только таить свои мысли от врагов, но и хитрить с ними. Научился прикидываться дурачком. До нового свидания с Настей Сережа собрал много нужных и ценных сведений не только в своем, но и соседнем селе.

В серенький, дождливый день встретились Сережа и Настя в лесу в условном месте. И нельзя было понять, от дождя или слез были мокры девичьи щеки, припавшие к голове Сережи от холода или от нена-

висти дрожали Настины плечи, когда она слушала его рассказ. Беседовали они недолго. Настя указала Сереже неприметную тропку через болото в лес на случай, если застигнут его в следующий приход.

Однажды Настя сказала Сереже, что хорошо бы добыть «языка» из немцев. Не найдет ли он, не разузнает ли, как заманить немцев к заброшенному сараю за их селом. К тому, что ближе к лесу и кладбищу. Надо попытаться это сделать в течение трех дней.

Наутро после их разговора случай неожиданно представился. У немцев не хватило сена. Долговязый позвал Сережу и стал допрашивать через переводчика, нет ли где в их колхозе или в соседнем спрятанного сена.

— Чем вы кормили своих коров, пока мы их не прирезали? Запасали же вы для них на зиму сено? Говори, что знаешь?

Сережа, дергая лицом, растягивая слова, по-дурацки вихляясь, заявил, что знает и может указать. Он отправился с немцами за сеном. На трех подводах поехало шесть немцев. Сережа сообразил, что сразу к дальнему сараю их направлять не надо. Он указал один сарай,— пустой. Не нашли там сена. Поехали к другому. Снова пусто. Немцы начали злиться. Один больно стукнул мальчика прикладом винтовки по шее. Загалдели они по-своему. Но мальчик настойчиво стал тянуть лошадь к пустырю близ кладбища, поближе к лесу, и указывал пальцем на видневшийся там сарай. Немцы еще погалдели, совещаясь, но согласились, поехали. Только один из них жестами показал Сереже, что убьет его, если и там пусто. Но мальчик не испугался. Он согласно, как будто даже радостно, закивал в ответ головой.

— Дурак,— проворчал солдат и тронул вожжи.

Когда подъехали к последнему сараю, начало смеркаться. Сережа громко крикнул:

— Тпру! Сено здесь!

Это был условный возглас. Двери ветхого, большого сарая распахнулись. Громкий звук и огоньки выстрелов прорезали тихие сумерки. Выскочившие из засады бойцы пристрелили лошадей, убили пятерых немецких солдат. Шестого взяли живым. Сережа пошел тоже с ними. Но недолго он отсутствовал. Наутро красноармейский отряд грозным вихрем налетел на занятый немцами колхоз. Сережа был с ними. Ни в этом колхозе, ни в соседнем

ни один немец не спасся. На глазах Сережи был подстрелен долговязый немецкий офицер.

Благодаря и плача, Сережина мать упала на колени перед бойцом, который за плечо вел к ней сына. Боец поднял Воронцову, прижал ее голову к своей груди, бережно и осторожно, как голову собственной матери, и задушевно сказал:

– Отлились злодею, сестрица, твои горькие слезы. Не встанет с русской земли бешеный пес!

В этом городе, на большой судоходной реке, Саша Степанова родилась и выросла. Юные деревья в скверах, на новых площадях, посаженные после Октябрьской революции, были ее ровесниками. Саша росла в дружной, веселой, трудолюбивой семье. Дети учились. Мать служила кассиршей в большом предприятии. Отец, техник-строитель, возводил мосты. Случалось ему работать и в очень трудных условиях, но никогда ни на что он не жаловался. Его волевое спокойствие установило в семье постоянный бодрый тон в часы горестей, болезней или утрат. (Дети знали, что Дмитрий Алексеевич всегда нежный с ними, может даже ударить их за упрямый плач, за дешевые слезы, за бесполезное нытье.)

После отца и матери самыми близкими на свете людьми были для Саши дедушка с бабушкой, родители Дмитрия Алексеевича. Девочка очень любила гостить у них в железнодорожном поселке, близ станции в степи. Дед ее до старости работал слесарем на железной дороге.

Молодые годы ему пришлось провести в скитаньях по России, когда он скрывался от преследований царских жандармов. Об этих горьких, скитальческих годах хорошо рассказывала бабушка. Широко раскрыв серые глаза с чудесными длинными ресницами, Саша слушала горькую быль. Сердце ее замирало от восхищения, когда, как в страшной волшебной сказке, все же приходил счастливый конец. Несмотря на множество пережитых бедствий, старик сохранил большое чувство юмора, любил ввернуть сочное словцо.

Теперь, вспомнив дедушку, Саша нежно улыбнулась. Где-то он теперь, с его неизносным здоровьем, с неиссякаемой шутливостью, простой, но чудесный? Превращен

ли в прах немецким снарядом, или даже в лапах зверя-врага не признает он «безвыходных положений»? Бабушкины воспоминания оборвались семь лет назад, когда Сашеньке шел двенадцатый год. Последняя их беседа сейчас дословно оживает в памяти девушки.

— Бабушка! — воскликнула тогда Саша.— Я тоже буду до старости бороться за революцию и за Советскую власть. Ничего, ничегошеньки не побоюсь!

Лицо бабушки осветилось счастливой улыбкой:

— Тебе не придется такого зла увидать! Твоя жизнь будет без сучка без задоринки. Советская власть для тебя стариками завоевана.

— А сейчас разве зла не бывает?

— Ну, как не быть! Нечисть и в святом красном углу заводится.

Старуха никогда не рассказывала о себе самой. А ведь и она рядом с дедом прожила «нестрашимую» жизнь. Такова и Сашина мать — Анна Ивановна. Недаром старуха о ней говорила: «Ко двору нам пришлась». Очень женственная, хрупкая, моложавая для своих лет, она, казалось, жила отраженным светом желаний мужа, без своих личных устремлений. Но когда Анна Ивановна с тихой, ободряющей улыбкой целовала его, провожая в армию, Дмитрий Алексеевич сам прослезился, в первый раз в жизни на глазах у детей. И сказал жене дрогнувшим голосом:

— Спасибо тебе, моя крепкая! Без тебя многого не вынес бы я в моей судьбе.

Война разметала дружную степановскую семью во все стороны. Отец на фронте. Мать эвакуирована с предприятием, где работала, в далекую Сибирь. Младших детей Анна Ивановна увезла с собой. Ей нестерпимо тяжело было старшую дочь оставлять в городе, которому грозило неприятельское нашествие. Саша настойчиво твердила матери:

— Тебе с детьми уехать необходимо. Они малы еще, а я в крайнем случае уйду с армией. Какое счастье, что есть у меня моя специальность! Вот видишь, не напрасно соревновалась я во всем с мальчишками! А ты меня тогда бранила.

Саша в детстве, в поселке у дедушки с бабушкой, приобрела много друзей-мальчишек. Ее привлекали в мальчишках ловкость в прыжках, в беге, смелость мальчишеской езды на лошадях.

Учась в десятом классе, увлекалась она шахматной игрой и радиоделом. Кто-то из ее сверстников дразнил Сашу, что ни одна девочка не умеет ни устроить радио в своей квартире, ни обращаться как следует с радиоприемником. Саша на спор старательно занялась электрорадиотехникой, обучалась около года и сдала экзамен. В первый год войны у нее были права радиста, а теперь, в 1942 году, она работала уже радиотехником. Об этой своей специальности она и говорила матери. Шуткой хотела она смягчить жестокость разлуки. Но мать не улыбнулась в ответ. Она покачала головой, сказала медленно и скорбно:

— Какой ты воин! Только что высоконькая, а личико у тебя совсем еще детское...

— А зачем толщина? Лишний груз. Разве ты не знаешь, какая я сильная и ловкая, хоть и кажусь хрупкой?

Расстались они тяжело. На этот раз Анна Ивановна не выдержала. Обняв дочь на прощанье, она зарыдала надрывно и горько. Свои слезы Саша удержала большим напряжением воли. Оттого юный голос ее казался немолодым и жестким, а прощальные слова прозвучали укоризной:

— Мама, я не узнаю тебя! Не плачь, пожалуйста, дорогая!

Как часто теперь встают перед ней большие, сразу потускневшие от горя, родные мамины глаза!

Если бы можно было сейчас крикнуть ей:

— Мамочка, не со зла, от большой сердечной муки не сумела я тогда бережно осушить твои слезы! Дорогая, никем не заменимая в жизни мама!

Никем. Есть у Саши другая крепкая любовь. Первая горячая любовь к мужчине. Та, для которой забывают родителей, братьев и сестер. Забывают, да. Только в мирном течении жизни. А в годы таких испытаний, когда смерть дышит в лоб, слово «мама» неустанно звучит в человеческом сердце с изначальной силой. В нем источник жизненного тепла, столь необходимого в холодном окружении смерти. Володя по-прежнему дорог девушке. Но вся история их любви сейчас так далека! Будто было все давно-давно или приснилось в чудесном, но смутном сновидении.

...На реке небольшой островок. В один воскресный день в конце мая они с Володей катались на лодке и

пристали к этому островку. День был тусклый, но им обоим казался чудесно светлым. Они в первый раз объяснились по-настоящему, сказали друг другу о своей любви. Объяснение произошло неожиданно для обоих. До этих пор между ними были странные отношения, больше похожие на самолюбивую вражду, чем на любовь. Саша разговаривала неестественным, гордым тоном. Володя отвечал ей насмешливо, даже чуть презрительно. В то же время оба постоянно хотели встречаться друг с другом. Глаза одного всегда искали взгляда другого, рукопожатья были обоим приятны, а слова — неприязненны. В начале сорок первого года родители Володи перебрались на жительство в Сибирь. В мае он уезжал к ним. Саша, страшно счастливая, но смущенная первой страстью поцелуев, вырвалась из Володиных объятий, крикнула ему:

— Догони меня!

Пестренькое летнее платье девушки замелькало меж кустами. Володя рванулся за ней, но зацепился ногой за корягу и растянулся на земле во весь рост. Девушка со смехом подбежала к нему, протянула руки, чтобы помочь ему подняться. Но ему было стыдно своей неловкости. Он сделал вид, что не заметил ее протянутых рук. Весь красный, нахмуренный, быстро поднялся сам. При этом движении из кармана его брюк посыпались на траву деньги, мелочь: двугривенные, гривенники и одна новенькая блестящая медная копейка.

— Батюшки, копейка! — воскликнула Саша.— Это, наверное, последняя в городе. Я давно их не видела. Подари мне!

Володину хмурость как рукой сняло. Он засмеялся в ответ:

— Вот не знал, чем прельстить! Давно бы тебе копейку показать. А ну, отними, сумей!

Юноша побежал. Саша догнала его. Они долго вырывали друг у друга копейку. Саша вырвала копейку, но немедленно на беленькой узкой своей ладони протянула ее Володе обратно. Володя глубоко заглянул в сияющие серые глаза девушки, сжал ее ладошку вместе с копейкой и припал к ее руке долгим поцелуем. В первый раз в жизни мужчина целовал ей руку. Как это было хорошо! Потом с особенной, проникновенной нежностью он привлек Сашу к себе и сказал:

— Саша, милая, знаешь, что мне пришло в голову! Давай закопаем эту копейку здесь на острове. А при-

едем за ней через десять лет. Вместе приедем, понимаешь? Если один из нас изменит... Конечно, не я! Смотри, не измени мне, Саша! Так вот, если ты изменишь, разлюбишь, когда я уеду, напиши просто: «На острове ничего не ищи». Я не вернусь к тебе. Но нет, мы приедем за нашей копейкой вместе. Оба любящие, оба верные, муж и жена. Правда?

— Муж и жена,— покорно подтвердила Саша.

Они закопали копейку под старой вербой, близ берега...

Об измене говорили, а о возможности смерти тогда и не подумали. Что Володя ее не забыл, в это она верит, это она чувствует. А вот жив ли, кто скажет теперь? В армию ушел он в Сибири. Сообщение об этом было последним известием о нем. Он писал: «Помни, дорогая, что люблю я тебя неизменно. Ни малейшего интереса к другим девушкам нет. В компании с ними я такой скучный, что самому досадно, а ничего с собой поделать не могу. Видно, придется нам вместе откапывать заколдованную нашу копейку. Сегодня видел тебя во сне: твои длинные ресницы, родинку твою на правой щеке, и целовал я ее, целовал...»

Володя, жив ли, где ты? Не надо вспоминать, не надо! О милом сердцу женихе вздыхать не время. Безымянный островок, где они с Володей обручились, теперь имеет военное название «Ольга». Там сидят наши артиллерийские наблюдатели. Находится он под непрерывным обстрелом противника. Там часто нарушается радиосвязь. И когда Саша отправляется в блиндажи наблюдателей, не любовными воспоминаньями, не грустью нежной полна ее душа, а страстной ненавистью. Прошлое прошло, а будущему — быть. А чтобы оно пришло и было светлым и счастливым и для ее семьи, и для Володи, и для родного города, и для дорогой Страны Советов, Саше, как и всякому бойцу, надо помнить только о данном дне, о текущей минуте и действовать, действовать. Довольно! Выключены все воспоминания. Кругом вражья стихия нечеловеческой злобы. Она в чудовищном фейерверке боевых огней, в смраде неприятельских трупов, в каждом уголке этого обугленного города, где нет ни девушек, ни женщин,— все они бойцы. Здесь не слышен детский лепет, нет семейных очагов и домашних животных. Дым, и гарь, и смерть, смерть! Острого страха у девушки уже нет. Надо зорко смотреть вокруг, хладно-

кровно рассчитывать — ползти дальше или залечь за ближней грудой кирпича от разрушенного здания.

Земля под Сашей вдруг стала зыбкой от большого взрыва невдалеке. У девушки закружилась голова и хлынула носом кровь. Саша прижала к ноздрям рукав шинели, присела на корточки у дома с забитыми окнами, с оторванными дверями парадного хода.

Но вот сквозь дым и пламя большого пожара донеслось протяжное русское «ура». «Нет, врешь, немец, не раздавишь, не такой мы народ, чтобы смог ты нас раздавить!» — прошептала Саша. Девушка перекинула свою сумку снова за спину и провела рукой по лицу. Когда-то нежная ладонь уже давно огрубела. Девушка отдышалась и поползла дальше. Об острые камни расцарапала в кровь ногу. На такую боль Саша не обращала внимания. Давно длится осада стойкого русского города. Уже два с половиной месяца немцы в самом городе. Заняли и заводскую окраину, захватили выгодные позиции в центре, а город взять не могут. Много раз прибывало к неприятелю подкрепление и смрадным прахом полегло на чужих, непокорных улицах. Перебираясь через немецкий труп, Саша подумала с торжеством:

«Довоевался, собака! Вон сколько вас падалью валяется, а город — наш! Нашим и останется!»

От этой мысли ее силы как будто утроились, окрепло мужество. Она хладнокровно и точно — пять раз в этот день — исправляла повреждения радиосвязи под страшным огнем противника и отовсюду выходила невредимой. Случайно видевший ее работу в одном из домов пожилой боец восхищенно сказал:

— Ну и храбра ты, девушка! Сама смерть перед тобой тыл дала. Счастливая ты уродилась!

— Оттого и счастливая, что храбрая! — в ответ ему крикнула девушка.

Среди ночи на узле связи дан был Саше приказ доставить аккумуляторы, продукты питания и произвести ремонт радиостанции на «Ольге». Когда она пробиралась к реке, в бою наступило временное затишье. Во многих местах города непроглядная темнота осенней ночи на короткий срок укрыла русских, как друг. Немцы испугались настороженного ее мрака и открыли беспорядочную стрельбу. Внезапно загорелся остов большого здания. Зарево пожара ярко осветило чужаков. Со стороны Саше показалось, что немцы, как бесноватые, плясали какой-то

странный танец. Из-за угла, из осенней темноты, станковый пулемет русских стал косить эти фигуры. «Ах, побольше бы их полегло в этом плясе!» — прошептали Сашины губы.

Она спрыгнула в утлый ялик, поплыла к острову. Неужели светил ей когда-то милый ночной свет родного неба? Даже трудно себе представить тихую лунную ночь или кроткое звездное мерцание. Горит, загасает, снова вспыхивает в нем сейчас множество огней от сигнальных ракет, от орудийной стрельбы — страшных огней войны, ненавистных, вражьих огней. Беззащитный ялик в их разноцветной стихии, как ничтожная скорлупка в океане, и в этом его спасение.

Саша плывет зигзагами; в иные мгновения убирает весла, ложится на дно, движется по воле волн, но все время помнит о своей сумке с инструментом и радиолампами. Долга и опасна переправа. Ни о чем посторонним, хотя бы лично дорогом, некогда подумать. Лишь выбравшись на остров, под знакомой старой вербой неожиданно вспомнила Саша про зарытую здесь копейку. «Не давайся никому, заветная, как сказочный, заговоренный клад! Немецкая нога пусть не смеет коснуться земли над тобой!»

В блиндаже наблюдателей оказался прострел радиостанции, обрыв проводничков.

На «Ольге» сотрясалась земля. Два тяжелых тела сраженных наших бойцов упали около Саши. Сердце девушки стиснула боль родственной жалости к ним, но ее внимание не отвлеклось от неисправного телефонного ключа, руки не дрогнули. Тело у нее затекло от работы в лежачем положении, на лбу выступил холодный пот. Ну вот, есть контакт! Закончив дело, она переменила позу. Присела в блиндаже на корточках, прислонилась спиной к земляной стенке и мгновенно заснула. Спала крепко, не слыша ни грохота орудий, ни гуденья сотрясавшейся над головой земли. Сон был сладок, но длился всего минут сорок. Она приучила себя засыпать на определенный срок и пробуждаться в назначенное время, если даже некому было ее разбудить. Обратный путь оказался более легким. Перед самым рассветом затихла стрельба. До города Саша добралась благополучно и спокойно. Но вместе с рассветом пришел для нее день, полный душевных терзаний.

Еще солнце не встало, как немцы возобновили бом-

бежки. Сашу вызвали к разрушенной городской церкви. От церковного здания уцелела одна колокольня. В ней наверху установили радиостанцию. Но работа рации то и дело прерывалась. Взрывы многотонных бомб сотрясали воздух повсюду в городе. Колокольня содрогалась от основания до верху.

Крутые ступени лестницы дрожали под Сашиными ногами. Она невольно замедляла шаг. Наверху ее ждали начальник радиостанции, радист и офицер-корректировщик. Нетерпеливый мужской голос, хриплый от усталости и гнева, сверху прокричал:

— Чего застряла, чертова улитка! Обмерла, что ль, со страху? Скорей!

Был в этом голосе какой-то родной, незабытый звук. Может ли быть? Саша быстро вбежала по ступенькам и тут действительно чуть не потеряла сознание. Громко и быстро застучало ее сердце. Она удержалась, чтоб не крикнуть от испуга и счастья. Володины глаза гневно смотрели на нее. Но девушка не крикнула и не упала. Она узнала эти глаза больше сердцем, чем зрением. Голос, услышанный девушкой внизу, тоже помог догадаться, чье лицо возникло перед ней в едком дыму на колокольне. Рядом горел кожевенный завод. От пожарища расстилался окрест смрадный, черный дым, останавливающий дыханье в горле, до слез щипавший глаза. Володя ее не узнал в тот момент. И не до того ему было. С завыванием пикировал «мессершмитт», на колокольню летели осколки. Люди с колокольни спустили радиостанцию вниз, антенну вытянули вверх. Ничего не слышно! Саша забыла обо всем на свете, кроме своего дела. Скорей, скорей! Там, внизу, насмерть стоят,— в предельном напряжении бьются за город, за священные его руины, за землю под ним, за свободные просторы ее за ним, за славу и за честь великого народа бойцы Красной Армии. Нельзя оставлять их без связи с командованием. Подняли радиостанцию вверх, опустили антенну. Прошло немного времени, совершенно невозможной сделалась работа радиста наверху. Опять потащили радиостанцию вниз. Саше удалось добиться слышимости. Наступило короткое успокоение. Вот здесь, в полутьме их укрытия, Володя ее узнал, коротко сказал дрогнувшим голосом:

— Сашенька, вот как нам встретиться пришлось!

Они успели только взглянуть глубоко в глаза друг

другу, но даже рук не удалось им соединить в счастливом рукопожатии. Адресат сообщал, что не слышит. Надо снова подниматься наверх. Установили станцию наверху. Офицер только что занял свое место, осколок снаряда ударил ему в бок. Володя упал в пролет лестницы с омертвевшим бедром и разорванной артерией. Только чудо могло бы помочь вовремя сделать ему перевязку. Чуда не случилось. Санитар-носильщик вынес уже бездыханный его труп. Бой продолжался. Продолжала свою работу и Саша. С колокольни смогла она уйти только к вечеру второго дня. Как удалось ей собрать воедино всю свою душевную силу, чтоб не удариться оземь, не убежать со своего поста, не кинуться с горьким рыданьем на распростертое в смерти любимое тело,— она и сама не знает. Удалось. С того дня девушка поставила перед собой как завет на всю жизнь гордое утвержденье:

— Для сильной человеческой души не может быть в жизни страдания, которого нельзя перенести.

Этот завет в слова оформился много позднее, когда на бранных полях снова пробилась зеленая трава и расцвели цветы. В тот день Саша ощутила свято и просто: в счастье ли, в славе ли, в личном ли тяжком страдании она не сможет изменить воинскому долгу, не изменит самой неистребимой любви — любви человека к своей родине.

В стремительном и беспорядочном бегстве отступили немцы от их города. Они оставили за собой одни руины, изуродованную, израненную землю, но вскормленный и вспоенный ею мощный русский дух сопротивления иноземному игу не смогли победить. Через три месяца после отступления немцев Анна Ивановна получила от Саши письмо:

«Дорогая мама! Из газет уже ты знаешь, что мы не сдались, прогнали немцев. О себе могу сообщить, что я награждена орденом Красная Звезда и медалью «За отвагу». Папа очень этому рад. Я получила от него письмо с его фронта. О своих ранах, об их излечении, о награждениях своих, наверное, он тебе писал сам. От папы я узнала, что наш дедушка оказал партизанам большое содействие в крушении немецких поездов. Умер он своей смертью на партизанской базе. Милая мамочка, я очень, очень много пережила, но смогу рассказать откровенно тебе обо всем только при свидании.

Я любила одного человека: он убит на посту на моих глазах. Вот об этом писать я не могу. Всю душу мою открою только лично тебе. В моих волосах за один день появилась целая седая прядка. Но я не отчаиваюсь. Мне кажется, что после войны еще будут у меня встречи. И замуж я выйду, и дети у меня будут, и мужа я буду любить. Но только уж не так. Мамочка, его не забыть никогда мне! С ним вместе ушла моя беззаветная юность. Разрешенным мне отпуском я не воспользовалась, потому что в мирной обстановке тяжелей мне будет исцелиться от самого большого горя, какое до сих пор я испытала. Здесь кругом товарищи, которые знают, как надо мстить врагу за смерть любимых. Я им помогаю. Здесь мне легче перенести несбывшуюся мою мечту. Мне бы только хотелось прижаться к тебе, дорогая моя мама, и разочек выплакаться на твоей груди.

Крепко, крепко, много раз целую и глаза, и щеки твои, и рученьки. А ты сама от меня поцелуй Васю, Маечку и Петю. Любящая тебя дочь старший сержант Александра Степанова».

Близ советской пограничной железнодорожной станции была деревушка со смешанным населением. В маленький колхоз объединились поляки, русские и два еврейских семейства. Немцы, захватив эту местность, жили при станции, в деревню наезжали редко. Мужского взрослого населения к приходу немцев оказалось пять человек. Остались они кто по болезни, кто по горькой случайности. Служить у немцев, покоряться неприятелю *ни один из них не* захотел. Их замучили, убили. Юных девушек и парней угнали на работу в другие оккупированные области и в Германию. С оставшимися в деревне стариками, женщинами и детьми управлялся поставленный немецким командованием староста Казимир Иванович Ляшин, человек неопределенной национальности. В помощь ему немцы поселили в деревне трех полицейских. Некоторые из жителей знали Казимира Ивановича еще до назначения его старостой. Одно время служил он управляющим в экономии польских панов, по ту сторону границы, близко к русской деревне.

Прошлой жизнью его сейчас никто не интересовался. Было важно теперь лишь то, что староста скрытен, хитер *и жесток. Ладить с ним* нелегко. Было нечто сокровенно неприятное и во внешности этого человека. Ловкий телом, моложавый лицом, все же был он явно немолодым в обнаруженной им большой житейской опытности. И взгляд его невеселых, тускло-черных глаз был взгляд человека долгой и нехорошей жизни.

На станцию, в гестапо, увозили из деревни время от времени то старика, то молодую женщину. Все это были люди, которые не могли уберечь себя от гнева или от слишком большой «милости» Казимира Ивановича. Вызванные на станцию в деревню уже больше не возвра-

щались. А вот Анеля вернулась живая и неизувеченная, хоть и посидела в гестапо целых две недели. Вдову Антониевну, или Юзефову, как звали старуху по имени покойного мужа в этой наполовину нерусской деревне, благополучное возвращение Анели обрадовало и смутило. Возникло у нее тяжелое подозрение. Анеле она его не высказала, но молодая женщина почувствовала в обычно сдержанном ее тоне особые, неласковые ноты. Вызвать ее на открытое объяснение Анеля боялась. Измученная страхом и допросами на станции, молодая женщина душевно ослабела. В откровенном разговоре с Антониевной, укрывшей ее с ребенком с опасностью для собственной жизни, Анеля не смогла бы теперь скрыть то, что так упорно и трудно таила про себя в течение двух лет. Длинных, длинных двух лет! Каждый день был грузен от ожидания позора и смерти, каждая ночь полна отчаянием, не дававшим забыться и отдохнуть хотя бы во сне. Старухе тоже были тягостны эти годы под властью врага. Но так ли, как ей, которая пришла искать у нее крова и защиты, смертельно опасной для самой защитницы, для Антониевны? Всей глубины этой опасности защитница не знала. Под чужим именем неведомой Анели пришла к ней молоденькая женщина, беременная на последних месяцах, принесла ей записку от сына. В записке сын просил Антониевну выдать Анелю за его жену и якобы ее сноху. Правда, Станислав написал матери, что это в действительности жена его товарища, но ни настоящего ее имени, ни положения ее мужа по работе при Советской власти он не открыл. Имела ли право она сама рассказать всю правду старухе? Антониевна исполнила просьбу сына скрепя сердце, как показалось Анеле. Просто не могла сыну отказать. Слишком его любила.

Как-то, в час очень редкой между ними душевной беседы, Антониевна сказала Анеле:

— Один он у меня, как свет в очах. Мужа не любила я. Нехороший был, нежалостливый. Увез меня, молоденькую, сюда, на чужую сторону, где чужой язык, чужой нрав, не наши обычаи. Была Стеша, здесь назвали Стефкой, по мужу Юзефовой. А на родине я звала его Осип, Ося да Осенька. Как стал он Юзефом, и характер вроде сменился у него. Самой уж неохота стало с лаской его называть.

Она глубоко вздохнула.

— Юзеф так Юзеф. Помер, и ладно. А я и вдовой осталась не Антоновна, как была, а по-здешнему — Антониевна. И сына Станиславом назвал, Стасиком, а не Степой, Степаном, как я желала, по своему деду, отцу моего отца. Ну да что теперь старое ворошить! Немецкие обиды все перекрыли. Кто раньше чужим казался по языку, по обычаю, нынче своим стал. Сроднились в горькой доле, под немецкой пятой. Коли против немцев идет,— значит, наш! Все одно, как русский, он — свой нам. И ты вот Анеля, а не Маша, не Даша, не Настенька. Ну, тебя-то сын прислал. Его воля для меня главней всего.

Мучительную тоску этих страшных двух лет и Антониевна и Анеля вынесли — не наложили на себя рук, с ума не сошли — только потому, что каждый день, на завтра, на послезавтра, через неделю, через две, ждали прихода Красной Армии. Теперь надежда убита. Советские войска были близко, но куда-то стороной прошли. Была у женщин непостоянная, но возникавшая через более или менее определенное время связь с партизанами. Костя, племянник старухи, скрывшийся от угона в неметчину, приносил им газетку и вести от партизан. И он теперь как в воду канул, нет о нем самом ни слуху ни духу. А тут еще непонятно «благополучное» возвращение Анели из гестапо.

«Продала душу, свою шкуру спасаючи»,— думала она. Окончательно убедила Антониевну в этом встреча с Казимиром Ивановичем. Случайная встреча на улице. Вряд ли случайная! Высмотрел ее, не иначе. Через кого же тише дело устроить, как не через нее, свекровь названую? Старуха вернулась домой с темным и скорбным лицом. И как раз у порога с ней столкнулась Анеля, несла ведро с помоями. Антониевна глянула ей прямо в глаза, потом на помои в ведре и опять в глаза. И таким взглядом, что Анеля остановилась. Даже рукой по щеке провела. Будто плюнула ей в лицо Антониевна. Старуха отвела взгляд, сказала внятно и спокойно:

— Староста велел тебе нынче ночью обязательно к нему прийти.

— А я не пойду,— так же внятно и спокойно ответила сильно побледневшая Анеля.

Старуха скривила губы в злой усмешке:

— Дело ваше. Не мой приход, не мой расход.

И больше во весь день они не сказали друг другу

ни слова, хотя то и дело соприкасались в общей работе по хозяйству.

Настала ночь. Они закрыли ставни на внутренние болты. Обычным тряпьем еще завесили окна. Большая изба дощатой перегородкой, оклеенной пестрыми обоями, была разделена на кухню с русской печкой и горницу. В горнице обстановка городская: и гардероб, и комод, и кровать с пружинным матрацем, и занавески на окнах. Не зажигая огня, старуха улеглась на свою кровать в горнице. Против обыкновения она ни постели не разобрала, ни сама не разделась. Анеля в кухне зажгла самодельный светец, поставила на некрашеный деревянный стол и принялась укладывать сына. Мальчик, которому шел второй год, капризничал редко. Это был здоровый ребенок, привыкший с рождения ко многим лишениям. Как всегда, он быстро заснул, но Анеля, сидя на своей кровати в кухне, не заметила этого. Она продолжала петь колыбельную песню и раскачивать ногой деревянную люльку с загнутыми полозьями, стоявшую на полу. Не зыбку, а нерусскую колыбель-качалку. Анеле всегда казалось, что ребенку в ней неуютно и холодно от близкого земляного пола. Но сейчас мать об этом не думала. Она пела тихую колыбельную, не слыша своего голоса. Глаза ее были сухи, но скорбны в бесслезной горькой жалобе. Ногой она качала, а руки ее привычно двигали спицами. Она вязала шерстяной чулок. И вдруг у нее невольно прорвалось короткое громкое рыданье. Она испуганно закрыла рот рукой, припала головой на край колыбели, уронив свое вязанье. Сейчас же скрипнула дверь, проделанная в перегородке, из горницы вошла Антониевна. Голова ее была не покрыта. Седые волосы торчали тощим пучком. На стене легла от нее страшная тень. Антониевна подняла чулок и присела на табурет у стола.

— Ты чего стонала? — глухо спросила она.— Зубы, что ль, болят?

— Зубы... Сейчас лягу.

Анеля встала и принялась разбирать свою постель, осторожно отодвинув люльку в сторону. Антониевна покачала головой:

— Врешь, а врать не умеешь. Пора бы научиться, коли на то пошла. Без вранья-то уж давно на том свете была бы.

— Ох,— воскликнула Анеля с тоской, повернувшись

к старухе всем телом,— кабы верила в тот свет, в ад пойти я согласилась бы! Хуже не будет.

— А отродье свое — кому? На меня не рассчитывай. Меня свое горе озлобило. Чую сердцем, знаю — убили Стасика, сына моего. И сердце у меня чисто камень сделалось. Не жалко мне ни тебя, ни сынишку твоего.

Как затравленный зверь взглянула на нее Анеля. В глазах были тоска и бессильная ярость. Опустившись на кровать, она спросила злобно и громко:

— А чего же медлишь? Выдай теперь меня. Красная Армия не пришла.

— И не придет. О Косте и то третий месяц слуху нет. Никому теперь не верю я. И ты мне записку ту, может, сама написала. Где мне разобрать, его ли почерк иль поддельный. Может, Стась тогда уже убитый был. Гниют где-нибудь на притоптанном, на кровавом поле его косточки, а ты его именем ко мне в дом вползла, как змея. Змея и есть!

Анеля тяжело вздохнула, сказала слабым и покорным голосом:

— Думайте как знаете. Не в силах я больше просить не только за себя, даже за ребенка моего. Вот вы о своем сыне знаете, что он в Красной Армии. Кабы мне о муже это услышать, хоть что-нибудь услышать, господи! В партизанах ли, в армии, или на месте схватили. В Минске он ведь ответственный пост занимал.

Старуха подняла голову и нахмурилась:

— В Минске-е? А ты же говорила мне, что из...

Анеля вскочила с кровати, с размаху упала перед ней на колени.

— Пожалейте меня! Третий год я вас мамой... мамашей зову! Пожалейте, как мать... Я ведь о вас заботилась, как о родной матери. Пожалейте меня один только день... Вот сегодня пожалейте, как свою родную дочь, не мучайте меня допросами. Только сегодня! Особенная у меня сегодня тоска!

Она заплакала по-детски жалобно, припав головой на колени к старухе. Антониевна строго, неласково положила ей на голову свою руку. Голос ее звучал глухо:

— Никому на свете не нужны мы. Немцы и те, видать, только затем взяли нас, чтобы своему же прохвосту во власть отдать.

Она отстранила с колен голову Анели. Та поднялась с полу, спросила с укором:

— Какой же он — свой?

— Тебе лучше знать. Кому — лиходей, тебе — добродей. Кабы не он, думаешь, в гестапе обошлись бы с тобой так, спрохваля-валя? С кем еще из нашей деревни были они этакие вежливые?

Анеля ахнула, заговорила не сразу и совсем не своим, тоненьким, жалобным голосом:

— Что вы? Вы что... подозреваете? Били меня, и на железной дороге я тяжелую работу работала.

— Били! Это для них не битье, коль ты — живая, ни в костях, ни в теле не поврежденная. И над женской твоей честью,— ты сказывала, коль не соврала,— они не надругались. Ну и о чем же разговор. Для себя Казимир тебя выпросил. Пойдешь, что ль? Пора.

Анеля всплеснула руками:

— Не пойду! О господи, родная моя мама, где она? Неужели и она забыла обо мне? Посмотрела бы, как мне тяжело около чужой, нежалостливой матери, сердце бы кровью облилось у нее! Куда вы меня гоните? На что толкаете? Как не стыдно вам! Ведь я тоже мать! Не могу я больше! О-о-о! Жить больше не могу.

Она страстно зарыдала, упав ничком на пол около колыбели. Ребенок проснулся от громкого ее рыданья, испуганно заплакал. Анеля опомнилась. Глотая слезы, она расправила на нем одеяльце, погладила его, нежно приговаривая:

— Нет, мое солнышко, сыночек мой, мама здесь, мама с тобой. Спи, спи, голубеночек! С тобой я, никому не отдам. А-а-а!

— Вот... Понимаешь, как за дитя сердце болит. А над ним поешь светло, ласково, скорбь свою затаиваешь. И я над своим пела так! А где он теперь, где?

Внезапным озлобленьем скрывая острую жалость к Анеле, старуха крикнула:

— А с пащенком твоим возиться не буду. С чужим дитем возись, да еще Казимиру твоему угождай на старости лет.

— За пащенка этого,— отозвалась Анеля сдержанно,— я на вас, как батрачка, работала. Да какая батрачка! Как мужик-батрак, всю полевую работу ворочала. И для вашего хозяйства, и на немцев не только за себя, а и за вас какую работу ворочала! Внутри все у меня надорванное от этой работы. А я ни разу не пожаловалась. Из уважения к вам сдерживалась. Думала про

вас: «Вот женщина — за себя не побоялась, меня с ребенком укрыла, защитила. Вот оно что значит — русская женщина». Так я думала...

— И чего ты мне все в нос шибаешь — русская, русская? Ты-то русская, что ли? Имя-то у тебя откудова неправославное — Анеля? А?

— Ах, вон вы как заговорили! У нас, в Советской России, все мы одно, люди одной страны. И кровь, и порода, и мысли, и вера наша! Я только на ваши слова указала вам, что и национальности мы с вами одной. Знаете, что я вам скажу? Не верю я, чтобы вашей душе, суровой, но честной, была подлость свойственна. Не выдадите вы меня, нет! Я вам сейчас себя в руки полностью отдам. Нет у меня иного выхода. Это последняя моя ночь. Ночь моей гибели. Не может быть, чтоб и умереть мне пришлось на руках предательницы. Не верю я в это. Я вам все про себя расскажу. И не боюсь! Я чувствую, что вы мне поможете умереть без отвращенья к людям.

Антониевна слушала Анелю, стоя прямо перед ней. Она сама не заметила, как поднялась с табурета. Она разглядывала Анелю, будто видела ее в первый раз. И голосом, полным удивления, она спросила ее:

— Что это ты как заговорила? Такой речи я от тебя никогда не слыхивала. Языком ворочала, вроде как мы, деревенские, а теперь...

— И я сама думала, что, кроме грубых и насущных слов, забыла я все, чему училась, что знала, какая речь была обычной для меня. Не в том дело. Сейчас некогда! Не сегодня ночью, так завтра меня смерть смахнет. Всякая речь моя замолкнет. Любовницей Казимира я не стану. Живой не дамся! Да разве это может быть иначе? Вы сами понимаете. Но я не о Казимире. Если б даже наш честный советский человек, товарищ прекрасный, красавец, умница... Все равно, никому я не могу принадлежать как женщина. Да разве я могу после Сергея, после нашей с ним любви?.. Ах, не знаете вы... Сами рассказывали, что своего мужа не любили, Не знаете вы, какая бывает любовь к мужу, к нему, единственному.

— А может, и знаю... Только не к мужу,— глухо проронила старуха.

— Это непонятно мне. То есть умом понимаю, а сердце не соглашается. Мне посчастливилось. Я сразу

встретила человека, которого уж никем заменить нельзя. Он один на всем свете муж для меня.

Она всплеснула руками:

— С такой любовью в душе, как я могу спасать свою жизнь в чьих бы то ни было объятиях!.. А... о Казимире что же говорить? Подумать даже мерзко.

— Что же ты делать будешь?

— Если его не удастся убить, себя убью. Больше выхода нет. Не надо об этом сейчас. Некогда! Он с часа на час может прийти, а мне еще много надо сказать вам. Не надо вспоминать, что вы мне говорили.

Дрожащими руками она взяла правую руку Антониевны и прижала к своим губам. Потом, не выпуская ее из своих рук, попросила:

— Сохраните моего ребенка! Сохраните его жизнь. Может быть, может быть... Передадите его отцу... Невредимого, живого, нашего сына. Ведь может же это быть! Может! Хоть после смерти моей может! Спаси, выходи, вырасти моего сына!..

Анеля снова припала в поцелуе к руке старухи. Губы у старухи задрожали. В сильном волнении она прижала голову Анели к своему плечу, сказала медленно и очень твердо:

— Возьми светец, иди за мной.

Анеля подняла светец, Антониевна схватила ее за другую руку и повела в горницу.

— Поставь на стол свет, садись к столу.

Старуха отошла к изголовью своей кровати, где стоял старинный, расписанный разными цветами, уже потускневшими от времени, деревянный сундук, сняла с пояса большой ключ, открыла сундук и недолго искала в нем. Из складок слежавшегося русского сарафана достала Антониевна выцветшую фотографию. С карточкой в руке подошла к Анеле. Лицо у старухи было тоскливое, но торжественное. И глаза на нем вдруг снова ожили, засияли горячим светом. Анеля невольно поднялась ей навстречу.

— Вот,— чуть дрогнувшим голосом сказала Антониевна.— Это Стасик, младенцем снятый на карточку. Ему, ребенку, моему ребенку, хоть и не слышит он меня теперь, даю я обещание, сильную клятву даю, материнскую. Не знать мне еды без горечи, не выпить мне воды до утоления, сколько бы жажда ни томила меня, и в самой смерти не узнать мне покоя, коли я не выхожу

сына твоего, как мной роженного моей лаской утешенного. Крепче этого обещанья нет у меня. Верь мне Как звать-то тебя?

— Наталья Васильевна Гладышева. Фамилия родителей моих — Скворцовы.

— Так вот, Натальюшка, коли неведомо какими судьбами сделается, что ты сама жива останешься, будешь и ты мне теперь истинно как дочь. Ну за день все расскажешь. Ночь кончилась. По светлому дню тать и палач не ходят. Рассвет я не хуже петуха чую. Сегодня не пришел Казимир, и еще на день есть жизни у тебя. А может, и на долгий срок.

Старуха сняла тряпки с окна, открыла и вытолкнула болт. В комнату проник слабый утренний свет. Он показался измученной молодой женщине особенно чудесным С необъяснимой, но твердой уверенностью она подумала

«Останусь в живых и я».

В этом томе собраны произведения, написанные Сейфуллиной в 1925—1946 годах. Из всего написанного за эти двадцать лет здесь печатаются избранные повести и рассказы.

1925 год был годом итога и перелома недолгого творческого пути Лидии Николаевны Сейфуллиной. В этом году вышла из печати «Встреча» и была написана повесть «Каин-Кабак» — последнее крупное произведение о революции и вообще последнее большое произведение писательницы. Обе повести полны впечатлений борьбы, горячего дыхания революции, сюжет их наполнен правдивыми художественными деталями, которые нельзя придумать, а можно лишь увидеть своими глазами, запечатлеть чутким сердцем очевидца. Но в этих повестях уже ощущается исчерпанность темы, снижение героического пафоса. Бескомпромиссный герой, сознание которого всколыхнула революция, герой, твердо и навсегда принявший революцию и без колебания отдающий ей жизнь,— Софрон, Виринея, Гришка Песков уходят со страниц Сейфуллиной. Их место занимает герой «с ущербинкой», «с надломом». Таков Алибаев, таков и Виктор Кандырин. В сущности, и тот, и другой принимают не революцию, а обстоятельства, одинаково подчиняясь им, плывя по течению. Борются они хотя и на стороне революции, но не за революцию, а только за себя и для себя, за свое уютное и удобное место в революции.

Повести эти, написанные уже по окончании гражданской войны, впитали в себя много тем и проблем, рожденных переходным периодом: опасность анархизма, растерянность и капитуляция перед нэпом, растлевающее влияние мещанства («Каин-Кабак»); скрытая опасность примазавшихся к партии, приспособленцев к революции, заблуждающейся и прямо враждебной интеллигенции («Встреча»). Все это было актуально для своего времени, и все это стояло в повестях Сейфуллиной как проблемы, зачастую не до конца решенные, а лишь поставленные.

Но четкими и определенными остаются позиции писательницы.

Ей симпатичен Виктор Кандырин, умный и сильный крестьянский парень, понятна его ненависть к тем, кто угнетает физически и нравственно, топчет ногами достоинство человека. Она сочувствует его стремлению выбиться вверх, выйти в люди. Но Кандырин идет кривыми тропинками, которые отводят его в сторону от прямого пути. В душе его надрыв от совершенного подлога, сознание надломлено необходимостью продолжать обман. Писательница показывает, что Кандырин проиграл и погиб еще до того, как случайность помогла разоблачению. Нельзя строить новую жизнь грязными руками — таков итог повести.

Григорий Алибаев, герой повести «Каин-Кабак», тоже сошел с прямой дороги. Партизанский вожак, боевой командир не понял нэпа, капитулировал, поддался.

«Размах и разлив крестьянской красной партизанской стихии, революционные, часто полуанархические, полународнические иллюзии оказали пролетарской революции огромную помощь в свое время, но их нужно было решительно преодолеть, как только пришлось вводить революцию в планомерное русло, дисциплинировать революционные колонны, и еще больше пришлось это делать, когда надо было перейти к нэпу, когда настали восстановительные годы упорного, кропотливого труда» [1],— писал А. Воронский.

На подвиги мирного времени Алибаев не был способен. Власть и безделье развратили мужика. Он живет как разбойный атаман, собирает дань в своей волости, плюет на приказы из центра, кутит с дворней, зверствует и естественно приходит в лагерь контрреволюции.

Писательница произносит над ним приговор более страшный, чем смертный,— Алибаев разлагается духовно, перерождается в сытое, жирное, сонное животное.

Психологически точно мотивированы в повести все повороты души Алибаева. Характер этого героя — одна из больших творческих удач Сейфуллиной. Но в целом в обеих повестях ощущается некоторая композиционная рыхлость, несоразмерность отдельных частей, растянутость. Порой Сейфуллина увлекается второстепенными эпизодами, характер героев второго плана рисует эскизно, неубедительно.

Двадцать пятый год был годом славы и известности писательницы. В Третьей студии МХАТ (будущий театр имени Евг. Вахтангова) была поставлена и триумфально прошла по многим сценам пьеса «Виринея», написанная вместе с В. П. Правдухиным. В этом году вышло первое трехтомное Собрание ее сочинений [2], куда вошло почти все написанное за 1922—1924 годы. В следующее пятилетие

[1] А. Воронский. Лидия Сейфуллина.— В сб.: «Литературно-критические статьи». М., 1963, с. 312.

[2] Л. Сейфуллина. Собр. соч. в 3-х томах. М., «Современные проблемы», 1925.

одно за другим выходят четыре издания в ГИЗе [1], где впервые во вступительной статье рассказывается о жизни и творчестве Сейфуллиной.

Параллельно с томами Собрания сочинений идет широкий поток изданий отдельных произведений, сборников. Каждый новый опубликованный в журнале рассказ перепечатывается сразу несколькими центральными и периферийными издательствами. Ни один сборник произведений советских писателей не обходится без рассказа Сейфуллиной. Но издаются и переиздаются в основном старые, заслуженные вещи, уже вошедшие в историю литературы: «Правонарушители», «Перегной», «Виринея», «Мужицкий сказ о Ленине», «Четыре главы». Они выдерживали по 18—20 изданий, выходили несколько раз в году, раскупались полностью и сейчас очень редко встречаются на прилавке букиниста.

Но 25-й год потребовал новой темы — темы мирного развития революции, героя новой формации. Сейфуллина улавливает эту необходимость времени, ощущает ее чуткой душой.

В поисках новых героев и тем Сейфуллина бросается в гущу будней, изучает, присматривается, пробует новый сюжет и стиль повествования.

Первым произведением на новом материале был рассказ «Налет». В центре его «новый человек» — наивная, но твердая и бескомпромиссная девушка, внешне бесцеремонная и грубоватая, в сущности, беззащитная и добрая, с большим чувством достоинства, с одним страстным желанием — учиться. Она сознает свои права и с гордостью говорит: «Я — себе хозяйка». Ее антагонист — Астахов, интеллигент старой формации, ушедший от действительности в науку,— вынужден признать, что будущее за Клепкой. Внезапный налет на его благополучный и уютный мир выводит его из отрешенности. Он ощущает себя в родстве «с идущими взамен по иным крутизнам и провалам, в иной броне, иной походкой...».

Но новая тема в новых условиях большого города (с 1923 года писательница живет в Москве, с 1925-го — в Ленинграде), где ярко видны контрасты быта, расслоенного нэпом,— новая тема тяжело ложится на страницы. Сейфуллиной проще написать стилизованный сказ «Из рассказов Анны Максимовны», насыщенный знакомым ей материалом, женским страданием, или охотничьи рассказы «Поневоле», «Из дневника охотника», такие светлые, лирические и тонко ироничные одновременно.

На рубеже 20—30-х годов имя Сейфуллиной стало реже появляться на страницах журналов, среди книжных новинок. Критика

[1] Три пятитомных и четвертое — в шести томах: Л. Сейфуллина. Собр. соч. в 6-ти томах. Изд. 4. М.— Л., ГИЗ, 1929—1931 Под ред. В. П. Правдухина.

тех лет решительно охарактеризовала этот период творчества как «спад», «застой». Не совсем справедливое мнение уже потому, что писательница в эти годы публиковала много очерков, статей, часто выступала перед читателями, рабочими, студентами. Продолжалась упорная работа и над художественными произведениями. Но начало кризиса безусловно ощущалось. Были в эти годы успехи, но были и творческие поражения.

Снова (после «Виринеи») писательница обращается к драматургии. Совместно с Правдухиным в начале 30-х годов пишет четырехактную пьесу «Черный яр». В 1931 году заканчивает работу над пьесой «Попутчики». В сезон 1932 года «Попутчики» были поставлены в театре б. Корша. Премьера прошла без особого успеха, пресса откликнулась на нее резко и неодобрительно, обвиняли Сейфуллину *в намеренном искажении действительности, в злопыхательстве.* Писательница недоумевала, искала причины «в режиссере, актерах,— только не в себе».

Объективно разобраться в слабостях и недостатках своей пьесы помог следующий факт. Будучи в Вене, Сейфуллина прочитала похвальный отзыв о «Попутчиках» в газете «Нейе фрейе пресс». Хвалили пьесу только за то, что ее раскритиковала «официальная Москва». Это потрясло Сейфуллину. Она прервала переговоры о постановке «Попутчиков» в Венском театре и уехала из Вены. Позднее, в 1940 году, Сейфуллина вспоминала об этом инциденте: «Я поняла, как может написанное плохо произведение ударить автора не только по загривку, но и по душе... По возвращении домой я перечитала свое произведение «Попутчики» уже не субъективно, а объективно. Я увидела, что это — мой писательский брак. Нельзя, взявшись за изображение явлений большого масштаба, поставить в фокусе мелочь, маленькую единичную судьбу, нехарактерную для всей картины...» («О своей литературной работе»).

Сейфуллина продолжает писать, хотя начало 30-х годов было, как характеризовала она сама, «черным периодом» в ее жизни — серьезная болезнь, операция, бытовая неустроенность, материальные затруднения. Замыслы ее сосредотачиваются на создании произведения крупного жанра. 29 декабря 1932 года «Литературная газета» публикует интервью с Сейфуллиной, где она сообщает: «Я пишу большую повесть «Страна», которую предполагаю закончить в 1933 году. На материалах, собранных мной во время последних моих путешествий, я хочу написать путевые впечатления, в которых сопоставляются впечатления от поездок за границу и от поездок в Свердловск и Магнитогорск».

Работа над повестью началась еще в 1931 году. Через два года был опубликован небольшой отрывок из нее под названием «Семья» («Красная Татария», Казань, 1933, № 244).

В процессе работы замысел значительно трансформируется, углубляется, конкретизируется в жизненном материале. Теперь программа такова: «...изобразить все противоречия, существующие в нашей стране, все «за» и «против», и чтобы читатель сказал «за», «да здравствует наша страна». Я хочу показать и трудность эпохи, и все то, что пришлось преодолевать... Мне хочется показать в этой повести или романе, как строится совершенно небывалая страна — СССР, и рассказать очень просто, не объяснением от автора, а показом отдельных членов отдельной типичной семьи: людей, которые строят Магнитогорск или что-нибудь еще — не важно, что именно,— показом роста самого строительства и борьбы с теми, кто противодействует ему. Я хочу показать всю сумму противоречий, показать, как изживаются эти противоречия. Мне надо, чтобы читатель мог поднять руку «за» на основании моего произведения» («Критика моей практики»).

Повесть писалась очень медленно. К середине 1934 года было окончено только шесть глав. При подготовке их к печати Сейфуллина заново с большой требовательностью пересмотрела все произведение. В результате из шести глав только одну писательница признала годной для публикации. Эта глава после тщательной переработки вылилась в законченный рассказ «Таня», который и был напечатан в «Новом мире».

Попытка создать произведение крупного масштаба о социалистическом строительстве кончилась неудачно. Индустриальная тематика осталась для Сейфуллиной чуждой, хотя писательница уже десять лет жила в больших городах — Москве и Ленинграде,— много ездила по стране, по грандиозным стройкам первой пятилетки. Около года работала на ленинградском «Красном треугольнике», была в Магнитогорске и Свердловске, на паровозоремонтном заводе в Оренбурге, на рудниках Ормедьзолото.

Горький, который внимательно и строго приглядывался к Сейфуллиной, побуждал ее писать для журнала «Колхозник», привлек ее к работе над коллективной книгой «Прошлое и настоящее Горьковского края». Сейфуллиной поручена глава о городе Горьком. Она изучает жизнь города, беседует со многими интересными людьми, знакомится с рабочими (см. сб.: «Горький нижегородских лет», 1978, с. 249). Очевидно, писательница искала новые темы, искала в нужном направлении и несомненно находила их, но эти темы не стали для нее ведущими.

Сейфуллина сама сознавала это. На встрече с рабочими авторами, организованной Профиздатом в начале 1934 года, писательница говорила: «Меня много раз чистили, чистят и сейчас на моих творческих читках, где я выступаю с отчетами, с объяснением того, почему у меня нет произведения о социалистическом строительстве... Мне задают вопросы везде и всюду, меня упрекают, говорят, что я не

желаю видеть наших успехов, не желаю участвовать в социалистистроительстве страны. Нет, товарищи, я желаю, но моя пионопытность и мое сознание ответственности мешают мне выбрасывать брак на рынок... Большинство лет моей работы и бо́льшая часть моей жизни прошли в деревне, и сразу переключиться на тематику заводскую, городскую не так-то легко».

Были, однако, и более глубокие причины, обусловленные своеобразием литературных процессов 30-х годов, с одной стороны, и индивидуальной творческой манерой Сейфуллиной — с другой. Сейфуллина осталась в плену поэтики и тематики 20-х годов. Ее произведения 30-х годов там, где она обращалась к современности, кажутся мелкотемными, незначительными и случайными по своим проблемам. Они не отражают ведущей тенденции эпохи. Лучшее, что создано писательницей в 30-е годы, например рассказ «Собственность» (1933), в идейно-стилевой основе связано с творчеством начала 20-х годов.

В 1934 году были опубликованы рассказы «Молодость», «Личная беда» и «Таня», в 1936-м — «Вор». В центре каждого из них стоит образ женщины. Положение женщины в новом обществе, ее самостоятельность, материальная независимость от «мужа-кормильца» и основанное на этом новое решение семейных конфликтов, одоление личной женской беды — вот основная тема этих рассказов. Тема достаточно актуальна и животрепещуща. Сейфуллина привыкла видеть женщину рабски униженной, зависимой и бесправной в глухих окраинных селах и провинциальных городах, где писательница провела свою молодость, особенно радостно было осознавать и создавать образ новой женщины, равноправной в семье, женщины-гражданки, нашедшей свое место в обществе.

Однако в рассказах этих лет ощущается скоропись. Не всегда достаточно логическую и художественную мотивировку получают поступки и действия героев, несколько искусственной кажется ситуация, слишком прямолинейно решаются конфликты. Сейфуллина пишет трудно и мало. И критические статьи о ее произведениях появляются теперь редко. Критика о Сейфуллиной середины 30-х годов не представлена большими именами и значительными статьями.

Но лучшие ранние ее рассказы, ставшие уже классикой, продолжают переиздаваться. В 1931 году выходом пятого и шестого томов заканчивается четвертое издание Собрания сочинений Сейфуллиной. С 1930 по 1936 год в разных московских издательствах вышло девять сборников повестей и рассказов.

В 1934 году в литературной жизни страны произошло знаменательное событие — Первый Всесоюзный съезд писателей, сыгравший определяющую роль в направлении и развитии литературного процесса в целом и в личной писательской судьбе каждого литератора. Съезд избрал Сейфуллину членом Правления ССП, а на первом же

пленуме правления ее избрали членом президиума. С этого момента и до конца жизни, в течение двадцати лет, Сейфуллина ведет огромную организационную и административную работу в Союзе писателей; она отдает этому делу много сил, энергии, нервов, творческого времени; пишет множество критических и публицистических статей, часто выступает на заседаниях ССП, участвует в работе областных сессий писательской молодежи. Все это отодвигает в сторону собственные художественные замыслы, не способствует спокойной работе за письменным столом.

Год от года Сейфуллина создает все меньше и меньше. Это тревожит писательницу, тревожит ее друзей. Умный и чуткий к своим собратьям Максим Горький настойчиво советует ей писать, определяет и подсказывает основную тему — «...о детях, о женщинах, в их современном виде». Это пишет Горький Сейфуллиной из Тессели 19 ноября 1934 года. Высоко оценивая литературную деятельность Сейфуллиной, Горький упрекает ее за молчание:

«...мною давно уже было замечено, что Вы не только весьма даровитый литератор, но человечица, влюбленная в литературу, и, главное, смело честная, искренняя — качества, коими литературная «среда» не изобилует

Вы бы лучше писали побольше, да не писем к старикам, а — рассказов, повестей, даже роман следовало бы попытаться начать... У Вас есть вполне определенное, своеобразное дарование, и Вы не имеете права игнорировать его... Вы человек талантливо чувствующий, и Вы имеете все данные для того, чтоб талантливо знать, талантливо различать нужное от ненужного, находить в навозе жизни ее жемчужные зерна» («Литературное наследство», т. 70, с. 370).

То же сказал Горький и при личной встрече с Сейфуллиной в июле 1935 года: «Не работаете, Сейфуллина, это стыдно! Неужели Вам не завидно, что другой литератор нарисует образ советской женщины?» (Л. С е й ф у л л и н а. Человек (К десятилетию со дня смерти А. М. Горького).

В 1935 году Сейфуллина пробует работать для кино. Об этом сообщалось в обзорной статье «Литературной газеты» — «Работа писателей в кино» (30 мая 1935 года): «Писательница Сейфуллина работает над сценарием «Страна родная». В этом фильме будет показана героическая жизнь, борьба и рост женщины-революционерки, которая, пройдя через огонь гражданской войны, создает новую себе социалистическую жизнь».

Судя по аннотации, сценарий не связан с замыслом повести «Страна», хотя их названия почти тождественны. Работа на кино не была плодотворной, неизвестно даже, как далеко продвинулась она. Но, вероятно, на материале предполагаемого сценария была написана пьеса «Наташа», два года спустя опубликованная в «Новом мире».

Пьеса была принята к постановке в театре Мейерхольда, доведена до генеральной репетиции, однако не увидела сцены и принесла автору не столько радости и удовлетворения, сколько огорчений и незаслуженных обид.

Происходят трагические события и в личной жизни Сейфуллиной. Навсегда из ее жизни уходит верный друг, редактор ее книг и критик В. П. Правдухин. На несколько лет почти совсем замолкает голос писательницы. В этот период не издаются даже ранние ее произведения. Замолкает и критика.

Выход из кризиса пришел только в 40-е годы. В 1939 году за заслуги в развитии советской литературы правительство наградило орденами и медалями большую группу ведущих писателей. Сейфуллина была удостоена ордена Трудового Красного Знамени. Это придало новые силы, прибавило энергии, послужило стимулом к работе.

Издательство «Советский писатель» начинает подготовку к печати сборника избранных произведений Сейфуллиной. Выходит он (со значительными исправлениями и искажениями текста) уже в дни Великой Отечественной войны, когда писательница вместе со всем народом жила иными заботами и проблемами.

В дни войны Сейфуллина, уже немолодая женщина, работает с полной самоотдачей. В июне 1941 года она просит Союз писателей послать ее на фронт военным корреспондентом. Просьбу отклоняют, но дела, работы находится достаточно. 5 октября 1941 года Сейфуллина писала Марии Павловне Чеховой из военной Москвы: «...Я пишу, выступаю в госпиталях, призывных пунктах и на митингах... Меня хотели эвакуировать в Нальчик с той же партией «пожилых и заслуженных», с какой уехала Ольга Леонард. Я решительно отказалась... Работы у меня здесь много. В большинстве невидной, но живой... Пишу ежедневно для иностранного радио, для заграницы через Информбюро, для заводских газет... Такова моя работа в данный момент. Мне ее определил Союз Советских писателей» (цит. по ст.: Г. Балакин. Слово писателя-гуманиста.— «Сибирские огни», 1969, № 3, с. 166).

В мае 1942 года Сейфуллина получает командировку в госпитали Западного фронта для сбора материала о героическом труде медицинских работников.

Двадцать пятую годовщину Красной Армии писательница празднует в смоленских лесах вместе с солдатами и командирами гвардейской части, которая готовится к наступлению на Ржев и Гжатск. Ее награждают значком «Гвардия», и солдаты присваивают ей звание «гвардии мамаша».

В 1943 году было несколько выездов в воинские части Западного фронта, в госпитали. Сейфуллина снова просится «на штатную» должность во фронтовую газету и, наконец, в декабре 1943 года без разрешения и направления появляется в редакции «Сына родины».

В мае 1944 года она уже в освобожденном Крыму выступает в Севастополе, Симферополе, Ялте. Продолжаются выступления на радио, корреспонденции, очерки, статьи, зарисовки для московских газет и журналов. Писательница откликается на каждое знаменательное событие на фронте и в тылу.

Много сил и времени в период войны отдается работе в Комиссии по приему в ССП. Сейфуллина буквально завалена рукописями начинающих писателей, читает, оценивает, критикует, советует. Для творческой работы остаются ночные часы, холодные ночи военной Москвы с частыми налетами фашистской авиации и канонадой зенитных батарей.

В годы войны по горячим следам событий, под впечатлением поездок на фронт и по взволнованным, еще сбивчивым рассказам бойцов и жителей, освобожденных от захватчиков, Сейфуллина писала очерки и рассказы — «Сережа Воронцов», «Партизанка», «Саша», «У самого фронта», «Чеховский домик», «Ночной разговор», «Дома», повести «На своей земле», «Зеленые ленточки» и многое другое.

Повесть «На своей земле» — лучшее произведение Сейфуллиной на военную тему. Автор книги о писательнице Н. Яновский сообщает, что в основу ее «были положены воспоминанья Аксиньи Прокопьевны Чайкиной о ее трудной жизни, о партизанской деятельности и героической гибели ее дочери Лизы. В архиве писательницы хранятся записи ее бесед с матерью Лизы Чайкиной, интереснейшие стенограммы рассказов комсомольцев-разведчиков, которые сражались вместе с Лизой». Особую ценность повести критик видит в том, что писательница показывает «процесс рождения героини». «Старуха Строгова Дарья Захаровна... лицо живое и оригинальное. Ее трудно забыть. Она совершила подвиг, сознательно пошла на смерть, но писательница не наделяет ее чертами подвижника, бестрепетно жертвующего собой во имя долга. Нет, душевная жизнь ее человечна. Ею руководит великая любовь и святая ненависть» (Н. Яновский. Лидия Сейфуллина. М., «Советский писатель», 1959, с. 162).

Повесть создавалась на протяжении всех военных лет: первый отрывок из нее — «Партизанка» — опубликован в «Правде» 28 октября 1942 года, полностью повесть напечатана в «Новом мире», № 1—2, в первом мирном 1946 году. Сейфуллина воспевала здесь подвиги людей, ничем не приметных в обыденной жизни. Верность действительности, мастерски вылепленные образы героев — Захаровны, крестненьки, горбуньи, Настасьи, старосты,— драматизм коллизии, обусловленный драматическими событиями истории, отличают это произведение.

Позже писательница рассказывала А. Фадееву, что в военные годы она написала еще одну книгу «на фактическом материале —

историю девушки, героини Отечественной войны...», которая не увидела света. (З. Сейфуллина. Страницы воспоминаний о А. Фадееве.— «Сибирские огни», 1963, № 5, с. 165).

Художественные произведения военных лет — глубоко патриотичные вещи, мобилизующие волю и энергию. Как и прежде, женщина остается центральной героиней повествования. Она равноправный боец на фронте, несет все тяготы и опасности в партизанском отряде, хладнокровно, не дрогнув, продолжает работу во фронтовом госпитале, когда стены рушатся от вражеских снарядов. Она болеет за свою родину и народ и все силы кладет на одоление врага. И хотя в этих произведениях преобладает очерковое начало, они сделали в свое время хорошее, честное дело и были горячо приняты читателем.

В одном из военных выступлений — «Моя присяга» — Сейфуллина писала: «Я соберу всю душевную силу, чтобы достойно запечатлеть на книжных страницах священный гнев моего народа, его подвиги во второй Отечественной войне, свет и счастье его окончательной победы над врагом» («Сибирские огни», 1969, № 3, с. 168).

Сейфуллина осталась верна своей присяге.

Последние годы жизни Сейфуллина целиком отдает работе с молодыми писателями. Правда, в 1946—1949 годах Сейфуллина пишет пьесу «Сын» и на том же материале одноактную пьесу «Доктор Воробьев», в 1948 году — рассказы «Обида», «Письмо» и «Происшествие», появившиеся в журнале «Крестьянка», в 1950 году — одноактную пьесу «Новая весна», но забота о писательской молодежи в этот период все-таки является основой в ее литературной жизни.

Сейфуллина понимает, как важно вырастить молодую поросль, подготовить идейно крепкую писательскую смену, чутко улавливающую ритм жизни, владеющую литературным мастерством. Ее дом открыт для всех, кто ищет совета опытного литератора, консультации, помощи. Ее время и убывающие силы отданы писательской молодежи. Она пишет много рецензий, внутренних и для печати, на книги молодых авторов. Особую душевную симпатию испытывает Сейфуллина к сибирякам, людям сурового края, где сама она начала путь советского литератора.

Как итог писательской и человеческой деятельности Сейфуллиной звучат слова известной телеграммы А. Фадеева:

«Одна из зачинателей, она оставила глубокий след в развитии советской литературы.

Мне лично она всегда была дорога как человек кристальной чистоты, прямоты, как чудесный товарищ, как учитель, поддержавший мои первые шаги в литературе» (А. Фадеев. Собр. соч., т. 5. М., 1961, с. 495).

Повести и рассказы

Встреча

(стр. 7)

Впервые полностью — в журнале «Красная новь», 1925, № 7, сентябрь; № 9, ноябрь; № 10, декабрь.

До публикации «Красной нови» отрывки из повести печатались во многих журналах и газетах под разными названиями («Обида», «Банный день», «Дом отдыха» и др.).

Сестра писательницы З. Н. Сейфуллина вспоминала, что в Челябинске шел трехдневный судебный процесс по делу о присвоении диплома врача. Подробности его обсуждал весь город. Лидия Николаевна присутствовала на процессе, который и подсказал ей сюжет повести «Встреча».

Критические статьи о повести появлялись до окончания ее печатания в журнале, и первые из них были недоброжелательны. Г. Лилевич, например, увидал в повести лишь превознесение «народушка» («Известия», 1925, 24 сентября). Несправедливо и резко высказался о повести критик журнала «На литературном посту» (1925, № 4).

Были и более объективные отзывы. В. Друзин в рецензии на седьмой номер «Красной нови» писал: «Наиболее значительной вещью является, конечно, «Встреча» Сейфуллиной. Здесь как на ладони отразились все достоинства и недостатки этой заслужившей большую популярность писательницы». Очень высоко оценил Друзин первую часть повести — «Сын Балакаря» («Красная газета», вечерний вып., 1925, 31 октября).

Более спокойными и глубокими по анализу были отзывы в обзорных статьях о литературе 1925 года. В статье «Русская литература в истекшем году» А. Лежнев писал: «Неудачным оказался 1925 г. и для Сейфуллиной. Ее «Встреча» — вещь слабая, во много раз ниже «Виринеи» и «Перегноя». Как раз этой неудаче мы не склонны придавать большого значения. Творчество Сейфуллиной характеризуется вообще своей неровностью, колебаниями. И если есть здесь что-либо симптоматическое, так это — не неудача Сейфуллиной, а та страстность, почти ярость, с которой часть критики принялась разносить писательницу еще до того, как «Встреча» была окончена» («Печать и революция», 1926, № 1, с. 120).

Критик Д. Горбов в обзоре «Итоги литературного года» писал: «...Л. Сейфуллина — писательница от земли и от мужика. В этом вся ее сила и вся ее слабость. Все, что относится на страницах Сейфуллиной к тяжелому, спертому, но сильному своей жизненной насыщенностью крестьянскому быту,— дано превосходно. В этой

области она умеет давать не только яркие изображения статических бытовых форм, но выслеживать и обновляющие жизнь тенденции». Отмечая описание жизни провинциального города, «социально четкое и художественно сделанное из одного куска» (гл. V), массовые крестьянские сцены, Горбов заключает: «Мужичья стихия и ее разновидность — стихия солдатская — составляют безусловно ценное художественное содержание вещи». Неудачным кажется критику в этой повести поверхностное изображение городских людей («Новый мир», 1925, № 12, с. 141).

Доброжелательно оценил повесть А. Воронский в статье «О том, чего у нас нет»: «Повесть хуже «Перегноя» и «Виринеи», но не хуже «Четырех глав» и «Путников». Отразились в ней и наши будни: от деревенской, глубоко жизненной свежести, от сочного, пропитанного избяным и хлебным запахом житья-бытья Сейфуллину потянуло к психологической осложненности Гребнева и к «проклятым вопросам». Не вышло это у нее. Вместо психологии получился разговор. Есть указующий для писательницы перст в том, что лучшие страницы «Встречи» те, в которых изображен деревенский Балакарь и его сын Виктошка. Не надо Сейфуллиной отходить от этой среды и быта, хорошо ей ведомого, тепло, человечно и любовно ею ощущаемой, за что, собственно, ее больше всего и принимал хорошо читатель» («Красная новь», 1925, № 10, с. 257).

Линюхина Степанида
(стр. 165)

Впервые — в сборнике «Подарок делегатке», ГИЗ, М., 1925, под названием «Товарищ Линюхина Степанида», с большими сокращениями.

Каин-Кабак
(стр. 183)

Впервые — в журнале «Новый мир», 1926, № 4, апрель, и № 6, июнь.

По свидетельству Л. Н. Сейфуллиной, в рассказе Алибаева о детстве она использовала факты биографии своего отца. «Личная моя судьба тесно связана с жизнью моего отца,— писала Сейфуллина в автобиографии,— поэтому я должна подробней рассказать о нем. Отец мой татарин. Мой дед был плотником и проживал в Мамадыше Казанской губернии. Во время пожара в этом местечке сгорела не только дедова изба, но погибли в огне моя бабушка и тетка, сестра

моего отца. Дед помешался в уме. Круглыми сиротами остались два мальчика. Младшего — моего отца — взял к себе на воспитание священник Ронгинский. В то время отцу было пять лет. Его детство описано в моей повести «Каин-Кабак». Отца моего окрестила. По имени лавочника, крестного отца, ему дали отчество. Фамилию произвели от имени родного отца. Деда звали Сейфулла. Крещеный его сын стал называться Николай Егорович Сейфуллин. Грамоте обучала его сестра Ронгинского, его крестная мать. Она же определила его позднее в русско-татарскую семинарию в г. Казани».

Критика оценила повесть положительно. «Каин-Кабак», с ее густым местным колоритом и яркими бытовыми зарисовками, безусловно захватывающее читателя произведение»,— писала «Комсомольская правда» (1927, 20 апреля).

«Прекрасно выдержаны сибирские захолустные типы, тонко подмечены настроения, бытовые черты»,— отмечалось в журнале «Книга и профсоюзы», (1927, № 5, с. 25).

По мнению А. Лежнева, рецензировавшего пятый том Собрания сочинений Сейфуллиной, действительную ценность тому придает повесть «Каин-Кабак». «Первая половина ее написана превосходно — не только увлекательно, но умно и проникновенно. Образ партизанского главаря Гришки Алибаева сделан с замечательной выпуклостью. Сначала он показан извне, в действии. Затем автор освещает его изнутри, заставляя его рассказывать о своей жизни. Мы видим, как этот человек развивался, под влиянием каких условий рос, какой огромный запас классовой ненависти и личного озлобления накопился в нем под гнетом среды и труда, на фронте и т. д. Но с того момента, как Гришка попадает в тюрьму, убедительность его образа начинает тускнеть. Его метаморфозы слишком стремительны и неожиданны. То он становится блаженным, назойливо предлагающим свою помощь всякому и на которого все смотрят с презрением, то собирается пожертвовать собой для спасения товарища, то превращается почти в идиота, равнодушного ко всему, кроме еды. Эта последняя метаморфоза особенно неубедительна. Почему Алибаев — «орел», «герой», богатая натура — должен, даже нравственно надломившись, превратиться в идиота? Это «сильно сказано», но плохо мотивировано. Большая часть второстепенных персонажей вылеплена прекрасно, например Кларка. Хороши все первые сцены, особенно та, где Алибаев угощает неожиданных «гостей» — чекистов, приехавших его арестовать. Все это делает, несмотря на некоторые недостатки, «Каин-Кабак» одной из интереснейших вещей Сейфуллиной» («Печать и революция», 1927, № 3, с. 194).

Налет
(стр. 270)

Впервые — в альманахе «Ковш», 1926, кн. 4, с посвящением: «Посвящаю другу — Сережке Розену».

В аннотации на сборник «Налет» (ГИЗ, 1927) газета «Читатель и писатель» писала: «В своих небольших рассказах о городе, об интеллигентах Сейфуллина не так сильна, как в своих больших вещах, где описываются степь, деревня... Помещенным в настоящей книжечке двум рассказам «Хозяйка» и «Налет» также не хватает сейфуллинского колорита и яркости,— особенно «Налету», где дочь интеллигента-адвоката говорит на явно надуманном языке. Все же и здесь, в этих рассказах, Сейфуллина показала себя меткой наблюдательницей послереволюционного быта и семейного уклада. Книжка читается с интересом» («Читатель и писатель», 1927, № 9, 3 марта).

Анализируя образ героини рассказа, критик Л. Белугина отметила: «Два приема — карикатуры и идеализации — причудливо сплелись в изображении этой энергичной студентки, вышедшей из мелкобуржуазных кругов... Развязность, переходящая в наглость,— и стойкое сопротивление подлым предложениям разнузданного парня, страстно любимого; невежество и тяга к знанию, и уважение к нему; большая сердечность в соединении с назойливостью, с непониманием психологии чужого человека — все эти качества делают образ Клепки и жизненным, и привлекательным, и немного смешным» («Книга и профсоюзы», 1927, № 5, с. 25).

В упомянутой рецензии на пятый том в журнале «Печать и революция» (1927, № 3) А. Лежнев назвал рассказ «Налет» несколько поверхностным и фельетонным. Положительно оценила «Налет» «Комсомольская правда»: «Рассказ «Налет» насыщен действием, читается с интересом. Разобщенность интересов молодого, живущего действенной жизнью поколения и старых «жрецов науки» показана в достаточной степени ярко» (1927, 20 апреля).

Рассказ был инсценирован А. Самариным-Волжским (см: Сборник (малых форм), № 108, М., 1936).

Из рассказов Анны Максимовны
(стр. 285)

Впервые — в журнале «Прожектор», 1929, № 21.

Из дневника охотника
(стр. 294)

Рассказ «Счастье в природе» впервые — в журнале «Огонек», 1929, № 5.

Рассказ «В ненастный день» впервые — в сборнике рассказов Л. Сейфуллиной «Гибель» (М.— Л., 1930) вместе с первым рассказом под общей рубрикой «Из дневника охотника». Цикл «Из дневника охотника» вошел в 4-е издание Собрания сочинений под ред. В. П. Правдухина.

В воспоминаниях о Сейфуллиной Н. Смирнов пишет об охотничьих увлечениях писательницы:

«Муж ее, Валерьян Павлович Правдухин, был неутомимым охотником, и Лидия Николаевна умело поддерживала охотничий разговор, ежегодно ездила в охотничье путешествие по Яик-реке, где добросовестно выполняла роль «дневального» у палатки и усердно, хотя иногда и со слезами досады на глазах, щипала груды битой дичи. Больше того: она очень ревниво оберегала охотничью честь мужа, и когда однажды я, очень посредственный стрелок, обстрелял на утиных перелетах Валерьяна — редкостного стрелка, Лидия Николаевна заговорила со мной обиженным тоном и поминутно уверяла охотников:

— Это чистая случайность: Валерьян завтра покажет, как надо стрелять» («Сейфуллина в воспоминаниях современников». М., 1961, с. 161).

В одном из рабочих блокнотов Л. Сейфуллиной есть такая запись:

«Как появились мои «Охотничьи рассказы»?

Я не рыбак и не охотник, но я примазываюсь к рыбакам и охотникам, потому что я люблю природу; везде мною тяготились, брали с собой как принудительную нагрузку.

Как я написала «Охотничьи рассказы»?

Я вспомнила вечер, закат возле речки, вспомнила дождь и написала даже не думая, как оно прозвучит, а получила такой широкий читательский отклик, что даже сама удивилась. Из Воронежа мне прислал письмо один бухгалтер, сухой человек, человек, имеющий дело с цифрами, и он пишет: «Приезжайте к нам отдыхать. Мы со старухой ничего не заставим Вас делать, и даже лодку свою Вам дадим. Когда я прочитал Ваш рассказ, я заинтересовался литературой». Это показывает, как читатель нуждается в такой улыбке в литературе. У таких рассказов есть право на существование в нашем быту, который ведь не сплошь состоит из страданий, из сомнений, из напряжений. Он состоит и из улыбок, и из шуток, и из поездок на природу».

«Для меня охота не только добытая дичь, которую, впрочем, я и не добываю, а, главным образом, общение с природой, общение с людьми, которые встречаются на охоте: лесники, пасечники, рыбаки и старые казаки в уральских станицах»,— говорила писательница А. Перегудову. «Оживляясь все более и более,— пишет Перегудов,— Лидия Николаевна рассказала, как она в компании охотников совершила путешествие по Уралу, как добралась на верблюдах от Оренбурга до Кардаиловки, где в конце августа погрузились на лодки...»

«Наше путешествие длилось месяца полтора, проплыли мы на лодках около тысячи километров. Охотились на дудаков, стрепетов, уток, тетеревов, куропаток, ловили рыбу» («Сейфуллина в воспоминаниях современников», с. 168).

Собственность

(стр. 313)

Впервые — в журнале «Новый мир», 1933, № 10.

Сюжет одного из лучших рассказов Сейфуллиной 30-х годов взят писательницей с натуры. В статье «Разговор с молодым писателем» Сейфуллина писала: «Я лежала в Боткинской больнице, и там сиделка рассказала о своей жизни, как она ее прожила. Некоторые фразы я записала, получился небольшой сюжет, и вот теперь появился рассказ «Собственность».

Тема эта отвечала внутренним раздумьям и переживаниям писательницы. «Сюжет его взят из дореволюционного времени, но я его считаю актуальным потому, что он соприкасается с теми интересами, которые волнуют наше общество».

Критика была единодушна в оценке этого рассказа. После выхода в свет сборника «Рассказы». М. (Гослитиздат, 1935), куда вошла «Собственность», в журнале «Октябрь» появилась рецензия Г. Колесниковой. О рассказе «Собственность» критик пишет: «Сжато и остро рисует Сейфуллина, как собственность стерегла человеческую жизнь и как человек, одержимый жаждой собственности, потерял человеческое лицо. ...Здесь Сейфуллина в своей стихии, она не только наблюдает, но прекрасно знает и чувствует то, что описывает» («Октябрь», 1936, № 1, с. 206).

Особо выделил рассказ, рекомендуя его для чтения широкой публике, рецензент журнала «Что читать» в статье «О судьбах женщины» («Что читать», 1936, № 2).

Более чем через двадцать лет критика снова обратилась к этому произведению, увидала в нем не только разоблачительную тенденцию, но отметила и оптимистическое, жизнеутверждающее звучание.

Б. Брайнина отнесла «Собственность» к лучшим рассказам нашей литературы 30-х годов. В статье «Воспитание правдой» она пишет: «Обличение собственнического мира, которое проходит через все произведения Сейфуллиной, в маленьком рассказе «Собственность» находит свое наиболее сильное и краткое выражение... С предельным лаконизмом и поэтической глубиной показывает Сейфуллина торжество молодого, веселого, нового мира над унылым, скучным, злым, но уже бессильным собственническим укладом прошлого» («Знамя», 1955, № 7, с. 168).

Развернутый анализ рассказа дал автор книги о Л. Сейфуллиной Н. Н. Яновский: «Глубок и психологически верен рассказ «Собственность». Известно: собственность калечит душу человека. То, что происходит с главной героиней рассказа,— ужасно. Ужасно своей неумолимой последовательностью, удивительной простотой» (Н. Яновский. Лидия Сейфуллина, с. 150).

Личная беда
(стр. 323)

Впервые — в журнале «Огонек», 1933, № 23.

«Личная беда» — один из первых рассказов о герое-современнике, человеке 30-х годов. Героиня рассказа наделена качествами, наиболее ценимыми Сейфуллиной в женщине. Личной энергией и волей она добилась самостоятельности, материальной независимости. Это человек, сформированный новыми условиями, прочно занимающий свое место в жизни, не сгибающийся под неожиданными ударами судьбы.

Приветствуя обращение Сейфуллиной к современной тематике, стремление писательницы показать людей сегодняшнего дня, критик журнала «Октябрь» отметил и некоторые недостатки произведения: «...Писательница зачастую скользит по поверхности описываемых явлений. Порой создается впечатление, что автор наблюдает своих героев со стороны. Новые герои писательницы подчас страдают узостью и ограниченностью кругозора, в них нет подлинной человеческой теплоты. Они митингуют в личной жизни, как на собрании» («Октябрь», 1936, № 1, с. 206).

Таня
(стр. 331)

Впервые — в журнале «Новый мир», 1934, № 8.

Рассказ «Таня» появился в результате переработки одной из глав повести «Страна». На этом материале было создано, по существу, новое самостоятельное завершенное произведение. В статье «О своей

литературной работе» Л. Сейфуллина рассказывает, как мучительно протекала переработка. «Рассказ долго не давался мне. Я никак не могла увидеть девочку-пионерку целиком: и внешний облик, и внутреннюю ее жизнь. ...Мне хотелось, я мечтала написать о девочке-пионерке. Внешний облик казался настолько ясным, что приснился однажды мне во сне. Воображению были зримы жесты, походка, правдивые глаза именно этой, моей девочки. Я чувствовала ее манеру говорить, ее отдельные мысли и фразы легко слагались в моем авторском мозгу. Перед глазами вставали отдельные события ее детской жизни. Я решила написать о ней книжку для детей. Мне нужно было знанье внешней, бытовой обстановки, в которой говорит, смеется, работает, плачет, любит или не любит моя девочка. Я ходила к пионерам, они приходили ко мне. Подробностей школьной, домашней, лагерной жизни у меня скопилось достаточно — реальных жизненных подробностей. А девочки не было».

Неожиданную помощь писательница получила от Н. К. Крупской. Позднее, в письме к А. Ф. Чернышову 15 февраля 1949 года, Сейфуллина подробно рассказала об этом. Н. К. Крупская пригласила Сейфуллину на пионерский слет, который происходил в 1933 году в здании Московского университета. По дороге в машине между ними завязалась беседа: «Надежда Константиновна стала рассказывать о своих встречах с детьми, в частности с пионерами. Она рассказала о том, как сильно в них чувство моральной ответственности перед советским обществом и государством, и не только за себя, но и за своих родителей... И о том, как дети твердо выполняют постановления своего пионерского отряда. Одна девочка встретила Надежду Константиновну у входа в здание, как поручили ей товарищи. Надежда Константиновна, здороваясь, протянула ей руку. Девочка стала пунцовая в лице от смущения, прерывистым голосом, но все же решительно заявила: «В нашей организации мы руки не подаем». В их отряде были отменены рукопожатия. Надежда Константиновна смеялась, рассказывая об этом случае. От этого хорошего смеха чудесной добротой осветилось все ее лицо. И она добавила: «Вот о такой нелицеприятной девочке следовало написать». Это ее выражение я твердо запомнила, потому что благодаря этой фразе родился у меня образ девочки-пионерки, и я написала рассказ «Таня» («Сибирские огни», 1959, № 4, с. 172).

В названной выше статье Сейфуллина рассказывает также, как искала она биографию Русанова, характер его проступка, как перерабатывала образ Сони и прочее. Основную свою художественную задачу писательница определила так: «...изобразить «нашу» девочку в исключительно советских, еще не существующих в других странах, новых и сложных бытовых и общественных условиях».

Критика очень живо откликнулась на рассказ. Одна из первых положительных оценок принадлежит Горькому. В цитированном уже письме к Л. Н. Сейфуллиной от 19 ноября 1934 года он писал: «...Вы человек талантливо чувствующий, и Вы имеете все данные для того, чтоб талантливо различать нужное от ненужного, находить в навозе жизни ее жемчужные зерна. Именно об этом говорят «Виринея», «Правонарушители» и другие рассказы, включительно с последним, прочитанным мною — о девочке. Я уверен, что Вы могли бы отлично писать о детях, о женщинах, в их современном виде» («Литературное наследство», т. 70, с. 370).

С подробной и положительной рецензией на рассказ выступил журнал «Тридцать дней» (1934, № 10). Ее автор Н. Оружейников в статье «Сегодняшнее детство» поставил рассказ в один ряд с классическими произведениями о детстве. «Рассказ подкупает свежестью и смелостью в постановке темы... мы впервые видим ребенка, реагирующего на такое сложное житейское явление, как ответственность за совершенные взрослыми политические ошибки».

Вместе с тем рецензент отмечает некоторую «прямолинейную политграмоту» в рассуждениях Тани и торопливость в авторской манере повествования. «Писательница стремится провести Таню к политической зрелости по кратчайшей прямой. Отсюда некоторый налет дидактики на рассказе».

В 1936 году, по выходе в свет сборника «Рассказы» (М., Гослитиздат, 1936), куда вошел и рассказ «Таня», журнал «Что читать» настойчиво рекомендует его читателям.

Среди многих положительных отзывов некоторым диссонансом звучит мнение А. С. Макаренко. В статье «Детство и литература» Макаренко, отмечая, что в современной литературе вообще не ставятся «воспитательные проблемы» и не воссоздаются детские характеры, пишет: «Даже в вещах, специально посвященных детской личности, дети выступают обязательно в искусственной роли. Такова «Таня» Сейфуллиной, двенадцатилетняя девочка, существо ходульное, резонерствующее, воспринимающее мир «по-взрослому» («Правда», 1937, 4 июля, № 182).

Н. Яновский считает, что в рассказе «образно передана замечательная воспитывающая сила нашего общества, то есть именно то, что лежало в подтексте рассказа Н. К. Крупской о трогательно-забавных случаях в поведении детей». Отмечая некоторые недостатки рассказа (в частности, неопределенный характер «сложности», возникшей у отчима Тани), Н. Яновский писал: «...Л. Сейфуллина создала очень нужный рассказ об ответственности человека за свои поступки перед людьми, кто бы они ни были, дети или взрослые, о воспитании чувства ответственности, актуального и сейчас... Разрешая таким образом поставленные в рассказе морально-этические и воспитательные

проблемы, Л. Сейфуллина подходит к определению самой сути происшедших в стране перемен за годы Советской власти» (Н. Яновский. Лидия Сейфуллина, с. 154—157).

Певец
(стр. 342)

Впервые — в журнале «Новый мир», 1929, № 1, под названием «Выхваль».

В 1940 году, при подготовке издания «Избранное» (М., «Советский писатель», 1941), Сейфуллина творчески переработала свое произведение, внесла в него ряд серьезных исправлений и дописала две заключительные главы — V и VI. Под новым названием «Певец» рассказ впервые печатался в названном сборнике.

В статье «О своей литературной работе» Сейфуллина рассказывает о трудностях, которые встали перед ней при доработке рассказа. «Иногда необходимо пересмотреть давно написанное, но еще печатаемое произведение. Пересмотреть диалектически, в свете действительности. Это еще труднее, чем написать новое. Формальные поправки только испортят законченный труд. Надо заставить своих героев заново жить в себе, в своем изменившемся восприятии, миропонимании. Переделать — не значит просто пересочинить. Мой рассказ «Выхваль» неизбежно должен был уйти за поле читательского внимания. От него не шло *внутреннего* истока к нашему настоящему. А рассказ в моем писательском имении — очень нужный. Я назвала его «Певец», написала две новых главы для его конца. Дались они мне чрезвычайно трудно. Не должно было ограничиться припиской».

Рассказ получил довольно противоречивую оценку в критике. Ф. Левин в предисловии к сборнику «Избранное», где рассказ впервые публиковался в переработанном виде, отозвался о нем положительно: раскрывается не через развитие основных характеров произведения, а через простое описание «вдруг» совершившихся перемен». «И все-таки в целом,— резюмирует критик,— произведение трогает нас этой остротой сопоставления» (там же, с. 149).

«Рассказ очень разительно раскрывает огромные перемены в жизни деревни. Сейфуллина вновь обнаружила в этой вещи свойственное ей уменье реалистически изображать людей, знание быта старой деревни, мастерство воспроизведения народного языка» (Л. Сейфуллина. Избранное. М., «Советский писатель», 1941, с. 9—10).

Б. Брайнина подчеркивает, что рассказ построен на верной идейной основе, и отмечает в то же время художественный просчет автора. «Недостатком этого рассказа,— считает Брайнина,— является слишком резкий переход от старого к новому... Новая колхозная деревня изображена несколько описательно, иллюстративно» («Знамя», 1955, № 7, с. 169).

Н. Яновский считает рассказ «Певец» одним из лучших произведений. «Он уже прямо построен,— пишет Яновский,— на противопоставлении старой и новой деревни. Снова картины прошлого выписаны Л. Сейфуллиной красочно и сильно. Совершенное знание народного языка позволяет ей создать ярко индивидуальные образы крестьян, которые очень медленно, с оглядкой, осторожно вступают на зыбкий, по их мнению, путь нового... Каждое слово «играет» на образ и неповторимо в своей индивидуальности, как и должно быть в истинно художественном произведении. Народность речи здесь не в отдельных просторечиях, хотя и они имеют место, а во всей лексике, стиле, строе речи ее героев» (Н. Яновский. Лидия Сейфуллина, с. 146, 148).

Сережа Воронцов

(стр. 399)

Впервые — в газете «Известия», 1942, 3 октября.

В статье «Работа Л. Сейфуллиной в советской детской литературе» Г. Тубельская пишет о рассказе: «Сейфуллина находит убедительные детали, чтобы показать, как взрослеет Сережа Воронцов, как из маленького ростом, щуплого и боязливого ребенка он вырастает в народного мстителя. Зрелый мастер, Сейфуллина учитывает особенности восприятия читателя-подростка: сюжет очерка напряжен до предела — с каждой страницей обстановка все накаляется» (сб.: «О литературе для детей», вып. 13. Л., 1968, с. 112—113).

Саша

(стр. 405)

Впервые — в журнале «Огонек», 1944, № 33—34.

Ночной разговор

(стр. 415)

Впервые — в журнале «Огонек», 1946, № 29, с подзаголовком: «Отрывок из повести «Знамя».

Содержание

Повести и рассказы

1925—1946

Встреча 7
Линюхина Степанида 165
Каин-Кабак 183
Налет 270
Из рассказов Анны Максимовны 285
Из дневника охотника 294
Собственность 313
Личная беда 323
Таня 331
Певец 349
Сережа Воронцов 399
Саша 405
Ночной разговор 415

Комментарии 424